

Э



Илья эренбург

ИЛЬЯ  
ЭРЕНБУРГ

том третий



Издательство  
«Художественная  
литература»  
Москва 1964

Собрание  
сочинений  
в девяти  
томах



Издательство  
«Художественная  
литература»  
Москва 1964

том третий

# ЭРЕНБУРГ

Заговор равных  
День второй  
Стихотворения

**P2**  
**Э76**

**Комментарии**  
**Г. БЕЛОЙ и С. ЛУБЭ**

**Художник**  
**Ф. ЗБАРСКИЙ**

**Заговор  
равных**





Это был будничнй день септиди семнадцатого плювиоза года третьего или по старому календарю четверг седьмого февраля 1795 года, посвященный упраздненной церковью святой Доротеи, а революцией лишаю — растению, как известно, паразитарному. Впрочем, парижане не думали ни о ботанике, ни о святцах. Они думали скорей всего о хлебе. Возле булочных в длинных очередях раздавалось:

— Говорят, сегодня будут выдавать только по две унции...

— В Сан-Марсо и того не дали...

Дул мокрый холодный ветер с Ла-Манша. От него некуда было укрыться. Дровяники презрительно щурились на порогах своих лавочек. Дровяники выглядели ювелирами. Утром на улице Муфтар нашли четыре трупа: женщина, трое детей. Они замерзли или, может быть, умерли от голода. Возле Рынков гражданин Моро, узнав, что хлеба сегодня, то есть в септиди или в четверг, в день «лишняя», вовсе не будет, крикнула булочнику:

— Вот мои дети! Мне нечем их кормить. Убей их!

Гражданку Моро, разумеется, тотчас арестовали. Одни говорили, что она якобинка и в дни Робеспьера танцевала возле гильотины. Другие, напротив, уверяли, что она состоит на жалованье у наглого эмигранта, который смеет именовать себя «наследником». Дети гражданки Моро плакали.

Луи Лабра, агент полиции, неодобрительно качал головой — столько работы: женщины говорят противоположительственные речи, злоумышленники умирают у всех на глазах, наконец не утихает холодный ветер с Ла-Манша. Уж не Питт ли насылает его на республику?.. Какая зима! Пять недель Сена стояла замерзшей. Не мудрено, что юркие дровяники обратились в ювелиров. А теперь этот ветер...

— «Республиканский курьер»! Революция кончилась!..

Сыщик настораживается — недозволенные возгласы! Кто тут? Роялисты? Анархисты? Агенты Кобурга? Он хватает крикуна за шиворот. Это десятилетний мальчуган, который продает газеты.

— Кто тебе сказал, что революция кончилась?



— Один очень важный гражданин. У него были золотые часы, вот такие, он купил газету. Он дал мне ливр и сказал: «Слава богу, революция кончилась...»

Луи Лабра — сознательный гражданин. Он уважает Конвент, бюст Руссо в саду Тюльери и патриотические песни. Если в душе он уважает и золотые часы, то об этом он никому не говорит. Сокрушенно он увещевает мальчика:

— Этот гражданин, наверное, английский агент. Или прихвостень Робеспьера. Революция, мой друг, не может кончиться. А тебя вот за такие крики не погладят по головке.

Сыщик тащит мальчугана, тот плачет. Это происходит возле театра Республики. Место людное, да и час бойкий — скоро шесть. Граждане торопятся на спектакль. Иные останавливаются: кого это схватили? Якобинца? Ворешку? Узнав, в чем дело, все усмеваются. Но вон тот, с длинными локонами, спадающими на черпый бархатный воротник, гогочет в лицо растерянному сыщику:

— Да, кончилась... кончилась... и пора!..

Лабра хочет схватить смешливого щеголя, но рука, поднятая было, падает: кто его знает?.. А вдруг Конвент сегодня постановил, что революция действительно кончилась? Ведь Конвент и не то постановлял!

Франт швыряет кассиру пачку ассигнаций и, независимо жмурясь, входит в вестибюль театра, а Лабра ведет дальше плаксивого мальчика. Ветер не слабеет.

В театре Республики спектакль начался с запозданием: не хватало свечей, да и суфлер вдруг потребовал жалованье серебром. Он клялся, что не способен суфлировать натошак. Его сдва уломали. Ставили трагедию «Эпикарисса и Нерон». Когда поднялся занавес, сверху раздались жидкие хлопки — «браво, Тальма!». Но партер в ответ угрюмо ворчал: «Тише!» Молодые щеголи с длинными локонами не любили Тальму: он слыл якобинцем. Первый акт прошел спокойно. В антракте каждый развлекался по-своему: деловые граждане шушукались — они перепродавали мануфактуру, свечи, мыло, колбасу. Модницы, не смущаясь, здесь же вытаскивали из шелковых сумочек образцы товаров. На галерке солдаты щекотали визгливых девок. Юноши с локонами упражнялись — кто ловчее: они кидали в бюст Марата тухлые яйца и мерзлую репу. За кулисами актер Фюзиль говорил Тальме:

— Кажется, сегодня эти молодцы что-то замышляют...

Тальма махнул рукой: пусть! Тальма играл Нерона, коварного, жестокого и несчастного, который всевластен и бессилён, злобен, горек, одинок.

— Пусть!..

У Тальмы была хорошая память. Теперь его ругают «якобинцем»? Что же, прежде ему кричали «жирондист». А он? Он только актер, комедиант, ученик великого Гаррика. При Робеспьере ему запретили играть Брута — в трагедии были стихи: «Кто смеет задержать по ложному доносу граждан Рима?..» А сколько раз в те времена его заставляли вместо «принц» или «маркиз» говорить «гражданин», хоть это и нарушало ритм александрийского стиха! Сколько раз вместо монолога он должен был декламировать неграмотные вирши! А теперь все наоборот. Нет, вернее, все то же. Актер играет якобинца, в него кидают камни. С Дюгазона сорвали парик: Дюгазон, видите ли, «кровопийца»!..

Как играл он Нерона! Как уныло улыбался, как трудно и грузно умирал! Но нет, игра Тальмы не могла взволновать зрителей, трагедии для них давно стали повседневным бытом. Дама в правой ложе сказала своему спутнику:

— Тальма сегодня удивительно играет. Видно, он хорошо понимает душу тирана.

Кавалер, однако, не разделял ее чувств. Он любил старую Францию и старый театр. Тальма в каких-то простынях вместо парадного камзола, без парика, Тальма, который говорил, а не пел монологи, казался ему невежественным якобинцем. Робеспьером на подмостках. Он ответил даме:

— Тальма просто ничего не понимает. Это даже не актер. Это жалкий шут, годный разве что для шекспировского балагана.

Кто-то в партере крикнул:

— Эй ты, якобинец!.. Ты убил моего брата!..

Он показал на гражданина, сидевшего в шестом ряду. Юноши с локонами тотчас сочувственно заверещали: «Смерть якобинцам!» Гражданин из шестого ряда бессмысленно улыбался: он глядел на пышные груди Эпикариussy. Он продолжал улыбаться и после того, как ретивый щеголь ударил его по лицу. Он только благодушно пробормотал:

— У меня тоже убили брата. Это, наверное, общая судьба...

Нерон умирал на сцене. А солдаты продолжали щекотать девок, и модницы думали о выгодно перепроданном свином

сале. В одном из первых рядов сидел гражданин Сансон. На нем был длинный каштаповый редингот, и, замечая направленные на него взгляды красоток, гражданин Сансон время от времени кокетливо охорашивался. Трагедия не занимала его, он зевал. В театре «Водевиль» или в театре «Фейдо» куда веселее! Как долго и как скучно убивают эти простаки какого-то Нерона! Позевывая, Сансон вспоминал иные гримасы. Те умирали тоже на подмостках. Он придерживал их. Он показывал взыскательной публике головы. Он честно служил всем: королю, Геберту, Дантону, Робеспьеру, — и он один уцелел. Он был необходим всем: ведь он не говорил пламенных речей, не выдумывал новых законов, не клялся, не бил себя в грудь, не горланил песен, нет, он только деловито отрезал головы. Что ему тирады комедианта Тальмы? Он ведь слышал, как молился на эшафоте последний Капет, как пели жирондисты, как усмеялся Дантон и как закричал, дико, по-звериному, раненый Робеспьер, когда он, Сансон, сорвал с его челюсти повязку. Зачем ему трагедии? Он сидит здесь только потому, что после дурацкого «Нерона» обещана веселая пьеса. Гражданин Сансон любит в театре посмеяться. Тальма напрасно старается. Здесь его никто не поймет.

После «Нерона» должна была идти комедия. В антракте щеголи оживленно совещались. На сцену выходит актер Фюзиль. Он играет Криспена. Он улыбается плутовской улыбкой. Только сидящие в первом ряду могут заметить, что щеки его скашивают нервная гримаса. В партере кричат:

— Читай «Пробуждение народа»!

— Громче читай!

— Это якобинец! Это убийца! Он в Лионе перебил тысячи невинных!

— Пусть читает! Пусть поперхнетя!..

Исчезла плутовская улыбка, осталась только гримаса страха. Что делать? Придется повторять эти страшные слова, призывы к убийству своих, может быть, его же, Фюзилья. Он начинает декламировать. Но те, с локонами, не унимаются:

— Он не смеет этого произносить! Он недостойн!..

— Пусть читает Тальма! Ему тоже полезно... Эй, Тальма, выходи!..

Шум становится угрожающим. Щеголи теперь подошли вплотную к сцене. Тогда выходит Тальма. Он еще не успел

снять с себя тогу Нерона. Он учтив и высокомерен. Хорошо, он прочтет сейчас «Пробуждение народа». Мало ли читал он нескладных стихов, од Другу народа Марату и од Шарлотте Кордэ? Плохие стихи остаются плохими стихами. А Шекспир здесь не нужен никому. Нужны кровь да еще ящички со свиным салом.

Фюзиль хотел было уйти. Его не пустили:

— Стой и держи свечу!

Нерон декламировал бездарные стихи освистанного поэта Суригьера, а шуг Криспен держал канделябр. Рука Фюзилля дрожала, и смешно плясала на стене тень римского тирана: Уныло и бесстрастно Тальма повторял:

О тигры из зверинца,  
Вам нашей крови мало!  
Держите якобинца!  
На бойню каннибала!

Щеголи хором подхватывали: «На бойню!..» Они не хотели глядеть комедию:

— Долой Фюзилля!

Спектакль был сорван. Об этом пожалели солдаты на галерке и гражданин Сансон — ему так и не удалось посмеяться. Юноши с локонами, оставив актеров, занялись бюстом Марата. Одни кричали: «Разбить!», другие: «На помойку!» Победили последние. Ночная кавалькада казалась заманчивой.

Прежде всего они направились на улицу Шабанэ, где жил редактор «Народного оратора», вчера — якобинец, представитель Конвента в Тулоне, любитель гильотины и золота, сегодня — друг порядка, вождь «золотой молодежи», всегда кокетливый и тщеславный Фрерон. Он вышел к ним улыбаясь — это его опора! Как полководец на штыки, глядел он на длинные локоны.

— Вы знаете, что у меня немало врагов. Еврей Моисей Бейль обвиняет меня в тулонских зверствах. Он не француз душой и хитер. Он хочет отнять у вас «Народного оратора».

Один из юношей спросил другого:

— О чем это он?..

— Да Бейль опубликовал его письма из Тулона. Оказывается, при Робеспьере Фрерон хвастался, что посылает на гильотину ежедневно двести голов. Там так и сказано: «Голы сыплются градом...»

— Ну что вспоминать прошлое! Пусть хоть черт, не то что якобинец. Зато теперь он служит нам...

Фрерон шел впереди. Он любовался собой — ореховыми штанами, клетчатым фраком, мягкими сапогами, двумя парами больших часов с множеством брелоков, узловатой дубинкой. Улицы были пусты. Только порой попадались бездомные, дрожавшие под холодным ветром. Их зазывали:

— Идите с нами! Мы воздаем почести собаке Марату.

Но те угрюмо бормотали:

— Сегодня вовсе не выдавали хлеба...

Один, полуголый, весь обросший седыми волосами, крикнул:

— При Марате было лучше! Вам, может быть, хуже, а нам лучше...

Взглянув на его ощеренное лицо, Фрерон нырнул в воротник:

— Оставьте его! Не стоит связываться...

Дойдя до Рынков, юноши остановились возле мясной лавки. В желобке они увидели кровь. Они вымазали гипсового Марата бурой жижицей. Фрерон сказал:

— Теперь следует очистить воздух. Вот листки анархистов «Трибун народа». Давайте-ка сожжем их!

Развели костер. А вокруг костра пели: «На бойню каннибалов», плясали и плевали — кто ловчее — в гипсового Марата. Особенно радовался тот щеголь, что по дороге в театр озадачил сыщика. Он плясал, пел, плевал и, вкусно причмокивая, говорил: «Кончилась революция, кончилась...» Он не был ни аристократом, ни роялистом, ни агентом Питта. Он просто был молодым, здоровым, зажиточным парнем, и ему хотелось пожить влстась.

Пока на подмостках умирал Нерон, пока резвились щеголи и расторопный Фрерон пытался смыть бычьей кровью следы человеческой на своих холеных руках, сыщик Луи Лабра работал. Он рыскал по городу, заходил в кофейни, прислушивался к разговорам. Его замечали: «Шпион! собака!» Но он был честным тружеником и терпеливо подставлял поближе к оскорбителям свое розовое оттопыренное ухо. Больше всего донимал его ветер с Ла-Манша. Лабра чихал. Поздно вечером он докладывал начальнику:

— В театре Республики освистали Фюзия. Потом избили гражданина Боро. Избитый арестован. Бюст Марата похищен. В театре «Фейдо» бюст Марата разбит. В театре «Водевиль»

многие аплодировали словам цирюльника: «Давайте веселиться, может быть, через три недели нас больше не будет». Я хотел установить, кто именно аплодирует, но это мне не удалось. Разбиты два бюста Марата. В театре «Эгалите» публика громко смеялась, когда актриса сказала: «Я съела большой пирог, то есть бывший пирог»... Один гражданин в фойе говорил: «Теперь все бывшее: бывшая улица, бывший маркиз, даже пирог и тот бывший...» Его на всякий случай арестовали. Бюст Марата там также разбит.

Начальник усмехнулся:

— Ломкая посуда! Вот с тем, что на площади Карусель, будет побольше работы... Ну, а кроме статуй? Разговоры на улицах, в кофейнях?

— Все больше о курсе ассигнаций. Боятся, что скоро ничего нельзя будет купить. Одна крестьянка на рынке неприлично кричала: «Зачем мне бумажки? подтираться?..» В квартале Антония выдавали по три унции. Один рабочий сказал булочнице «гражданка», та начала кричать: «Вот из-за этих-то слов нет хлеба!..» На улице Шарони женщина, кормившая грудью ребенка, упала без чувств от голода. Такие происшествия, конечно, возбуждают народ...

— Пойдите, Лабра! А политические разговоры? О наших победах в Голландии? Об изменении конституции?

Луи Лабра сокрушенно вздохнул:

— Об этом я ничего не слышал. Все жалуются на погоду: ветер, холод... Потом, конечно, безработица...

Отпустив сыщика, начальник начал диктовать очередной рапорт. «Общественное мнение несколько возбуждено. Конечно разумные граждане всецело одобряют меры Национального Конвента, ограждающие свободу торговли. Что касается рабочих, то они страдают от недостатка в работе, а также от дурной погоды...»

Здесь начальник чихнул. Чихнул подобострастно и писец. Диктовка была прервана вестовым. Прочитав приказ Комитета общественного спасения, начальник позвал несколько полицейских, среди них и Луи Лабра.

— Ордер на арест. Дом номер двести двадцать восемь по улице Сан-Антуан.

Указанный начальником полиции дом помещался на углу пассажа Ледигьер. В нем было четыре этажа. На фасаде выведено было красной краской: «равенство или...». До недавнего

времени значилось — «или смерть». Но владелец дома, мясник Гарон, слово «смерть» замазал: оно оскорбляло народные чувства. После термидора никто не хотел больше слышать о смерти. Люди только-только начинали жить. Надпись стала загадочной: «или»... Что «или»?.. Дом молчал. Внизу помещалась столярная мастерская. Человек, которого искала полиция, прятался в тесной комнате самого верхнего этажа. Несмотря на поздний час, он бодрствовал. Он писал. При бледном пламени свечи можно было различить узкое лицо, глаза, воспаленные бессонницей, болезнью и душевным горением, темно-синий фрак, костлявую руку, лист бумаги, густо исписанный вдоль и поперек, — видимо, приходилось беречь бумагу. По винтовой лестнице осторожно ползли полицейские. Лабра хотел чихнуть, но вовремя удержался. Человек наверху все еще писал: «Революция не может окончиться. К чему привела она? К замене одних тиранов другими. Если она на этом действительно закончилась, она была величайшим преступлением...»

Когда Лабра схватил лист, последние слова еще не успели высохнуть, и он замарал чернилами рукав. С грустью вздохнул он — пятно!.. А жалованье — ассигнациями... Кажется, даже в тюрьме спокойней!..

Жандармы отвезли арестованного в тюрьму Форс. Лабра же поплелся с докладом к начальнику. Тот успел получить еще одно послание от гражданина Тальена. Начальник озабочен. Он спрашивает Лабра:

— Сколько денег нашли на арестованном?

— Шесть франков, гражданин.

— Гм... Но он предлагал вам взятку, чтобы вы его отпустили. Он хотел подкупить вас. Он давал тридцать тысяч франков.

Бедный Лабра ничего не понимает: это еще трудней, нежели победы в Голландии. Наивно он возражает:

— Нет, гражданин, он мне ничего не предлагал. Он только выругал меня за то, что я измазал его писания. И откуда у него могут быть тридцать тысяч? Ведь это голоштанник...

Начальник сердится:

— О чем толковать, Лабра... Вы заявляете, что он хотел вас подкупить. Вы, разумеется, отказались принять взятку, и я награждаю вас за вашу честность. Вы поняли наконец меня?

Лабра сияет: как же, теперь он все понял. Это, наверно, Конвент приказал, а раз уж Конвент хочет, то нечего здесь рассуждать. Что касается наградных, это, конечно, приятно. Вот только если бы серебром!.. Да куда тут — опять ассигнации. Надо бы купить жене шляпу...

Лабра быстро составляет рапорт о попытке подкупа. Начальник тоже пишет, он пишет донесение Тальену: «Преступник пытался соблазнить агента полиции, но»... Ему хочется блеснуть красноречием. От усердия он высовывает наружу кончик языка. «Но агент проявил гражданское мужество, достойное героев Фермопил...»

За стеной — детский плач. Что это? Ах да, маленький газетчик! Луи Лабра, герой Фермопил, видит, что без начальника и здесь не обойтись:

— Этот юный гражданин задержан мной возле театра Республики. Он кричал: «Революция кончилась!» Мне кажется, что эти слова противозаконны. Ведь так рассуждают шуаны или аристократы. Но, конечно, если Конвент...

Начальник машет рукой — замолчи, мол... На самом деле он озадачен ничуть не менее глупого Лабра. Он пробует засунуть в поздюю добрую понюшку, но в голове не проясняется. «Революция окончилась»? А как же революционный трибунал? А революционный календарь? А революционные праздники? Да, но вот революционеров сажают в тюрьму. Их ссылают в Кайену. Им отрезают головы. Кто их сажает? Тоже революционеры, тоже монтаньяры. Может быть, они действительно хотят закончить революцию? Разве их поймешь?.. Гражданин Тальен не очень-то любит, когда при нем вспоминают прошлое: Бордо, гильотину под окнами, красный колпачок. Может быть, революция действительно кончилась? Впрочем, это не его дело. Полиция должна исполнять приказы, а не заниматься философическими вопросами. Полиция не академия!

Начальник допрашивает мальчика:

— Сколько тебе лет?

— Кажется, десять. Или девять. В усение будет десять. Или одиннадцать.

— Теперь нет никакого «усения». Теперь, дурачок, другие праздники. Например, девятое термидора — падение тирана Робеспьера. Или двадцать третье термидора — падение тирана Капета. Ты кто же — роялист, якобинец или, может быть, орлеанист? Ну, отвечай!



Мальчик перестает плакать. Он смотрит восхищенно на кокарду начальника, на его выпяченные важно губы, на перья писцов. Он вежливо, но твердо говорит:

— Нет, гражданин, я только сын вдовы Пежо на улице Урс, в доме номер четыре.

Улыбается начальник, улыбается почтительно Лабра, улыбаются даже кокарды и перья.

— Ну, сын вдовы Пежо, можешь идти домой. Только смотри, больше не балуй! Кричи «Республиканский курьер» или «Народный оратор», или «Вестник», но от себя ни-ни. Если ты завтра вздумаешь кричать «революция началась», тебя снова притащат. Революция — это, брат, не газеты продавать. Над этим Конвент думает, а не сын вдовы Пежо. Понял, сопляк?..

Карета подъехала к тюрьме Форс. Сторож крихтел и, ругаясь, подбирал ключи. Ругался и арестованный. В камере было темно. Кто-то зажег огарок. Сено, сонные лица, чад. Арестованный не стал оглядывать мокрых стен или гнилой подстилки — он хорошо знал, что такое тюрьмы республики: ведь это шестой арест! Он только крикнул:

— Кто здесь?

Со всех сторон раздалось:

— Патриоты.

— Жертвы роялистов и шуанов.

— Защитники революции.

— А ты кто?

Новичок молчал. Тогда один из заключенных поднес огарок поближе к худому, чрезмерно бледному лицу.

— Грахх Бабеф! Трибун народа!

Тотчас камера наполнилась восторженными криками:

— Да здравствует Грахх Бабеф! Позор изменникам! Свобода или смерть!

Всю ночь арестанты пели патриотические песни: гимн марсельских ополченцев или «Карманьолу».

Те же песни распевали для бодрости под холодным, мокрым ветром каменщики на площади Карусель. Они работали, не покладая рук: по приказу Конвента сносили мавзолей, воздвигнутый в честь «друга народа» Жана-Поля Марата. Под кирками летели камни, а каменщики пели: «К оружию, граждане! Стройтесь в батальоны»...

1787-й год. Еще никто не думает о близкой буре, ни Мария-Антуанетта, которая порой хмурит прелестный лоб над некоторыми финансовыми затруднениями, среди буколики Малого Трианона, среди коз, поклонников, париков, министров, ни Максимилиан де Робеспьер, который в аррасском суде неудачно обслуживает захолустных сутяг. В это время он еще роялист, роялисты еще мечтают о «Природной Республике» нежного Жан-Жака Руссо, народ молчит, поэты пишут элегии, и доктор Жозеф Гильотин, не помышляя о своем бессмертном изобретении, ставит банки чересчур полнокровным клиентам.

Потом об этих временах будут говорить как о потерянном рае: «Кто не жил до революции, тот не знал сладости жизни». Гракх Бабеф этого не скажет. Он только что пришел домой. Жена ждет: «Достал?» — «Нет, не достал...»

В доме ни су. Кредиторы грозят описью. Дети плачут, и жена Бабефа, терпеливая, как земля Пикардии, молчит, крепится. Это верная подруга, простая женщина, бывшая служанка графини де Домери. Она варит чечевичный суп. Бабеф еще не Трибун народа — он только мелкий землемер. Он даже не Гракх, его еще зовут Франсуа. Правда, он читает энциклопедистов, но когда он приходит к богатым помещикам, они его не пускают дальше лакейской. Бабеф самолюбив. К тому же он еще не Гракх — он только Франсуа. И Бабеф краснеет от обиды.

Чем он занят? Архивы, справки, утерянные права, дарственные записи, спорные полосы, родословные... Феодалы Пикардии алчны и скупы. Франсуа Бабеф, агроном, дипломированный «комиссар поместий», чья контора находится в городишке Руа, должен зорко охранять их права; чечевица не дается даром.

Взгляните на квартал Сен-Жиль, где помещается эта далеко не пышная контора. Какая нищета кругом! Деревянные домишки — они все покосились. Соломенные крыши с прорехами. Внутри темно — нет окон, вместо окон дверь. Земляной пол; грязь, зловоние. Нечистоты здесь же, в яме. Со стен течет. На всю семью одна комната и одна кровать. Свечи — роскошь, мясо — пиршество, сладкие оладьи — двенадесятый праздник. Плачут здесь только невесты на свадьбах,

а прихорашиваются раз в жизни — умирая, когда юкре звенит дарохранительницей.

Пикардия или Артуа не знают ни солнца Прованса, ни южной лени. Здесь сугубо тяжела рука владельца необъятных поместий. Нищета батрака или ремесленника здесь лишена южной живописности. Скоро подымется буря. Юг пошлет в Париж благородных мечтателей, сибаритов, мучеников и болтунов. Сыны сумрачного севера станут ревпителями равенства, сторонниками гильотины. Это будут жестокие человеколюбцы, пуритане крови: Максимилиан Робеспьер, Леба, Жозеф Лебон. Это будет Гракх Бабеф, ныне ничтожный землемер. Не раз потом «трибун народа», чахлый и стойкий, среди приступов болезни живя верой и пилюлями, вспомнит эти лачуги, смрад, молчаливое горе квартала Сен-Жиль.

Вспомнит он и свое нерадостное детство: отца, бывшего майора в опале, который, после воинских доблестей, боев, наград, после милостей австрийского императора и собачьей жизни затравленного дезертира, должен был на старости, ради нескольких су, рыть рвы Сен-Кентена, как простой землекоп. В праздник отец надевал пышный мундир, который берег пуще глаза, шляпу, расшитую золотыми галунами, подвешивал огромную саблю. Он сидел и улыбался. Он был землекопом, но считал себя знатным и богатым. Он был горд, как может быть горд только кастильский нищий. Это он учил маленького Франсуа: где уж здесь думать о школе! Он учил его латыни, математике, немецкому языку. Он учил его в долгие вечера, когда не было ни чечевицы, ни свечи, но только лянляые галуны и звезды, что человек должен мечтать и упорствовать. Многому научил будущего «трибуна народа» этот старый чудак.

Вспомнит Бабеф и свою мать: день и ночь она пряла, ткала. У нее болели глаза от пряжи, и сердце — от жизни. Она показывала маленькому Франсуа старую квашню: «Вот это твоя колыбель»... Франсуа был хорошей нянькой: он смотрел за младшими братьями.

Потом он стал писцом у землемера. Хозяин кричал на мальчика, но хозяйке нравились его пепельные кудри, и она влетала в них ленты. Перо маленького писца терпеливо скрипело. Потом Франсуа стал взрослым. Теперь у него самого дети. Их надо кормить. «Достал?..» — «Нет, не достал...» Грустная жизнь в глухом городке, обывковенная жизнь! Только фанта-

зия и гордость отличают его от других землемеров: покойный майор по ним узнал бы своего сына.

Не одной архивной пылью занят молодой Бабеф. Все свободное от работы время проводит он за чтением. Кто знает, что разжигает его бессонницу: благородные мечтания или только самолюбие одаренного бедняка? Он читает Мальби и Дидро, но его любимый автор, конечно же, Жан-Жак Руссо. Он даже назвал своего сына Эмилем. Забываясь над нотариальными ведомостями, он повторяет длинные цитаты из «Общественного договора». Притом он не только читает, он много думает, он кое-что уже надумал. Скоро своими мечтаниями он испугает всех высших магистров Французской республики. Пока что о них знает только секретарь Аррасской академии господин Дюбуа де Фоссе.

Дюбуа де Фоссе живет не в Руа, а в Аррасе. Но и в Аррасе жизнь скучна, все кругом говорят только о тяжбах, о маринадах, о подстреленных фазанах, о наглости мелких воришек. А Дюбуа де Фоссе любит философию, изящную словесность, филантропические мечты, стихи Парни и Дюси. Как и землемер из Руа, он любит великого женева. Здесь ему не с кем поговорить. Аррасская академия ставит на всеобщее обсуждение различные проблемы. Например: «Надлежит ли уменьшить число дорог в окрестностях Арраса, дабы расширить оставшиеся и обсадить их деревьями?» В Руа молодой фантазер рад любому случаю, чтобы высказаться, да и выдвинуться. Бабеф пишет секретарю академии. Дюбуа де Фоссе отвечает пространно, даже восторженно. Так начинается переписка: об экономике и о поэзии, о новом социальном устройении и об античных образах, чересчур грубых для чувствительных дам.

«Какие еще вопросы достойны публичного внимания?» — спрашивает Дюбуа де Фоссе. Бабеф не колеблется. Он тотчас отвечает: «Выяснить, каково будет устройство общества, в котором воцарится совершенная справедливость, в котором земля не будет никому принадлежать, сделавшись народным достоянием, да и все будет общим, вплоть до продуктов различных ремесел...»

Дюбуа де Фоссе хорошо знает философов своего века. Потом в Аррасе так скучно!.. Он не смущен любознательностью загадочного корреспондента. Нет, он сам охотно описывает фантастическую республику: все мужчины и женщины работают для государства, а государство их кормит (завтраки и

обеда), вещи тоже никому не принадлежат, тюрьмы, конечно, уничтожены, полная свобода совести,— словом, рай на земле.

Бедный господин Дюбуа де Фоссе, как беспечно, со многими другими, раздувает он костер, на котором суждено сгореть и сочинения Руссо в шагреневых переплетах, и академии Арраса, и всей легкомысленной жизни ленивых мечтателей или остроумных простаков! Пройдет лет шесть-семь, в Аррас приедет Жозеф Лебон. Он тоже будет говорить о новом обществе, скрепляя каждую фразу смертными приговорами. Что скажет тогда гражданин Дюбуа де Фоссе?.. Впрочем, ученый секретарь академии не ясновидец.

Поболтав о новой республике, он быстро переходит к более реальным темам. Теперь он мечтает о едином законодательстве для всех провинций Франции: вот идеал! Но Бабеф возражает: «Разве уничтожат законы преступное неравенство? Останутся голодные и больные дети рядом с пресыщенным всем миллионером». Дюбуа де Фоссе пробует уклониться от спора. Он пишет об исторических трудах г. Девийена и о стихах г. Олуа. Он увлекается магнетизмом и аэростатами. Он задает Бабефу глубоко философские вопросы: «Почему негры черные?» Он пишет об этом так же, как писал о республике равных: все вопросы хороши, если на них можно остроумно ответить. Корреспондент из Руа, однако, продолжает настаивать: а равенство? Тогда Дюбуа де Фоссе хмурится: но ведь это только грезы просвещенных умов! Это прежде всего неосуществимо...

Сейчас Бабеф ему ответит. Он грустен и молчалив. Он не достал сегодня денег. Что скажет булочник?.. Жена рассказывает:

— Ты знаешь, что случилось со вдовой Эрбо? Мне рассказала Луиза... Она сжала два стога овса на господском поле. Ее за это приговорили к порке. А потом вышлют из Франции. Что же будет с детьми...

Бабеф становится еще грустней. Он ничего не говорит жене. Он обдумывает ответ господину Дюбуа де Фоссе. Он забывает, что это праздная переписка, что секретарь академии благожелательно прочтет послание из Руа, усмехнется дерзкой мысли и спрячет листок в секретер: скучно в Аррасе!.. Сейчас Бабефу кажется, что его письмо способно переделать мир. Ему двадцать семь лет, но он наивен, как его маленький Эмиль. Он повторяет вслух:

— Надо, чтобы с королей слетали короны!..

Жена испуганно всплескивает руками:

— Что ты говоришь, Франсуа?..

Она хорошо помнит виселицу на главной площади. Это был несчастный кожевник. Он как-то сказал в кабаке, выпив лишнюю рюмку: «Можно сдохнуть от этих налогов! С кого дерут? С богачей? С нас. За соль — плати. За вино — плати. Вот подождите, мы с вами расквитаемся!..» Он висел маленький, черный, худой, как птица. «Корона»... «Король». Разве можно говорить такие слова?..

Бабеф усмехается. Он встает. Глаза его горят жестким огнем. Он говорит сбивчиво, запинаясь, но с таким жаром, как будто перед ним не перепуганная жена, а народ всех провинций королевства.

— Пусть!.. Значит, так надо... Когда отец умирал, он звал меня. Он сказал: «Всю жизнь я читал Плутарха. Эту книгу я тебе завещаю. Я читал ее в горе и в радости. Выбери среди мужей древности достойного подражания. Много великих. Но не забывай о народе... Сердце подскажет тебе путь. Все достойны. Я хочу, однако, чтобы ты пошел по стопам одного. Это Кай Гракх. Он погиб, но не изменил. Нет выше удела, чем такая смерть, смерть за всеобщее благоденствие. Поклянись мне на этой шпаге, что ты не отступишь, не предашь народа...» Я поклялся...

Голос Бабефа глух, в нем горе и страсть. Скорей всего, помережились ему и напуганности майора, и Плутарх среди агонии, и клятва на шпаге. Таков человек: то, что он сказал, тотчас становится реальностью. Если он и не дал клятвы отцу, он дает ее сейчас, дает себе, и он не изменит.

Он вытирает лоб. Немного успокоившись, он снова садится за стол. Перо торопливо скачет. Он пишет господину Дюбуа де Фоссе: «Для того чтобы этого достигнуть, нужны великие потрясения и великая революция...»

3

— Бастилия пала!..

Шум дошел до комнаты Бабефа. Он заставил его выбежать на улицу. Не только его — в этот вечер весь Руа был на улицах. Старики подозрительно оглядывались: где же господин комендант королевских драгун?.. Молодые люди громко смеялись. Они даже кричали «да здравствует нация!», как будто

Руа — это Париж, пугая криками кур и старух. Куры презабавно взлетали, а старушки плакали.

Бедняки квартала Сен-Жиль любили Бабефа. Правда, они не читали его писем Дюбуа де Фоссе, но они хорошо знали: «Бабеф наш, Бабеф не выдаст!» Когда он вышел из дому, его тотчас окружили соседи. Они улыбались блаженно. Один (это был Леден, рыжий сыровар) обнял Бабефа:

— Бастилия пала!

Тогда слезы показались на глазах Бабефа: то, о чем писал он скептическому секретарю Аррасской академии, начинает сбываться.

В этот день на многих глазах были слезы умиления. Слова «Бастилия пала» стали сразу торжественными и громкими, как эпическая поэма. Ничтожная стычка с полуживыми от страха инвалидами, осада, при которой заодно с Бастилией пали винные погреба, добыча в виде пустого каземата, белый флаг, немедленно выкинутый далеко не отчаянными защитниками тюрьмы, голова маркиза де Лонэ на пике — все это могло бы остаться случайной перестрелкой, мелким эпизодом, но стало великой датой, взятием неприступной крепости, героическим штурмом, бескорыстным восторгом всей Франции. Ведь ни любовники, ни народы не могут жить без мифов.

У Бабефа теперь одна мысль: в Париж! С трудом одалживает он несколько монет на дорогу. Его провожают завистливые и сострадательные взоры обитателей Руа: «Куда он едет? В Париж? Но ведь в Париже революция! Лучше бы переждать месяц-другой». Да, в Руа все уверены, что к осени революция кончится: Бастилия уже взята, Неккер вышел в отставку, добрый король уменьшит налоги, и тогда все образуется.

Бабеф умеет думать, и когда он садится в дилижанс, его охватывает волнение: позади жизнь, бедная, грустная, но мирная, жена, дети, книги, проекты «Истории Пикардии», письменный стол. А что впереди?.. Париж, революция, история...

Бабеф приехал в знойный июльский вечер. На улицах толпились встревоженные люди. Все читали листки, кричали, спорили с друзьями, с прохожими, даже со стенами. Все хотели наговориться всласть после долгих лет молчания. Бабеф остановился в гостинице возле площади Грев. На дверях было написано: «Дают ночлег конным и пешим». Он хотел уснуть, но не мог. Внизу пили вино и пели, пели новые страшные песни на мотив церковных литаний: «Месть преступни-

кам! Мечь притеснителям»!.. Было черно и душно. Потом разразилась гроза. Но даже она не смогла разогнать народа. Удары грома перемежались с грохотом и с заунывным ревом: «Мечь!..»

Ночью Бабеф слышал революцию. На следующий день он ее увидел. Он увидел не кресла Учредительного собрания, не Лафайета или Мирабо, не мечтателей, не вождей, не багальоны повстанцев. Он увидел ржавый железный фонарь на углу площадки Грев и улицы Баннери, обыкновенный фонарь возле мелочной лавки, гордо именованной «Королевским уголком». В лавочке торговали свечами, кофе, сахаром и мылом, а возле лавочки не редела толпа. Здесь народ судил, и здесь он пел — под ржавым фонарем.

Бабеф стоит, прижавшись к стене. На лице его недоумение. Ведь он еще новичок... Он видит, как толпа тащит к фонарю дряхлого старика. Тот упирается, молит. На вид ему лет семьдесят, если не восемьдесят.

— Кто это?

Мальчишка с пренебрежением оглядывает Бабефа:

— Вы не знаете, кто это? Это Фулон. Подлец! Он говорил, что заставит нас жрать траву, как баранов...

Фулона притащили к фонарю. Какие-то люди пробуют говорить:

— Обождите! Пусть его судят...

Но толпа рычит:

— Вы что же — в стачке с негодями?..

Вид фонаря охлаждает человеколюбие. Лафайет уходит. А толпа кричит Фулону:

— Становись на колени! Проси прощенья!

Старик падает на землю. Он визжит:

— Простите меня! Посадите в тюрьму! Я ведь сам скоро умру...

Но ржавый фонарь ждет. На шее Фулона — веревка. Несколькo судорожных прыжков, и все кончено. Толпа, однако, не хочет успокоиться. Кто-то принес топор. Голову Фулона отрубают. В рот засовывают клок сена. Тогда Бабеф говорит вслух:

— Страшно!..

Кругом гогочут. «Страшно? Нет, весело!!!» Здесь никто не поймет Бабефа. Все смеются и поют: «На фонарь аристократов!»... Одежду Фулона разрывают, дерутся из-за клочков:



говорят, приносит счастье. Голову сажают на пику. Сено в крови.

— Пусть жрет траву!..

Этот день Бабеф проводит, как во сне: он хочет убежать от клока сена и не может. Он идет с другими, идет молча, ни о чем не думая, тяжело дыша. Теперь две головы: из Компьена притащили зятя Фулона. Тело его изрубили: кровь, пыль, барабанный бой, песни. Весь Париж высыпал на улицы: «Вот умора!.. Смотрите, и зять и тесть на пиках».

— Что, вкусно, старина?

— Мычи, баран! Ммме...

Газетчики выкрикивают: «Замечательное произведение Демулена. Речь фонаря к парижанам!» Берут нарасхват. Здорово написано!.. Ржавый фонарь, конечно, не умеет разговаривать. За него говорит молодой журналист Камилл Демулен, и парижане хорошо понимают язык фонаря. Бабеф тоже читает не отрываясь: бойкое перо!.. С воодушевлением он восклицает:

— Вот что значит свобода нации — теперь каждый может говорить все, что ему вздумается!..

Перед ним, однако, пика, а на пике голова бывшего контролера финансов Фулона. Изо рта торчит сено. Бабеф вспоминает, как старик кричал: «Я ведь сам скоро умру...» А толпа веселится, не умолкают барабаны. Где он? Это улица Сан-Мартен. Уже смеркается. Сколько часов бродит он по городу?.. Страшно! И все же хорошо! Но зачем эти головы?.. Кругом танцуют, пьют вино, поют. Парижане не хотят философствовать. Как он одинок среди сотен тысяч людей! Как он одинок глаз на глаз со столь долгожданной революцией!

Измученный сомнениями, ходьбой, шумом, всеми делами этого первого парижского дня, Бабеф возвращается в гостиницу. Там он берет перо. Он напишет жене. Конечно, она не получила образования. Она не знает истории Рима. Она даже не читала Руссо. Эта бывшая служанка едва-едва может написать мужу несколько простых задушевных слов. Но жена поймет его: ведь она дочь народа. А у народа злые слова и грубый голос, по у него большое сердце. Он рассказывает жене о всем виденном: «Двести тысяч человек глядели, ругали мертвецов и радовались... О, какую боль причиняла мне эта радость! Я был и удовлетворен и подавлен. Это — жестокость...»

Здесь он кладет перо. Он ходит по комнате из угла в угол. Перед ним вдова Эрбо, засеченная плетью: она жала овес

на господском поле, кожевник Морис — виселица: он кого-то обругал в кабаке, шапочник Мутье, которому отрубили руку, — он посмел охотиться в лесу маркиза; перед ним виселица, палач, кнут, топор, кровь, столько крови!..

Как бы не захлебнулась в ней вся страна: кровь ведь никогда не высыхает, она только прячется под землю, а потом вырывается наружу, она сводит людей с ума.

Бабеф пишет: «Пытки, четвертование, колесо, дыбы, костры, плети, виселица, сонмы палачей развратили нас. Правители, вместо того чтобы просвещать, сделали нас дикарями, ибо они сами дикари. Они пожинают и пожнут то, что посеяли. Ведь за этим, бедная моя жена, последует дальнейшее, еще более страшное! Мы теперь только в начале...»

Уснул Париж: все устали после плясок и песен. Под ржавым фонарем целуются влюбленные. Днем они пили со всеми и со всеми пели: «Мечь!» Теперь он говорит ей:

— Мы поженимся после дня всех святых, когда это кончится...

Сколько же может длиться революция? Месяц, два, три... Так думает народ, так думает, засыпая, король, который, услышав об убийстве Фулона, приуныл, так думает даже «фонарный прокурор» Камилл Демулен. Самые недоверчивые или самые горячие шепчут: говорят, что еще прикончат тридцать душ, тогда-то все кончится...

А Бабеф до утра бегаёт из угла в угол, и в голове его одно: это только начало!..

Влюбленные давно пошли спать. Пусто теперь под ржавым фонарем.

4

Та ночь, когда Бабеф писал о своей встрече с революцией, была последней человеческой ночью перед годами суматохи, пафоса, ненависти, героизма и позы, последней ночью мечтателя, землемера, мужа, отца, Франсуа Бабефа. Все завертелось, вплоть до имен. Для начала он стал «Камиллом»: добродетели Рима были в моде. «Камилл» — что может быть лучше для первых надежд и гражданского согласия? Много трудней было выбрать профессию. Уничтожив феодальные привилегии, революция, конечно, осчастливила патриота Бабефа, но дипломированный

«комиссар поместий» оказался не у дел. Впрочем, Бабеф не унывал. Он все переиспробовал. Кто же в такие времена занимается своим делом? Разве что землепашцы и палачи. Мясник Лежандр стал Солоном, епископ Гобель вождем безбожников, а принц Орлеанский яростным республиканцем.

Совместно с неким Одифером Бабеф берет патент на новое изобретение «тригонометрический графометр». Не удалось? Что же, он становится памфлетистом. Граф Мирабо злит Бабефа: он слишком красноречив. Как все наивные люди, Бабеф неожиданно подозрителен. Он выпускает брошюру против героя дья. Это гражданский долг, и это профессия — должен же человек чем-нибудь зарабатывать хлеб! Но, увы, памфлет не продается. Слишком уж много памфлетов, парижане ими объелись. Типографу пришлось, конечно, уплатить. Мирабо уцелел, а долги Бабефа возросли. Впрочем, что касается Мирабо, ненависть Бабефа быстро погасла. Проходит месяц-другой — и памфлетист просит аудиенции у графа: провинциалу нужна поддержка.

Бабеф пишет книгу «Вечный кадастр». В ней немало дерзких планов. Книга, однако, лежит — нет охотников ее купить. А в Руа семья. Вот Бабеф с трудом перехватил золотой. Он тотчас же шлет жене шесть франков. Среди памфлетов, планов, графометров, газет он не перестает думать о своих детях. Он пишет сыну: «Здравствуй, мой маленький товарищ! Я тебе купил палку. Очень красивую. Ты будешь мне ее иногда давать? Если бы ты знал, какая она красивая! Вот погляди». И гражданин «Камилл» пробует нарисовать палочку, выходит, увы, кочерга. Он подписывается: «твой бродяга-отец Бабеф». Он вспоминает в письме жене все те нежные прозвища, которыми они обменивались с сыном: «бродяжка», «товарищ», «босячок», «чертыга», «приятель».

Но даже самые нежные слова — не хлеб. Наконец-то находит он занятие: он составляет письма для г. де Тура. Он шлет жене деньги. Он покупает ей подарок за сорок восемь су — «патриотическую табакерку». Но г. де Тур вскоре расстается с Бабефом. Хотя ученые хвалят «Кадастр», книга все же не продается. Это первый год революции — время быстрых восхождений еще не настало. После трех месяцев парижской лихорадки скрепя сердце Бабеф возвращается в Руа.

Конечно, Руа не Париж, и пылкому гражданину Камиллу здесь куда легче выдвинуться. Он начинает с налогов на соль

и на напитки. «Эти налоги бьют по бедноте: они противны идее гражданского равенства». Бабеф выпускает листовку. Повсюду он обличает муниципальные власти — на улицах, в кабаках, в лачугах Сен-Жюлия. Население волнуется: налоги ему ненавистней Бастилии. Революция готова стать личным делом каждого. На заседаниях муниципалитета речь теперь идет об одном: как бы убрать Бабефа?.. Особенно старается мэр города господин Лонгекан. Он шепчет в церкви влиятельным прихожанам: «Этот Бабеф опасен. Он может всех перекусать, как бешеная собака...» Мэр, что ни день, пишет в Париж. Папка с доносами растет. Так Бабеф впервые знакомится с тюремными нарами. Его везут в Париж. Он в тюрьме Консьержери. Кто вступится за Бабефа? Бедняки из квартала Сен-Жиль? Но они ведь не умеют даже писать. Господин Лонгекан облегченно вздыхает: «Пусть похлебают баланду!.. Из острога не так-то легко выбраться».

Господин Лонгекан забывает об одном: в Париже как-никак революция. В Париже живет господин Марат. Каждый номер «Друга народа» — приговор, хоть Марат и прячется от полиции. Бабеф просидел два месяца. В «Друге народа» Марат потребовал освобождения пикардского патриота, и Бабефа тотчас же выпустили. Возвратясь в Руа, он больше не колебался, какую профессию выбрать. Вот что значит газета!.. Надо здесь, в Пикардии, охранять революцию, как охраняет ее в Париже гражданин Марат!

В соседнем городке, в Нуайоне, жил типограф Девен. Он глубоко уважал Бабефа. Он согласился издавать еженедельную газету «Пикардский корреспондент»: Там печатались постановления Национального собрания, объявления, а также философские статьи Бабефа, в которых тот беседовал с тенью Ликурга. Крохотный листок, полный провинциальной риторики и перепечаток. Но Лонгекан, читая его, багровел от злости: какая наглость! Грамотеи читали газету вслух во всех кабаках Сен-Жюлия. Их жадно слушали. Ведь это была первая свободная газета Пикардии. Бабеф продолжал обличать налоговую систему, он высмеивал чванство местной знати, самодурство администраторов. Среди абстрактных размышлений он не забывал о нищете обездоленных. При газете открылось «Бюро консультаций»: обиженные шли к Бабефу за советом.

Теперь Лонгекан обвинял Бабефа в призывах к грабежу: ведь Бабеф за «аграрный закон», за раздел земель. Лонгекан

снова добился приказа об аресте. На этот раз Бабеф ознакомился с другой тюрьмой Парижа — Шатле.

Он просидел больше месяца. Он вернулся в Руа, и он, разумеется, не остепенился. Квартал Сен-Жиль выбрал его в коммунальный совет, но Лонгекану удалось отменить выборы: оказывается, освобождение Бабефа было условным, и он не может занимать выборных должностей.

Бабеф продолжал бороться. Городок роптал. Пришлось вызвать две сотни драгун. Народ кричал: «Долой привилегии! Да здравствует нация!» Народ шел за Бабефом.

Лонгекан снова арестовывает Бабефа. Но времена не те — трудно приходится мэру. В чем обвинить бы Бабефа?.. Он ничего не может придумать. Бабефа освобождают. Он уже освоился с революцией: привык к неожиданным арестам и к столь же неожиданной свободе. В тюрьме он как дома.

Руа — захолустье, и когда Бабефа привозят в Шатле, парижане презрительно поглядывают на наивного провинциала: «Налоги на соль — подумаешь!.. две сотни кавалеристов». Но у Бабефа хорошее зрение: когда Франция еще восхищается народолюбием короля, он стоит за республику. Когда всем кажется, что суть революции в свободе совести или слова, он восклицает: «Мало свергнуть королей — это еще не равенство. Надо обеспечить всем равное образование и право на труд». Бабеф открыто выступает за раздел земель. Избирательная урна кажется священным алтарем, а Бабеф подсмеивается: революцию делают не подсчетом голосов, но разумом, гражданским мужеством и бескорытием.

Бабеф хорошо видит будущее, а в том, что окрест, он не умеет разобраться. Он отнюдь не политик. Он иногда философ, иногда пророк; подобно всем людям, которые обживают историю, как дом, он страдает дальновзоркостью. Лонгекан или муниципалитет Руа в его глазах становятся врагами Франции. Все силы он кладет на борьбу с унылыми провинциалами, которые преданы ломберному сукну или анисовой настойке.

Выбранный наконец-то на пост администратора департамента Соммы, он работает не покладая рук. Враги смеются, и что ни шаг Бабеф наталкивается на противодействие. Революция переживает смутные часы, она уже расточила все братские поцелуи и еще не решается перейти к гильотине. На Бабефа насаждают. Его подозрительность растет. Его наивность не

исчезает. Он открывает заговор: контрреволюционеры хотят сдать «союзникам» Перонну. Он борется с голодом: роялисты создают искусственно голод. Повсюду враги! Повсюду заговоры!

Бабеф порой патетичен, порой смешон. Весь город говорит о том, как гражданин Камилл объявил войну бродячей труппе актеров. Оказывается, они играли «Французского героя» и «Постоялый двор», а это роялистические пьесы! Бабеф возмущен. Он кричит актерам: «Во имя нового быта, во имя нового воспитания, я протестую! Я обвиняю вас! Я призываю в свидетели весь зрительный зал». Амьенцы смеются: ведь это еще 92-й год. Обвиняемые могут спокойно гримироваться. Театральная критика еще не перешла в ведение революционных трибуналов.

Многие, однако, не только смеются. Враги Бабефа хорошо знают, что голова его занята не комедиями. Раздел земель, борьба с роскошью, идея равенства — вот о чем думает чересчур ревностный администратор. Врагов у Бабефа много. Они сильны. Его переводят из Амьена в Мондидье. Он и там не унимается. В Париже он был бы одним из ораторов Клуба якобинцев, может быть, судьей, журналистом или комиссаром, там он был бы на своем месте. В тихом городишке Пикардии он становится пугалом: ведь он с ног до головы переполнен революцией. Он только и думает, что о ней. Его сын хворает корью. Он пишет сыну: «Тебе лучше? Да здравствует республика! Твой папа». Это не поза глупого комедианта, это признание одержимого. Узнав о казни Людовика, в Мондидье и в Руа люди крестятся, пугливо озираются, плачут. Не то чтоб они очень любили Капета, нет, они его вовсе не любили. Но как же можно отрезать голову королю?.. Среди пугливого шепота раздается голос Бабефа: «Браво, Париж! Смерть тирану!» Бабеф протестует против попустительства властей, которые до сих пор не конфисковали земель эмигрантов. Бабеф сжигает на костре дворянские гербы и королевские изображения.

Ряды врагов полнятся. Во главе их все тот же Лонгекан. Они только ждут, к чему бы придраться. Ведь нельзя же теперь арестовать человека за республиканские идеи. Враги следят за каждым шагом Бабефа. Он по-прежнему беден. Его нельзя обвинить ни во взяточничестве, ни в хищениях. Как же избавиться от этого неугомонного патриота?..

Бабеф сам пришел на помощь своим врагам. Он был доверчив и неосторожен. Он умел разбираться в судьбах республики, но не в канцелярских тонкостях. Однажды к нему пришел судья Делиля и попросил засвидетельствовать акт продажи фермы Фонтэн. На торгах он купил ферму за семьдесят шесть тысяч и тотчас уступил ее гражданину Левавассеру. Теперь дело с Левавассером не выходит, ферму берет некто Леклерк. Нужны подписи Бабефа и другого администратора, Жодуаня. Оба расписались. Не прошло и двух часов, как Лонгекан торжественно объявил, что Бабеф и Жодуань виновны в подлоге. Заподозренные немедленно изложили сущность дела. Но управление округа отрешило Бабефа от занимаемой должности. Дело было передано прокурору Мондидье.

Бабеф едет в Париж, чтобы там оправдаться. Он просит об одном: «Судите меня в Париже!» Он ведь не сомневается в приговоре пикардских судей. Но в Париже ему говорят: «Оставайтесь здесь, переждите»...

Бабеф остался в Париже. Суд в Амьене факт подкупа отверг — он оправдал и Делиля и прочих обвиняемых. Бабефа, однако, заочно приговорили к двадцати годам тюрьмы: в Амьене хорошо помнили горячего администратора. Лонгекан, бывший королевский прокурор, а теперь, разумеется, патриот и республиканец, наконец-то расквитался с Бабефом. Он не только прогнал его из Пикардии, он очернил его перед всеми: глядите, этот апостол равенства способен на самый банальный подлог — и все ради денег! Теперь он скрылся. Он кутит в Париже...

На самом деле Бабеф в Париже голодает. Затравленный, одинокий, тщетно ищет он какую-либо работу. Наконец гражданин Фурнье предлагает ему составить несколько писем. Бабеф сообщает жене: «Они обвиняют меня в подобной низости!.. Они говорят, что я продался. Пусть они придут полюбоваться на свою работу. Мои дети плачут — у них нет хлеба... Дорогая моя подруга, старайся спасти их! Еще несколько дней!.. Завтра я получу немного денег от гражданина Фурнье и сейчас же отошлю тебе...» Но, видно, Фурнье платил мало...

Стучат в дверь. У жены Бабефа опускаются руки: кредиторы! Булочник Данже требует тридцать ливров за хлеб, Клавье, ресторатор, за обеды, которые он отпускал ее мужу, требует двадцать шесть ливров четыре су. Обстановка Бабефов описана: «Кровать, два плохих матраса, один с шерстью пизкого

качества, другой с конским волосом, стол, маленький секретер, крашенный, с ящиками, шесть стульев, крытых темной соломой, теплое одеяло, фиолетовая занавеска из простой ткани». Вот и все. Жена Бабефа с детьми едет в Париж: умирать, так вместе!..

Помог Бабефу поэт, насмешник и чужак Сильвен Марешаль, маленькое, черное существо, заика, больной, — словом, человек, всячески обиженный природой и тем не менее в природу влюбленный, правда в условную поэтическую природу а-ля Жан-Жак Руссо. До революции он писал легкомысленные элегии, восторгался любовью пастушек и обличал коварство тиранов, за что познакомился с тюрьмой Сен-Лазар. Он был заправским богохульником, первым изобретателем республиканского календаря, грозой всех кюре. Он выдумывал новые системы социального распорядка, предлагал всеобщее упрощение и всемирную забастовку. А любил он предпочтительно акростихи, бабочек и большие семьи. Когда Бабеф с ним встретился, Марешаль редактировал газету «Парижские революции». Он дал Бабефу работу. Камилл мог бы теперь спокойно пожить. Он требовал, однако, пересмотра своего дела. Как всегда, он был прям и шумен. Вскоре по требованию прокурора Мондидье его арестовали.

Марешаль достаточно влиятелен, чтобы прийти на помощь своему новому другу. Он предлагает парижской полиции затребовать данные процесса. Прокурор Мондидье, разумеется, молчит. Тогда Бабефа выпускают на поруки. Но что ему свобода? Он уже не может жить вне диспутов, вне законопроектов, вне общественной суеты. Он хочет быть восстановленным в своих правах. Его назначают продовольственным администратором Парижа. Но Лонгекан трудился не даром: клевета жива. Хотя и заочно, Бабеф осужден. Не может же министр юстиции даже революционного правительства пройти мимо судебного приговора! Министр заявляет: если гражданин Бабеф осужден, он должен находиться в тюрьме. На этот раз Бабеф не ждет приказа об аресте. Он сам направляется в тюрьму. Оттуда он пишет длинное послание. Он разоблачает клеветников. В который раз он вынужден говорить о проклятой ферме, которую Делиля продал не Левассеру, а Леклерку! Он по рукам связан хитрыми измышлениями.

Кругом происходят необычайные события. Республика побеждает при Жемаппе. Она разбила врагов. Конвент перевоз-



глашает Декларацию прав человека. На площади Революции строят гильотину, и мясник Лежандр смеется: «Здесь мы будем чеканить новую монету». Аристократка убивает «Друга народа». Народ плачет. Народ танцует возле эшафота. Вожди теперь спорят. Они упрекают друг друга в измене. Вот уже пали головы Шомета, Клоутса, Геберта... Дантон? Дантон молчит. Наступает знойное лето. Кругом люди борются, умирают, а он, Бабеф, должен думать о ферме Фонтэн!..

Наконец просвет: заслушав рапорт о суде над Бабефом, Конвент отменяет приговор. Дело переходит в суд департамента Эны, а Бабефа отправляют в тюрьму Лана. Вопрос о жалобе какого-то осужденного патриота проходит незамеченным: «Дурак, он должен быть счастлив. Его обвиняют в подлоге? Да, если бы он был на свободе, его обвинили бы в контрреволюции». Гильотина работает без передышки. Всего несколько дней тому назад Париж ахнул, увидев в руке палача огромную голову Дантона. Какое кому дело до фермы Фонтэн и до друга сен-жильских бедняков?.. Идет крупная игра: «Неподкупный» борется с изменниками.

А Бабеф все сидит и сидит в тюрьме. Революцию он видит сквозь острожную решетку. Он видит не ее парадные залы — не декрет о бессмертии души, не улыбку красавца Сен-Жюста, не победы патриотов, не Робеспьера, который, сдувая с безукоризненного фрака пушинки и скрепляя на ходу приговоры, следует к всеобщему благоденствию, нет, Бабеф видит черный ход революции: нары, солому, слезы новичков, судороги приговоренных, телеги, объятья, ужас, агонию.

Может быть, не раз в эти душные летние дни, когда потные члены трибуналов во всей Франции трудятся не покладая рук, день и ночь подписывая смертные приговоры, когда среди высоких замыслов и среди липкой крови изнемогают оба — и Максимилиан Робеспьер и французский народ, когда революция, как солнце в зените, невыносимо ярка, когда она готова сгореть, изойти, надломиться, когда слишком много гордости, пифоса и преступлений, может быть в эти душные ночи 94-го года не раз Бабеф вспоминает другую ночь, столь же душную, голову Фулона, дрожь при виде первой крови, жесткую зарю необычайного дня.

Пять лет тому назад или сто?.. Давно! В те времена, когда люди еще улыбались...

Бабефа освободили тридцатого мессидора: трибунал департамента Эны не нашел состава преступления. Бабеф хотел тотчас уехать в Париж. Задержала его болезнь сына. Таким образом, девятого термидора он был в Лане. Как вся Франция, узнав о падении Робеспьера, он наивно воскликнул: «Кромвель погиб! Революция продолжается!» Он слишком долго дышал тяжелым воздухом тюремных камер, чтобы не обрадоваться речам о свободе. Легко писать «истребим трусливых, недостойных, колеблющихся», много труднее видеть что ли день телеги, груженные человеческим мясом, слышать на соседних нарах визг, плач, бред приговоренных. Опыт сердца оказался сильнее политической стратегии. Бабеф был горяч, вспыльчив и добр. Он не был героем ложноклассических трагедий в духе своего времени. Он был живым человеком. Он возненавидел доносы, животный страх, гильотину. Когда в Париже монтаньяры, да, да, свои монтаньяры, не предатели из Жиронды, не роялисты, свалив Робеспьера, провозгласили: «Довольно крови!» — Бабеф горячо зааплодировал.

Разве он знал, кому аплодирует!.. Громкие слова посредственных риториков потрясли его до слез. Он поверил бывшему дворецкому Тальену, убийце и грабителю, который, накрытый Робеспьером с поличным, спасая свою шкуру, бряцал в Конвенте игрушечным кинжалом. Он поверил развратному Баррасу, болтуну Фрерону, лисе Фуше. Бескорыстный друг Фуше — как же ему не верить?.. Он поверил шайке трусливых разбойников, которые боялись Робеспьера не как тирана, не как Кромвеля, но как полицейского, готового схватить их за шиворот и вытряхнуть из карманов фамильные драгоценности, снятые с живых или с мертвых аристократов. Эти грабители умели изысканно изъясняться. Им поверила Франция. Им поверил и Бабеф.

В 89-м году все думали, что революция кончится через несколько недель. Теперь, проходя мимо раненого Робеспьера, члены Конвента кричали: «Да здравствует Революция!..» Теперь все были уверены, что революция бессмертна. Несколько голов покатались?.. Что ж, после Геберта — Дантон, после Дантона — Робеспьер. Это только мелкая хозяйственная перестановка. Новые правители отнюдь не думали о конце революции.

Они искренне ее любили — одни за «Декларацию прав», другие — за реквизированные бриллианты.

Десятого термидора гравер Моклер на улице Труа Канет перерезал себе горло бритвой. Он оставил записку: «Пистолет дал осечку. Попробую снова... Жить я не хочу — вчера революция погибла...» Патриоты смеялись над глупым гравером. Они говорили: «Революция теперь только начинается...» О Робеспьере рассказывали диковинные небылицы, все верили им, потому что хотели верить. Оказывается, «Неподкупный» хотел жениться на дочери Людовика XVI, тогда иностранные дворы его признали бы, как они признали российскую Екатерину... Народ, еще вчера обожавший Робеспьера, гоготал:

— Пусть теперь женится!..

— Позор узурпатору! Он хотел убить революцию!

Гравер с улицы Труа Канет не мог поспорить, он валялся в мертвецкой.

Бабеф приезжает в Париж. Он начинает понемногу осматриваться. Он еще верит и Фуше и Тальену, но все чаще на его лице тревога, брезгливость, негодование. Конечно, он против крови. Как ошибался Робеспьер, прибегая к террору! Страхом нельзя управлять. Подозрение охватывает Бабефа: Робеспьер хотел всеобщего благоденствия, Робеспьер был честным проповедником равенства. Может быть, он попросту думал уменьшить население республики, дабы обеспечить оставшимся процветание? Преступный проект! Не лучше ли всем сократиться? Спарта учит нас суровой экономии.

Бабеф пишет памфлет против виновника массовых казней в Нанте Карье: он потопил в Луаре много невинных. Термидорианцы рукоплещут Бабефу, и Бабеф недоверчиво оглядывается: кто его новые друзья?.. Уж не аристократы ли?.. Он продолжает: «Во многом, однако, Робеспьер был прав»... Здесь те, что аплодировали, возмущенно кричат: «Прав — этот тиран? Прав Кромвель?»...

Да, прав! Робеспьер хотел равенства. Кто боролся с преступной роскошью? «Неподкупный». Он знал, что опора революции — работники и землепашцы. Он положил начало новому законодательству, он пытался уничтожить бесполезное богатство и уродливую нищету. В этом Бабеф за Робеспьера.

Так происходит разрыв между термидорианцами и Бабефом. Начинается борьба. Бабеф выпускает газету «Свобода печати». Он открывает «Клуб избирателей». Там обсуждаются социаль-

ные законопроекты, вырабатываются петиции Конвенту. Реакция в стране растет. Эту реакцию, однако, еще зовут «революцией» и, решив закрыть Клуб якобинцев, поют «Карманьолу».

Бабеф меняет тон и меняет имена. Его газета теперь будет называться «Трибун народа». Это понятней. Он больше не Камилл: ведь Камилл хотел мира между патрициями и плебеями. Нет, теперь он Гракх — неистовый и непримиримый. После долгих лет прозябания, провинциальных интриг, борьбы с мэром Руа, после вынужденного бездействия на подмостки революции подымается новый актер. Герои давно гниют на кладбище Пикпюса. Трагедию догрызают жалкие дублеры: вместо Дантона витийствует Тальец, и бездарный Фрерон повторяет тирады Демулена. Устали и актеры и зрители. Но Гракх Бабеф полон огня. Для него революция только начинается. Он изумляет Париж душевным жаром, еще не растраченным в братоубийственной войне. Его имя, доселе известное только обитателям Руа да, пожалуй, тюремщикам десяти тюрем, сразу становится громким.

Тальен пробует приручить неистового Гракха, но тщетно. Бабеф отвечает: «Робеспьер несправедливо вами очернен». Одно отделяет Бабефа от Робеспьера — террор, гильотина, кровь. Но именно это — кровь, гильотина — роднит с Робеспьером термидорианцев. «Трибун народа» говорит: «Всеобщее благоденствие — не слова. Оно должно стать жизнью». И весь Париж читает газету Бабефа. Вот толпа франтоватых юношей. Они щеголяют длинными локонами и лорнетами. С ними дамы в белых париках: диковинная прическа, волосы собраны в чуб. Это — новая мода — в память казненных. Красотки подражают тем, кто шел на гильотину. Теперь это не опасно. Юноши читают листок. Что это? Да «Трибун народа»! Они негодуют:

— Охвостье Робеспьера! Гнездо якобинцев! О чем думает Конвент? Смерть Бабефу!

На набережной Сен-Огюстен рабочие читают тот же листок.

— Bravo, Бабеф! Хватай их за гриву!..

Рабочие ропщут. Цены растут, а хозяева уменьшают почасную плату. Бабеф правильно пишет: «Как же гражданин может жить на сто су?..»

Имя Бабефа у всех на устах. Термидорианцы испуганы. Не проходит и трех месяцев, как на трибуну Конвента подымается депутат Мерлен: «Некто Бабеф, приговоренный к тюрьме, осмелился поносить Конвент. Комитет общественного спасения

постановил арестовать Бабефа». Тальен улыбается. Его ждет, правда, разочарование: у «Трибуна народа» теперь немало друзей. Полицейские приходят с пустыми руками: «Бабеф скрылся».

Газета продолжает выходить. Она запрещена. Однако ее печатают. Ее продают. Ее покупают. С бедняками Парижа впервые говорят на понятном им языке. Правда, с первых дней революции им льстили. Из их бедности создали гражданскую добродетель. В честь голытьбы республиканский календарь четыре дня окрестил «санкюлотидами». Ведь без кварталов Сен-Антуан и Сен-Марсо трудно было делать историю. Кого видали на улицах четырнадцатого июля или десятого августа? Не журналистов и не адвокатов, нет, шапочников, грузчиков, столяров. Им говорили о Руссо, о бессмертии души, о братстве всех народов, о мартиникских невольниках, даже о революции в Китае. Их звали к подвигам или к мести. Они на все отзывались. Они душили беззащитных узников в сентябрьские дни и умирали, как герои, на границах республики. Теперь они смотрят — что дальше?.. Сто су в день? Хлеб всухомятку? На них лохмотья. В Конвенте не раз кричали: «Да здравствуют санкюлоты!» Но беднякам не дали ни коротких штанов, ни длинных. На улицах можно увидеть роскошные выезды, щеголей, откормленных перекупщиков. В окнах лавок снова часы, обсыпанные драгоценными камнями, ананасы, турецкие шали. А им что делать, так называемым «санкюлотам», — со славой защитников революции и с пятью франками за четырнадцать часов работы? Вот булочники попробовали было забастовать, но полиция силой загнала их в пекарни: они должны быть хорошими патриотами и честно работать. Того хочет республика. Но зачем же им тогда республика?..

И вот какой-то Бабеф говорит: «Их республика аристократическая и буржуазная, наша — народная и демократическая». Здесь много диковинных слов, но это здорово сказано!.. И рабочие прислушиваются.

Бабеф продолжает: «Равенство должно существовать не только на бумаге. Все имеют право на труд, и все должны трудиться. Бездельникам нет места в обществе. Государство обязано всем предоставить равное образование и равные блага жизни». Здесь рабочие кричат «браво, Бабеф!».

Молодые люди, те, что с локонами, всё наглеют. Они теперь избивают на улице прохожих: «Держите якобинцев!..» Их зовут

«молодчиками Фрерона». Они радуются, что уцелели в дни террора, но радуются они громко, навязчиво: то бьют статуи, то кидают в реку мастеровых, то просто кричат: «Довольно этого самого!..» Люди постарше, постепенней не бьют статуй, однако в душе они тоже думают: «Пора взяться за ум-разум». Всюду только и говорят, как бы наладить жизнь.

Термидорианцы у власти, и они, разумеется, хотят остаться у власти. Поэтому живые якобинцы проклинаят мертвых, и вчерашние монтаньяры униженно просят вчерашних жирондистов забыть «былые обиды»; обиды — это не слова, это всего-навсего десятки тысяч убитых. Что ни день устраивается «чистка»: всех заподозренных в былой симпатии к якобинцам увольняют со службы, арестовывают, ссылают в Кайену. «Чистку» проводят недавние якобинцы. Они надеются на дурную память и на хороший грим. Эти разбогатевшие на грабежах плебеи старательно учатся аристократическим манерам. Мясник Лежандр, прославившийся тем, что жаждал съесть бифштекс из мяса аристократа, теперь ухаживает за бывшими графинями. Тальен полирует ногти и носит веер. Фрерон для хорошего тона даже начал картовить. Он отнюдь не картовил, когда при расстрелах тулонцев орал: «На них жалко республиканского свинца! Колите-ка их штыками...»

Правящая чернь дрожит при каждом выстреле. Она боится и патриотов и шуанов. Она боится всех и всего. Супруга гражданина Тальена, гражданка Тереза Кабарюс, прежде работала со своим мужем в Бордо: он приговаривал к гильотине, а она за несколько лудиров добивалась помилования. Теперь в ее бударе решаются государственные дела. Когда туалеты наконец съедают бордоские барыши, она начинает подрабатывать на богатых поклонниках. Конвент занят ее умом и красотой. Это, видите ли, «богоматерь Термидора»! Так после Бурбонов, после Жиронды, после Робеспьера Францией правит ловкая потаскуха. Дальше, кажется, некуда идти, но все это еще называется «великой революцией», и над гостеприимной кроватью своей половины Тальен гордо восклицает: «Да здравствует свобода!»

Бабеф отвечает: «Свободы нет. Народ вами обманут. Террор не уничтожен, он перешел из одних рук в другие. В Конвенте только два рабочих депутата. На ткача Армонвиля напали вчера молодчики Фрерона за то, что он не хотел снять красного колпака. Они кричали: «Смерть якобинцам! Долой петушки гребешки!» Слесарь Пуант рассказал в Конвенте о нищете народа

и о позорной роскоши торговцев. Его не хотели слушать. Вы боитесь голоса народа. Жалкие плебеи, вы наслаждаетесь теперь новым для вас миром! Вы считаете за честь продажные объятия титулованных девок. Французы, глядите, вы снова подпали под власть шлюх!..»

Здесь гражданин Тальен не выдержал. Вся полиция была поставлена на ноги. В тот вечер, когда Тальма играл Нерона, а щеголи глумились над бюстом Марата, Тальен нервничал. Только поздно ночью, получив донесение полиции, он успокоился. Радостно крикнул он Терезе:

— Бабеф наконец-то попался!

Тереза деловито повела бровью:

— Смотри, чтоб его не выпустили...

6

Ничто не могло теперь смирить Бабефа. На первом же допросе он ответил: Имя? — Гракх. Возраст? — Тридцать четыре года. Профессия? — Трибун народа. Слов нет, сын эпохи, — когда любой базар превращался в форум, он был падок на громкие слова. Но он не лгал: вести за собой народ стало для него профессией, а с такой профессией, разумеется, труднее расстаться, нежели с вывеской уездного землемера.

Термидорианцы хотели похоронить Бабефа в тюрьме. Его отослали подальше от парижских предместий: в Аррас. Что же, тюремная камера стала генеральным штабом. Правда, он хворал — головные боли, сердечные припадки, ревматизм. Но он был бодр, даже весел. Привыкший к осторожной жизни, он не отчаивался: клочок неба, прогулка по земляному полу длинной камеры, вечером песни или страстные споры. Как все это ему знакомо!.. Он, кажется, забыл лесок возле Руа, куда уходил по праздникам с женой и сыном. Во всех писаниях исповедовал он страстную любовь к природе: город изуродовал и развратил людей. Но он никогда не жил глаз на глаз со столь вожделенной природой. Лачуги Сен-Жиля, десятки различных тюрем, тесные каморки, где приходилось прятаться от полиции, — вот его жизнь.

Пока Бабеф сидел в аррасской тюрьме Бодэ, на стенах Парижа появились анонимные листовки. В них парижане оповещались об аресте злоумышленника, самовольно называющего

себя «Гракхом», который осужден трибуналом к двадцати годам тюрьмы за подлог. Листовки написал Фрерон. Он хорошо знал, что Бабеф невинен, что приговор амьенского суда давно аннулирован, но он надеялся очернить Трибуна народа. На беду, он проболтался: «Бабеф арестован за призыв к восстанию и к насильственному роспуску Конвента»... Честность Бабефа была известна всем. Парижанам оставалось только посмеиваться над наглостью Фрерона, который теперь прокучивал во всех притонах «Пале-Эгалите» тулонские контрибуции.

А Бабеф работал. Он ухитрился составить в тюрьме очередной номер газеты. Он написал «Послание Трибуна народа гражданам Сен-Антуана и всем санкюлотам Парижа». Иногда силы оставляли его: он падал на нары без чувств. Как-то пришел к нему неизвестный гражданин:

— Я — офицер здоровья.

Бабеф приготовился к допросу, но неизвестный гражданин взял его руку и начал щупать пульс. «Доктор?» Бабеф расхохотался. Они не сумели ничего изменить, зато они придумали уйму новых названий. Лакеи теперь называются «доверенными лицами», сыщики «агентами власти», палачи — «исполнителями высоких приговоров».

— Значит, вы «офицер здоровья»? Ах, шутники!..

Доктор, будучи человеком осторожным, ничего не ответил. Он прописал Бабефу бальзам и пилюли.

В тюрьме было тесно и весело. Кто только тогда не сидел в тюрьме: воришки, патриоты, убийцы, священники из тех, что не помирились с республиканской властью, проститутки, роялисты, граждане чересчур умеренные и чересчур крайние, якобинцы, журналисты, фальшивомонетчики, шуаны, помещики, санкюлоты. Все это были такие же люди, как и те, что гуляли на воле; вернее всего сказать, что в тюрьме сидели неудачники.

Бабеф тотчас начинает спорить, убеждать, подбирает единомышленников. С ним вместе привезли из Парижа гражданина Лебуа, редактора газеты «Равенство». Но Лебуа недостаточно пылок. Он стоит за выжидание: нельзя без конца устраивать перевороты, народ устал. Лебуа уверяет, что беда не в Фрероне, не в Тальене, а в ограниченности человеческих сил: 93-й год не может повторяться ежегодно. Надо работать, постепенно проводить в жизнь высокие принципы революции. Бабеф усмехается: ждать? Ждать, пока скрытые роялисты не истребят всех



патриотов? Ждать, пока бедняки не вымрут с голоду? Нет, ждать преступно!

Итак, Лебуа не подходит. Тем паче, он бабник. В письме товарищу он по ошибке пишет вместо «дорогой» — «дорогая». Видно, он приучен к любовным цидулкам. На таких людей трудно положиться. Патриоты должны забыть обо всем, кроме борьбы за равенство.

Бабеф находит верного ученика, преданного друга, единомышленника. Это молодой гусар из Нарбонны. Ему всего двадцать четыре года. Он полон боевого задора. Зовут его Шарлем Жерменом. Это настоящий патриот. Он хоть молод и недурен собой, но думает не о женских сердцах, а о героях, воспетых Плутархом. Он сидит в другой аррасской тюрьме Провиданс. Оттуда он присылает элегию, обращенную «ко всем товарищам по несчастью»: «Опять коварство на земле царит. Так из отечества был изгнан Аристид, повержен Кассий, и Ликург сражен. Так под кинжалом падает Катон»... Стихи, правда, плохие, но ни перечень римских и греческих героев, ни хромающий кое-где размер не смущают Бабефа. Ведь сам Гракх пишет: «Дети Вулкана! Коварные пигмеи, рыскающие в Лемносе!» — это жаргон эпохи. Зато пылкость молодого гусара нравится Бабефу. Он шлет приветственное письмо из одной тюрьмы в другую. Дочка тюремщика служит им почтальоном. Жермен тотчас же отвечает: «Дорогой Гракх! Свобода не может погибнуть. Демократы должны объединиться. Я тебя обнимаю по-санкюлотски». Так начинается оживленная переписка между двумя патриотами, обреченными на бездействие.

Шарль Жермен не был ни философом, ни пророком, он был горячим, вспыльчивым и, пожалуй, чересчур одаренным для тех времен юношей. Он был притом южанином — быстрым на слово, неусидчивым, красноречивым. Говорил он замечательно, так что тюремщики и те развешивали уши. Он мог бы стать первосортным адвокатом, но его родители были бедны, и школы он не кончил. Он стал гусаром. Под республиканским флагом он дрался с австрийцами, читал итальянским санкюлотам «Декларацию прав», хвалил Робеспьера, гонялся за трофеями и выслужился в лейтенанты.

Как-то в одном из клубов он произнес чересчур зажигательную речь. Женщины в умилении обнимали его. Но времена были уже не те: на дворе стоял фруктидор, а фруктидор, как известно, следует за термидором. Красноречивому лейтенанту

пришлось выйти в отставку. Он приехал, конечно, в Париж: туда приезжали все провинциалы, жаждавшие славы, признания или же спасения республики. Горячий нрав и здесь подвел его. Как-то он попал в Конвент. Говорил Тальен, говорил вкрадчиво и льстиво, стараясь влюбить в себя возвращенных жирондистов. Рядом с Жерменом сидел франтик. Сразу было видно — шуан. Вот этот франтик крикнул: «Пока не раздавят охвостье Робеспьера, Франция не получит покоя!» Жермен цыкнул: «Тише, аристократ!» Тот ответил: «Теперь тебе не девяносто третий!»... Тогда Жермен вышел из себя. Он начал вопить: «Да здравствует девяносто третий! Вечная память Максимилиану!» Арестовали обоих. Шуана сразу выпустили, а Жермена отправили в Аррас. Там он мог с утра до ночи читать Плутарха и писать элегии. Легко догадаться, как он обрадовался письмам Бабефа. Не прошло и недели, как он уже торопит Гракха: «Веди нас, трибун!»

Друзья обмениваются не коротенькими записками, а объемистыми трактатами. Впервые Бабеф подробно и стройно излагает свою критику существующего распорядка. Его возмущают не детали, не низость того или иного термидорианца, даже не Конвент. Нет, он теперь смотрит глубже. Он пишет Жермену: «Надо отменить варварский закон капитала». Так рождаются первые проекты нового общества, основанного на равенстве. Пора действовать: «Мы довольно болтали!» Его послания, горячие и сухие, сводят с ума Жермена. Молодой гусар отвечает впопыхах. Сердце бьется, рука не успевает вывести слова: «Я готов, слышишь, я готов! Я уже говорил здесь с тремя надежными патриотами. Они все согласны войти в наш орден святого Равенства».

Жермен чист сердцем и страстен. Идеи Бабефа для него не политическая программа, а откровение. Он волнуется — готов ли он, Шарль Жермен, к столь высокому посвящению? Он вспоминает дни террора. Он видит перед собой кровь. Невольно он вздрагивает. Уныние тогда сменяет недавнюю приподнятость. Нужно ли это?.. Хочет ли народ столько крови? Но в двадцать четыре года сомненья длятся не долго. Вот он снова улыбается. Он рассказывает Бабефу о своей душевной борьбе, конечно ссылаясь при этом на мужей древности: «Ведь Брут перед тем, как пронзить кивжалом Цезаря, испытывал томление смутное и неопределенное»... Он даже радуется бессоннице, тревоге, раздору: «Это душа в последнем блуждании крепнет, чтобы вы-

рваться наконец из мира условностей». К политическим битвам Жермен готовится, как готовились первые христиане к мученическому концу. Этот человек сейчас воистину счастлив. Он шутит, пишет стихотворные пародии — словом, всячески развлекает товарищей. Он и Бабефу советует: «Будем веселиться — это ведь бесит тиранов».

Но не так-то легко веселиться Бабефу. Бабеф не новичок. Он всего на десять лет старше Жермена, однако десять лет теперь — это полвека до революции. Он видел изнанку истории. Его сомнения и прощя и тяжелей. В одном из писем он признается: «Нет у нас, к несчастью, волшебной палочки, дабы превратить прошлое в прах и вызвать из-под земли все потребное для нового общества Равных». Так говорит человек, вспоминая танцы вокруг отрубленных голов, вспоминая тюрьмы 93-го, ложь, корысть, доносы, любовь к золоту и к крови многих горячих республиканцев. Но человек быстро уступает место Трибуну народа. Этот не боится заменить «волшебную палочку» ружьями и топорами. «Надо действовать! Наладить дело с Парижем, с патриотами Арраса. Остерегайся только шпионов. Подбери крепкое ядро». Гусар не мешкает. Гусар отвечает: «Сомневаться значит уступить. Черт побери! Идет! Я готов! Я жду только твоего слова, сигнала, чтобы начать...»

Пять часов утра. Косой луч солнца ударил в лицо Жермену. Гусар приоткрывает глаза. Он сладко потягивается. Ни храп соседей, ни тяжелый воздух камеры его не огорчают. Он молод и улыбается солнцу. Он достает из-под сеника книжку. Что же он читает с таким увлечением? Английский роман? «Альманах муз»? Нет, сочинения Гельвециуса: «Надо прежде всего уничтожить деньги. В странах, изобилующих золотом и роскошью, народы заведомо злосчастливы. Деньги награждают только порок и преступление». И Жермен улыбается книге, улыбается своей мечте, выдуманной Франции, которая подобна Спарте. Пять часов утра. Двадцать четыре года. Такова первая любовь гусара из Нарбонны.

А за стенами тюрьмы все идет своим порядком. Революция спадает у всех на глазах, как река после половодья. Ее добивают не «союзники», не вандейцы, даже не юноши с локонами, — нет, она умирает на почетном одре, окруженная вылинявшими флагами и опостылевшими всем песнями. Герои, фанатики, изуверы или просто отчаявшиеся еще пытаются счастье. Они запружают улицы, останавливают крестьянские телеги, порой

даже эскадрон драгун, но не историю. С ними идут тысячи, десятки тысяч голодных. Никогда Париж не знал такой пужды. Площади полнятся криками. Одни требуют «конституции 93-го года», другие «хлеба». Но 93-й прошел, а хлеба нет. Крестьяне не дают хлеба ни санкюлотам, ни роялистам. Термидорианцы подавляют за восстанием восстание. Проигран «Жерминаль», проигран и «Прериаль». Тюрьмы переполнены. Тюрем не хватает. Ничего не хватает: ни тюрем, ни хлеба, ни денег, ни рая.

В остроги Арраса шлют арестованных патриотов. Они угрюмо озираются. Перед ними еще пыль, кровь и шумливая суета прериальских дней. Они рассказывают Бабефу:

— Патриоты требовали подлинного равенства...

— В Париже каждый день несколько граждан умирают от голода...

— Ты знаешь, кто умирал квартал Антуан? Предатель Тальен. Он потребовал сдачи всего оружия. Генерал Мену навел пушки. Тальен объявил: «Я даю вам один час на размышление. Если нет, вас образумят ядра». Теперь все работники обезоружены... Арестованы десять тысяч патриотов.

Бабеф негодует:

— Тальен, вычищенный якобинец, комиссар Конвента в Тулоне, хотел бомбардировать предместье Сен-Антуан, гнездо революции! Нет, эти люди заживо сгнили. Если не придет к власти народ, Франция погибла. Тогда нами будет править Мену или другой генерал. Рабочим они предпочли эполеты!

Один из арестованных рассказывает о смерти депутатов Конвента, примкнувших к повстанцам:

— Их судили и приговорили к гильотине. Шестерых. Среди них Гужона, Ромма, Субрани. Но они не дались живьем в руки новых тиранов... Гужон еще за несколько недель до прериала, встретив знакомого хирурга, сказал: «Укажи мне в точности, где находится сердце, чтоб я не ошибся, если равенство суждено погибнуть». Он не ошибся. Тогда кинжал взял из его похолодевшей руки Ромм, и Ромм громко воскликнул: «Мой последний вздох за угнетенных!»... Все шестеро одним кинжалом...

Здесь Бабеф отворачивается. Он уходит в темный угол. Вот уж ночь. Проверка. Засыпают заключенные. Бабеф не спит. Он видит перед собой шестерых. Он видит революцию: лужа крови. «Где сердце?.. Чтобы не ошибиться...» Как болит здесь!..

Что это? Снова сердечный припадок. Пилюли не помогают. Сердце бьется, ноет. Какое томление! Может быть, вскоре и ему, Бабефу, предстоит поднять с земли этот кинжал?..

Так проходит ночь среди сердцебиения и тоски, огромная черная ночь — кто через нее переступит?..

Утром он овладевает собой. Письмо в Париж. Записка от Жермена. Разговор с новым патриотом. Он снова работает. Проходят недели, месяцы. Однажды ему передают письмо от жены, горестное, полуграмотное и нестерпимо нежное: умерла дочка, умерла от голода, выдавали всего две унции, а прикупать — не было денег... Еще глубже западают глаза Бабефа. Еще жестче и горче становится его голос. Он пишет «Послание к дьявольской армии». Все патриоты Арраса теперь связаны с ним. В городе готов вспыхнуть бунт. Власти колеблются: уж не перевести ли Бабефа в Париж? Он повсюду опасен — на воле, в тюрьме, в столице, в глухом городишке. Кажется, только в могиле успокоится этот человек.

А ночи длинны, и ночи жестоки: детский гроб, голодная семья, недуги, слабость, измена патриотов, обманутый народ, полумертвая революция. В горле Бабефа слезы, мужские, одинокие, непоправимые слезы. Но нет, не думайте, что он сдался! Товарищ спрашивает:

— Ты приуныл, Гракх?

— Нет, я веселюсь.

Бабеф действительно смеется.

— Ты видишь, я веселюсь, чтобы бесить тиранов.

7

Годовщина девятого термидора была объявлена национальным праздником: «Падение тирана Робеспьера». Торговцы с охотой закрыли лавки; они ведь отпускали теперь товар скрепя сердце: утром получишь пачку ассигнаций, а к вечеру на них не купить и свечи. Народ празднику тоже обрадовался: в этот день обещали выдать каждому гражданину целый фунт хлеба. Обещания, однако, не сдержали: легче было свалить еще сотню тиранов, нежели раздобыть муку.

Дожди и холода, стоявшие весь мессидор, заставляли опасаться плохого урожая. Виноград погиб, и вино теперь пили

только торговцы, ишпенданты или депутаты. Все же в праздник выдали по полфунта хлеба, а шутники говорили: «Максимилиан помогает нам даже после смерти». Хлеб был черный, мокрый, тяжелый, но никто не привередничал. Правда, на базарах было сколько угодно хлеба, белого как снег, но стоил он восемнадцать ливров за фунт. Крестьяне сидели на телегах, как на королевских тронах: они не боялись «десятого августа» — их ведь никто не мог свергнуть. У них была мука, и сало, и масло. Презрительно поглядывали они на чересчур свежие ассигнации. Пренебрегая патриотическими чувствами, они требовали серебряных монет с изображением казненного Капета.

Полфунта хлеба. Итак, да здравствует национальный праздник!..

Даже победа над роялистами при Кибероне не растрогала парижан. «Французская газета» уныло писала: «Завоевание всего мира и повсеместное торжество революции обрадовало бы меньше этот город, нежели увеличение пайка хотя бы на одну унцию».

Голодали, впрочем, не все. Проницательные граждане умело сочетали республиканский пыл со своими интересами. Они поставляли для революционных армий рубахи, седла, сапоги, гетры, фураж, сало, даже трехцветные знамена, и они неплохо зарабатывали. Другие просто спекулировали. Гражданка Бертен, бывшая маркиза, недавно заработала семьдесят пять тысяч на прованском масле, а гражданин Сиро, ее бывший конюх, перепродал тридцать ящиков с флорентийскими шляпами и купил модный кабриолет.

Итальянский бульвар называли «Маленьким Кобленцом». Там собирались все, кто покупал белый хлеб по вольным ценам. Утром там перепродавали партии льна или запасы кожи, а вечером флиртовали, радовались победам неприязнителей армий или просто разглядывали друг друга. Было что разглядывать! Мужчины щеголяли веерами, припудренными локонами, которые назывались «собачьими ушами», восемнадцатью пуговицами жилетов, дамы — греческими туниками «а-ля Дпана» или «а-ля Клеопатра», сандалиями, изумрудными или оранжевыми панталонами, браслетами на руках и на ногах. В вопросах моды «Маленький Кобленц» был настроен революционно. Нужно было большое искусство, чтобы, выйдя после завтрака на улицу, не показаться к вечеру смешным провинциалом. У каждой дамы было по меньшей мере сорок париков. Глядя на модниц,

народ хмурился: кроме морали, его смущал вопрос о картошке — кумушки уверяли, будто весь картофель идет на изготовленные пудры, оттого его нет в лавках.

Что касается модниц, то картошке они предпочитали другие, более изысканные яства. После горьких годов настала эпоха хорошего аппетита. За четыреста — пятьсот ливров у ресторатора можно было получить скромный завтрак: бараний бок, шпигованного фазана, паштет из зайца, шоколадное суфле. Корсеты больше не стесняли красавиц, можно было есть всласть. В этот год голода богатый Париж что ни час полнел, как надуваемый баллон. Докторам приходилось теперь лечить не от болезней, но от здоровья, один из них разбогател на пилюлях, которые позволяли есть всюю, не тучней.

Кроме яств, модниц соблазняли танцы. Еще недавно они прятались в погребах. Они засиделись и надыхались трупным духом. Теперь им хотелось танцевать. В первый же год «вольной жизни» открылись шестьсот сорок четыре танцульки. Среди них славилась и «Балы зефир» на кладбище Сен-Сюльпис. Уцелевшие счастливицы отплясывали на могилах. Траур стал увеселительным костюмом: кто только не мечтал попасть на знаменитый «бал жертв», куда допускались исключительно родственники гильотинированных!..

Париж был переполнен провинциалами: жизнь в столице издали казалась заманчивой. «Меблированные комнаты» не пустовали. Улицы покрылись новыми плакатами. Вместо приказов о сдаче излишков серебра, парижане читали рекламы «Эликсира красоты» или «Балов Сераля». В «Пале-Рояль», который был переименован в «Пале-Эгалите», кишели спекулянты. У них была, если угодно, своя форма: желтые ботинки, длинные куртки, колпачки с хвостиками. Они часто забегали в кафе, но не успевали там выпить чашку кофе: слишком быстро рос луидор. Вчера за него давали семьсот ливров ассигнациями. Сегодня он продавался уже за восемьсот пятьдесят.

В «Пале-Эгалите» вновь открылись ювелирные, гастрономические, модные лавки. Десятки ресторанов с отдельными кабинетами и с музыкой зазывали клиентов. Книжные лавки торговали скабресными картинками. В верхних этажах помещались игорные дома. На зеленом сукне порой лежали сотни тысяч золотом — барыш патрнотов, поставивших армии гнилое сукно или тухлое сало. Под вывеской «Египетский массаж» бывшие виконтессы приготавливали для щеголя ванну из шипучего вина

и в ванне растирали его живот. Знатоки уверяли, что это очищает кровь и придает лицу аристократическую томность, а бывшие лакеи или же цирюльники мечтали походить на своих вчерашних господ.

Каждый вечер у мороженщика Гарши собиралось самое изысканное общество. Среди «сорбетов» и «парфе» здесь занимались делами, а порой и высокой политикой. Вот красotka, ее зовут Дианой. Для Дианы она, пожалуй, чересчур тучна. Но юноши томно вздыхают: «богиня»! Она в легкой газовой тунике: эту моду ввела госпожа Тальен. На пухлых руках, выше локтя, запястья. Шляпка украшена шелковыми розами, и розы надушены: последнее изобретение Дианы. Наставив на богиню крохотные лорнеты, юноши лепечут:

— Пгекасно! Бозественно! Неповтогимо! Невегоятно!

Они картавят, шепелявят, сюсюкают — этого требует хороший тон. Им хочется показать, что они никогда не ездили на запятках и не торговали вразнос. Поглядеть на них — это настоящие, чистокровные аристократы!

Но о чем так оживленно разговаривает богиня? Может быть, о стрелах Купидона? Не те времена! «Батист»... «Свечи»... «Кофе»... Богиня знает, что даже фисташковое мороженое теперь не дается даром.

Юноши говорят о политике. Фрерон недостаточно дерзок. Надо истребить всех террористов. Господин (да, господин, — у Гарши нет граждан, «граждане» здесь только лакеи), господин де Мэн только что приехал из Марселя. Он рассказывает о подвигах «Солнечного братства» — так зовут на юге порядочных людей. Они мигом очистили все тюрьмы. Это очень просто. У арестантов ведь нет оружия. А стража смотрит сквозь пальцы. Четыреста якобинцев за два дня! Притом это вовсе не обременительно. В Марселе тоже и веселятся и танцуют. После работы — можно пойти на бал. Дамы щедро вознаграждают бесстрашных. Рассказ марсельца вызывает зависть.

— Почему же Фрерон не ведет нас?..

— Бойтся. Он ведь сам из террористов. Трус!

— В тюрьмах Парижа достаточно убийц. Надо бы их почистить... Всех этих прериальцев и анархистов...

— А в первую голову Бабефа...

Неожиданно они замолкают. Общий шепот восторга, благоговения. «Она!» Она — это, конечно, «богоматерь Термидора». Когда она появляется, все забывают о батнсте, об убийствах,



о ценах на сукно, о Бабефе. Не то чтобы всем так нравилась госпожа Тальен, но мода, мода...

В годовщину девятого термидора, однако, «богоматерь» не ошастливила своим присутствием мороженщика Гарши. Ей было не до сорбетов. Возглавляя нацию, республику, революцию, она председательствовала на банкете в память исторического дня. В этот вечер она была «богиней Мудрости». Это, конечно, не помешало ей вдоволь оголиться, так что один из гостей, взглянув на тучные груди Терезы, забыл о «мудрости» и воскликнул:

— Капитолийская Венера!

Тереза принимает гостей в своей «хижине». Это опереточный домик, на крыше его нарисована солома, а вокруг расставлены цветы в горшочках. Развлекалась же в Малом Трианоне преступная австриячка — почему бы не развлекаться жене депутата Конвента, гражданке Тальен?

Что ни день Тереза выдумывает новую моду. На этот раз она дивит гостей своими голыми ножками. Вместо сандалий — котурны, а на пальцах ног кольца с рубинами. Слуга Терезы остер на язык. Улучив минуту, он шепчет камеристке:

— У этой суки кольца на передних лапах и на задних.

Тереза, рассеянно улыбаясь, выслушивает комплименты:

— Божественные ножки! Геба! Киприда, вышедшая из пены! Аврора среди облаков!

— А знаете ли вы, что мои ноги искусаны крысами? В тюрьме, в Бордо... Во время террора.

И Тереза грустно вздыхает. Наивный Лувэ долго разглядывает ноги, ища рубцы. Он не находит их, да и не может найти. Тереза просидела в бордоской тюрьме всего день или два. Ее освободил Тальен. Он был большим бабником и представителем Конвента, она — хорошенькой аристократкой, которая жаловалась: у мужа реквизировали столовое серебро. Они сразу поняли друг друга, бывший лакей и бывшая маркиза. История с крысами родилась после термидора: не только новые моды умеет придумывать Тереза!

Рассказав в сотый раз о крысах, Тереза спрашивает:

— А котурны, гражданин Лувэ? Вам нравятся котурны? Это ведь приближает нас к правам Аркадии. Ах, Греция — вот мой идеал! Обувь груба. Кстати, вы слышали, что в Медоне обнаружили остатки страшной мастерской — там приготавливали

сапоги из человеческой кожи. Говорят, что изверг Сен-Жюст носил сапоги из кожи жирондистов.

Здесь даже наивный Лувэ не может скрыть усмешки: ай да Тереза! Но как же не очернить лишний раз Сен-Жюста?

— Что же, это на него похоже...

Гостей попросили к столу. На следующий день официальный «Вестник» писал о «скромной товарищеской трапезе». Как должны были усмехаться приглашенные, читая эту заметку и вспоминая вчерашнее пиршество!

Тереза обожала искусство. На клавишах лежали ноты казенной королевы, а суп был сервирован в севрских чашках. Вином Тальен хвастал не зря: что за «Бон»! Что за токайское! — все из погребов эмигрантов. Пили в тот вечер на славу, пили не просто, а с тостами: таков был новый обычай, принесенный из Англии, и хоть в Англии сидел проклятый Питт, все светские люди старались подражать британцам. Тосты подчеркивали политический характер банкета: термидорианцы братались с жирондистами.

Будь здесь только Тальен, Баррас и Фрерон, они могли бы ограничиться одним внушительным тостом — «за нашу спасенную шкуру!». Календарная дата невольно вызывала воспоминания: горячий, душный день, белесый туман, трусливые перемигивания депутатов, еще не знающих, чья возьмет, и наконец крик, жестокий крик Робеспьера: «Председатель убийц! В последний раз я требую слова». Но убийцы не любят лишних слов. Фуше хорошо поработал: вокруг Робеспьера — пустота. Его брат кричит: «Я хочу разделить участь Максимилиана!» Героизм одного человека пугает свору шакалов. Тогда Фрерон вытирает потный от страха лоб и бормочет: «Как трудно свалить тирана!»

Термидорианцы, подымая тост «за девятое», могут многое вспомнить. Они связаны прошлым. Грабили? Все. И все, приехав из общинных городов — из Бордо, Марселя, Тулона, — шли на поклон. О, эта комната на улице Сен-Онорэ и холодный взгляд «Неподкупного», очки, сухой полупоклон, неизвестность: простил? решил погубить?.. Они хорошо помнят эти паломничества. Они уцелели. Они пьют токайское. Бокалы победоносно звенят: «Да здравствует девятое термидора!»

Они спяны давним страхом, но с какой охотой хоть сейчас, за этой «товарищеской трапезой» они предадут друг друга! Надо глядеть в оба. Эти разбойники при дележке благородством

не грешат. Где их товарищи по термидору? Фуке де Тенвиль казнен. Коло д'Эрбуа и Бильо-Варен сосланы в Кайену — «сухая гильотина», Амар и Барер в тюрьме, наконец, Фуше, душа всего заговора, — сам Фуше в опале. Одного за другим выдают термидорианцы своих товарищей, только чтобы ублажить умеренных и спасти себя.

Сегодня Тальен обхаживает Буасси д'Англя, Бувэ, Ланжана. Он льстит — ведь у жирондистов слишком много поводов, чтобы ненавидеть этого якобинца. Пока он в Бордо кутил с Терезой, они прятались в подвалах. Тальен подымает тост:

— За жертв былой тирании!..

Жирондисты пьют молча. Что у них в голове, никто не знает. В томлении Тальен декламирует:

— Я плачу над прахом Вернио, Кондорсе, Демулена...

Правда, он не плачет, он ест индюшку с трюфелями, но голос его вибрирует, как хрусталь бокалов. Буасси д'Англя шепчет своему соседу Бувэ:

— Лучше бы он их тогда защитил, чем теперь плакать...

Ах, тяжело дается высокая политика гражданину Тальену! Кроме старых обид «Жиронды», у него сейчас другие заботы: Сизэ что-то пронюхал. Правильно сказал проклятый Робеспьер о Сизэе — «это крот революции». Он вечно подкапывается под кого-нибудь. Вчера он намекнул Тальену, что ему известно о каких-то письмах. И Тальен не может успокоиться. Разве его, Гальена, вина, что он любит женщин, хороших портных, «трант'э-карант», охоту на ланей в Сен-Жермене, токайское вино — словом, все блага жизни вплоть до «египетского массажа»? «Неподкупный», тот хорошо знал Тальена. Он сказал: «Тальен на все способен ради денег и ради юбок». Одна Тереза сколько стоит!.. Тальену нужны деньги. Другие продают драп или сахар. Он любит крупную игру: он продает Французскую республику, с конституцией, с Конвентом, со знаменами — «на слом». Он один? Как будто не тем же занят его сосед Баррас! Надо только, чтобы до поры до времени никто не знал. И вот этот подлец Сизэ что-то пронюхал... О переговорах с испанцами в пользу дофина? Может быть. А может быть, все дело в письме Людовика Ксавье к своему кузену герцогу д'Артуа? Так или иначе, надо показать, что он — непримиримый враг роялистов. Баррас вовремя подымает бокал:

— За Тальена. За героя Киберона!

И Тальен решает: сдавшихся роялистов следует расстре-

лять. Это подымет его престиж в глазах народа. Если Сиеэ вздумает поднять вопрос о письмах, Тальен ответит: «Я доказал мою ненависть к сторонникам престола».

Еще тост: «За новую конституцию!» Это не бред якобинцев, как в 93-м. Это настоящая конституция, совсем как у англичан: верхняя палата, избирательный ценз,— словом, оплот порядочных людей, а не черни. И Тальен напоминает Буасси д'Англя:

— В дни прериаля, когда многие колебались, я первый воскликнул: «Пусть преступники погибнут прежде, чем взойдет солнце!..»

Здесь на минуту все замолкают. Ромм, Гужон, Субрани — образ этих людей слишком чист. Даже Баррас смущен развязностью Тальена: хорошо, прикончили, но зачем вспоминать?..

А Тальен уже занят другим: бордоские капиталы проедены, вопрос о короле пока только вопрос, остается спекуляция. Он вошел в компанию с военным интендантом на улице Таранн. Хорошо бы заручиться помощью Барраса. И под звон бокалов он шепчет:

— Для итальянской армии... Сорок тысяч... Но об этом после...

Тальен, однако, не договорился с Баррасом. Ссора. Потом Луваэ о чем-то начинает спорить с Фрероном. Оба стучат ножами о севрские тарелки. Лонжинэ пробует отвлечь внимание новыми тостами:

— За пленного Костюшко! За друзей свободы и равенства во всех странах мира! За героев! За жертвы!

Тостов слишком много. Эмигранты знали толк в токайском. Все покраснели, оживились. Крик. Летят стаканы. В голосах теперь угроза.

— Фуше тайком поддерживает Бабефа. Вы снова хотите вернуть террор!..

— Это вы — анархисты!..

— Вы — друзья киберонских бандитов!..

— А ты, Фрерон? Твои молодчики?..

В первую очередь страдает севрский фарфор. В Барраса полетела чашка. Кто-то хватается соседа за ворот.

— Убийцы!..

Тогда над всем раздается кокетливый голосок хозяйки:

— Ах, зачем же так волноваться? Я предлагаю тост за забвение!

Кто здесь не выпьет за забвение былых грехов? И, шатаясь, гости приподымаются, они целуют ручки «богоматери». Пятнадцать тостов не шутка, и Тереза вместо руки сует Баррасу ногу. Тот, немного подумав — стоит ли? — целует.

8

В событиях тех лет, при всей их внешней пестроте и помпезности, было некое однообразие. Модницы меняли парики, республиканские армии побеждали, народ умирал с голоду, и что ни месяц в Париже вспыхивал бунт — якобинцев или роялистов — по очереди. Все презирали случайных правителей Франции, но никто не мог вырвать власть из их слабых и вдоволь трусливых рук. В дни прерияля Конвент спасли «молодцы Фрерона», скрытые роялисты, уцелевшие аристократы. Они ненавидели Тальена, Барраса, Карно, но они их спасли: из двух зол они выбрали меньшее.

Прошло четыре месяца. Тринадцатого вендемера решили попытать счастье роялисты. Генерал Мену, храбро стрелявший в рабочих Сен-Антуана, тотчас отдал приказ об отступлении, увидев кучку щеголей. Члены Конвента готовы были разбежаться. С какой охотой они бы сдались! Одно удерживало их: страх. Ведь это они послали на эшафот Людовика. Все эмигранты клялись: «Нет пощады царубийцам». Трусы были снова спасены мужеством уцелевших патриотов, а также находчивостью молодого генерала по имени Буонапарте.

Баррас красноречиво прославлял победу. Появились темные парики. Голод все усиливался, и тюрьмы не пустовали. Конвент одобрил новую конституцию и приступил к выборам Директории. Правительство ненавидели и рабочие, и буржуа, и аристократы. Многие хранили еще душевный жар, и готовность умереть за Францию, кто под республиканским флагом, кто под хоругвями вандейцев. Но среди страстей, смуты, голода, ассигнаций, ненависти бывший виконт Баррас продолжал целовать ручки Терезы и самодовольно улыбаться.

Изнеможение страны, явившей миру примеры подлинного героизма и пламенности, — какая благодарная тема для художника! Однако во Франции не было ни поэтов, ни писателей,

пи драматургов. Андре Шенье погиб на гильотине. Брат его Жозеф был излюбленным автором эпохи. Он писал посредственные пьесы о гибели тиранов и патриотические стихи на случай.

Театры показывали агитационные фарсы или аллегорические трагедии, сочинения безграмотные и бездушные. Один и тот же автор ухитрился до термидора написать «апофеоз Марата», а год спустя «апофеоз Шарлотты Кордэ». После Расина, Мольера, Бомарше актеры разыгрывали трагедию покровителя Бабефа, Сильвана Марешаля: «Последний суд королей». Слов нет, у Марешаля были и гражданские чувства, и отзывчивое сердце. Талантами драматурга он, однако, не отличался. В его пьесе санюлоты всех стран соединялись. Они ссылали королей на необитаемый остров. Там Екатерина Великая плакала на животе у римского папы. Потом происходило извержение вулкана, и все короли летели в море под пение «Марсельезы». Эту пьесу играли, разумеется, в 93-м. После термидора ее заменил «Кабинет террористов», где подло и тупо высмеивались вчерашние герои.

В «Альманахе муз» или в «Играх Аполлона» печатались скучные приторные стихи, изобилующие словами «тиран», «деспот», «знамена», «цикута», «Ликурж», «Брут», «децимвират». Никто из переживших революцию не знал, как ее описать. Публика читала переводные романы с английского. В Гренобле двенадцатилетний мальчуган Анри Бейль глядел на беглых монахов, на уличные танцы, сначала на повешенных аристократов, потом на повешенных якобинцев, на быструю смену властей, песен, эмблем,— это будущий писатель Стендаль учился науке человеческих страстей.

Пошлые трагедии, последние пасторали, неумелые портреты новых богачей (с обязательными чертами аристократов), Шекспир в переделке Дюси, памятники «Гидра контрреволюции», аллегии, выстрелы, скука. Два человека подымались над грустной угодливостью своих собратьев. Они были связаны общей любовью к искусству Эллады, уроками революции, наконец — человеческой дружбой. Тальма был актером, Давид живописцем. Может быть, они и были слишком мелки для французской революции, для революционной Франции они были куда как велики. Их порой хвалили, порой ругали. Мало кто их понимал. Позднее оба дождались признания, богатства, почестей, но в годы владычества блудливой Терезы Давид

сидел под замком за дружбу с Робеспьером, а Тальма что ни день подвергался оскорблениям молодчиков Фрерона.

Давид и в тюрьме продолжал работать. Он мог бы пасть духом: он ведь мечтал о торжестве разума, о воскресшей Элладе, о народных празднествах на площадях, о новом Париже прямых, широких проспектов, ясном и точном, как геометрическая фигура. Вместо этого он увидел только котурны на ножках Терезы. Тогда он вспомнил: искусство! Пусть из зала Конвента выкинута его лучшая картина: «Смерть Марата». Пусть сам он брошен в острог. Пока в его руке кисть, он может бороться. На полотне выполнит он то, что не удалось ему выполнить в жизни. И Давид задумывал большие полотна, где сердце должно уступить место вычислениям. Давид ведь недаром любил Робеспьера, подобно Максимилиану он презирал хаотичность чувств. Как-то в начале революции старик Фрагонар сказал ему: «Я дивлюсь вашему мастерству, но у вас нет чувствительности. Молодые следуют за вами, и вы смеетесь надо мной. Что же, настанет пора, когда будут вас отрицать, а на моих полотнах учиться. Рассудочность и чувства издавна сменяют одно другое. Только гений совмещает точность формы с биением сердца». Давид был слишком страстен, чтобы согласиться с Фрагонаром. И Давид верил, что «Похищением сабинянок» откроет новую эру в искусстве, достойную великих греков.

Тальма не был ни членом Конвента, ни организатором гражданских процессий, ни ревнителем математики. Он был всего-навсего великим актером. Он не мог жить будущим: его создания ежевечерне умирали среди бутафорий, люстр и свистков. Он должен был расточать свой дар перед наглыми зеваками, случайно попавшими вместо «Бала зефир» или притона «Нежный гарем» в зал театра. О гении Тальмы можно сказать одно: даже этих людей он заставлял плакать.

Уже десять часов. Спектакль кончен. Кабриолеты с бубенчиками развозят спекулянтов по домам. Посты проверяют паспорта. На площадях дремлют отряды солдат. Еще один бунт. Какой завтра?.. Сняв грим и сменив тогу на темно-оливковый фрак, Тальма идет домой. Он живет на улице Шантран, в небольшом особняке. Там все подчинено вкусу хозяина и одобрено самим Давидом: панно расписаны в стиле этрусских ваз, лиры, орлы, зеркала с пола до потолка, колонки, вместо ламп канделябры, помпейская мебель, порядок и легкий коло-

док. Это скорей декорация для очередной трагедии, нежели жилая квартира. Но Тальма ведь не замечает, где кончается будничная речь и где начинается гекзаметр.

В доме Тальмы, конечно, имеются и чердак и погреб. Там теперь не сушат белья и не выдерживают вин. Нет, в погребе живет актер Фюзиль. Это якобинец, усмиривший в свое время Лионское восстание. Он завсегда та кафе Кретьена и один из рьяных сторонников Бабефа. После прерияля полиция хотела его арестовать. Тальма укрыл Фюзюля. А на чердаке?.. Что же, и чердак не пустует, там скрывается некто Левассель, молодой роялист, замешанный в мятеж вендемера.

Тальма приходит домой. Он спрашивает свою жену, Жюли: «Кто сегодня ужинает с нами?» Тальма по очереди приглашает к ужину то Фюзюля, то Левасселя. Но сегодня он говорит Жюли:

— А что, если позвать обоих?.. Ведь так они умрут, если не на гильотине, то от скуки.. Мы, конечно, представим их друг другу под чужими именами. Ты будешь смотреть, чтобы разговор не касался политики, и все обойдется...

Действительно, ужин проходит спокойно. Беседа идет о новой пьесе Дюси, о проказах госпожи Богарне, о полетах на воздушном шаре. Тальма говорит:

— Как мало занимают современников успехи человеческого гения! Всем известен новый парик гражданки Тальен, но вряд ли даже просвещенные умы знают, что астроном Ланд открыл новую планету. Он назвал ее «Нептуном».

Фюзиль усмехается:

— Праздные забавы аристократов! Наука должна служить нуждам народа. Аэростаты, может быть, окажутся полезными для военных операций, но звездами нельзя никого насытить.

— Позвольте, я налью вам еще бокал вина...

О, Тальма не думает спорить! Жюли приносит вазу с грушами. Кажется, опасность миновала... Но молодой роялист вступает за звезды:

— Астрономия хороша уже тем, что она безвредна. А кстати, можно ли насытить народ кровью? При старом режиме хлеб был у всех и не по унциям...

Тальма пробует отвести бурю. Жюли предлагает спеть новую игальянскую канцону. Но хозяева уже бессильны, их не слушают. Фюзиль кричит:



-- Вы говорите о свободе?.. Я видел, как френоновские ребята сорвали с женщины медальон — на нем, видите ли, был портрет гражданина в красном колпаке.

— Красный колпак справедливо возбуждает негодование. Почему, я спрошу вас, красный? У римлян был белый, у Вильгельма Телля бурый. А красный цвет — это цвет крови.

— Да! Крови! Крови наших героев, которая пролилась, и крови тиранов, которая еще прольется...

Левассель заносит стул над головой Фюзиля:

— Так может говорить только якобинец!..

Фюзиль не остается в долгу:

— А вы презренный роялист!..

Несмотря на трагичность положения, Тальма едва сдерживает улыбку. Он берет спорщиков за руки, тихо говорит:

— Тише, друзья! Тише! Теперь все время ходят патрули. Они могут услышать. Тогда вы лишитесь погребя, а вы чердака.

Не страх, изумление заставило опустить руки готовых было кинуться друг на друга врагов: он тоже!.. Они постояли с минуту молча, потом не выдержали, расхохотались: здорово, Тальма!..

Хозяева остались одни. Они сидели понуро, не разговаривая друг с другом. Давно уже эта комната не видала гражданских страстей. Былые воодушевители, где они?.. Бриссо, Везино, Кондорсэ — все погибли. Можно ли кровью доказать правду? Бездарный актер Коло д'Эрбуа стал членом Комитета общественного спасения, и он тотчас арестовал всех актеров «Французской Комедии». Как это просто и как безнадежно! Теперь другие арестовывают других. Давид, гордость Франции, Давид в тюрьме! Презренный Тальен сказал: «Талант не может служить оправданием». Злосчастный народ, который умерщвляет своих гениев! Ум Кондорсэ был слишком велик. А Шенье, нежный Шенье, друг Жюли, который вот там, в углу, стоял и, волнуясь, читал свои элегии. Ему отрезали голову. «Талант — оправдание?» О нет, для них одно служит оправданием — низость!..

Жюли подошла к мужу. Нежно она обняла его. Она была старше, мудрее и печальнее, — ведь у нее не было ни подмошток, ни горения, ни славы. Все ее друзья погибли на эшафоте, и она знала, что молодой Тальма не сегодня-завтра ее покинет. Угадывая мысли мужа, она говорит:

— Да, жестокое время. И все же я счастлива, что жила в нашу эпоху. Мне кажется, что в горе мы стали бескорыстнее, светлее...

Тальма теперь стоит перед длинным зеркалом.

Он не сразу отвечает. Он залюбовался своей гримасой — жестокой и беспомощной:

— Да, Жюли, да, мой друг, революция многому меня научила! Она научила меня понимать мои роли.

Тальма, как известно, играл во многих пьесах, он играл и героев и преступников, но лучше всего удавались ему роли свирепых властолюбцев, одиноких фанатиков, а также людей, подверженных глубокой меланхолии.

## 9

После сложных интриг и сговоров Баррас, Карно со своим сподручным Летурнером, желчный горбун Леревельер — проповедник «теофилантропии», наконец ловкий делец Рейбель получили парадные мундиры, шляпы с плюмажами, апартаменты в Люксембургском дворце и высокое наименование: «граждан директоров».

Директория продолжала политику Конвента: она лавировала. После поражения роялистов из тюрем были выпущены патриоты: держать сразу в тюрьмах все партии не могли даже изворотливые граждане директоры. Отнюдь не думая об укреплении республики, они хотели задобрить республиканцев. Хотя ассигнации падали что ни день, никогда еще люди не верили так свято в могущество денег. Директория щедро раздавала пенсии, пособия, теплые местечки в глухой провинции, подряды, просто подарки. Станки, печатавшие ассигнации, работали вовсю. Патриоты продавали себя поштучно и партиями. Якобинцы ведь тоже были людьми. После скудности тюремной жизни они улыбались посту налогового администратора в Монпелье или военного интенданта в Безансоне. Гражданская непримиримость котировалась все ниже и ниже.

Система подкупов была системой Барраса, его политической мудростью, даже его мировоззрением. Он никогда не говорил «нет», видя перед собой должное подношение. Дайте много — он продаст Луи Ксавье республику, дайте несколько луидоров — он устроит подряд фляг для армии, возвращение во

Францию эмигранта или оправдание неуклюжего жулика. Баррас глубоко верил, что за деньги можно купить всех и всякого.

Гракх Бабеф, освобожденный после вендемьера, продолжает выпускать газету «Трибун народа». Он обличает Директорию. Он говорит: «Революция — это война между богатыми и бедными», «девятое термидора — злосчастный для народа день». Он возмущается нравами директоров: «Неужели цель революции — поставить на место свергнутых новую касту революционеров, дать им золото, богатство, земли, дворцы, прекрасных куртизанок — словом, все блага земли?» Хуже того, Бабеф выступает с проповедью невиданных доселе порядков. Даже страшный «аграрный закон», этот черный передел, его не удовлетворяет: что пользы разделить землю — завтра снова воцарится неравенство. Нет, Бабеф теперь требует уничтожения богатства, обязательности труда, государственного контроля над всеми работами. К голосу Бабефа прислушивается народ, измученный голодом, безработицей, дороговизной. Все в революции потеряно, обманули все, — может быть, этот Гракх говорит правду?.. Да, число его сторонников растет. И гражданин Баррас снисходительно улыбается: Бабеф против Директории? Что же, надо подкупить Бабефа. Этот бедняк, наверное, и не нюхал хорошей жизни. Он, кажется, даже сидел в тюрьме за неудачный подлог. Стоит только посулить ему сытую жизнь, как он станет на всех перекрестках расхваливать патриотизм Директории!

Баррас знал свое ремесло. Он начал подыскивать нужного ему человека. С Тальеном Бабеф давно рассорился. Поговорить с Жавогом? Но Жавог горяч и честолюбив. Он, чего доброго, предаст дело огласке. Тогда, может быть, Фуше? Ведь Фуше друг Бабефа. Конечно, Фуше!..

На следующий день Бабеф получил записочку от «преданного друга Ф.» с приглашением прийти к нему: помимо дружбы, имеется важное дело.

Фуше все побаивались, даже Фуше в опале. Он жил с семьей в мрачной мансарде, то есть попросту на чердаке, жил в нужде и одиночестве. Только два человека поддерживали с ним отношения: Баррас и Бабеф. Баррас понимал, что Фуше ему может быть полезен. Фуше отменный семьянин. У него уже умер один ребенок. Он обожает второго — уродливого заморыша. Он теперь на все пойдет ради денег. И Баррас поль-

зовался услугами Фуше, его хитростью и его храбростью. При подавлении роялистского бунта Фуше тайком помогал Баррасу — имя Фуше было слишком ненавистно «умеренным», и Баррас не хотел себя скомпрометировать. Баррас ценил Фуше. А Бабеф? Бабеф ему верил.

Доверчивость — это природа человека, ее трудно поколебать. «Фуше не продался аристократам!» — так защищал своего друга Бабеф. Он был прав: Фуше не сразу пошел по пути Фрерона или Тальена. Но не продался он только потому, что не оказалось покупателей, кроме на редкость бесстыдного Барраса. Эмигранты в Лондоне требовали голову Фуше: «Его надо повесить!..»

Фуше видел, что его час еще не настал, он старался держаться в тени. Он как бы выпал временно из истории, довольствуясь тесным чердаком. Он выжидал.

Бабеф идет к Фуше. Бедность обстановки укрепляет его доверие. Он крепко жмет руку. Вот участь подлинных патриотов! Фуше — верный друг! Когда Бабеф сидел в тюрьме, Фуше помог его семье. Он дал десять франков. Чем теперь он живет? Фуше объясняет — торгует свиньями. Ничего не поделаешь — все торгуют! Бабеф раздосадованно морщится. Как все? А патриоты, преданные революции? У Бабефа тоже семья, он тоже хороший отец. Впрочем, лучше уж торговать свиньями, нежели гражданскими чувствами. Фуше охотно соглашается — он ведь еще не упомянул о предложении Барраса.

Бабеф говорит о необходимости объединения патриотов. Теперь ясна цель: не смена властителей, даже не возврат к конституции 93-го года, но интегральное равенство.

Фуше иронически улыбается:

— Это моя старая мысль. Ты только теперь дошел до этого, а я еще в Лионе объявил: «Нужно углубить революцию, чтобы буржуазия не стала на место аристократии». Я первый ввел принудительные работы. Я отдал приказ о выпечке «хлеба равенства». Я объявил о прогрессивном налоге и брал с богачей шестую часть капитала...

Фуше не лжет. Он смел и находчив во всякой работе. Он был отменным патриотом. Он будет опорой Империи и даже доверенной персоной благовернейшего монарха Людовика XVIII. Из всех поприщ он облубует полицию. У него уже имеется некоторый опыт. Он ведь в Лионе не только говорил об углублении революции. Он там работал. Кто во время Геберта

разрушал церкви, поил ослов из дарохранилищ и писал на воротах кладбищ сентенции: «Смерть навсегда»? — Фуше. Кто потребовал уничтожения Лиона — город должен быть разрушен, а на пепелище поставлен памятник: «Здесь находился город Лион, восставший против свободы, его больше нет»? — Тот же Фуше. Кто выполнял приказ о разрушении и сносил за кварталом квартал? Кто заменил гильотину пушками, ибо гильотина слишком медленно работает для революционного времени? Кто истреблял ежедневно сотни граждан? Да все он же, бывший воспитанник духовной семинарии, почитатель Макиавелли, спокойный и слегка насмешливый Фуше.

Бабеф повторяет:

— Хоть ты не предал...

Ах, высокий дар доверчивость!.. Кого только не предавал Фуше? Он был вначале с жирондистами, он вовремя их предал. Он поставил на Дантона. Он ошибся. Что же, он предал Дантона. Он смиренно пошел на поклон к Робеспьеру. Он отрицал свое безбожие, распущенность нравов, даже лионские зверства. Он убедил Робеспьера в своей невинности, а убедив, тотчас его предал. Кого он предает теперь — Бабефа? Барраса? Может быть, обоих?..

Он переходит к делу: нужно выжидать. Он повторяет любимое свое изречение:

— Главное, это считаться с обстоятельствами. Время за нас и против них.

Он говорит витиевато, с цитатами, с аллегориями, то чересчур логично, то щеголяя сложными риторическими фигурами. Из него бы вышел отменный проповедник. Недаром даже в те времена, когда по его приказу в соборы загоняли свиней, он разыскивал перепуганного аббата, чтобы с ним побеседовать на богословские темы.

Медленно подходит он к цели:

— Баррас связан. Ведь Карно покрывает роялистов. Но Баррас — патриот. Он хочет помочь нам. Ты ошибаешься, Бабеф, нападая так злобно на Директорию. Этим ты способствуешь успеху шуанов. Теперь прямые дороги пройдены. Следует не ошибиться в выборе тропинки. Я тебе предлагаю мою помощь. Я читал тридцать четвертый номер «Трибуна». Там много чрезмерно резкого. Ты поступишь правильно, показывая мне номер до выпуска. Мы сможем совместно смягчать опасные пассажи: «Трибуна» должен быть за республику. Против

роялистов. Тогда нам обеспечено содействие. Ведь теперь, наверное, трудно издавать газету? Не так ли?

Еще плохо разбираясь в словах Фуше, Бабеф угрюмо отвечает:

— Еще бы! Все тайком. Продавцов хватают. Друзья говорят мне: «Вот ты и на свободе». Нет, я сменил одну тюрьму на другую. Работать приходится в подвале. Нет света. Нет бумаги. Ты, наверное, заметил, сколько опечаток? В каждой строке. И краска плохая. Трудно читать. Что же, так работал Марат, когда ему пришлось скрываться от аристократов. Тоже в подвале. А «Друг народа» сплотил легионы патриотов. Я не унываю. Но ты? Откуда этот мед? Как ты, Фуше, защищаешь изменника Барраса? Ты предлагаешь мне щадить этих грабителей? Друг, я тебя не узнаю!..

Бабеф отвернулся. Он не видит, что Фуше едва замстно усмехается:

— Я все тот же. Только времена не те. Ты должен уметь отступать, как всякий просвещенный полководец. Не то тебя разобьют. Что значит твой листок рядом с «Курьером» или с «Оратором» — их продают на всех углах. Тебе нужны деньги, то есть подписчики. Не спорь — это понимает каждый: без подписчиков нет газеты. Сколько их у тебя сегодня? Двести? Триста? А если ты согласишься, завтра у тебя будет шесть тысяч, и все платные. Понимаешь — шесть тысяч.

— Кто тебе это сказал?

— Кто? Конечно, Баррас.

Бабеф встает. Он смотрит в глаза Фуше. Он понял все. Он сдерживает себя, чтобы не кинуться на предателя. А Фуше все так же лениво усмехается. И здесь впервые Бабеф видит, что Фуше страшен. У него белое лицо. Ни кровинки! Этот человек ни разу в жизни не покраснел и не побледнел. Глаза у него красные, совсем как у белых кроликов. Он никогда не смотрит прямо. Но и на него трудно смотреть: это не лицо, а маска. Дантон, Робеспьер, Кутон — все от него отворачивались. Бабеф, однако, не сводит глаз с Фуше. Его голос глух.

— Я больше тебе не верю. Ты — как другие. Ты хочешь сразу всем угодить. Им и нам. Ты всех предашь. Прощай, Фуше, нам не по дороге!

Бабеф уходит. А Фуше все продолжает усмехаться, один, без соглядатаев — для себя и для истории. «Не по дороге»?

Еще бы! Революция — это строптивая кобыла. Дурень Бабеф метит прямо под копыта. А Фуше? Фуше ее взнуздает.

Дождь стучит о чердачное окошко. На столе четверка паечного хлеба. Жена босая — сносила ботинки. Торговец свиньями Фуше нежно гладит младенца, белого и красноглазого, как отец. Он не унывает. Кто-кто, а он добьется своего!

10

Нивоз был особенно лют. Многие вспоминали даже о прошлой зиме, как о «добром старом времени». Рабочий Париж волновался. Он слышал пламенные речи о правах человека. Он видел празднества, фейерверки, танцы, «трапезы равенства», всю кровавую бутафорию революции. Он стрелял, устраивал перевороты, гудел в сотнях клубов. Но жизнь его была еще тяжелее прежнего. Хозяева расплачивались ассигнациями. Что можно было купить на эти бумажки? Мясо в рабочих семьях теперь варили только по праздникам. Редко-редко топили печь, и тогда несколько семей грелись у скудного огня.

Жестокой была работа в те времена. Работать начинали в пять, кончали в семь, час на обед — тринадцать часов работы. В маленьких мастерских было еще труднее. Когда переплетчики на шестой год революции потребовали четырнадцатичасового рабочего дня, все изумились их дерзости: «Лодыри! разучились работать». Детей и тех не щадили. Покойный Конвент, среди двух оваций в честь «санкюлотов всех стран», выдал фабриканту Бютелю из городских приютов пятьсот девочек, возрастом до десяти лет. Дети эти работали бесплатно — «на хозяйских харчах». Фабрикант Делетр содержал детей, работавших в его прядильне, по системе графа де Румфора. Делетр был республиканцем, Румфор эмигрантом, но кто же не прислушивается к разумным советам?.. Граф де Румфор избрал новые методы питания рабочих: хлеб, мясо, сало слишком дороги; пустой суп получил гордое наименование «супа а-ля Румфор». Содержание ста пятнадцати рабочих обходилось передовому фабриканту столько же, сколько стоила в ресторане «Пале-Эгалите» одна тарелка супа «а-ля бывший Конде».

Однако сильнее «румфоровских супов» пугало рабочих другое хитроумное изобретение. С утра до ночи парижане толпились на Иль-де-Синь: там открылась первая паровая мель-

ница. Сведущие люди уверяли, что в литейных мастерских Крезе скоро поставят десять машин и разочтут всех рабочих. А за литейщиками останутся без работы и ткачи. Что же делать бедным людям, когда выдуманы эти чертовские машины?..

Впрочем, может быть, лучше сразу умереть!.. Все равно работаешь шестнадцать часов и не вырабатываешь на хлеб. Настроение дня, даже политическая ситуация определялись пайками. Фример и нивоз оказались на редкость голодными. Вчера в квартале Тампля вовсе не выдавали хлеба, сегодня в квартале Пантеона хлеб был заплесневевший. Начались забастовки.

Грузчики порта Бернар собрались на улице Сен и постановили: на триста ливров в день жить нельзя. Их разогнали. Главари были арестованы. Вслед за грузчиками выступили литейщики из мастерской пушек, что на улице Лилль. «Как? Республиканские армии проявляют героизм в Италии, а вы не хотите помогать им?» Снова последовали аресты. Забастовки, однако, не прекращались: мебельщики, носильщики, мукомолы, шляпочники, типографы, ткачи — все предпочитали тюрьму или смерть голодной каторге.

Хозяева составляли петиции Директории. Они жаловались на наглость рабочих: допустимо ли, чтобы наемные люди обсуждали условия труда или заработную плату!..

Директория делала все, что могла: забастовщиков сажали в тюрьмы, а на их места посылали солдат. Министры готовили декрет о запрещении забастовок, которые приравнивались к разбою. Однако терять рабочим было нечего, и волнения не утихали.

В бывшей церкви св. Елизаветы помещалась большая мастерская мешков. Там работали триста женщин. Находчивый гражданин Деле получил подряд на мешки. Работали с пяти до поздней ночи. В мастерской было холодно, сыро, темно. Руки коченели, и слезились глаза. Здесь же кричали голодные дети. У одной работницы умер среди дня ребенок. Она начала плакать. Вся мастерская всполошилась. Но мешки должны быть поставлены к сроку. «Что тут смотреть?.. Не видали вы мертвого ребенка?.. Живо, за работу!..»

Однажды в эту мастерскую зашли рабочие, человек тридцать или сорок. Они начали кричать:



— Дуры! Зачем только вы работаете?.. Лучше, чтоб нас всех перестреляли, чем так жить!..

Работницы тотчас бросили работу. Выйти из мастерской им, однако, не удалось: прислали отряд драгун. Все были арестованы. У одного из смутьянов нашли старый нож и газету Бабефа. Министр полиции торжественно оповестил граждан директоров, что восстание сторонников Бабефа подавлено. Он, конечно, умолчал о том, что драгуны, тюрьмы, декрет об отмене пайков, грубость хозяев, наконец он сам, министр полиции, — всё и все работают на Бабефа.

«Трибун народа» продолжал печататься тайком. Полиция арестовала жену Бабефа. Эта женщина ничего не понимала в политике. Она маялась и до революции и после. Ее мужа то и дело арестовывали. Он о чем-то мечтал, говорил горячие речи, лихорадочно шагал из угла в угол. Она не понимала ни цитат из Плутарха, ни всей этой суматошной жизни: зачем люди столько спорят, поют песни, голодают, сажают друг друга в тюрьмы и уныло танцуют вокруг эшафота? Революция казалась ей нелепым и злым сном. Но эта простая женщина свято верила в честность своего Франсуа, которого теперь должна была звать Гракхом. Безропотно она сносила лишения, болезни и смерть детей. В одном городе и в одно время жили эти две женщины: Тереза Тальен — бывшая маркиза, и Мария Бабеф — бывшая служанка.

Арестовав жену Бабефа, министр полиции самодовольно улыбался: теперь и Трибун народа в его руках. На что не пойдет любящая мать, зная, что ее дети остались у тюремных ворот?..

— Где скрывается ваш муж?

Молчание.

— Не упирайтесь. Скажите, и мы вас выпустим. Вспомните о ваших детях.

Разве ей нужно напоминать о ее горе? Разве мало говорят им эти красные припухшие глаза? Но большего они от нее не добьются! Франсуа — честный человек. Он верит в то, что делает, не она его предаст.

Охотясь за Бабефом, Директория в то же время старалась заручиться поддержкой «бабувистов». Баррас вел настолько сложную игру, что многие, дивясь неожиданному ходу, думали, что у него имеется какой-то чрезвычайно хитрый план. На самом деле никаких планов у Барраса не было. Он просто тре-

пался, как флюгер; то направо, то налево, отменяя вечером утренние приказы, но храня при этом осанку государственного деятеля, даже мудреца.

Испуганная мятежом роялистов, Директория позволила сторонникам Бабефа открыть «Общество друзей республики». Разумеется, полицейские агенты стали ревностными членами этого общества. Баррас надеялся, что люди, любящие поговорить, удовольствуются клубной астрадой, а дальше разговоров дело не пойдет.

Новое общество устраивало собрания в подземной церкви бывшего монастыря св. Женевьевы, по соседству с Пантеоном, в обиходе его называли «Общество Пантеон». Что же, тогда даже эта усыпальница была ареной политических страстей: мертвые не ведали покоя — Мирабо и Марат были сначала торжественно погребены в Пантеоне, а потом оттуда вынесены.

Помещение придает собраниям «пантеоновцев» романтический оттенок: чад факелов, темнота, резонанс голосов, плесень на стенах, древние кресты и трехцветные кокарды. Число членов быстро растет, их уже две тысячи. Подземелье св. Женевьевы, как римские катакомбы, служит убежищем для всех униженных, для всех мечтателей, а также для всех непримиримых. Среди балов и салонов это последнее пристанище затравленной, однако еще живой революции.

Конечно, далеко не все «пантеоновцы» сторонники Бабефа. Подлинных «бабувистов» или, как они зовут себя, «равных» немного. Они держатся осторожно, чтобы не отпугнуть граждан, которые возмущаются выходками «золотой молодежи» или дурным качеством хлеба, но всемерно уважают «священное право собственности», декларированное новой конституцией.

Бабеф, преследуемый полицией, не может лично руководить работой клуба. Но он пишет доклады, вырабатывает резолюции, обсуждает с друзьями программу очередного собрания. Он окружен преданными и энергичными единомышленниками. Помимо людных сборищ «Пантеона», «равные» встречаются в частных домах. Там они спорят и о близком, и о далеком: каково должно быть положение гражданок в «республике равных»? Как ответить на новые аресты патриотов?

Кроме бывшего гусара Жермена, завербованного в аррасской тюрьме, у Бабефа два ближайших сподвижника. Это

воодушевители «Пантеона» Дартэ и Буонарроти. Трудно представить себе людей более несхожих: энтузиаст и фанатик, музыкант и казуист, угрюмый, низколобый, прямолинейный Дартэ и чересчур нежный для своей биографии пизанский аристократ Филипп Буонарроти. Что делать, и среди «равных» нет равенства, а в заговоре слепая преданность Дартэ столь же нужна, сколь светлый ум Буонарроти.

Дартэ, уверовав во что-нибудь, от своей веры не отступает. С первых дней революции он примкнул к самым крайним. Он участвовал во всех уличных боях. Революция стала для него привычной жизнью, и жить вне революции он больше не мог. О своем детстве или о студенческих годах он вспоминал с улыбкой снисхождения: глупое время! То ли дело, когда он брал Бастилию, с народом шел в Версаль, чтобы вытащить Капета из его логова, или во главе отряда патриотов доставал муку для голодающего Парижа. Робеспьер показался ему самым крайним, и он примкнул к Робеспьеру. У революции было множество профессий. Бывший студент-юрист, он стал, разумеется, не защитником, а прокурором. Немало семей в Аррасе и в Камбре заставил он плакать. Он не грабил, он был честен, неподкупен, как его идол — Максимилиан. Но слезы для него так же мало значили, как и луидоры. С врагами он не знал пощады. Это не было особой его, Дартэ, жестокостью, нет, в те времена даже девушки хохотали, завидев телегу с осужденными. Дартэ спокойно, деловито писал гражданину Леба: «Гильотина в Камбре не ленится. Графы, бароны, маркизы, самцы и самки падают, как град». После термидора он случайно уцелел, но не сдался. Он не стал каяться, подобно многим, в бывших грехах. Когда его арестовали, он крикнул: «Да здравствует Робеспьер». С Бабефом он встретился в тюрьме. Робеспьера больше не было, а Гракх вклялся, что он продолжит дело «Неподкупного». Дартэ недолго раздумывал. Он стал рьяным «бабувистом».

С Дартэ Бабеф часто советуется — как бы свергнуть преступную Директорию? С Буонарроти он в свободные часы беседует о Руссо, о природном равенстве, о мудрой простоте свободолобивых греков. Потомок Микелаццжело Филипп Буонарроти — один из самых просвещенных умов эпохи. Когда во Франции Дартэ и его сотоварищи взятием Бастилии перепугали всю Европу, Буонарроти жил во Флоренции. Он был очень молод, красив, знатен. Он жил безбедно в городе гуманистов, ки-

парисов и бледноликих красавиц «куатроченто». Он бросил все. Сломая голову поехал он на Корсику. Он издавал там газету, вещал о братстве народов и вскоре восстановил против себя все корсиканское духовенство. Его преследовали. Он скрывался в горах и неожиданно снова появлялся. Он попытался устроить десант в Сардинии. Он сидел в ливорнской тюрьме. Его имущество в Тоскане конфисковали. Но это его ничуть не огорчило. У него теперь была одна родина — революция. Приехав в Париж, он сблизился с якобинцами. Конвент, «ввиду оказанных республике услуг», наделил его французским гражданством. Да, у революции было много профессий. Буонарроти не стал прокурором. Он отправился в ряды республиканской армии проповедовать итальянским санкюлотам идеи французской революции. Подобно Дартэ, он любил Робеспьера. Он любил его за другое, — Робеспьер был достаточно сложен, чтобы привлекать к себе различных людей. После термидора Буонарроти арестовали где-то возле Генуи. Как Жермен и Дартэ, он сблизился с Бабефом в одной из тюрем. Проповедь всеобщего благоденствия его взволновала до слез. Он ведь был сторонником крайнего равенства с первых дней революции. Он возмущенно восклицал, глядя на новый Париж: «Как? На место одной шайки поставить другую? И это революция?..» А в лице Гракха Бабефа Буонарроти нашел единоверца, друга, вождя.

Кроме Буонарроти, Дартэ, Жермена, у Бабефа много стойких сторонников. С ним давний его покровитель, чудака Сильвен Марешаль, философ и незадачливый драматург. С ним бывший мэр Лиона гражданин Бертран и бывший маркиз Антонель, флегматичный мечтатель, который во время мятежей прогуливается с книжкой по аллеям Тюльери, не замечая выстрелов. С ним отнюдь не мечтательный Дидье, судья при Робеспьере, человек грубый и прямой. С ним десятки бескорыстных философов и сотни неудачников. К Бабефу идут искренние сторонники равенства, аристократы Буонарроти, Антонель, Лепелетье, богатый буржуа Бертран, журналист Марешаль, к нему идут рабочие, которые еще верят в равенство, последние представители вымирающей расы «санкюлотов». К нему также идут любители переворота, люди, потерявшие свою профессию, сторонники «фонарных судов» и гильотины, авантюристы, говоруны, полупреступники-полубезумцы, все, кого никак не устраивает новый распорядок, все, кто завидует мундиру Барраса

и военным поставкам Тальена, бывшие члены Конвента или революционных трибуналов, развращенные и своей властью, и страхом. К Бабефу идут многие. Он пытается разобраться в этой лавине добродетелей и пороков. Иногда ему удается оттолкнуть чью-нибудь чересчур замаранную руку. Так случилось с Фрероном. Этот мелкий грабитель и бездарный болтун разбился на всех — почему Баррас директор, а он, Фрерон, не у дел? От него отвернулись даже его пресловутые «молодчики» — ведь для них он продолжал оставаться «якобинцем». И вот Фрерон решил тряхнуть стариной. Он запросился к «бабувистам». В «Обществе Пантеон» двери были раскрыты широко, но перед носом Фрерона они все же захлопнулись.

Не всегда, конечно, удастся Бабефу и его друзьям отделить истинно «равных» от честолюбцев. Но чистота вождя покрывает все. Рабочий Париж по-прежнему верит своему Трибуну. Это не только вера, это подлинная любовь. В кварталах Антуана и Марсо имя Гракха Бабефа известно теперь каждому ребенку. О нем говорят, как о своем, как о слесаре или о столяре. Над полицейскими посмеиваются: «Что, нашли Бабефа?..» Хозяевам и торговцам сулят: «Вот Бабеф вам покажет!..» Пустую похлебку сдабривают надеждой: «Скоро Бабеф выступит!»

До светских салонов доходят слухи о загадочной славе этого журналиста. «Кто он?» — «Кажется, бывший землемер». — «Он кровожаден, как Марат». — «Это вор, совершивший подлог»... Члены «совета пятисот», литераторы, адвокаты, иностранные послы — все недоумевают: «почему Бабеф?..» Недоумевая, они боятся. Они вовсе не уверены в завтрашнем дне. Конечно, Робеспьеру отрезали голову. Конечно, у рабочих отобрали оружие. Но ведь нельзя же заставить людей забыть о том, что было еще так недавно! Кто может поручиться даже за армию? Говорят, что солдаты тоже стоят за этого непонятого Бабефа...

Так в двух лагерях имя Бабефа становится собирательным, оно растет, оно уже обозначает не только одаренного журналиста или смелого философа, нет, теперь Бабеф — это революция.

Среди тысячи слухов, среди ненависти и любви, среди тяжелой тишины решительного года Бабеф прячется в кельях, в подвалах, на чердаках, всюду, где только можно спрятаться, пишет, убеждает, подбирает сторонников, работает, работает

без устали. Он слаб, он хворает. Он живет как затворник. Он забыл о солнце, о шутках, о детских проказах. Он не может теперь веселиться, даже чтобы бесить тиранов. Постепенно отмирает в нем все сложное, неуверенное, мягкое, человеческое. Он превращается в одну мысль: равенство! Разговаривая с ним, люди чувствуют, что сильнее его слов — сухой, испепеляющий огонь глаз.

Декабрьский день. Густой туман. С утра в богатых лавках «Пале-Эгалите» горят лампы. Но масло дорого, и Париж работает в потемках. Все брзжат, ругаются. Только полицейским агентам этот туман на руку. Они крадутся по улице Сен-Онорэ, чтобы не привлечь внимания прохожих. Вот в том доме должен сейчас находиться неуловимый Бабеф. По донесениям сыщиков, здесь помещается редакция его газеты.

Но Бабефа охраняют. В комнату, запыхавшись, вбегает мальчик:

— Идут!..

Бабеф в воротах сталкивается с полицейским, он отталкивает его, бежит. За ним гонятся. Полицейские кричат:

— Держите вора!

На углу улицы Революции его останавливает какой-то спекулянт. Бабеф вырывается. Он бежит дальше. Несколько бездельников теперь пополнили ряды полицейских: это уже целая свора. И все они кричат:

— Держите его! Он стянул часы!..

Бабефа снова пытается остановить кучка франтиков. Несколько ударов, и дорога свободна. Но силы Бабефа иссякают. Возле монастыря Асонсион несколько человек его схватывают.

— Вор! Стой!

Туман настолько густ, сердце так сильно бьется, что Бабеф не сразу может различить, кто его держит. Он вглядывается. Красные обветренные лица. Запах кожи и пота. Это носильщики с Рынков. Тогда он доверчиво говорит:

— Я не вор! Я — Гракх Бабеф. За мной гонится полиция.

Носильщики сначала недоверчиво прислушиваются: полно, Бабеф ли это?.. Но один говорит:

— Я его видал в клубе. Это Бабеф. Иди сюда, гражданин, мы тебя не выдадим.

Один быстро покрывает Бабефа своей широкой войлочной шляпой, другой толкает его в подворотню. Несколько минут

спустя Бабеф, тяжело дыша, рассказывает о происшедшем Дартэ, который приютил друга в бывшем монастыре Асонсион. А носильщики смеются над запыхавшимися полицейскими:

— Что, поймали Бабефа?

Они веселы и горды: сегодня они, носильщики с Рынков, спасли революцию.

11

Агенты Центрального бюро не сумели арестовать Бабефа. Однако они были далеко не лодырями, они честно отработывали свой хлеб. В их донесениях было немало и практических советов, и философических суждений. Так, например, сыщик Маи писал: «Необходимо оставлять часовых возле эшафота, чтобы на него не взбирались маленькие дети. Это нарушает порядок и противно принципам человеколюбия». Сыщик Астье был человеком более трезвым. Он знал, что Директория объявила принудительный заем. Ну раз насильно просят займы — это уж последнее дело, и Астье доносил: «Вчера некто Гуро, проживающий на улице Катрин в доме № 62, находясь в кафе, что на улице Мартэн, хвастался, будто он съел обед, который стоил восемьдесят тысяч ливров. Этот гражданин взят мною под надзор, и ему будет предложено дополнительно записаться на заем»... Граждане директоры могли спокойно спать за спиной таких остроумных агентов. Но, увы, и здесь не было постоянства. Сыщички ежедневно доносили о различных забастовках: рабочие не хотели брать ни ассигнаций, ни новых бумажек, названных «мандатами». В один злосчастный день донесений не поступило. Дети могли свободно играть на эшафоте, а спекулянты проедать в один присест хоть миллионы: сыщички забастовали. Чем они хуже других? Они требовали вместо бумаги традиционных сребреников.

Трудно Директории на кого бы то ни было положиться. Швейцарам выданы чудесные костюмы. На них черные плащи, пунцовые тоги, даже ноги их украшены трехцветными бантами. Кажется, чего бы им бунтовать? Но вот гражданин Леревельер, прерывая доклад о дипломатических успехах республики, испуганно визжит:

— Необходимо тотчас отослать всех швейцаров! Я получил донесение: они сочувствуют Бабефу. Они могут нас убить.

С Питта разговор переходит на мировоззрение швейцаров. Здесь все хотят высказаться. Это куда занятнее, да и важнее, нежели мирные переговоры. Питт далеко, а швейцары пока что могут взять и укукошить...

Во главе Директории — гражданин Баррас. У него рыхлое добродушное лицо. Один из заподозренных швейцаров видел гражданина Барраса в ванне и уверяет, что принял директора за женщину. Но ведь этот швейцар вообще неблагонадежен. Так или иначе на заседаниях Директории пол гражданина Барраса бесспорен: прежде всего, на нем нанковые панталоны. На нем также пестрые чулки, сапоги с желтыми отворотами, голубой фрак с восьмиугольными пуговицами, огромный белый галстук и зеленые перчатки. Важно блестит золотая шпага. На коленях большая шляпа с галунами. Гражданин Баррас воистину самый великолепный мужчина республики. Он галантен, ленив и томен — ведь он как-никак бывший виконт. У него нет никаких идей, зато он страстный охотник, великолепный рассказчик анекдотов и неотразимый ловелас. Революция для него — клад, неожиданное наследство, крупный выигрыш. Гражданин Баррас сорвал банк.

Вначале его затирал Робеспьер. Этот педант сам не умел жить и другим не давал. Баррас, однако, погулял с Фрероном на юге. Злые языки определяют тулонскую добычу директора в восемьсот тысяч ливров золотом. Скорей всего, это преувеличено: Баррасу приходится теперь подрабатывать, благо что Робеспьера больше нет. В его салоне спекулянты с расфуфыренными крикливыми женами, посредники, банкиры, вся новая знать Франции. Они играют в вист или в двадцать одно. Карты, разумеется, свидетельствуют о революционности места: короли в треуголках, дамы в фригийских колпаках... Поставщики неизменно проигрывают Баррасу: хотят получить поставки. Виконт любит аристократов. Он окружен титулованными проходимцами. Но что делать — ему приходится терпеть и грубые манеры спекулянтов: без денег не проживешь, а он за годы революции привык жить на широкую ногу.

Больше всего на свете он любил женщин, вернее, не самих женщин, но свои над ними победы. Вот и сейчас во время заседания, пока Карно, стуча кулаками по столу, кричит что-то о фортификациях, Баррас, самодовольно жмурясь, как раскормленный кот, шепчет Рейбелю:



— Я хочу выдать Розу Богарне за этого корсиканца. Он нам может быть очень полезен. Но когда я сказал ей о моих планах, она начала плакать: «Как можно жить с другим, узнав любовь Барраса?..» Она, кстати, была очень мила, раскрасневшись. Но мне она порядком надоела...

Вдове Богарне Баррас сейчас предпочитает молоденькую Терезу. Она — богиня Парижа, и тщеславный Баррас горд новой связью. Тальену пришлось примириться. Баррас за это ему помогает в военных поставках. Тереза делит свои дни и ночи между буколической «хижиной» и Люксембургским дворцом.

Баррас тщеславен не только в любви. Краснея от чванства, он жаждет показать всем: директорам, министрам, швейцарам, послам, торговкам, даже статуям: «Я — Баррас. Я — первый из пяти. Я — все. Без меня нет ни революции, ни Франции». По его настояниям военное судно в Тулоне окрещено «Баррас». В тщеславии сказывается его порода: он прежде всего — провинциал. Для него сплетни о швейцарах — вопрос государственной важности, а о финансах республики он судит, как о долгах своей покойной тетушки: вот тому бы не отдать, да из этого бы вытянуть немножко... Он притом южанин, провансалец. Об этом говорит запах — полный грации виконт смущает прелестниц ароматом: он обожает чеснок. Об этом говорят и чересчур бесцеремонные анекдоты, и хвастовство, и болтливость.

Узнав о необычайных государственных успехах Барраса, из Прованса понаехала в Париж его родня. Жену свою он, конечно, оставил дома, в Фоксе, она бы ему только мешала. Зато приехали тети, дяди, кузины. Запах чеснока наполнил сразу весь дворец. Стоит показаться юноше с локонами или подрядчику без своей половины, как дамы его облепляют: авось холостой! Кузина Барраса госпожа де Монпери ищет жениха для своей перзрелой дочки Клементины, черной, потной и лоснящейся, как маслина.

Рейбель делит с Баррасом если не дам, то подрядчиков. Это человек деловой, и красавицы его мало занимают. К вопросам высокой политики он тоже равнодушен. Он — отец семейства и копит на черный день. Кутит за него его восемнадцатилетний сын, щеголь и лодырь. О проказах директорского сынка ходят по городу легенды: он купает красоток в вине, берет на грицел бронзовых нимф и что ни день заказывает новые жилеты. Парижане уверяют, что так не жил даже дофин.

Леревельер однажды уж обижен судьбой — он горбун. Кроме того, его обидела и революция: он должен был вместе с другими жирондистами скрываться. В те времена и Карно и Баррас были у власти. Теперь они живут с ним вместе во дворце. Но Леревельер не забыл прежних обид. Он всегда раздражен. Он похож на злую обезьяну в парадном мундире. Он любит рассуждать о новой религии — «теофилантропии». Что же ему еще делать? Разозлит Барраса так, что тот, хлопнув дверь, выбежит из комнаты, заставит Карно густо покраснеть от гнева. Потом пойдет гулять среди клумб и, пугая своим уродством кузин Барраса, доказывает сочувствующим приживалкам, что религию необходимо рационализировать.

Баррас не боится ни его, ни Летурнера, который самодоволен, толст и туп. Конечно, Летурнер приспешник Карно, но он не способен повредить Баррасу. Он вспыльчив, кричит на заседаниях, высказывается прежде всех. Однако его глупость настолько очевидна, что над ним посмеиваются даже кучера, не говоря уж о подозрительных швейцарах.

Нет, настоящий враг Барраса это Карно. У Карно нет ни хитрости виконта, ни его изящества: он грубоват. Он никого не очаровывает. Зато он не знает колебаний. При Робеспьере он был крайним якобинцем, членом Комитета общественного спасения. Баррас его зовет «убийцей Дантона», а для Леревельера Карно — палач, от которого он, Леревельер, случайно спасся. Все это так, однако сейчас Карно — сторонник порядка. Его товарищи топчутся на месте. Он неуклюже, грузно ступает вперед. Он убежден, что революция кончилась. Надо ликвидировать ее своими силами, не то этим займутся роялисты. Он не политик, он скорей солдат. Он не вождь, у него слишком пошлое лицо: одутловатые, бледные щеки, тусклый взгляд, голый череп. Притом у него слишком трезвая голова, он не фанатик, не игрок, не авантюрист. Он просто честный, небольшой администратор среди грандиозных событий и нечистых на руку людей. Его никто не любит. Для патриотов он — предатель. Для роялистов — убийца. Для Франции — посредственный полицейский с добрыми намерениями и с большущей лысиной.

Таковы люди, которые правят Францией. Они приехали в Люксембургский дворец под охраной сотни лихих кавалеристов и тотчас начали заседать. Для заседания нужны, однако, стол, стулья. Во дворце побывала революция, и дворец был пуст. С трудом директоры раздобыли колченогий стол. Сторож

скрепя сердце одолжил им несколько полен. Он боялся: вот выкинут их отсюда завтра — плакали мои дрова!.. Слуги просили для верности жалованье вперед.

Директоры, однако, не растерялись. Если им не удалось восстановить Францию, то всю роскошь Люксембургского дворца они восстановили.

О Франции Баррас, этот герой Тулона, любит говорить наставительно:

— Восстановить гораздо труднее, чем разрушить...

С ним, конечно, все соглашались. Что касается дворца, то тут Баррас призывает к республиканской скромности:

— Будем спартанцами! Я предлагаю на первое время ограничиться пятьюдесятью упряжками и двадцатью каретами.

Сегодня они о многом переговорили: о финансах, о швейцарах, о голоде, о каретах. Они постановили преподнести в подарок Генуэзской республике трехцветное знамя. Теперь им предстоит тяжелая работа. Леревельер передает: вчера на улице Сен можно было видеть аббата в сутане, причем это не был актер, игравший «Тартюфа», но настоящий живой аббат. Пребрегая всеми декретами, он нагло разгуливал в церковном облачении. Этого мало, все церкви снова переполнены, лавки в воскресенье закрыты, а в декади торгуют. Всем известно, что парижане праздновали новый год в нивозе, они даже открыто целовались на улицах. Директория постановляет: усилить надзор, чтобы в декади никто не смел торговать.

Барраса волнует другой вопрос: о песнях. Директория приказала всем театрам ежевечерне исполнять патриотические песни. Публика сопротивляется. Это интриги роялистов. Одни уходят в фойе, другие громко зевают, третьи свистят, а когда их арестовывают, уверяют, будто они свистели не песням, но певцам, те, мол, фальшивили. Особенно строптивы всегдатаи театра «Фейдо» — там, что ни вечер, скандал. Публика кричит: «Мы деньги платим за пьесу, а не за песни. Довольно горланить! Надоело!» Директория постановляет: усилить надзор.

Самый неприятный вопрос припасен напоследок. Министр полиции сообщает, что «Общество Пантеон» приняло явный антиправительственный характер. Там собираются все подозрительные граждане Парижа. Они читают вслух листок Бабефа и поносят Директорию. С каждым днем число посетителей увеличивается. Когда один из членов, тайный агент, предложил составить новую петицию Директории, его чуть не избили. Эти

якобинцы кричали: «Теперь нужны ружья, а не петиции!» Установлено, что во главе «Пантеона» не кто иной, как Бабеф. Министр полиции настаивает на закрытии общества.

Карно горячится: это не аббаты и не песни, вот где опасность — Бабеф! Он рубит сплеча:

— Арестовать вожаков.

Баррас смущен такой настойчивостью. Легко сказать «арестовать», это ведь значит объявить войну. А вдруг они сильнее Директории? Баррас предпочитает выжидать. Карно упорствует:

— Пора покончить с ними! Вы их во всем покрываете. Кто разрешил Пошолю приехать в Париж? Ведь он же был монтаньяром.

Рейбель усмехается:

— А ты, Карно? Кем ты был? Отвечай-ка!..

Молчание. Напоминание о прошлом здесь смущает всех. Выручает шутка:

— Впрочем, не будь монтаньяров, разве мы сидели бы здесь, в Люксембургском дворце?

Поспорив, все уступают. Решено: закрыть «Пантеон», но никого не арестовывать. Баррас вдруг вспоминает — необходимо равновесие!

— Чтобы смягчить, мы одновременно закроем хоть на неделю театр «Фейдо», ну и какую-нибудь маленькую церквушку, например Сен-Андре.

Довольный своей находчивостью, он уже улыбается, не думая ни о террористах, ни о Бабефе, ни о прошлом. Сейчас его ждет в саду Тереза. А завтра? Завтра охота на кабанов в Ренси...

Карно, однако, не столь легкомыслен. Он обсуждает закрытие клуба, как итальянскую кампанию. Какому генералу поручить столь рискованную операцию? Ведь говорят, что с «бабувистами» чуть ли не весь Париж. Летурнер подозревает командующего внутренней армией, он, кажется, симпатизирует анархистам. Конечно, в вендеьере он отличился, но тогда ведь были роялисты, а теперь ему придется разгонять своих друзей.

Баррас всех успокаивает: молодой генерал его ставленник, он отнюдь не анархист, он исполнитель и предан. У него нет никаких суждений. Это скромный юноша, лишенный амбиций.

— За Буонапарте я ручаюсь.

Граждане директора расходятся. Леревельер идет рассуждать о боге, Рейбель договариваться с подрядчиками — сколько кому. А Баррас, кокетливо улыбаясь, говорит Терезе:

— Мне кажется, что скоро я буду единственным главой Франции...

Но Тереза сегодня не в духе — портные требуют денег, а разиня Тальен вечно на мелн. Тереза сухо отвечает:

— Не думаю. Для этого вы слишком трусливы...

Так легко и поссориться! Но по аллее идет небольшой, поджарый человек. Он снимает шляпу, учтиво кланяется. Баррас покровительственно ему говорит:

— Надо расставить пушки... Имеются ли запасы пороха? И не забудь смотри о барабанах. В случае опасности я сам приду к тебе на помощь.

В глазах Буонапарте вспыхивают насмешливые искры. Но он снова кланяется и говорит:

— Гражданин директор, ваш приказ будет немедленно и беспрекословно исполнен.

Тереза с любопытством прислушивается, а когда Буонапарте уходит, задумчиво говорит:

— Кажется, я прогадала. Роза куда хитрее меня...

12

Генерал Наполеоне Буонапарте привел войска, расставил пушки и приготовился к сражению. Он защитил свой тыл. Он ведь не знал, где неприятель. Этого, впрочем, никто не знал. Говорили, что анархисты всеильны, что против Директории — Париж. Напрасно, однако, генерал поставил на ноги столько эскадронов. Как всегда, гудели хвосты у булочных, ругались водовозы и к небу, вместе с легкой дымкой (зима еще держалась), подымались вздохи: «Доколе?» Было тихо, буднично. Ржали лошади драгун, солдаты пересмеивались. Порой рабочие кричали им: «Лучше бы вы шли на фронт, чем здесь давить людей!..»

Генерал Буонапарте, наклонив голову, шагом, быстрым и, пожалуй, чересчур крупным для его сложения, подошел к воротам бывшей церкви, где помещалось «Общество Патеон». Пушкари ждали сигнала. Но сторож безропотно вручил генералу ключи от помещения, огромные церковные ключи, похожие

на старые трофеи. Буонапарте, еще не привыкший братъ города, усмехнулся, а застоявшиеся кони весело ринулись вперед. Их цокот оповестил парижан, равнодушных ко всем событиям мира, о новой победе «генерала-вендемера».

Еще недавно он был героем патриотов: «Он спас республику и революцию». Якобинцы говорили: «Буонапарте наш». Они вспоминали штурм Тулона и зажигательные речи молодого патриота. Даже «равные» сочувственно поддакивали: «Это не Мену!» Он, конечно, молод и ветрен, но он поборник равенства, недаром он был другом Робеспьера-младшего. Он думает не только о военных подвигах, но также об устройении общества. В 91-м этот пылкий корсиканец публично говорил: «Пусть гражданские законы обеспечат каждому необходимое! Пусть жажда богатства сменится народным благодеянием!»

Буонапарте не отвергал подобных восхвалений. Он только начинал игру. Первый ход удался. Что позади? Мечтания, нищета и одиночество, книги, выстрелы, примеры героев древности, географические карты. О чем только он не мечтал до вендемера! «Хорошо бы уехать в Турцию и поступить там к султану на службу»... Он был настолько беден, что после вендемера, когда его приветствовал Конвент, сконфуженно мялся — как со штанами?.. На нем были замшевые штаны его приятеля Тальмы.

«Вендемер» многое определил — в этот день корсиканец связал свою судьбу с судьбою Франции. К черту султана! На восток?.. Да, когда-нибудь, но не наемным кондотьером, — завоевателем.

«Вендемер» был случаем, он стал обдуманном дебютом сложной партии. Надо всех в себя влюбить. После «патриотов» — «умеренных», то есть аристократов, франтов, завсегдаев «Маленького Кобленца», богатых негоциантов, подрядчиков, недоверчивого Карно, знать, капитал, всех, кто трепещет при имени Бабефа. Гремя тюремными ключами, Буонапарте радуется: и второй ход верен. Ему не пришлось стрелять в патриотов. Он только повиновался. Ненависть народа падет на Директорию, не на него. Зато сегодня он — герой друзей порядка. Он точно и молниеносно выполнил приказ. Те, что называли его «анархистом», прикусят языки. Нет, он не с партиями, он с нацией!

Как и Баррас, Буонапарте старается никого не раздражать, он ждет, пока враждующие армии не перебьют друг друга. Между генералом и директором различие только в калибре: один — пример одаренности человеческой природы, другой — ее ничтожества.

Сообщив директорам о закрытии «Пантеона», Буонапарте быстро откланялся: он спешил. Баррас игриво подмигнул: «Любовь не терпит». Виконт ведь только и думал, что о бабах. Буонапарте думал о славе. Жозефина Богарне, которую дотеле звали Розой, была для него не богиней, не пастушкой, не куртизанкой, но очередным ходом, третьим «Вендемьером». Вдопль наблюдательный, он хорошо знал свое время. Он говорил: «В Париже ничего нельзя добиться без женщин». Он говорил это скорее с досадой, нежели с улыбкой. Женщинам он предпочитал историю Рима или атлас. От природы скромный и скрытный, он плохо себя чувствовал в салонах Директории. Но что ж тут было делать?.. Полководец, встречая реку, назад не поворачивает, а ищет брода.

Роза или Жозефина Богарне не молода. Если ее красоту сравнивают с розой, то не с бутоном, а с крупной расцветшей розой. Ее возраст несколько смущает Буонапарте: дело не в красоте, — в насмешках. Невеста старше жениха на шесть лет. Он даже берет бумаги брата, чтобы постареть хоть на полтора года.

Жозефина обыкновенная женщина своей эпохи. Ее мужу отрезали голову на гильотине. Она случайно уцелела. Следовательно, ей хочется жить вдвойне. Подруга Терезы Тальен, она носит те же парики и те же туники. Она не привередничает в выборе любовников. Правда, директор Баррас или генерал Гош знамениты, но тому же Гошу она при первом удобном случае изменяет с его конюхом Ванакром.

Занятый иным, Буонапарте не слушает сплетен. Выбрав Жозефину, он сразу одаряет ее всеми добродетелями. Он женится не на любовнице конюха и конюхов, но на целомудренной аристократке.

Дело, однако, не в целомудрии, не в красоте, даже не в богатстве. Брак с госпожой де Богарне новый ход игрока. Он примиряет простого корсиканца, подозрительного якобинца с кварталом Сен-Жермен, с аристократией Франции. Буонапарте, если угодно, влюблен, даже счастлив. Но среди буколических объятий вздохи быстро сменяются плеском знамен, а любовные

признанья гулом толп, цокотом парадов, ревом победы. Это происходит в особняке Тальмы: Буонапарте купил у своего приятеля, который недавно развелся, дом, где некогда бывали Андре Шенье и Кондорса, дом с колоннами, с лирами, с орлами. Он глядит на Жозефину. Он глядит и на орлов.

Буонапарте обвенчался через десять дней после похода на «Пантеон». Свадебный подарок Барраса был великолепен. Он щедро наградил «скромного генерала, лишённого амбиций», и нежного супруга Жозефины — любовницы Барраса. После некоторых колебаний Директория одобрила приказ о назначении Буонапарте главнокомандующим всеми армиями в Италии. Карно поспорил: «Как можно доверить столь ответственный пост молодому генералу, который отличился в мелких уличных боях?» Карно боялся, что Буонапарте — ставленник Барраса и скрытый якобинец. Но якобинцы еще страшнее под боком, и Карно уступил.

Буонапарте торопится. Он едет завоевывать Италию. Он едет завоевывать и Францию. Он готовится к своей судьбе. Сегодня умер «Наполеоне Буонапарте». Чужестранное имя не подходит для национального героя. Он знает, что завтра вся Франция будет его приветствовать виватами. Вот и «Жозефина» звучит гораздо достойней, нежели глупая «Роза». Пусть завтра они кричат: «Да здравствует Наполеон Бонапарт!..»

13

Уезжая в поход, Бонапарт заботился не только о транскрипции своей фамилии. Он знал, что республиканские армии побеждают не пушками. Париж слал солдат и порох. Бонапарт решил вывести из Парижа нечто другое — революцию.

Друг Бабефа Филипп Буонарроти получил приглашение явиться в министерство иностранных дел. После закрытия «Пантеона» он ждал со дня на день приказа об аресте. Его вызывала, однако, не полиция, а гражданин Делакура по настоянию генерала Бонапарта.

Буонапарте знал Буонарроти по Корсике. Он ценил его доблесть, знания, ум. Притом он не пренебрегал ничьей помощью. Если «равные» могут быть ему полезны, надо разговаривать с «равными». Революция во Франции закончилась.



Это ясно. У патриотов может быть благородное сердце, но у них на плечах нет головы. Вот он закрыл «Пантеон». Он ждал сопротивления, боев, может быть — победы якобинцев. Париж смолчал. У рабочих больше нет ни оружия, ни огня. Оружие еще можно раздобыть, но сердце Парижа перегорело. Здесь могут быть теперь десятки заговоров, бунтов, но революции здесь больше не будет, по меньшей мере полвека, пока не вымрет поколение, выдавшее своими глазами террор и голод. Зачем раздражать патриотов — они не опасны. Нужно круто править. Пять болтунов вряд ли на это способны. Что же, Бонапарту остается ждать. У него теперь другая цель: победные режиссерские постановки, любовь армий, страх Европы. Революция — ценный товар: ее надлежит вывозить за границу. Конечно, идеи Бабефа — бред. Он, Бонапарт, мог говорить о равенстве в 91-м. Тогда ему было двадцать два года, а революции — всего два. Теперь он смеется над «всеобщим благоденствием». Однако Бабеф и его друзья полны воодушевления. Во Франции их, может быть, и следует арестовать, но у кого же искать революционного огня для Италии — не у Барраса!..

Генерал Бонапарт предложил министру Директории срочно снести с гражданином Буонарроти и попросить содействия «анархистов».

Необычайное свидание состоялось. Делакруа был по природе высокомерен и груб. Буонарроти ему казался заговорщиком, которого не сегодня-завтра засадят в острог. Однако он пытался говорить с этим анархистом вежливо, почти как с иностранным посланником. Таковы были инструкции Бонапарта.

— Итак, гражданин Буонарроти, мы рассчитываем на поддержку ваших итальянских единомышленников.

Буонарроти недоверчив:

— Я попрошу вас, гражданин министр, ответить мне, могут ли патриоты Италии рассчитывать на вашу помощь?

Делакруа в душе смеется: святая простота! Он-то знает намерения и Директории и Бонапарта. Надо выгнать из Италии австрийцев и усилить короля Ломбардии. Отвечает он уклончиво:

— Задача итальянских патриотов — облегчить нашим армиям вторжение в Италию.

— Зачем? Чтобы вы потом их предали, как здесь вы предали патриотов Франции?

Делакруа морщится:

— О внутренних делах мы не станем спорить — не это предмет нашего свидания. Что касается итальянских патриотов, то мы их отнюдь не предадим. Если республика победит, она при мирных переговорах примет все меры, дабы охранить личные интересы итальянских патриотов.

Здесь Буонарроти теряет спокойствие.

— Суть не в личных интересах. У патриотов личных интересов нет. Мы хотим знать, во имя чего вы воюете? Хотите ли вы республики в Италии или военной добычи? В Италии все готово. В Генуе патриоты ждут сигнала. В Сицилии десять тысяч наших томятся в тюрьмах. Там что ни день льется кровь героев. Как только покажется у берегов французский флот, вся Сицилия восстанет. В Тоскане брожение, то же и в Венеции. Патриоты Пьемонта уж неоднократно пробовали восставать. У них, однако, нет оружия. Если мы придем как освободители, вся Италия будет с нами.

— Мы против выступлений в Пьемонте. Надо подчинить все поступки патриотов дипломатическому плану. Я прошу вас, гражданин Буонарроти, представить мне докладную записку о всех необходимых мероприятиях. Я ознакомлю с ней генерала Бонапарта.

— Но нам нужны гарантии! Если солдаты снова будут грабить, если вы снова отдадите страну под власть военных самодуров, вы оттолкнете от республики весь итальянский народ. Вы рискуете тогда военным разгромом, гибелью патриотов. Лозунгом республиканских армий должно быть: «Мир хижинам, война дворцам!»

Гражданин Делакруа вместо ответа приподымается: аудиенция закончена. Ему надоело слушать этот нелепый бред. Итак, он ожидает письменного донесения.

Буонарроти вечером говорит Бабефу:

— Труден только почин. После Франции что им стоит предать Италию?..

Бонапарт перед отъездом внимательно прочел объемистую записку Буонарроти. Два месяца спустя он слушал в Милане речи местных якобинцев: «Мы здесь воплотим великие идеи 93-го! Мы установим подлинное равенство!» Он одобрительно кивал головой. Он знал, что, когда настанет время, можно выдать этих говорунов полиции, папе, королю, кому угодно. Сейчас они полезны. Надо пользоваться всем. Чем эти фантазеры хуже госпожи де Богарне?..

Закрытие «Пантеона» рассеяло «равных» по всему Парижу. Они собираются теперь в саду Тюльери, в кафе, принадлежащих добрым патриотам, как-то: в кафе Кретьена, Наи и Ковэна. Однако их генеральный штаб — в «Китайских банях». Это нелепое сооружение на углу Итальянского бульвара и улицы Миподьер, в двух шагах от «Маленького Кобленца». Провинциалы разевают рты, глядя на фасад, покрытый лысыми божками, зонтиками, звоночками и непонятными иероглифами. В эпоху увлечения «китайщиной» здесь помещались модные бани. Потом держатель бань прогорел, и в начале революции здесь открылось кафе. Его-то облюбовали патриоты. Трудно понять почему. Большие окна позволяют зевакам наблюдать за всем, что происходит внутри. Причудливость постройки привлекает общее внимание. Итальянский бульвар прославлен дерзостью роялистов и спекулянтов. Рядом с «банями» — модная лавка: днем и ночью толпятся франтики, разглядывая выставленные в окне галстуки и перчатки. Заговорщики собираются у всех на виду. Может быть, им нравится хозяин кафе, он ведь числится занятым патриотом, а заговорщики не знают, что этот патриот — тайный агент полиции.

В «Китайских банях» всегдалюдно и шумно. Возле большой печки спорят, что важнее: восстановление конституции 93-го или полная отмена наследств. Друзья Бабефа — Дартэ, Жермен, Дидье вербуют патриотов. Здесь выслушиваются рапорты и отдаются приказания. Колеблющихся уговаривают, новичкам объясняют, что за люди «равные». Шуршат листовки. Когда заходит какой-нибудь случайный посетитель, сразу все замолкают. Иногда в кафе врываются роялисты, происходят стычки. Как-то озорники выбили все стекла.

Рыжеволосая рослая девушка по имени Софи Ланьер исполняет новые песни «равных». Сочиняет их, конечно, все тот же Сильвен Марешаль. У Софи не бог весть какой голос, зато поет она с чувством. Она поет «Новую песню для предместий»: «От голода, холода мрет обманутый вами народ. А богач, он живет припеваючи...» Здесь посетители, вдоволь угрюмые, едва согретые жидким кофе и смутной надеждой, невольно смотрят сквозь окна на «бозественных» прелестниц и на «невеготных» щеголей. Софи же поет о «новых богачах, разжиревших на беде

народа», и о голоде, о черном голоде предместий: «Под мостом он разут и раздет, он железо жует на обед. Жуй железо, герой революции!..» Все подхватывают: «жуй железо»... Многие давненько не нюхали мяса, и голод прежде, чем гнев, разжег эти глаза. Софи вспоминает: «Их народ в доброте пощадил...» Ах, фонари покойного Камилла! Ах, гастроли гражданина Сансона на площади Революции! Скольких тогда они прозевали! Но теперь дудки — теперь никто живьем не уйдет! Они помнели. Грозно сжимаются кулаки. Пение переходит в рев, и завсегдатаи «Маленького Кобленца», проходящие мимо «Бань», пугливо переглядываются. Они вспоминают те же дни, тот же фонарь, ту же бурую густую кровь. Они даже забывают о хороших манерах, и, больше не картавя, вскрикивают:

— Анархисты! Террористы!

А рабочие, разорившиеся писцы илистряпчие, портные, уличные девки, носильщики продолжают горько горланить.

Иногда Софи исполняет другие куплеты, все того же Марешалля, для глубокомысленных патриотов, которые даже в песнях любят философические максимы: «О, благодетельная мать-природа, ты равными нас родила!..» Это «гимн равных». В «Китайских банях» много поют. Порой собрания заговорщиков напоминают уроки пения. Патриоты разносят песни по всему Парижу: их повторяют в мастерских, в темных дворах Сен-Антуана, в тюрьмах, в казармах. Гражданка Софи Ланьер недаром трудится: чтобы поднять Париж, мало идей Бабефа, для этого нужны также песни; без песен в Париже не бывает ни любви, ни хорошей драки, ни революции.

«Равные», конечно, не только пели. За один месяц они выпустили кши листовок: «Правда народу», «Солдат, стой и читай», «Слово к патриотам», «Трибун народа внутренней армии». Эти листки переходили из рук в руки. Можно сказать, что весь грамотный Париж их читал. Печатали их тайно, и полиция никак не удавалось напасть на типографию «равных». Газета Бабефа также продолжала выходить. У «равных» не было денег, а следовательно, и бумаги. «Трибун народа» печатался всего в количестве трех тысяч экземпляров. Но «Трибун народа» доходил даже до итальянской армии, где солдаты ожидали его с нетерпением. Ночью патриоты покрывали званиями стены Парижа.

Полдень. Квартал Антуана. Возле стены толпится народ. Мастерской громко, отчетливо, как учитель, читает: «Разбор

доктрины Бабефа, преследуемого Директорией за правду. Поскольку один изнемогает, работая, а другой бездельничает, обладая всем в избытке, существует насилие. Никто не мог вне преступления присвоить себе землю или мастерские. В подлинном обществе не должно быть ни богатых, ни бедных.

Кто-то сзади насмешливо вздыхает:

— Поздно вспомнили! Сколько негодяев нажилось на этой революции, а теперь-то они говорят: «Революция кончилась»...

Мастеровой продолжает читать: «Революция не кончилась, ибо богатые присвоили себе все блага и власть, в то время как бедные трудятся, подобно рабам, изнывая и никак не участвуя в управлении государством».

Среди толпы один гражданин явно не согласен с доктриной Бабефа. Он что-то бормочет под нос. Наконец он не выдерживает:

— Это кровопийцы! Они снова хотят нас душить.

Но Сен-Антуан — не «Пале-Эгалите».

— Долой шуана! Гоните роялиста!

Вмешивается агент полиции — конечно же тайный агент тут как тут. Крики, ругань, кулаки. Шляпы с кокардами и без кокард летят на землю. Наконец арестовывают обоих: того, кто читал, и «шуана». Баррас еще лавирует, но администратор районной полиции уже пристал к берегу — не колеблясь, он тотчас выпускает хорошо одетого гражданина, а «террориста» отсылает в тюрьму.

То же самое происходит и в других кварталах. Тайные агенты теперь повсюду слышат одно слово: «восстание». Возле моста Шанж и на площади Грев ежедневно собираются толпы безработных. Они требуют «хлеба», «равенства», «конституции 93-го года». Их разгоняют отряды кавалеристов. А голод все растет. Новые деньги «мандаты» падают с такой же стремительностью, как и ассигнации. Крестьяне не везут в Париж ни мяса, ни муки. Их трудно теперь чем-нибудь соблазнить: в деревенских домишках рядом с корытом — секретер из палисандрового дерева, гуси ходят по гобеленам и ребятишки бьют севрский фарфор. Безработица стала повальной: хозяева закрывают мастерские. Они уверяют, что принудительный заем разорил их. Роялисты с каждым днем смелеют. Они показываются в шляпах с королевскими лилиями. Они громко восхваляют успехи неприятельских армий. С первыми весенними днями Булонский лес наполнился щелканьем бичей, смехом прелест-

ниц, цокотом лихих наездников. Один чудак вздумал сегодня сосчитать, сколько там модных кабриолетов, но, перевалив за тысячу, сбился.

На площади Грев блещут сабли драгун, летят камни. У всех только один вопрос:

— Начинается?..

Среди двух сделок и среди двух танцев люди гадают: когда же он выступит?..

Грахх Бабеф пишет день и ночь. Он подсчитывает силы. Он готовится. Какая непосильная работа взвалена на плечи этого хилого человека! Он должен воодушевлять и организовывать, подсказывать уличной толпе внятные ей слова мести или зависти и обдумывать устройство нового общества, чтобы не сплеховать на следующий день после победы.

Бабеф скрывался у бельгийского патриота Клерка, в маленькой квартире возле Алль-о-Бле. Там происходили и заседания главарей. Они называли себя «Тайной директорией». Кроме Бабефа, в эту Директорию входили: Буонарроти, Дартз, Жермен, Лепелетье, Сильвен Марешаль.

Нередко происходили горячие споры: трудно было объединить столъ различных людей. Марешалю поручили написать «Манифест равных».

Написал он совсем не плохо, так что, слушая его, Буонарроти в воодушевлении прерывает чтеца возгласами: «Прекрасно! Bravo!» Но «Манифест» вызывает пререкания. Почитатель Руссо пишет: «Пусть погибнут все искусства, лишь бы осталось подлинное равенство». Это, конечно, согласуется с идеалом «равных», с любовью к природе и к простой жизни, однако Бабеф выступает против:

— Искусства могут быть полезны народу. Надо отличать забавы пресыщенных людей от здоровых потребностей граждан. Я отнюдь не враг машин. Ты думаешь, что машины приведут к еще большему рабству, и хочешь их уничтожить, нет, машины, правильно использованные, облегчат труд человека. Я бы поощрял новые изобретения.

— Зачем? Греки не знали машин, однако они были куда счастливей наших современников. Взгляни на искусства: кому нужны портреты аристократов или дворцы Версаля?

— Дворцы, пожалуй, пригодятся... А ты? Ты ведь пишешь стихи! Говорят, художник Давид совместно с Робеспьером предполагали перепланировать Париж. Давид высказывался за

прямые проспекты. Я вижу новую архитектуру нашей республики — дома просты, чисты, удобны. В них красота единообразия, полной симметрии. Общественные здания великолепны — это школы, народные дома для собраний, мастерские, библиотеки, музеи. Чтобы их воздвигнуть, необходимы искусства, без них мы уподобимся варварам.

Здесь угрюмый Дартэ вставляет:

— Однако следует наблюдать за изобретателями, учеными и художниками, чтобы они мысленно не блуждали среди воображаемого мира.

Бабеф продолжает:

— А одежда? Как неуклюж наш костюм! Он мало приспособлен для работы, к тому же он выражает идею неравенства. Нам придется утвердить единую для всех граждан одежду. Конечно, допустимы некоторые отступления в связи с возрастом и с ремеслом.

Антонель, флегматичный Антонель прерывает Бабефа:

— Давид и Тальма уже пробовали, Давид сделал новый костюм, а Тальма в нем вздумал прогуляться. Его сначала приняли за сумасшедшего, а потом арестовали, как иностранного шпиона.

Все смеются.

— Это отсталость граждан. Необходимо их перевоспитать. Я видел проект рабочей одежды, исполненный депутатом Сержаном, — мне он показался удачным. Нельзя же отрицать искусства или механику оттого, что теперь ими пользуются аристократы и богачи!

Хоть Сильвен Марешаль и пописывает элегии, он твердо стоит на своем: ни машин, ни искусств — все это наваждение города.

Еще больше споров вызывает другой абзац «Манифеста»: «пусть исчезнет, наконец, возмутительное различие между правителями и управляемыми».

— Ты требуешь отмены всякой власти — это недопустимо.

«Равных» называют «анархистами», однако они сторонники твердой власти. Только Марешаль за полную свободу:

— Чем палка в наших руках лучше палки Барраса? Мы всех перевидали — от Капета до Лежандра — все друг друга стоят. Суть не в людях, даже не в законах, суть в принципе: власть развращает самых добродетельных людей.

Марешалю не удалось переубедить товарищей. «Манифест» так и не был опубликован.

В другой раз разногласия вызвал вопрос о диктатуре. Кто должен править Францией после переворота: Конвент? Диктатор? Комитет, составленный из «равных»? Все признавали необходимость твердой власти. Буонарроти уверял: «Если мы уважаем народ, который еще несознателен,— мы должны прибегнуть к диктатуре». Дартэ стоял за единоличную власть. Бабеф, которому когда-то претила идея диктатуры, сохранил отвращение к этому слову. Решили установить власть революционного комитета.

Бабефу приходилось многое открывать, у него не было опыта предшественников. Он брел впотьмах, увлекаемый только горячим чувством. Тайная директория одобрила пять декретов, составленных Бабефом и Буонарроти.

Труднее всего дался экономический декрет. Будучи человеком достаточно пронизательным и широким, Бабеф не пошел за сторонниками крайнего опрощения. Однако сельская жизнь оставалась для него идеалом. Он предполагал значительно сократить как размеры, так и значение городов. Зло в городах! Проститутки, художники, сводни, поэты, воры, праздные комедианты. Разгрузить Париж! Все должны работать, кроме инвалидов и стариков, достигших шестидесяти лет. Особо неприятные и тяжелые работы выполняются поочередно. Все приписываются по месту жительства и работы. Обеды в общественных столовых. Трудящиеся получают пайки, все необходимое: одежду, пищу, домашнюю утварь. Передвижение разрешается только с ведома властей. Республика составляет опись продуктов земледелия и ремесла, распределяя их по областям. Главное — учет! Надо управлять не красноречием депутатов, но арифметикой. Торговля граждан с иностранными купцами запрещается под страхом смерти: это дело государства. Республика назначает агентов для внешней торговли: они приобретают за границей нужное сырье и продают иностранцам излишки продукции. Деньги внутри страны отменяются. Что касается запасов золотой монеты, то они пригодятся для внешней торговли.

«Декрет об управлении» делил население республики на «граждан» и на так называемых «иностранцев». Граждане занимаются полезным делом — это рабочие, землепашцы, ремесленники, солдаты. Сомнения вызвал вопрос об ученых. Решили зачислять их в категорию «граждан» лишь по особым



рекомендациям коммуны. «Иностранцы» лишаются права входить в общественные здания и носить оружие. За плохое поведение они могут быть отправлены в исправительные дома. Острова Маргариты, Ре и Гиерские превращаются в концентрационные лагеря для подозрительных «иностранцев». Эти острова должны быть отрезаны от всего мира.

Каждый желающий что-либо напечатать должен представить рукопись на рассмотрение. Если его работа полезна, ему предоставляют типографию. Воспрещается печатать сочинения, противные принципам равенства.

Распространить ли все права на женщин? Мнения разделились: Буонарроти и Марешаль говорили, что женщины еще не подготовлены к управлению государственными делами, Бабеф, напротив, стоял за равноправие: он хорошо знал героизм простой служанки.

Власть народу предоставляется постепенно. Сначала надлежит ввести основы равенства. Когда же Республика окрепнет, все трудовые граждане будут созваны на избирательные собрания согласно конституции 93-го года.

Иногда обсуждение того или иного декрета вызывало недоверие: выполнимо ль это?.. Конечно, чаще всех высказывал сомнения Антонель. Бабеф негодовал:

— Как? Это неосуществимо? Теперь? В конце восемнадцатого века?..

Однако и Бабеф боялся, что народ мало подготовлен к «обществу равных». Поэтому он считал особенно важным воспитание детей. Республика не может доверить родителям столь ответственной миссии. Дети поступают в воспитательные дома. Там учитывают как их наклонности, так и потребности страны, подготавливая столько-то учителей, столько-то слесарей, столько-то пчеловодов. Изучение истории и законов Республики укрепляет сердце подростков.

Для воспитания взрослых полезны праздники: апофеозы великих мужей, публичные игры, проповеди ревнителей равенства. Надлежит учредить праздник, заменяющий крестины: представление новорожденного коммуне.

Пока другие государства не последуют примеру Франции и не установят у себя равенства, нужно закрыть границы. Кроме агентов республики, никто не должен выезжать за границу. Во Францию допускаются только труженики, убегающие от рабства, или же герои, преследуемые тиранами.

Одобрив проекты нового общества, Тайная директория перешла к обсуждению тех мероприятий, которые могли бы привлечь граждан, предпочитающих философии фунт белого хлеба. Что будет на следующий день после переворота? Немедленно в дома богачей вселят обитателей Сен-Ангуана и Сен-Марсо. Беднякам, кроме того, выдадут одежду из государственных складов или из частных лавок. Имущество эмигрантов и прочих врагов народа будет распределено между защитниками революции. Надо уважать народ! Бабеф или Буонарроти готовы умереть за равенство. А народ хочет жить. Вот перед ним светлые дома, добро аристократов и, наконец, штаны, знаменитые штаны для неисправимых санкюлотов...

Как Бабеф, отвергший Робеспьера за террор, сам пришел к террору? Может быть, просто он освоился с революцией (ведь до этого он только и делал, что сидел в тюрьме), а революция, как известно, была щедрой на все: на идеи, на ассигнации, на кровь. Не было тогда ни философской системы, ни мелкого законопроекта без стольких-то отрезанных голов. Может быть, Бабеф изменился: два года тому назад в тюрьме Лана сидел живой человек, теперь это — трибун, председатель Директории, автор декретов, душа заговора. Может быть, изменилось и окружение. Робеспьер слал на эшафот Дантона и Шомета, Клоотса и Геберта. Это были еретики, но не изменники. Может быть, зрелище Терезы Тальен, «Балов жертв», спекулянтов в «Пале-Эгалите», «золотой молодежи», предателя Барраса, разгула последних приглашенных на революционное пиршество, которые долакивали опивки, — может быть, это зрелище заставило честного Бабефа столько раз аккуратно выписывать слово «смерть, смерть, смерть». Он готовился к высокому назначению: изменить человечество. Он знал, что для этого нужны солнце, братство и время, самое горькое — время. Как перепуганный врач, он хотел прибегнуть к давно испытанному средству: кровопусканию.

Для других членов Тайной директории, кроме Буонарроти и Жермена, террор был если не профессией, то, во всяком случае, привычным занятием. Антонель в свое время послал жирондистов на эшафот, Дебен восхвалял благодеяния гильотины, а Дартэ применял эти благодеяния на жителях Камбре. Вопрос о «наказании предателей революции» (так называли «равные» предполагаемые казни) вызвал куда меньше споров, нежели проект рабочего костюма.

Тайная директория, разумеется, не только сочиняла декреты — она деятельно готовилась к восстанию. Париж был разделен на двенадцать участков. В каждый участок послали представителя. Эти районные представители сносились с Директорией через Дидье — «агента связи». Они не знали даже, кто стоит во главе заговора, состав Директории оставался тайным.

Среди районных представителей были рабочие, военные, адвокаты, журналисты — все испытанные патриоты, в прошлом приверженцы Робеспьера, а теперь сторонники равенства. Бабеф знал, где его друзья, своей опорой он считал двенадцатый участок — рабочий квартал Сен-Марсо.

Бабеф запрашивает представителя Сен-Марсо: сколько мастерских в участке, характер работ, настроение рабочих? Представитель, гражданин Моруа, отвечает: две красильни, в одной восемьдесят рабочих, в другой тридцать, все, как один, преданны делу «равных».

Представители поддерживали брожение, сулили беднякам дома аристократов и штаны, вышучивали трусость Барраса и его полицейских, уверяли, что завтра «мандаты» пойдут на вес, как ассигнации, что Директория вошла в соглашение с роялистами, что хлеба в Париже нет, что Бонапарт разбит наголову и республике грозит тысяча опасностей. Они говорили правду, часто преувеличивали, порой умышленно лгали: в инструкции районным представителям рекомендовалось подымать население всеми способами, вплоть до распространения ложных слухов.

Районные представители были по большей части людьми бедными. Им приходилось зазывать патриотов в кабачки, чтобы там, за бутылкой вина, когда раскрываются души, спросить:

— Ну, как в вашей мастерской, — все готовы?..

Патриоты отвечали:

— Только и ждут сигнала.

За вино расплачивались представители. У Тайной директории вовсе не было денег. Самая большая сумма, которой она когда-либо обладала, это двести сорок пять франков. Бабеф презирал деньги. Он жил впроголодь. Но вокруг него было не воображаемое «общество равных», а Париж IV года, Париж балов, Барраса, поставок, модных лавок, Париж, коленопреклоненный перед любыми деньгами, даже перед балаганными «мандатами». Заговорщики должны были заменить деньги геронизмом. Это было по душе Бабефу, но не Парижу.

Слов нет, у «равных» везде были горячие приверженцы. Два офицера из личной охраны Директории предложили убить директоров. Бабеф это предложение отверг: он хотел не дворцового переворота, а народного восстания. Он слал представителям новые инструкции: больше энергии! Учет патриотов! Полная тайна! Час близится!

Да, час близится. Об этом говорят донесения представителей, об этом говорят и глаза Бабефа; не усталость в них, да и не восторг, Бабеф накален добела: дальше он может только расплавиться — победить или же погибнуть. Огромная работа выполнена: в тесной комнатухе преследуемый полицией человек создал не только очередной заговор, он создал новую религию. Он взял буколические грезы XVIII века и превратил их в параграфы декретов: завтра они станут жизнью! Он докажет, что всеобщее благоденствие не в роскоши, не в военных победах, не в праздном искусстве, которым теперь тешатся и граждане Тальма — актер, и гражданин Сансон — палач. Нет, всеобщее благоденствие в равенстве!

Вот сын его, Эмиль. Он трудился весь день. Он обрезал деревья плодового сада. Он рассказывал юным сынам республики о первых зачинателях общества равных, о Робеспьере и Сен-Жюсте. Теперь он вышел за околицу со своей молодой подругой. Перед ним сельское спокойствие, игры детей, благодетельное солнце, уходящее до завтра, и свежесть, заслуженная свежесть отдыха. Он счастлив. Это счастье достойно зависти: он счастлив, ибо равен, ибо его счастье никому не стоит ни пота, ни слез, ни крови. Когда это будет? Неужели только через десять лет? И увидит ли измученный Гракх эту вдохновенную картину?..

Минута мечтаний сменяется тревогой. Все ли готово?.. Отчеты представителей полны надежд. Бабеф теперь почти не выходит из дому: ведь вся полиция поставлена на ноги. Из его окна видны только небо и крыши. Он не видит Парижа. Жадно спрашивает он друзей:

— Ну, как?.. Нет, не отчеты... Как Париж, улицы, толпа, люди?..

Друзья отвечают по-разному. После удачного дня им кажется все прекрасным: «Париж кипит, как тридцать первого мая!» Но бывают и плохие дни, сказывается усталость. Вот сегодня — Буонарроти пришел мрачный, молча поздоровался.

— Как Париж?..

Не глядя на Бабефа, Буонарроти тихо отвечает:

— По-моему, Париж не с пими, но и не с нами. Он равнодушен.

Бабеф вскакивает, обнимает Буонарроти:

— Нет! Нет! Этого не может быть! Я знаю Париж — его нельзя зажечь словами. Но он весь загорится, как только увидит мужество «равных». Не журналистами должны мы быть — апостолами!

15

Десятого жерминаля в четыре часа пополудни молодой офицер Жорж Гризель шел из военного училища к своей тетушке. Несмотря на весеннее солнце, Гризель был не в духе: жизнь его никак не налаживалась. Вместо веселых кутежей в одном из кабачков «Пале-Эгалите», он должен хлебать луковый суп и слушать, как его тетушка жалуется на базарных торговцев: «Живодеры! За пучок лука просят тридцать франков, как будто лук — это ананасы!»

Денег тетушка не дает. Никакого повышения в чинах тоже не предвидится. Сколько офицеров за один год стали генералами! На что-нибудь же годна эта треклятая революция... А вот он, Гризель, — капитан, и точка. Дальше ни-ни. Подумать только, что проходимец Буонапарте назначен главнокомандующим. Вот это карьера! Почему же ему не везет? Он ведь тоже человек азартный...

Гризель шагал по набережной Тюльери, не обращая внимания ни на деревья в цвету, ни на улыбающихся модниц. Невеселый обед предстоял его тетушке.

С детских лет Гризель мечтал о славе. Он завидовал не только гражданину Тальену, но даже гражданину Сансону: помилуйте, стоит палачу прийти в театр, как все на него показывают пальцами. И потом такой Сансон хорошо зарабатывает: он не должен бегать за тридевять земель к старой дуре ради тарелки супа.

Гризель был сыном портного, и детство провел он в маленьком городке Аббевиле. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он стащил у отца двести франков и уехал в Париж. Он хотел было записаться во флот. Эскадра отбывала в Гибралтар. Но Гризель не вышел ростом, и его забраковали.

Настала революция. Другие честолюбцы сделались ораторами, депутатами, журналистами. Гризель остался портным. Он клал заплаты и пришивал пуговицы. Наконец он попал в армию, но и там, дойдя до звания капитана, остановился. Маленькое жалованьице, вылинявший мундир, обеды у тетушки — такова была жизнь Жоржа Гризеля. Понятно, что он шел и хмурился.

Вдруг его окликает гражданин Мюнье:

— Гризель! Давно не видались...

За год до революции оба жили в одной комнате, оба были портными. Друзья обнимаются. Мюнье зовет Гризеля:

— Разошьем бутылочку!

Не так часто Гризеля угощают, чтоб он раздумывал. Они идут в «Женевское кафе». Мюнье спрашивает:

— Ну, как тебе живется?

Гризель самолюбив. Не станет он жаловаться перед этим портняжкой.

— Ничего. Как видишь, служу республике,— командую третьим батальоном тридцать второй полубригады.

Мюнье хмурится:

— Я тоже, брат, ей послужил. Шесть месяцев. После пре-риала. Не понимаешь? Сидел в тюрьме Плесси вместе с другими патриотами. Верная служба, хоть и без чино! Хороша республика — нечего сказать! Честные люди голодают, а б... купаются в золоте. Только подумать, за что мы проливали кровь!..

Дружба поднимает дух, вино также. Гризель не спорит с Мюнье. Он плохо разбирается в политике, на всякий случай он ругает Директорию. Это верный ход: ее ведь все ругают.

— Пять болтунов!..

«Женевское кафе», как десятки других кафе, место встречи патриотов. Здесь все знают Мюнье, все с ним чокаются: «За хорошую переделку». Гризель, конечно, тоже пьет. Пусть стынет суп тетушки! К черту! Нельзя покутить с красотками в шикарном кабаке? Что же, он будет дуть дешевое вино с этими мастеровыми, благо, что платит Мюнье.

Офицера угощают яблочной водкой и кофе. Он пользуется успехом, как хорошенькая женщина. Особенно ласков с ним некто Монье, мастер-поясник. Этот Монье все время говорит:

— Скоро армия придет к нам на помощь. Не правда ли, гражданин?

Гризель опрокидывает рюмочку:

— Разумеется.

Когда он выходит из кафе, все путается: тетушка и патриоты, Монье и Мюнье. Что за напасть! Он, кажется, перехватил. Добравшись до дому, он тотчас засыпает. На следующий день с трудом вспоминает он шумный вечер и морщится: мастеровые!.. Он ведь теперь не портной, а как-никак капитан армии.

Не следует, однако, думать, что Гризель привередник. Когда через несколько дней его новый знакомый, гражданин Монье говорит при встрече: «Идем ко мне обедать», он колеблется только из приличия. Куда ему идти? К той же проклятой тетушке?

Монье ведет Гризеля к себе, знакомит с женой. Эти люди бедные, но гостеприимные. На столе жареная колбаса и вино. Монье говорит с Гризелем, как патриот с патриотом:

— Готовы ли солдаты поддержать нас?

— Готовы.

В душе Гризель смущен: чего им это приспичило?.. Лучше говорил бы о девочках!.. Он ведь не может блеснуть никакой оригинальной мыслью. Он даже плохо понимает, о чем говорит Монье.

— Как? Ты не читаешь газету Бабефа? Стыдно, патриот!

Гризель оправдывается: служба, собачья служба! Начальство бездельничает, а у Гризеля ни минуты свободного времени... Монье показывает ему последний номер «Трибуна»: вот обращение к армии.

— Здорово?

Гризеля кинуло в жар, когда он прочел: «Убить пять королей». Где он?.. Игра становилась опасной. Но что же ему было делать? Спорить? Монье куда сильнее Гризеля. Еще, чего доброго, избыет... И Гризель усердно поддакивал. Обрадовавшись, что есть перед кем поговорить, Монье не умолкал.

— Кто закрыл «Пантеон»? Кто подменил конституцию? Кто в тюрьмах Марсея задушил сотни патриотов? Все они! Но скоро мы с ними рассчитаемся!..

Гризель с тревогой спрашивает:

— Как?

— Да как — очень просто. Как с Капетом. Все уже готово. Теперь только комитет скажет «пли!» — сейчас же шагом марш. Понял?

Гризель грешил не только трусливостью, он был на редкость любопытен.

— А кто в этом комитете?

Монье расхохотался:

— Ну и спросил! Этого, брат, и я не знаю. Этого никто не знает — ни Карно, ни патриоты, ни сыщики. На то он «тайный». Но если ты хочешь познакомиться с настоящими патриотами, я тебя отведу в «Китайские бани».

Монье позвал своего соседа — шапочника Гово. Втроем они вышли на улицу. Гризель попробовал распрощаться:

— В другой раз. Служба...

Патриоты звали: «Брось! Идем!..» Гризель колебался: конечно, интересно поглядеть... Но еще, чего доброго, залезешь в какую-нибудь историю... Так и в тюрьму легко попасть — сидел же тот болван Мюнье...

Любопытство, однако, победило. Монье и Гово представили Гризеля как испытанного патриота. Гризель только улыбался и кивал головой: он был растерян. До этого дня он всегда сторонился революции. Он не бывал ни в клубах, ни на собраниях. Лица завсегдатаев этого кафе испугали его решимостью. Как всегда, Софи Ланьер исполняла патриотические куплеты. Услышав «погиб великий «Неподкупный», за революцию погиб, за нас», — Гризель невольно оглянулся: полно, не спит ли он? Здесь открыто восхваляют Робеспьера: как будто на дворе 93-й. Он даже подумал: улизнуть бы!.. Однако комплименты патриотов, обступивших офицера, его удерживали. Честолюбец охорашивался: ага! наконец-то меня оценили! Один из патриотов, пошептавшись с Монье, сказал Гризелю:

— Хорошо, что ты пришел сюда. Нам нужно наладить связь с лагерями. Ты нам, наверное, можешь помочь.

Это был друг Бабефа Дартэ. Гризель не знал, кто с ним говорит, он ответил самодовольно:

— Что же, если вы во мне нуждаетесь, я, конечно, могу...

Дартэ показывает Гризелю воззвание Бабефа к армии; Гризель, осмелев, критикует:

— С этим вы далеко не пойдете. Разве это язык для солдат? Это — философия, а солдату нужно загнать такое, чтобы он расчихался. Твой Бабеф, может быть, и умный человек, но, видно, не нюхал казармы.

Дартэ испытующе оглядывает этого бойкого капитана. В душе он с ним согласен. Не раз он доказывал Бабефу, что для революции крепкие словечки куда полезнее всех Руссо.

— А ты взялся бы написать что-нибудь подходящее?



— Я ведь военный. У меня нет денег, чтобы печатать такие штуки.

— Ну, об этом не беспокойся. Мы напечатаем. А ты только составь. Ты ведь, наверное, здорово пишешь...

Гризель не в силах устоять против лести: хорошо, завтра, самое позднее послезавтра воззвание будет готово.

Вернувшись в училище, Гризель снова заколебался. Разумней всего бросить это дело. Что бы они там ни говорили, вряд ли их сторона возьмет верх. Они вот думают, что солдаты с ними. На самом деле солдаты режутся в карты, пьют вино, спят с девками и плюют на революцию. Конечно, будь это года на три раньше, Гризель сразу бы пошел с ними. Тогда всем нравились именно такие сумасброды. Но тогда его никто и не знал. А теперь — дудки... может быть, доложить начальнику? Только какая ему будет польза? Наверное, полиция сама знает, что в «Китайских банях» собираются анархисты. Снова тихая служба, долги, тетушка? Скучно! Здесь по крайней мере — слава. Что же делать?..

Долго Гризель думал, наконец решил посоветоваться со своим товарищем Монтионом.

— Может быть, войти в их доверие и потом раскрыть весь заговор? За это, наверное, здорово платят. Вот бы покутили!..

Монтион был человеком осторожным.

— Делай, как знаешь. Я могу тебе обещать одно: если что выйдет, я за тебя вступлюсь. Ты, мол, сразу мне обо всем рассказал, а с ними связался, только чтобы выследить...

Это несколько успокоило Гризеля. Потом он все же не был уверен, что Директория сильнее заговорщиков. Вдруг победят патриоты? Тогда его сразу произведут в генералы. Бери выше: главнокомандующий. А если выяснится, что у них одни разговоры, тогда Гризель донесет куда надо, и Монтион его поддержит.

Гризель развеселился. Он достал лист бумаги и писал всю ночь напролет. К утру воззвание было готово. Дартэ пришел в восторг: «Молодчина!» Слог у Гризеля был действительно забористый: что ни строка, то словечко. Идеи оказались тоже подходящими: солдат разговаривал с Террором — «как при тебе хорошо было»... Кроме ругани, Гризель блистал пафосом: «Тигры с золоченой шерстью, они терзают наших жен и детей», или «пять львов, расфуфыренные, как муллы, они в пять раз наглее Капета».

Воззвание было напечатано и вручено Гризелю для распространения. Запершись у себя, Гризель тотчас сжег все листовки. Однако он продолжал встречаться с Дартэ и с Жерменом. Он еще колебался: чья возьмет? Он выжидал. Однажды Дартэ вручил ему запечатанный пакет.

У Гризеля трясутся руки. Он вскрикивает. Печать: ватерпас. Наверху листа: «Всеобщее благоденствие». Жорж Гризель читает приказ о назначении его представителем Тайной дирекции в лагере Гренелль.

Он предпочел бы, конечно, прочесть приказ о назначении его командующим полубригадой. Но делать нечего — игра продолжается. Он исполняет свои обязанности представителя. Он пишет доклады Тайной дирекции, изобилующие мудрыми советами. Надо подкапывать под генералов, а младших офицеров шадить. Всячески содействовать нарушению дисциплины. Говорить побольше о грабеже: грабеть богатых — это святое дело. Разговоров о равенстве солдаты не понимают, так что об этом лучше вовсе не распространяться. Главное — подготовка к решительному дню. Надо накануне восстания устроить балы в окрестных кабаках и напоить всех солдат. Это много важнее манифестов.

Хоть Тайная дирекция и одобрила предложения Гризеля, он недоволен: снова Бабеф! снова доктрина! снова какое-то «общество равных»! Нет, он явно прогадал. Это болтуны, и только. Можно поднять народ, говоря ему «грабь», — это всем приятно. Но при чем тут равенство? Пусть каждый грабит, как может: дело таланта. Нельзя сравнить блистательного Гризеля с тупицей Монтионом, хоть оба в тех же чинах. Этот Бабеф, видно, считает птиц в небе. Гризелю нечего делать с подобными простофилями.

И Гризель исчез. Напрасно «равные» поджидали его в «Китайских банях». Дартэ отчаялся. Как раз теперь Гризель особенно нужен. День восстания близится. Тайная дирекция назначила совещание с военными представителями, чтобы разработать план действий. И вот Гризеля нет...

Неизвестный человек пришел в военное училище:

— Я родственник Гризеля. Мне необходимо с ним срочно переговорить.

Гризеля никак не оставляют в покое: видно, судьба хочет, чтобы он стал героем. Записка: «Твои братья тебя ждут. Д.». Посланец приглашает офицера немедленно следовать за ним.

Они идут сначала к Дидье. Тот говорит: «Я проведу тебя». Гризеля даже дрожь берет: «Куда?» Молчание. Улица Сен-Онорэ. Дальше. Церковь Сен-Эташ. Что это за улочка? Кажется, Гран-Трюандери. Здесь! Они поднимаются. Третий этаж. Длинный коридор.

В комнате людно. Дартэ и Жермен. Они радостно встречают Гризеля: наконец-то! Они боялись, уж не засыпался ли он. Они обнимают капитана. Тот растерянно оглядывается: кто здесь? Тогда к нему подходит изможденный человек с горящими глазами и порывисто его обнимает:

— Здравствуй, друг!

Это Гракх Бабеф. Чтобы доказать свою преданность заговорщикам, Гризель в ответ поспешно целует Бабефа. Но он больше не колеблется. Он уже знает, что ему делать. Вот этот человек — вождь? Дураки! Разве он умеет красиво говорить, ругаться, потрясать кулаками, величественно скрещивать на груди руки? Это не Трибун народа. Это девчонка...

На собрании, кроме членов Тайной директории, присутствовали «военные представители»: бывшие генералы Фион и Россиньоль, а также гражданин Массар.

Бабеф изложил план восстания: во главе идут «генералы». Их легко различить по большим трехцветным лентам вокруг шляп. Набат. Трубы. Плакаты с лозунгами: «Равенство», «Конституция 93-го или смерть», «Всеобщее благоденствие». Народ захватывает казначейство, военные склады, запасы оружия, провиант. Члены правительства подлежат суду на месте. Женщины будут уговаривать солдат не стрелять в рабочих. Патриоты братаются с солдатами. За грабежи — смерть. Хлеб в булочных реквизируется. Объявляется власть революционного комитета.

Гризель слушал очень внимательно, боясь пропустить слово. Он обдумывал свой план. Но все время его пугала мысль: что, если он покажется Бабефу недостаточно ревностным патриотом?..

— Я предлагаю за час до восстания поджечь дворцы в окрестностях Парижа: Бельвю, Трианон, Медон и другие. Правительство, конечно, пошлет войска, чтобы бороться с пожарами, а мы тем временем захватим Люксембург.

Дартэ кричит: «Браво!» Но генерал Фион высказывается против: во дворцах много ценного имущества. Бабеф поддерживает Фиона:

— Поджоги были бы преступлением против народа.

Гризель больше не удивляется: он ведь сразу понял, что преславленный Бабеф — разиня и простак. Заговорщики расходятся. Гризель хочет запомнить дом, он, однако, боится, как бы другие не подумали: зачем это он остановился?.. Кажется, номер двадцать семь. На беду, стемнело и не видно ни вывесок, ни номеров. Капитана Гризеля теперь мало занимают трехцветные ленты на шляпах или конституция 93-го. У него в голове одно: какой это номер?..

Четыре дня спустя гражданин Карно получил таинственную записку. Некто Гарманд испрашивал у директора тайной аудиенции: речь идет о спасении республики. Карно тотчас ответил. Он приглашал гражданина Гарманда явиться лично к нему в десять часов вечера. В указанный час в большую приемную Люксембургского дворца вошел тщедушный офицерик, недоверчиво озираясь и одновременно прихорашиваясь.

Гризель начал так:

— Гражданин Карно, в моих руках — заговор «равных»...

16

Недели за три до знакомства Карно с Гризелем Люксембургский дворец увидел в своих стенах другого заговорщика. Это не был предатель, Жермен глядел на пышные фраки швейцаров с насмешкой. Особенно забавляли его большие розаны на чулках. Но как же член Тайной директории очутился в Люксембурге?..

Директоры, разумеется, знали о деятельности «равных». Об этом знал весь Париж. Министр полиции Кошон что ни день представлял тревожные сводки: анархисты готовятся... Кошон дружил с Карно: оба они стояли за крутые меры. Кроме покровительства Карно, политические принципы министра полиции определялись и его уверенностью в конечной победе роялистов. В свое время член Конвента гражданин Кошон голосовал за казнь Людовика. Теперь он старался всячески искупить былые грехи. Роялисты обещали ему забвение, если он поведет борьбу против патриотов. Кошон настаивал: разгромить! Большинство Директории его поддерживало. Только виконт Баррас оставался при особом мнении. Он не верил ни Карно, ни Кошону,

пи полицейским агентам, он боялся Парижа. Париж не может стоять за Директорию — это ясно. Значит, Париж за Бабефа...

Внутри Директории началась ожесточенная борьба. Барраса поддерживал только беспечный Рейбель. Кошон подливал масло в огонь: его донесения неизменно говорили о нападках заговорщиков на Карно. Следовательно, Барраса они падят... И Баррас удовлетворенно улыбался: он хитрее Карно, у него друзья повсюду. Он ведет переговоры с роялистами. Он связан и со сторонниками герцога Орлеанского. Все генералы верны ему, Баррасу, — и Бонапарт, и Гош, и Журдан. Даже анархисты кричат «смерть Карно», но молчат о Баррасе. Вот что значит быть мудрым политиком!

Выслушав доклад Кошона, Баррас тотчас же переводит разговор на иные темы: о победах в Италии или даже о госпоже Сталь — «что за мужланка!». Карно кричит. Леревельер ехидно намекает на ветреность Барраса: нельзя же кокетничать со всеми на свете. Но ничего не помогает. Баррас оттягивает развязку. Что сулит ему победа правительства? Усиление Карно. Он предпочитает ждать.

Наконец до него дошли слухи, что к заговору примкнул герой Варенн, депутат Друэ. Здесь Баррас окончательно растерялся. Ну, если Друэ с Бабефом, значит, не сегодня-завтра придется выезжать из Люксембурга! О находчивости и отваге Друэ ходили легенды. Он был скромным станционным смотрителем, когда, заподозрив каких-то путешественников, прискакал из Сен-Менегульда в Варенн и там задержал коронованных беженцев. Эта ночь сделала Друэ знаменитым. В Конvente он стал, разумеется, монтаньяром. Он попал в плен к австрийцам при падении Мобежа. Его допрашивал принц Меттерних. Друэ не преминул ошеломить принца несколькими словечками, взятыми из обихода якобинских клубов. Пленника посадили в крепость Шпильберг. Он не стал ждать революции в Австрии. Смастерив подобие парашюта, он выпрыгнул из окна каземата и разбил ногу. Когда его принесли в камеру, он был при смерти. Но он выжил — он был на редкость здоров и силен. В Шпильберге он просидел больше года. Освободили его не австрийские санкюлоты, но высокая дипломатия: после длительных переговоров пленные были выменены на дочь Людовика XVI, которая после смерти родителей и брата продолжала находиться под стражей. Париж встретил Друэ как героя. Чествование сменялось чест-

вованием. Но Друэ все же остался недоволен Парижем. Пока он воевал и сидел в крепости, все переменялось. Он оставил Париж санкюлотов, а вернулся в Париж Терезы Тальен. Его чествовали, но ходу ему не давали. Он волочил по улицам Парижа большую ногу и досаду: стоило прыгать из окошка!..

Когда Баррасу сказали, что Друэ с Бабефом, Баррас тотчас отправил своего личного секретаря за одним из «равных», за молодым Жерменом: надо, пока не поздно, договориться. Жермена везли в закрытой карете. Его быстро провели в комнату Барраса: поставить открыто на Бабефа виконт все же не решился и хотел скрыть от Карно свидание с заговорщиком.

Беседа длилась около часа, — верней, это была не беседа, а монолог Барраса. Жермен молчал или отделялся ничего не значащими словечками: «может быть», «не знаю», «вам виднее».

— Я слышал, что вы хотите свергнуть Директорию. Это ошибка. Посуди — как могут патриоты идти против меня? Я сам понимаю, что Директория далеко не идеал. Не за это мы боролись. Стоило ли свергать Капета, чтобы пять лет спустя увидеть, как эмигранты мстят патриотам... Все это так. Я первый негодую. Мы не враги, Жермен, мы товарищи. Наша задача — разбить роялистов, явных и тайных. Я окружен врагами... Ты понимаешь?.. Мы должны согласовать все действия. Когда настанет час, я выйду к народу. Мое место не здесь, не в Люксембурге, а среди рабочих Сен-Антуана...

Виконт еще долго говорил о своей преданности идее равенства. Тереза, которая ждала его в соседнем будуаре, злилась. Наконец Жермен встал — он торопится. Баррас дал ему на прощание постоянный пропуск в Люксембургский дворец.

— Обо всем советуйтесь со мной.

В тот же вечер Жермен сообщил Тайной директории о встрече с Баррасом. Бабеф одобрил назначение Гризеля военным представителем — Гризеля он не знал. А Барраса он знал хорошо. Он брезгливо поморщился:

— Предатель! Он сверг Робеспьера, он выдал героев пре-риала. Низкий позер, он смеет говорить о равенстве, после Терезы, после поставок Уврара, после балов в Люксембурге! Если б мы могли даже победить с его помощью, я предпочел бы поражение...

Все согласились. Баррас так и не получил от Жермена никакого ответа. Начались недели полные тревоги: что, если они не только против Карно, но и против Барраса?..

Два человека накануне решительного боя метались среди ночи от страха, не зная, в какую сторону им кинуться: капитан 38-й полубригады Жорж Гризель и гражданин директор Поль Баррас.

Гризель, еще недавно ничего не смысливший в политике, теперь хорошо знал, кто такой Друэ, с кем водится Кошон, каковы симпатии того или иного директора. Он обратился к Карно: он бил без промаха.

Выслушав подробный рассказ предателя, который начинался с того, как он, Гризель, шел к тетушке, и заканчивался поджогами дворцов, Карно умилился. Не гнушаясь, пожал он руку Гризелю: «Браво, капитан!» Он приказал ему, оставаясь с заговорщиками, выследить место, где собирается Тайная директория, чтобы накрыть всех преступников сразу. Карно, этот бледнолицый человек с маленькими выцветшими глазами, лысый, рябой, угрюмый, сиял. Теперь он не только истребит полоумную банду, он приберет к рукам Барраса! Гризель знал о переговорах директора с заговорщиками и, разумеется, не утаил от Карно этой детали, существенной для обоих: Карно было куда важнее скомпрометировать Барраса, нежели арестовать Бабефа, а Гризель немало ночей провел над мыслями о странном поведении виконта — Гризель боялся, что Баррас окажется сильнее Карно...

Карно решил устроить заседание Директории без Барраса. Это не трудно: виконт только и смотрит, как бы улизнуть. Он прежде всего ленив, и заседания его утомляют, особенно весной, когда такая хорошая погода. Лучше бы поехать в Ренс или в Терезий в Сен-Клу: цветы, птицы, любовь. Баррас ведь ничем не хуже других, он тоже любит Грецию, простую жизнь, парное молоко (последнее только в стихах). Стоит ему сказать: «сегодня мелкие дела», и он тотчас, блаженно улыбаясь, сошлется на головную боль, отклоняется.

На заседании четырех директоров было решено поблагодарить Гризеля за гражданские чувства и, пользуясь его указаниями, арестовать заговорщиков, в том числе депутата «совета пятисот» Друэ. Летурнер, как всегда, не давал никому говорить, рычал:

— Пусть депутат!.. Какая тут беда?.. На гильотину!..

Карно понимал, что арестовать Друэ, а тем паче судить его отнюдь не легко. Он умерял пыл Летурнера:

— Это мы потом посмотрим. Главное — заполучить ком-

прометирующие заговорщиков документы. Не то их снова выгорят... У них ведь имеются высокие покровители...

Все замолкли. Рейбель попытался снаивничать:

— Неужели? Где же? В «совете пятисот»?..

Леревельер рассмеялся. Смеялся он неприятно — пискливо.

— Нет. Здесь. По соседству.

Имени Барраса никто не произнес. Говорили о том, можно ли довериться Гризелю, как организовать аресты, надо ли поставить на ноги армию. Совместно с Кошоном был разработан план действий. Оставалось ждать, пока Гризель укажет адрес.

Гризель пришел на следующий день. Он выслушал поздравления четверки. Он даже обедал у Карно. Это не тетушка! Его голова кружилась не только от директорского вина — где он?.. В Люксембурге! Детские мечты наконец-то начинают сбываться. Какие канделябры! Какой хрусталь! С ним запросто беседует председатель Директории. Значит, он понят. Завтра его назначат генералом. Не одному же Буонапарте везет... Гризель льстил Карно: «Без вас республика погибла бы»; блаженно улыбался: «обязательно назначат», успокаивал директора: «Завтра я непременно разузнаю адрес»...

Однако стоило ему выйти из апартаментов Карно, как страх сменил недавние восторги. На лестнице он увидел блеск сабли и чуть было не лишился чувств, — его вовремя поддержал швейцар. Вдруг это Баррас?.. Гризеля преследовала одна мысль: Баррас за ним охотится, Баррас его убьет. Он уже раскаивался во всем: и в том, что пошел к Бабефу, и в том, что пошел к Карно. Все-таки обеды у тетушки были куда спокойнее. Этот трусливый человек, плохо понимая, что он делает, попал в самую гущу очередной революционной свалки: Карно валил Барраса. Мало ему страха перед заговорщиками, он должен бояться и Директории. Ну, положение!..

И Гризель исчез. Напрасно ждал его Карно, как ждал его прежде Дартэ. Карно уже начал сомневаться, не надул ли его капитан? Может быть, он снова перешел на сторону заговорщиков?..

Что касается Гризеля, то после обеда Карно он осилил и обед Дартэ. Он всячески старался показаться рьяным.

— Главное, устроить танцы во всех кабачках и выставить солдатам вино. У Тайной директории, наверно, нет денег. Но я все обдумал. У моего брата в Аббевиле лежат мои деньги,



тридцать пять тысяч, я их уже выписал. Дальше. Я тебе не говорил о моем кузене. Это Поприкур, он нотариус, здесь в Париже. Он дьявольски богат, понятно роялист. Так вот он много раз предлагал мне деньги на обмундирование: «Нельзя так ходить, ты похож на санжюлота, а не на капитана». Я, конечно, отказывался. Но теперь я возьму у него тысяч десять — якобы на одежду. Вот уже сорок пять — можно напоить целый эскадрон. Словом, за Гренелльский лагерь я отвечаю.

Наконец Дартэ ему сказал:

— Сегодня вечером приходи на решительное собрание. Мы выступим через три дня. Надо обсудить детали. Приходи часам к восьми. Это на улице Сен-Онорэ, номер девяносто, над парфюмерной лавкой.

Гризель робко спрашивает, боясь, что Дартэ его заподозрит.

— А я найду?.. Ведь я не знаю, у кого это?

— Найдешь. Это квартира Друэ.

Гризель уж сам не рад, что спросил. Все время он мечтал, как бы разнюхать, где собираются заговорщики. Теперь в его руках адрес. Удача? Да, но у Друэ!.. Друэ — значит Баррас. Баррас уже все знает. Баррас его убьет.

Карно наконец-то увидел Гризеля. Капитан еле стоял на ногах.

— Что с вами? Больны?

— Нет, гражданин директор, я только утомлен. Все время я на ногах. Я выполняю мой долг. У депутата Друэ... Сегодня вечером. Вы должны нагрянуть... Я там тоже буду...

Рейбель успел предупредить Барраса о доносе Гризеля. «Друг патриотов», конечно, не торопился в Сен-Антуан, чтобы вместе с работниками спасти революцию. Нет, он быстро взвесил все. Карно его перехитрил. Хоть с Бабефом Друэ, но с Друэ — Гризель. Партия заговорщиков проиграна. Надо спасти себя. Наверное, Гризель знает о посещении Жермена...

На первом же заседании Директории, не дожидаясь выступления Карно, Баррас, весь багровый от злости и от страха, начал сразу кричать:

— Я знаю все!.. Я сам против анархистов... Кто закрыл «Пантеон»? Я окружен интригами. Что же, я готов принять вызов. Я выступлю перед Законодательным собранием. Мне нечего скрывать. Я всегда действую прямо и открыто...

Долго он оправдывался, клялся в верности сотоварищам, грозил расколом, уходом, скандалом. Его поддерживал, разумеется,

Рейбель. Летурнер попробовал было предложить расследование, но даже Карно стоял за соглашение. И без раскола Директории предстанут тяжелые часы. Кто знает, как встретит Париж арест Бабефа? Надо убедить депутатов выдать Друэ. Барраса обвиняют в попустительстве якобинцам. Пусть он арестовывает своих тайных друзей. Это и надежней и умнее. Пусть от Барраса отшатнутся все. Тогда Карно наведет порядок.

И Карно стал успокаивать Барраса: к чему столько горьких слов? Здесь все ему верят, все его уважают. (Леревельер проглотил смешок.)

Но Баррас не мог успокоиться. Вдруг выяснится, что он предлагал генералу Россиньолю военную помощь или что он выдал Жермену пропуск во дворец? Нервничая, Баррас то и дело смотрел на часы: скоро девять! Сейчас их схватят... Что-то будет?..

А Гризель шел по улице Сен-Онорэ. Он каждую минуту оглядывался: ему казалось, что за ним гонится гражданин Баррас.

17

«Равные» узнали, что монтаньяры, опальные депутаты, термидорианцы, разочаровавшиеся в термидоре, тоже готовятся к восстанию. У них был общий враг — Директория, но различные цели. Монтаньяры стояли за созыв старого Конвента, за борьбу против роялистов, за террор, за возврат к законам, к навыкам 93-го года. Идеи Бабефа казались им бредом: ведь даже в санкюлотской конституции 93-го года право собственности объявлялось «священным». Это были не философы и не реформаторы, но только завсегдатаи якобинских клубов, оказавшиеся не у дел. Во главе их стоял Друэ. За ним шли Жавог, Гуге, Рикар, генерал Россиньоль и другие — слишком честолюбивые, чтобы спокойно уступить свое место другим, вернуться к мелочной торговле или к нотариальным папкам.

Бабеф и его друзья относились к монтаньярам подозрительно: это не подлинные демократы! «Равные» чтили память Робеспьера. А среди бывших депутатов не было, кажется, ни одного, кто после термидора не поносил бы «павшего тирана». Однако в политике чувствам нет простора, и «равные» начали переговоры с монтаньярами.

У Друэ или у Рикара не было никакой идеологии, перед рассуждениями Бабефа они пасовали. Они только твердо верили, что никогда французский крестьянин не отдаст своей земли в общее пользование. Против проектов Бабефа трудно было спорить: они логичны и справедливы. Но пусть он попробует сказать Полю или Пьеру, что его огород принадлежит коммуне!.. Монтаньяры спокойно выслушивали декларации «равных»: забавляются!.. Их занимало другое: кто войдет в новое правительство? «Равные» требовали власти бедняков, землепашцев, работников, ремесленников. Здесь-то монтаньяры не сдавались. Они хотели власти для себя. У них был только один лозунг: да здравствует распущенный Конвент!

Бабеф негодовал:

— Мы не можем уступить. Стоит ли столько бороться, чтобы Францией снова правил тот Конвент, который Робеспьером справедливо назван «сборищем убийц»? Нет, эти люди уже отведали власти, хлебнули из чаши — они отравлены! Нужны воистину новые силы, санкюлоты, не политики, а народ.

«Равным» пришлось все же пойти на уступки. На совещании с монтаньярами было решено восстановить Конвент, пополнив его испытанными санкюлотами, по одному от каждого департамента.

У Друэ было назначено последнее, решительное заседание. Массар представил план восстания, одобренный Тайной директорией. Баррикады — в квартале Сен-Антуана. Если правительство вызовет солдат из Венсенских казарм, они будут остановлены. В Люксембурге имеются подземные ходы — надо следить, чтобы директора не удрали. Захват Монмартрского холма: в случае сопротивления оттуда можно обстреливать аристократов, в случае неудачи — там сборный пункт. Из лодок плавающий мост, он свяжет Сен-Антуан с Сен-Марсо. Впереди пойдут женщины и дети, чтобы солдаты не стреляли.

Какой выбрать день? Увы, многие патриоты преданны старым обычаям: празднуют воскресенье. Лучше всего, чтобы воскресенье совпадало с декади: тогда все на улицах.

Заговорщики подсчитали свои силы: революционеров — четыре тысячи, членов прежних комитетов, трибуналов, комиссариатов — тысяча пятьсот, пушкарей — тысяча, разжалованных офицеров — тысяча, революционеров из провинции, которые находятся временно в Париже, — тысяча, гренадер «совета пятисот» — тысяча пятьсот, арестованных солдат —

пятьсот, полицейский легион — шесть тысяч, инвалидов — тысяча, всего семнадцать тысяч. Эта цифра развеселила всех. К тому же Гризель поспешно вставил:

— Прибавьте весь Гренелльский лагерь. Я там хорошенько поработал: солдаты и офицеры — все за нас.

Повстанческую армию разделили на три дивизии. Задача — прорваться к двум лагерям: Венсени и Гренелль. Там присоединяются восемь тысяч. Если счастье повернется против — строить повсюду баррикады, обливать усмирителей кипятком и серной кислотой, забрасывать их камнями. Добавили: «Приготовить камни».

Вдруг цокот под окном. Солдаты. Массар кидается к окну, пробует приподнять тяжелую штору. Друз его удерживает: заметят. Минута долго длится. Наконец хозяин, который прошел в переднюю комнату, где темно, кричит: «Уехали». Ложная тревога — это был обыкновенный патруль. Все смеются, шутят. Все, кроме Гризеля, — для него тревога не миновала, она только начинается: почему же не приходит полиция? Неужели Баррас победил?

Собрание теперь обсуждает, как обеспечить продовольствие Парижа после победы. Гризель томится: половина десятого, десять — никого! Вот уже заговорщики встают, прощаются: скоро одиннадцать, а после одиннадцати патрули останавливают прохожих. У Бабефа вовсе нет паспорта. Дартэ дает ему какой-то документ.

— Оставляйтесь, разопьем бутылку бургундского.

Но заговорщики отказываются: не до вина. Остался один Дартэ — ему нужно потолковать с Друз о том, какими силами располагают монтаньяры. Гризель вышел со всеми. Быстро распрощавшись, он понесся в Люксембург. Что случилось?.. Карно смотрит, ничего не понимая:

— Вы же сказали в одиннадцать...

— Я? Я сказал вам в десять.

— Сейчас, наверное, Кошон уже там.

— Но ведь он никого не застанет. Отмените!.. После налета они станут вдвое подозрительней... Скорее, гражданин директор!..

Карно шлет вестового с пакетом, вестовой пришпоривает лошадь.

Поздно! Гражданин Кошон уже входит в дом, где живет Друз. Вся Вандомская площадь запружена кавалеристами. Сосе-

ди смотрят: что за военный смотр? Неприятель? Роялисты? Бунт?

Гражданин Кошон врывается, готовый командовать, стрелять, рубить. Он видит депутата Друэ, который сидит в ночных туфлях и мирно распивает бургундское с каким-то земляком. Друэ встает. Он грохочет от негодования:

— Австрийцы и те были вежливей! Врываться ночью в дом запрещено даже вашей конституцией. Притом, может быть, вы забыли, гражданин Кошон, что я депутат?

Кошону ничего не остается, как выдумать глупую историю и, попросив прощения, удалиться со всеми пехотинцами, кавалеристами, с боевым задором и с приказом Директории за пазухой.

Карно и Гризель обвиняют друг друга. Председатель Директории и маленький офицерик забыли о различии рангов. Оба кричат: «я не говорил», «нет, вы сказали», «девять», «одиннадцать»...

Бабеф усталый заснул. Под утро его будит Дартэ:

— К Друэ пришел. Нам повезло. Только-только разошлись... Уж не измена ли?..

— Кто там не был? Жермен? Да, но Жермена я знаю, он не может предать. Это, наверное, случайность. Вы сговорились о дне?.. Хорошо, что ты меня разбудил. Я сплю уже три часа, а мне надо работать. Время не терпит. Я должен закончить экономический декрет: система распределения рабочих рук... Пусть все будет готово к часу победы.

— А если мы преданы? Если нас схватят до назначенного дня?

— Ты устал, Дартэ. Ты несешь вздор. Мы должны победить, и мы победим.

18

Увидев Дартэ, Гризель замер: вдруг кинется, крикнет: «это ты!», убьет. Но Дартэ дружески поздоровался и позвал Гризеля в кафе: там они пили кофе и обсуждали, как бы переманить на сторону заговорщиков всех гренелльских солдат. Дартэ позвал Гризеля на заседание.

— Я думаю, днем безопасней. Вечером повсюду патрули. Так что завтра мы соберемся в полдень. Я достал чудесное по-

мещение: за Друэ, видно, следят. Это на улице Папильон.

Гризель выдерживает должную паузу, скрывая зевком волнение, спрашивает:

— У кого? То есть где — какой номер?

Дартэ уже наделал немало оплошностей: он ввел Гризеля в заговор, он назначил его военным представителем, наконец он показал ему квартиру, где скрывается Бабеф, но сейчас что-то его удерживает. С досадой он говорит:

— Зачем тебе знать все заранее? Приходи ко мне в одиннадцать — я буду дома. Вместе и пойдем.

Гризель, конечно, не настаивает. Дело дрянь! Хоть бы распознать дом Бабефа! Он отправляется на улицу Гранд-Трюандери. Тщетно он старается вспомнить, куда его вел Дидье. Кажется, вот здесь... Нет, там были большие ворота. Здесь? Может быть. А может быть, и нет... Черт побери, все дома похожи один на другой! К тому же тогда было темно... Гризель морщит лоб и меланхолично вздыхает. Вдруг — Дидье:

— Ты как сюда попал?..

Гризель бледнеет: попался! Он лепечет:

— Здесь сапожник... Он шьет мне сапоги...

Голос срывается. Так может говорить только преступник, пойманный с поличным. Сейчас Дидье его схватит. Но нет, Дидье далек от подозрений.

— Ты что хрипишь?.. Трудно наставлять солдат?.. То-то! Ну-ка зайдем в этот кабачок — я тебя угощу стаканчиком, полезно для горла...

Еще раз спасен! С восторгом Гризель пьет «за победу». Остаток дня он блуждает по городу в надежде разнюхать два номера: на улице Папильон и на улице Гранд-Трюандери.

А в Люксембурге волнение. Весь вечер граждане директоры с тревогой прислушиваются к шагам: идет? не идет? Их судьба теперь в руках какого-то подозрительного капитана. Опасность всех примирила: Карно больше не ссорится с Баррасом. Директоры пытаются развлечься политическими новостями.

— Делакруа сказал, что Россия стягивает войска к границам Финляндии. Швеция этим весьма обеспокоена, там возможна война.

— Что же, это нам на руку. Пускай дерутся друг с другом. Екатерина нас не очень-то жалует.

— Говорят, что наследник, Поль Петрович, чуть ли не яко-

бинец. Во всяком случае, он был во Франции инкогнито и нам симпатизирует.

— А как в Италии?

— Сардинский король согласен уступить Тортону. Буонапарт неплохо работает...

— Но что же его нет? Уж одиннадцатый...

— Может быть, они его убили?..

— Или еще проще: он водил нас за нос, чтобы облегчить их работу.

— Мрачно!

Гризель пришел после одиннадцати, и пришел с пустыми руками: улицы без номеров. Однако он на что-то надеялся:

— Завтра к десяти часам будьте готовы. Расставьте повсюду полицейских, разумеется, в штатском. Заговорщиков накрыть нетрудно. Но этого мало. Бабеф, наверное, туда не придет. Так мне сказал Дартэ. Потом на собрании — никаких бумаг. А у Бабефа кипы, я сам видел. У него не комната — канцелярия. Необходимо узнать номер Бабефа.

Гризель легко переходил от раболепства к наглости. Теперь он чувствовал, что эти люди зависят от него. Он старался гордой осанкой искупить свой чрезмерно малый рост.

— Словом, граждане директора, не унывайте! Надейтесь на меня!

Всю ночь Гризель думал. К утру план был готов. Эта ночь для многих была бессонной. Бабеф составлял проект «Обращения к победившему народу». Воззвание не удавалось. Он переправлял, снова шагал по комнате, снова писал. Работал и Карно. Председатель Директории, обнадуженный Гризелем, подписывал ордера на арест. Рука устала: за ночь он подписал двести сорок пять ордеров; наверху каждого листка стояло: «Свобода — Равенство — Братство». Впрочем, этих слов гражданин Карно не читал: он давно привык к ним. С особым удовольствием он подписал листок, на котором выписано было имя личного секретаря Барраса, гражданина Луи Брута. Этот Брут не имел никакого отношения к «равным». Про него говорили, что после заседаний Директории он крадет свечи. Но Кошон причислил Брута к «бабувистам», чтобы насолить Баррасу. И Карно улыбался: пусть позлится! Он знал ведь, что перепуганный Баррас не вступится за своего секретаря. Баррас, кажется, даст арестовать даже Терезу, лишь бы обелить себя.

Утром Гризель отправился к гражданке Клеркс, у кото-

рой прежде жил Бабеф. Он знал, что Клеркс передает Бабефу письма. Он набросал записку: нельзя ли устроить сегодня заседание военных представителей совместно с помощниками? Гризель боится, что последние еще сомневаются в силе организации. Он приписал «постскрипtum»: «Я забыл номер дома на улице Папильон, где назначено собрание». Он попросил гражданку Клеркс тотчас отнести записку Бабефу. Проследить, куда она идет, он не решился и поручил это одному из полицейских агентов: «Сейчас выйдет женщина лет сорока — пятидесяти, она пойдет в сторону Алль-о-Бле, следите за ней!»

Гризель от волнения указал Карно неверный час собрания у Друэ. Теперь он снова напутал. Он поставил полицейского возле другого дома. Тот стоял и ждал — никакой женщины не было. Наконец ему надоело стоять, и он ушел. Увидев, что дело не удалось, Гризель решил действовать напролом. Страх придал ему храбрости. Он кинулся в квартиру Клерксов.

— Ваша жена еще не вернулась? Вот беда! У меня срочное дело. Я бы сам пошел к гражданину Бабефу, но я забыл номер дома. Глупая история! Столько раз я бывал там, а вот никак не могу запомнить номер! Это у меня после лихорадки память ослабела...

Клеркс его утешил:

— Я сам не знаю номера. Только вы легко найдете и без номера. Как свернуть с улицы Вердоле, это вторая дверь — между большими воротами и подъездом...

Гризель ушел. Через час он вернулся: у него не было еще второго номера — на улице Папильон. Он взял у гражданки Клеркс ответ. Бабеф предлагал Гризелю никаких расширенных собраний не устраивать. Зачем посвящать столько лиц в дела комитета?.. Эта часть письма, конечно, мало интересовала Гризеля. Зато в «постскриптуме» Бабеф сообщил ему точный адрес гражданина Дюфура, на улице Папильон, у которого назначено заседание.

Победа! Гризель передает оба адреса генералу в штатском. Сам он спешит, не к гражданам директорам, а к тетушке. Сегодня он предпочитает луковый суп всем яствам Карно. Вдруг заговорщики окажут сопротивление? Вдруг за них вступится толпа? Кто знает!.. У тетушки спокойней. Когда выяснится, чья взяла, он покажется на свет божий.

Арестовать Бабефа поручили главному инспектору полиции гражданину Доссонвиллю, который был известен только



тем, что за хорошую мзду тотчас вычеркивал из списка эмигрантов любое имя и умел мастерски разгонять безработных. Карно со слов Гризеля нарисовал точный план квартиры, где скрывался Бабеф. Операция была тщательно обдумана. Надо арестовать Трибуна народа незаметно: ведь улица Гранд-Трюандери находится возле Рынков. Это людный квартал. Бабефа там знают и любят. Его не выдадут. Карно надумал: следует через агентов пустить слухи, будто накрыта большая шайка воров.

Агенты принялись за работу. На рынках, в окрестных кабаках, на улицах они стали плести самые невероятные истории. Помните, ограбили вдову Люсьен? А лавочку на улице Вердоле? Вот всё эти разбойники!.. Говорят, что это иностранцы. Кажется, бельгийцы... Черт их знает! Слава богу, что словили!..

Агенты поумнее произносили даже патриотические речи: — Хоть раз хватают разбойников! Кого они всегда арестовывают? Честных людей. Патриотов. Рабочих. А ворышки на свободе, проходу от них нет. Пора взяться за ум-разум!..

Отряды пехоты и кавалерии прячутся в отдалении. Как будто все готово. Но гражданин Доссонвиль мечется по городу: он ищет не пушки, а понятых. Как-никак существуют законы, полицию должно сопровождать должностное лицо. Он бежит к гражданину Лефрансуа. Это мировой судья участка Брута.

— Я прошу вас присутствовать при аресте.

— Кого?

— Не все ли вам равно? Преступников. Анархистов. По приказу Директории.

Гражданин Лефрансуа маленький человечек. Он не загорщик. Он и не Гризель. В возмущении он отвечает:

— Вы хотите, чтоб я способствовал аресту патриотов?.. Никогда! Лучше я выйду в отставку.

Спорить некогда. Доссонвиль мчится к другому судье — участка Контра-Сосиаль.

— Арестовать патриотов? Простите... Я не могу. Я болен. У меня сердечные припадки.

Дальше! Судья квартала Бон-Консей.

— Вы обязаны меня сопровождать. Улица Гранд-Трюандери — в вашем участке.

— Ни за что! Вы можете подать на меня жалобу. Уволить. Судить. Все, что вам вздумается. Но с вами я не пойду...

Накопец Доссонвиль нашел послушного человека. Правда,

это был не судья, а полицейский комиссар участка Брута. С ним разговор был короток:

— Готовы?

Одиннадцать часов утра. К дому Дюфура на улице Папильон подходят заговорщики. Полицейские прячутся в соседних дворах. Бабеф и Буонарроти не пошли на собрание. Бабеф днем не выходит: его знают в лицо все полицейские. Бабеф заканчивает «Обращение к победившему народу». Он ничего не слышит: Доссонвиль распорядился придержать лошадей на улице Вердоле, чтобы не дать времени заговорщикам уничтожить бумаги. Он тихо крадется по лестнице.

Звонок. Дверь открывает хозяйка квартиры, гражданка Тиссо.

— Муж дома?

— Нет. Вышел.

Доссонвиль быстро отталкивает женщину и бежит по коридору. Дверь налево. В комнате: Бабеф, Буонарроти, писец Пилле. Бабеф пишет. Увидев полицейского, он встает, в руке его еще перо. Он дописал: «народ, ты победил!»... Доссонвиль командует:

— К окнам!.. Вы арестованы. В случае попытки сопротивляться или скрыть документы я прикажу стрелять.

Бабеф, еще полный громких слов «воззвания к народу», задумчиво говорит:

— Что же!.. Значит, не суждено... Тираны победили...

Потом он выходит из себя. Он кричит Доссонвилю:

— Тебе не стыдно? Почему ты, как собака, повинешься своим хозяевам?

Доссонвиль отвечает гордо — ведь он окружен подчиненными:

— Я повинуюсь законному правительству и прошу вас не вступать со мной в пререкания.

Бумаги собраны. Их охраняют часовые. Но как вывести арестованных? Вдруг толпа узнает Бабефа. Улица запружена народом. Все здесь боготворят Бабефа. Никто, однако, не догадывается, что он находится в этом доме, что он арестован, что сейчас его повезут вот в этой карете... Сыщики кричат:

— Bravo!.. Накрыли!.. Нашли уйму денег!..

Рослые полицейские окружают Бабефа, подхватывают его и быстро кидают в карету. Обошлось. Никто не узнал Трибуна народа. Буонарроти пробует что-то крикнуть, но рев полицейских покрывает его голос:

— Вору! Бандиты! Вдову Люсьен кто прирезал?

Народ поддакивает:

— Смерть убийцам!

Под надежным эскортом арестованных везут в тюрьму Аббэ. Вскоре к тюремным воротам подъезжают и другие кареты: это заговорщики, арестованные на улице Папильон, — Друэ, Дартэ, Жермен, Дидье, Рикар. К вечеру все камеры переполнены.

Карно написал обращение к «гражданам Франции»: «Раскрыт преступный заговор. Бабеф и его приспешники мечтали о всеобщем грабеже и о неслыханных злодеяниях». Гризель расстался с тетушкой и, больше не озираясь по сторонам, походкой триумфатора направился в Люксембургский дворец. Все граждане директора его поздравляют. Леревельер забыл о присутствующей ему обычной иронии:

— Мы не знаем, как вас наградить за ваш геройский поступок.

Гризель кокетничает. Он показывает на сердце:

— Моя награда здесь.

Он объясняется в любви Карно:

— Я верен вам, как плющ верен дубу.

«Дуб» мигает крохотными глазками и ласково треплет по плечу национального героя. Гризель тает: он видит генеральский мундир, золото, преклоненные толпы, улыбки женщин, овации, славу.

А Париж? Париж молчит. Как всегда, блистают сотнями огней кафе и балы. Как всегда, бедняки говорят о хлебе, а франты о новой моде: скоро вальс заменит все танцы, он куда приятней — кавалер прижимает даму к себе... Стратегов увлекает победа Бонапарта при Лоди, политиков — вопрос о том, как отнесется «совет пятисот» к аресту депутата Друэ. Спекулянты рады новому падению ассигнаций: луидор сегодня восемь тысяч двести, и женщины квартала Сен-Марсо разводят руками: хлеб тридцать пять франков фунт!

Но арест Бабефа?.. Враги народа схватили Гракха, вождя санкюлотов, проповедника равенства, заступника, друга, трибуна — ты слышишь, Париж? Одни радуются, другие угрюмо сжимают кулаки: «Предатели!» Однако на улицах тихо. Никто не кричит «освободите Бабефа!». Вокруг тюрьмы Аббэ молчание, ночь, часовые. Париж обескровлен. Сколько можно требовать от одного поколения? 14 июля, 30 августа, 31 мая, 12 жерминаля, 3 прериала — все эти дни теперь зовут «исто-

рическими». Не слишком ли много их для семи календарных лет и для обыкновенной человеческой жизни?

Париж, заступись! Они убьют Бабефа...

Перекликаются часовые, и снова тишина. Париж молчит.

19

Молчание может о многом говорить, и Бабеф понимает его голос. Мрачно поглядывает сторож на нового арестанта, который всю ночь бегаёт из угла в угол. Какой, однако, страшной может быть ясная майская ночь! Не о себе думает Бабеф. Смерть? Что же, он готов. Он давно готов к ней. В давнюю летнюю ночь, когда толпа ревела вокруг ржавого фонаря, когда впервые говорила с Бабефом революция, — он уже понял, какой конец готовит ему судьба. В дни гражданских бурь только святые и трусы умирают на своих кроватях. Революция — это значит смерть. Нет, его страшит не смерть Бабефа, которого звали «Франсуа», потом «Камиль», потом «Гракс», которому тридцать пять лет, у которого жена, дети, голубые глаза, шрам на правой щеке, который помнит отца — майора, лес возле Руа, книги Руссо и поцелуй Гризеля. Человек умрет. Другое его пугает: смерть революции.

Париж молчит. Директория снова уничтожит сотни патриотов. Что же дальше?.. Аристократия, Людовик XVIII, австрийцы, Питт, убийцы из Кобленца, что на Рейпе, или из Кобленца, что на парижских бульварах. Неужели эти пять слепцов не видят, куда они ведут страну? К ногам монарха — вот куда! Если «равные» погибнут, с ними погибнут не только мечты о всеобщем благоденствии, груды исписанной бумаги и сколько-то благородных сердец, с ними погибнет революция.

Кто же ее хочет убить? Шуаны? Иностранцы? Нет, Баррас, Карно, Рейбель — все бывшие якобинцы, враг церкви Леревельер, монтаньяр Летурнер, пятеро, голосовавшие за смерть Капета. Может быть, среди пяти имеется один слепец, но не предатель. Долг Бабефа открыть ему глаза. Пусть знает, кого они хотят убить.

Бумагу и перо! Скорее!..

Гракс Бабеф пишет: «Граждане директоры, или вы считаете недостойным для себя говорить со мною, как держава

с державой? Вы теперь увидали, что я окружен доверием многих. Вы должны содрогнуться»...

Бабеф вздрагивает: вдруг эти несчастные подумают, что я хочу оправдаться, что я боюсь их мести? Он пишет:

«Я никогда не стану отрицать причастности к заговору, я считаю этот заговор священным. Вы можете меня приговорить к ссылке или к смерти: это будет торжеством преступления над гражданской добродетелью. Хотите ли вы моей смертью воздвигнуть еще один алтарь, рядом с прославленными жертвами — с Робеспьером и Гужоном?..

Опомнитесь! Если вы уничтожите патриотов, вы останетесь одни перед роялистами. Еще не поздно!..

Не думайте, что я забочусь о себе. Смерть для меня — путь к бессмертию. Стойко и благоговейно я взойду на эшафот. Но не это спасет республику.

У патриотов, у всего народа сердце изранено. Хотите ль вы нанести еще один удар?»...

Бабеф долго пишет. Он что-то доказывает, уговаривает, грозит, обещает прощение пятерым безумцам, если они покажут себя патриотами. Письмо его похоже на бред. Это судебный приговор победителя, а не жалоба арестанта. Он, как всегда, чрезмерно дальнзорок. Он видит гибель республики, разочарование народа, власть военщины, победу мстительных роялистов. Но он сейчас не видит ни предательства Барраса, ни тупой самоуверенности Карно, ни мелкой подлости Рейбеля. Он говорит о спасении республики людям, которые, не краснея, шлют в Кайену своих вчерашних приятелей только за то, что те не захотели или не успели вовремя их предать.

Да, серную кислоту, чтобы обливать солдат, придумал не Бабеф, а наивное, если угодно, смешное, обращение к Директории написано Бабефом. Этот человек был не политиканом из кафе, даже не «трибуном», а апостолом.

На первом же допросе Бабеф показал:

— Убедившись в том, что существует гнет, я делал все возможное для свержения правительства. Для этого я объединился со всеми демократами. Не мой долг их перечислять.

Следователь:

— Какими средствами вы хотели достичь вашей цели?

— Все средства законны против тиранов. Не вам я должен давать отчет.

Париж по-прежнему молчал. Правда, вокруг тюрьмы Аббэ весь день толпились патриоты. Они негодовали. Но в их руках не было ни ружей, ни хотя бы булыжников. Они испуганно шарахались, когда показывался взвод драгун.

По приказу Директории главные заговорщики, кроме Друэ, были переведены в тюрьму Тамплъ. Там их посадили в одиночки и усилили охрану, чтобы они не общались ни с «равными», оставшимися на свободе, ни друг с другом.

Арест Друэ немало смущал правительство. Правда, «совет пятисот», перепуганный посланием Директории, тотчас же выдал депутата, но у Друэ было много друзей не только среди рабочих Сен-Марсо, а и среди высшей администрации республики. С Бабефом директоров ничего не связывало. Когда на заседании Директории Карно огласил его письмо, Баррас расхохотался:

— Сумасшедший!.. И трус... Говорит, что готов умереть, а на самом деле дрожит за свою шкуру...

Бабефа можно оскорблять, можно чернить его имя и идеи, чтобы показать «умеренным»: вот от кого мы вас спасли!.. Кто стоит за Бабефа? Беднота Парижа. Но Директория учла молчание народа: она поняла, что кровь, пафос, речи, тюрьмы, голод опустошили душу революции. Раз так — с Бабефом нечего церемониться.

Другое дело — Друэ. У этого человека — мыслей немного. Когда он должен был выступить в «совете пятисот», Бабеф написал ему речь. Но Друэ ее прочел. У Друэ громкий голос. У него и громкое имя. Он связан с Баррасом. Ко всему, он отчаянный человек. Если его прижать к стенке, он будет, разумеется, защищаться. Он знает многое о повседневной жизни Люксембурга: интриги, взятки, предательства. На воле Друэ теперь безвреден. Что он без Бабефа? — парадный мундир в сундуке. Но на суде Друэ опаснее всех. Те просто санкюлоты, а это — депутат, герой, узник Шпильберга, общий любимец. Лучше бы без Друэ!..

Дело шло своим порядком. Перед Директорией встал вопрос о суде. Только не в Париже!.. Здесь Друэ помог. Он — депутат, следовательно, дело подсудно Верховному суду республики, который должен заседать на известном расстоянии от резиденции правительства. Директоры занялись географией: «Бурже? Вавдома? Амьен?» Даже в выборе города им трудно

было сговориться. Наконец они остановились на Вандоме: город тихий, большие казармы, в которых можно разместить несколько полков. Притом в Вандоме мало патриотов.

Но что делать с Друэ!.. Правда, Летурнер твердил одно — «расстрелять». Министр полиции Кошон, который теперь окончательно договорился с роялистами, хотел раздуть дело. Следует воспользоваться случаем и припутать к заговору всех бывших якобинцев, в первую очередь Тальена и Фрерона. «Герой прериаля» Тальен и вождь «золотой молодежи» Фрерон для роялистов оставались «якобинцами». Здесь-то Баррас не вытерпел: Тальена? За что? За прошлое? Но ведь так они завтра потребуют суда и над Баррасом!.. Снова происки Карно! Пусть судят «равных» — черт с ними! Виконт Баррас не анархист. Но нечего припутывать Тальена... Друэ ошибся. Его не мешало пожуричь. А судить его нельзя. Ведь это цепь: за Друэ — Тальен, за Тальеном — Баррас, Рейбель, Фуше...

Заседание Директории. Вбегает Кошон:

— Несчастье! Друэ убежал...

Летурнер рычит:

— Расследовать! Здесь, наверное, нечисто. Как можно убежать из тюрьмы? Почему его не содержали в Тампле?

Баррас молчит. Он привык к выходкам Летурнера: грубиян... Кошон не может успокоиться:

— Я тоже убежден, что здесь заговор. Сторож его видел в шесть. А в половине восьмого — камера пустая. Он никак не мог за это время перепилить решетку. Потом спуститься тоже немисливо. Сорок пять футов...

Баррас наконец вмешивается:

— Я не понимаю вашего волнения, гражданства министр. Друэ пытался убежать из австрийского каземата. Меня не удивляет, что он убежал из Аббэ. Это храбрый человек. Так или иначе, нам это на руку: процесс Бабефа без Друэ пройдет куда спокойней.

Может быть, Карно в душе и не был согласен с Баррасом, но ему оставалось только примириться: Друэ — на свободе. Весь Париж смеялся: разыграно по нотам! Когда Друэ спокойно вышел из тюремных ворот, его остановил патруль:

— Не видали ли вы арестанта, который удирал что было мочи?

— Нет. Впрочем, это не в моих принципах задерживать спасающихся...

Для вида Друэ искали. И конечно, не нашли: Баррас ведь был как-никак директором, а в Люксембургский дворец агенты Кошона не заглядывали.

Убежать из тюрем республики без помощи свыше было трудно. «Равные», оставшиеся на свободе, пытались устроить побег Бабефа и его товарищей. Они подговорили стражу, но один из часовых выдал всех.

Потянулись долгие месяцы ожидания, бездействия, одиночества. Бабефу удалось установить переписку с женой и с Лепелетье. Он знал, как встретил Париж арест «равных», клевету газет, послания Директории. Впервые он узнал новое чувство — отчаяние. Вокруг Бабефа образовалась пустота. Демократы-журналисты, еще недавно поддерживавшие «Пантеон», теперь старались доказать в своих газетах, что Бабеф шпион. Лувэ писал: «Это агент роялистов, как Марат и Геберт». Реаль: «Бабеф наемник иностранных дворов». Дюбуа: «Бабеф получил из Лондона несколько тысяч гиней. Напрасно, Питт, ты соришь деньгами!»... Так писали о Бабефе не роялисты, даже не сторонники Карно, но демократы. Имена некоторых заговорщиков остались неизвестными Гризелю. Они уцелели. Но они молчали. За честь Бабефа не вступился никто.

Бабеф мечтал о всеобщем благоденствии. Бабеф верил в добрую природу человека. Теперь он видит только низость, трусость, клевету врагов, молчание друзей. Он полон отчаянья, такого же сильного и стремительного, как недавняя его вера. Он отворачивается, когда тюремщик приносит миску с супом: не может глядеть на людей. Он даже не думает о своей жене и детях. А там за стеной горе, слезы. Стойко сносила жена Бабефа все мытарства. Теперь и она пала духом. Ей не только нечем кормить детей, ей незачем теперь жить: ее мужа арестовали, и все говорят, что на этот раз ему отрежут голову. Она пишет Бабефу: «Я не могу так жить. Я хочу умереть».

Ответ Бабефа жесток и страшен. Надо знать, как привязан этот человек к своей семье, как неизменно заботился он о здоровье жены, о воспитании детей, сидя в тюрьме или в добровольном заточении, чтобы понять ужас коротких строк: «Любовь к отечеству заглушает во мне все другие чувства. Я с тобой всегда откровенен, я тебе говорю прямо, мы якобинцы, мы бешеные. Мы вовсе не нежны, нет, напротив, мы дьявольски черсты. Ты говоришь, что ты решила умереть? Что же я могу тебе ответить? Умри, если ты этого хочешь»...



Проходит вспышка. Бабеф жадно ищет в других стойкости, в себе нежности. Рядом с ним сидит Буонарроти. Они разлучены. У Буонарроти тоже осталась на воле жена. Ее зовут Терезой. Она молода, неопытна, одинока. Буонарроти не только красив и строен, — все в нем гармонично. Он не знает отрешенности, наготы, неистовства Бабефа. Он предан идее равенства и спокойно думает о смерти. Но гражданские страсти не убили в нем другой любви, образ Терезы не покидает его камеры. На клочках белья он пишет нежные послания: «Дорогой предмет моей любви. Твое горе причиняет мне столько мучений! Будь стойкой, как я. Моя любовь к тебе никогда не была так горяча. Бедная моя Тереза! Я плачу, думая о тебе. Если б я мог достать твой портрет!.. Тирания хочет меня уничтожить, но верь мне, я не падаю духом. Увы! Прощай! Мы страдаем за истину и за справедливость».

Читая эти полустертые каракули, вшитые в штаны или в жилет, Тереза плачет, плача она улыбается: такой любовью женщина вправе гордиться.

Время идет. Вот уж мессидор. Душное лето вползло в камеры. Бабеф теперь спокоен. Это спокойствие отчаяния. Он пишет своему другу Лепелетье: «Не пугайся, увидев эти строки, написанные моей рукой. От меня все бегут... Но совесть говорит мне, что я чист»...

Он пишет и думает: кто знает, может быть, и Лепелетье предаст меня? Нет, Лепелетье честен, прям душой! Он пишет: «Когда заруют в землю мое тело, что от меня останется, кроме множества проектов, заметок, планов?.. Настанет время, люди снова начнут обдумывать, как бы утвердить благоденствие человечества, тогда ты сможешь разобраться в этих клочках бумаги и представить всем последователям равенства мои мысли, которые развращенные умы теперь называют праздными мечтами».

Он говорит о предательстве демократов, о клевете, о том, что никто его не хочет понять. Он поручает другу Лепелетье жену и детей. Старший сын хочет быть рабочим, печатником. Бабеф просит Лепелетье помочь ему в этом. Младший? Он еще слишком мал, чтобы гадать... Пусть оба будут честными рабочими!..

Для себя Бабеф просит только одного: его должны скоро увезти в Вандому. Нельзя ли помочь жене и детям последовать за ним? Он хочет, чтобы они были поблизости до последней минуты...

Здесь Бабеф кладет перо. Он долго ходит по камере опустив голову. На него никто не смотрит: ни тюремщики, ни история. Бабеф, Франсуа, добрый Франсуа может теперь спокойно плакать...

Поздно ночью он приписывает: «Мои мысли были с ними до последнего предела, до небытия»... И черное душное небытие входит в окно, в глаза, в душу. Может быть, погасла незаправленная лампа? Или арестант Бабеф, измучившись ходьбой, уснул?..

Наконец настал день отъезда. Арестованных посадили в клетки, специально для этого приготовленные. Года три тому назад в Париже все только и говорили, что о зверстве австрийцев, которые посадили Друэ в клетку. Это было выдумкой революционных кумушек. То, что приписывали австрийским тиранам, осуществило правительство республики. Подсудимых выставили, как диких зверей, на посмешище толпы.

Рабочие, глядя на Бабефа в клетке, ругались, отворачивались или кричали с угрюмой лаской: «Граах, не унывай!..» А посетители «Пале-Эгалите» — спекулянты, журналисты, еще вчера требовавшие казни всех аристократов, новоиспеченные богачи, франтихи, молодые люди, скрывающиеся от военных наборов, — вся эта разряженная и надушенная чернь улюлюкала: «Смерть грабителям! Смерть террористам!»

Сзади шли женщины и дети. Тереза Буонарроти — аристократка и Мария Бабеф — прислуга, взявшись за руки, сближенные одним огромным горем. Они шли три дня. Когда падала ночь, они плакали; они были женщинами. Днем они улыбались: ведь на них глядели те, из клеток. Они были не только женщинами.

Подлое и высокое время!

20

После ареста вождей патриоты растерялись. У них больше не было ни организации, ни веры. Один говорил другому: «Нельзя сидеть сложа руки! Надо выступить!..» Другой охотно соглашался, однако оба продолжали ругать Барраса в каком-нибудь кафе, окруженные агентами Кошона.

Конечно, раскрытие заговора не могло уничтожить недовольство народа. По-прежнему рабочие толпились вечерами на мостах. Они кричали:

121

— Робеспьер или король!.. Нам все равно кто, лишь бы было что жрать!..

По-прежнему Париж казался вулканом. О том, что этот дымящий вулкан потухает, догадывались немногие.

Директория теперь заигрывала с роялистами, как после вендемера заигрывала с патриотами. Торговались о высоких принципах и о доходных местах. Новых покупателей называл Карно: он назначал роялистов администраторами, комиссарами, судьями. Эмигранты перестали скрываться. Они открыто показывались в парижских салонах. Церковь снова предпочла мученичеству и катакомбам угрозы: перед пасхой торговцы Парижа получили анонимные записочки: «Если вы не закроете вашей лавки в праздник, вы будете причислены к якобинцам». Все влиятельные газеты были в руках противников республики. Если роялисты не пытались захватить власть, то только потому, что были охвачены общей апатией.

Прочитав письмо Бабефа, директоры расхохотались. Теперь те же слова повторял не анархист, но республиканский генерал Гош: «Раскройте глаза! Друзья вас покинули. Надо спасти республику. Почему говорят о террористах? Где они? Я вижу повсюду врагов — шуанов». На улицах Парижа начали появляться белые флаги. Директория ответила пышным празднованием годовщины девятого термидора. Горбун Леревельер особенно любил помпезные шествия, гирлянды, колесницы, фейерверк. С восторгом он надел парадную шляпу. Народу собралось немного. Когда граждане директоры крикнули «да здравствует республика!», их никто не поддержал: друзья республики ненавидели Директорию, а враги предпочитали иные, более открытые лозунги.

Полиция, разумеется, работала. Перед роялистами она пасовала: у роялистов были деньги и связи. Зато арестовывали крупных преступников. Так, например, в тюрьму была доставлена бывшая кухарка бывшего графа Шалябра, у которой нашли на груди портрет злодея Марата.

Не все бывшие кухарки или бывшие дворники продолжали чтить память «друга народа». Некоторые вышли в люди и презирали свое прошлое. Они хорошо зарабатывали. Гражданин Пио в течение одного года поставками и спекуляцией нажил два дома в Париже, сто десятин земли в Курбува, дом в Пасси за семь миллионов ассигнациями, наконец два колониальных магазина, один в Марселе, другой в Бордо. Таких Пио было

немало. Они поддерживали Директорию против санкюлотов и против эмигрантов.

Сытый Париж продолжал увлекаться танцами и спортом. Число публичных балов дошло до тысячи восьмисот.

Теперь эта страсть захватила и рабочих. В накуренных подвалах Сен-Антуана вместо якобинских речей раздавались звуки лансье. На состязания атлетов, на кельтские игры собирались десятки тысяч зрителей: жить, бегать, прыгать, кружиться, не думать, не думать ни о чем!..

«Маленький Кобленц» был взволнован новой модой: Тереза Тальен объявила рубашку глупым предрассудком. Рубашка только скрывает античную прелесть тела. Ее примеру последовали все модницы. «Бесптанников» сменили «безрубашницы». Только кольца, браслеты, ожерелья, запястья выдавали теперь общественное положение подруги виконта Барраса. Увидев ее как-то, гражданин Талейран почтительно вздохнул: «Нельзя быть богаче раздетой»...

Появилось множество новых выездов, пешеходы жаловались: опасно переходить улицу — задавят. Против входа в Люксембургский дворец часто собирались кучки зевак. Они смотрели на рысаков, на кареты, на разодетых кавалеров и на раздетых дам: это съезжались приглашенные — сегодня бал у виконта Барраса. Среди зевак были и те, что еще недавно здоровались запросто с якобинцем Баррасом. Теперь у них не было ни службы, ни хлеба. Они ворчали. Их было куда больше, нежели приглашенных, и в Париже было куда больше голодающих, нежели танцующих, но голод нем, а у музыкантов — барабаны и трубы.

Патриоты продолжают толковать: «Надо бы выступить!..» Они ждут, кажется, чуда. Они науганы и мрачны. Но вот вам чудо!.. Разве не чудом следует назвать важную новость, которую один патриот передает другому: «Гренелльский лагерь за нас. Солдаты и офицеры все только ждут, чтобы мы пришли к ним брататься. Они нас примут с распростертыми объятиями. Они свергнут Директорию. Мы должны пойти в лагерь!»

Агенты полиции, разумеется, поддакивают: «Вот это идея!..» Кто знает, может быть, и «чудо» родилось в кабинете министра полиции гражданина Кошона?..

Директория тотчас узнала о новом плане патриотов. Карно обрадовался: «Необходимо нанести решительный удар анархии». Он мало говорил на заседаниях «пятерки». Он предпочи-

тал беседы с гражданином Кошоном глаз на глаз. Что же делал Баррас? Как всегда, юлил, увертывался, колебался. Карно он говорил: «Да, необходимо раздавить». В душе он боялся нового успеха Директории. Так ведь Карно завтра станет диктатором...

Среди патриотов теперь не было ни Бабефа, ни Буонарроти, ни Жермена. В кафе обсуждались списки революционного правительства. Они были наивны и нелепы: рядом с Бабефом — столько раз клеветавший на него Тальен, рядом с безупречным Жерменом — продажный Фрерон. Вот эти списки и смущали Барраса. После раскрытия «заговора равных» он увидел, что на «бабувистов» ему надеяться нечего. «Равные» готовили ему не высокий пост, но пулю. На одном из листов, найденных у Бабефа, значилось: «Убить пятерку». Теперь, однако, Бабеф сидел в тюрьме. Патриотами руководили другие люди. Тальен и Фрерон — старые друзья Барраса. С ними легче сговориться, нежели с тупоголовым Карно.

Баррас заранее себя выгораживал: «Надо раздавить». Но тихонько через своего приятеля, мастера сентябрьских убийств, испытанного провокатора Мегэ, он подзадоривал патриотов. Он даже передал им двадцать четыре тысячи франков «на угощение солдат». Здесь его хитрость переходила в глупость. Предстояла борьба. Что же, он поддерживал и тех и других...

Кошон также передавал патриотам деньги через провокаторов, но он-то по крайней мере не колебался. Особенно отличался его агент, некто Романвиль, который бегал по Парижу без усталости:

— Идем брататься с гренелльцами! Они нас ждут.

Патриоты не сомневались в искренности этих призывов. Они знали, что в Гренелльском лагере стоит батальон драгун, составленный из бывших солдат «полицейского легиона». «Полицейский легион» издавна славился якобинским духом. На него в свое время надеялись «равные». Директории удалось расформировать легион, но солдаты остались солдатами. Они громко роптали: «Черти, не платят жалованья!..» В окрестных кабачках «Золотое солнце» или «Сельская кофейня» не раз они говорили рабочим: «Скоро мы им покажем...» Они громко вздыхали о тех временах, когда Робеспьер держал проклятых аристократов в страхе. Кто же поможет патриотам, если не эти храбрые драгуны?..

В Париже тихо. Спектакли уже кончились. Патрули оставливают редких прохожих. Зато шумно в предместье Грe-

нелль. Сегодня патриоты тут. У них нет ни ружей, ни сабель. Они пришли брататься с солдатами. Они хотят спасти революцию песнями. Вот-вот солдаты подхватят припев: «К оружию, граждане!..» И тогда — победа. Тих лагерь. Солдаты уже спят. Только кое-где полуночники режутся в карты или же рассказывают непотребные истории о жождарских девках: «Ну и фокусницы!..» Толпа вокруг лагеря растет. Сколько здесь патриотов? Одни говорят, триста, другие — пятьсот, третьи — тысяча.

Вдруг толпа расстуетается. Крики: «Браво», «Да здравствует отец революции», «Веди нас против тиранов». Это — депутат Друэ, он верхом, его окружают друзья. Песни становятся громче, лица веселее: «Друэ с нами!» Патриоты хотят подойти к палаткам, где стоит Гарский батальон, там у них много верных друзей.

Ночь темна, осенняя ночь. Где здесь опознать: свои или враги?

— Эй, братья!..

Гражданин Кошон обо всем позаботился. Он приказал в последнюю минуту увести Гарский батальон, а на его место поставить другую часть. Патриоты поют, зовут:

— Идите с нами!..

Они перед палаткой эскадронного командира Мало. Голоса:

— Драгуны Двадцать первого!

— Да здравствуют драгуны! Долой тиранов!

Гражданин Мало — патриот. Он не пойдет против народа..

Мало показывается. Он машет саблей. Вслед за ним выбегают драгуны. Они вскочили прямо с постелей. Некоторые в рубашках. Давка. А патриоты все поют — что же им еще делать?.. Мало видимо колеблется, несмотря на все полученные инструкции. Он опускает саблю и спрашивает:

— Оружия нет?..

Тогда один из полицейских стреляет. Пуля пролетает над головой Мало. «Нападение!» Мало командует:

— На седла! Руби!

Темна ночь. Куда бежать?.. Патриоты больше не поют: они падают один за другим под ударами сабель. Лошади давят раненых. Крики. Несколько одиноких отчаянных выстрелов... В последний раз вопль: «Братья, опомнитесь!» — и пронзительное ржанье лошадей.

Те, что не успели подойти к лагерю, видели, как по пустым

улицам проскакал Друэ. Эта ночь была его последней ставкой: «Если не победим, уеду в Индию...» Друэ не хотел умирать, но он и не мог жить спокойной, будничной жизнью. Он мчался прямо от Греспелльского лагеря за границу, в Геную, в Индию — куда угодно, только дальше от Парижа, хоть к черту на рога!..

А солдаты продолжали рубить, колоть, добивать безоружных патристов. Генерал в отставке, якобинец Жавог пытался организовать сопротивление, но перепуганные патристы теперь бежали, не слушая ничьих призывов. Другой генерал, Лей, проник в казармы инвалидов, где стояли гренадеры: «Выходите на помощь народу». Солдаты мялись: «Конечно... да только ничего из этого не выйдет...» Тогда бойкий сержант, давно мечтавший об офицерском чине, подошел к генералу Лею: — Идем-ка со мной!.. Куда?.. Увидишь куда... Там разберут...

Еще иные отбивались, кричали, уговаривали. На набережной Вольтера, надвинув низко шляпу, чтобы никто не мог его узнать, стоял некий гражданин, выжидая, чем кончится Греспелльский поход. Он был осторожен, не хотел рисковать собой. Остановит его здесь патруль, он спокойно скажет: «Гуляю». Около часу ночи, когда солдаты заканчивали уже работу, к нему прибежал, весь запыхавшись, какой-то паренек: «Ничего не вышло... разогнали...» Осторожный гражданин пожал плечами: «Болваны! трусы!» — и быстро пошел по направлению к своему дому. Это был не кто иной, как Фрерон, оставленный всеми — роялистами и патристами, Фрерон, который еще недавно водил за собою банды нарядных погромщиков. Теперь он мечтал о победе якобинцев: его не выбрали в «совет пятисот», у него не было ни хорошего места, ни денег, ни приверженцев.

Фрерон, конечно, спокойно дошел до дому. Тем временем агенты Кошона устроили охоту на анархистов. Их ловили в домах, на улицах, на пригородных дорогах. Уже светало, к сыщикам присоединились добровольцы — роялисты или просто буржуа, перепуганные воззваниями «равных»: «Бабеф ведь хотел всех ограбить!»

Генерал Жавог успел добраться до Монружа. Он зашел в маленький кабачок, чтобы передохнуть. Там его и накрыли. На нем нашли трехцветный шарф депутата Конвента. Он гордо ответил:

— Это все мое добро, все, что осталось у меня от революции.

Жавога обыскали. Обнаружив в его кармане перочинный нож, полицейские записали: «Гражданин Жавог схвачен с оружием в руках». Они выполняли приказ Кошона.

Полицейские арестовали «бабувиста» Бертрана, депутатов Конвента Кюссэ и Гюгэ, много рабочих из Сен-Антуана и Сен-Марсо. Всего было арестовано сто тридцать два человека. Провокатор Мегэ, конечно, удрал. Некоторые видели, как он переплыл через Сену. Многие пытались спастись вилась, удалось это только Мегэ. Может быть, он был хорошим пловцом... Во всяком случае, он был приятелем Барраса.

Накануне вечером Кошон доложил гражданам директорам, что ожидаются небольшие беспорядки. Войска настроены прекрасно, и правительству ничто не угрожает. Рейбель облегченно вздохнул:

— Ну, раз все благополучно, я еду в Аркейль...

Рейбель предпочитал дачную идиллию государственным заботам. Леревельер лег преспокойно спать. Он был разбужен под утро необычайным шумом. Он выбежал полуодетый, с саблей в руке. Во дворе он увидел солдат, а среди них Карно и Летурнера. Леревельер обиделся:

— Почему же меня не разбудили раньше?..

Карно стал его успокаивать: «Мы люди военные...» Он, конечно, не признался Леревельеру, что склонный к философии горбун только помешал бы ему руководить этой анекдотической битвой, где целые эскадры были брошены против толпы безоружных патриотов.

— Теперь опасность миновала.

— А Баррас?

— К Баррасу стучались. Никто не ответил.

Баррас показался только после обеда, когда арестованных уже гнали по улицам Парижа к тюрьме Тампль. Леревельер удивленно спрашивает:

— Почему вы не вышли ночью, когда к вам стучались?..

Глупый вопрос — Баррас не такой человек, чтобы показываться в середине представления... Он, простодушно улыбаясь, отвечает:

— Наверное, крепко спал. У меня вообще хороший сон...

Он не добавляет, что хороший сон присущ всем людям, у которых совесть чиста. Трупы уже отвезены в мертвецкую. Арестованные шагают по бульварам, и дамы, те, что без рубашек, пресловутые красавицы Директории, кричат:



— Смерть кроважадным собакам!..

Рейбель вернулся свеженький из Аркейля, Баррас, выпавшись, был готов к работе, Карно и Летурнер тоже успели отдохнуть после ночных трудов. Началось заседание Директории.

— Уничтожить!..

У Жавога нашли нож, у одного рабочего топор, двум другим успели вовремя подбросить ружья. О чем тут спорить!.. Директория постановила предать всех арестованных военному суду, как захваченных с оружием в руках. Кроме того, она обратилась к гражданам с очередным посланием: «Мятеж анархистов подавлен благодаря героизму республиканских войск».

Известно, что военный суд — суд скорый. Директория торопилась. Возле моста Неф рабочие кидали камнями в полицию. Тюрьма Тампль была окружена толпой граждан, ругавших «пятерку».

Суд приговорил двадцать шесть человек к расстрелу, большинство были рабочие: сапожники, шорники, шалочники, читатели «Трибуна народа», увлеченные проповедью равенства. Гракх Бабеф был далеко, в Вандоме. Но тень его присутствовала в Тампле, когда друг перед другом встали военные в чересчур новых мундирах, оплот порядка, скорые судьи и рядом, за решеткой, последние санкюлоты.

Один из осужденных, сапожник Бонбон, крикнув «да здравствует равенство», бросился из окна башни. Приговор, однако, остается приговором: труп Бонбона повезли на место казни — расстреливать.

Толпа роптала: «Это все бедные люди, почему их убивают?» Кто-то крикнул:

— Это не суд, а бойня!.. Я знаю одного из осужденных, он честный гражданин...

Стоявший рядом гусар тотчас разрубил смельчаку череп.

Некоторых осужденных везли связанными на телегах. Они лежали и пели: «К оружию, граждане»... Кого они звали: зрителей, вандомских узников, мертвецов?.. Некоторых гнали пешком. Маляр Ганья шел, среди других заключенных, по Итальянскому бульвару. Здесь не было ни одной пары сострадаельных глаз. Только молодая женщина, которая шла рядом, не спускала глаз с Ганья. Это была его жена. Когда осужденные дошли до «Итальянского театра», Ганья, оттолкнув солдата, бросился бежать. Он вбегает в дом. Лестница. Коридор.

Кажется, спасен! Здесь мастерская седельщика, его брата. Но солдаты находят беглеца. Они бьют его пашками, окровавленного кидают на телегу. Жена все видит. Жена идет рядом. На телеге ком мяса, лохмотья в крови, но оттуда раздается человеческий голос. Напрягая все силы, полумертвый Ганья поет: «Нет, лучше умереть, чем быть рабами...»

Со страхом прислушиваются к пению завсегдатаи «Маленького Кобленца».

— Вы слышите?.. Все-таки эти разбойники не трусы. Они умеют умирать.

Кажется, чего бояться: ведут людей на казнь. Париж спокоен. Партия порядка торжествует. Но дамы отворачиваются:

— Вы видели, какие у них страшные глаза? Это восстали из гроба все приверженцы проклятого Робеспьера...

Нечего скрывать: они боятся — ведь эти люди еще умеют умирать. А новый Париж умеет лишь жить, жить жадно и подло, жить во что бы то ни стало.

Из всех осужденных толпа хорошо знает только одного — бывшего генерала Жавога. Это не рабочий, уверовавший в святое равенство, а бывший член Конвента, вместе с Кутоном усмирявший мятежные Лион и Бурж. Он приказывал крестьянам в неделю собрать хлеб, смолоть зерно и представить муку для санкюлотов. Крестьяне говорили: «Жавог приказал», — и мука бывала сдана к сроку. Он отдал приказ о разрушении замков близ Макона: «Раздайте камни санкюлотам и помогите им выстроить простые дома». В Сен-Этьене он объявил налог на богачей: у кого миллион, вносит восемьсот тысяч, у кого сто тысяч, вносит двадцать. Жавог остался верен идеям и нравам тех времен. Он не грабил, как другие. Все его богатство действительно состояло из трехцветного шарфа. Он хотел вернуться к себе в Монбризон, но его отец, старый нотариус, умолял сына остаться в Париже: «Здесь тебя тотчас же убьют».

Кутон погиб десятого термидора. Жавог уцелел. Вот он идет на смерть. Он ступает бодро, поет. Немало людей он послал на эшафот. Он проходит перед толпой, как память о 93-м. Может быть, и он вспоминает прошлое: в Лионе революционный комитет однажды присудил к гильотинированию шестьдесят человек — среди них были не только аристократы, но и жирондисты, и люди, случайно взятые по доносам. Выслушав приговор, осужденные зацели: «Умереть за отечество — нет удела завидней...»

Осужденных привели к Гренелльскому лагерю. Взвоном командовал офицер Лилле. В последнюю минуту он никак не мог выговорить «пли». Он отвернулся, и толпа увидела перекошенное ужасом лицо.

Гренелльский поход был закончен. В театре «Фейдо» нарядная публика усиленно аплодировала, когда одна из актрис сказала (что и значилось в ее роли): «На этот раз мы спаслись». Следует только добавить, что победители работали в поте лица: ближайшее заседание Директории было посвящено вопросу, какому наказанию подвергнуть офицера Лилле, который проявил при исполнении своих обязанностей недопустимое колебание.

21

Вандома — тихий городок, известный только старым собором и жареной колбасой. К началу суда он был неузнаваем. Повсюду палатки, ржание коней, патрули, костры, склады оружия. Говорили, будто процесс продлится чуть ли не полгода. По окрестным дорогам тянулись возы с поклажей: аристократы, а также граждане поосторожней покидали город. Кто знает, чем все кончится? Ведь у Бабефа немало приверженцев... Город был оцеплен. Въезд запрещен. Подсудимых разместили в бывшем аббатстве Трините, а часовню приспособили для заседаний Верховного трибунала. Окна камер помимо решеток были наглухо забиты деревянными щитами. Бессменно полтора сота солдат несли караул. Комендант приказал поставить шесть пушек жерлами на шесть окон: при попытке бунта — орудийный залп.

Из камер доносилось только пение. Арестанты пели хорошо, и вандомские патриоты (как-никак были патриоты и в Вандоме), собираясь на соседних холмах, слушали «песню марсельцев». Патриоты в умилении аплодировали.

Суду предали шестьдесят пять граждан, из них восемнадцать заочно. Здесь были и вожди «равных», и рядовые заговорщики, и люди вовсе не причастные к делу, схваченные по оговору. На предварительном следствии Бабеф и его ближайшие друзья держались гордо. Не думая отрицать своего участия в заговоре, они отвечали: «Мы не арестованные, мы военнопленные».

В. Вандоме все подсудимые впервые встретились. Как работать общий план защиты?.. Судили их на основании слое Гризеля, подкрепленных кипой бумаг. Патриоты, менее скомпрометированные, уговаривали руководителей: «Отрицайте наличие заговора. Среди присяжных, наверное, имеются республиканцы. Тогда им легче будет оправдать, если не вас, то нас...» Бабеф долго колебался: прирожденная гордость и человеческая чувствительность боролись в нем. О себе он не думал: его ответы на следствии достаточно ясны. Дартэ был против замалчивания: «Кровь патриотов только разожжет огонь в сердцах народа». Бабеф возражал: «Мы разбиты. Предстоит длительная передышка. Мы вправе пожертвовать собой, но не об этом нас спрашивают. Что будет с другими?.. Эти тридцать патриотов могут быть спасены, если я скажу: «Да, я против вас. Я считаю восстание законным. Я хотел бы примкнуть к заговору. Но эти списки — не списки заговорщиков». О, насколько милее раскрыть сейчас всю правду! Однако это противно долгу патриота. Примирись, Дартэ,— мы должны теперь пытаться спасти друзей...»

«Равные» решили, отрицая заговор, признать, что если подобный заговор существовал бы, то они все стали бы заговорщиками. Бабеф начал готовиться к защитительной речи. Он хотел еще раз изложить перед современниками и перед потомством идеи «Общества равных». Директория уверяет, что он подкуплен роялистами, что он призывал к убийствам и грабежам. Он превратит скамью подсудимых в кафедру. Он раскроет труды бессонных ночей. Заговор против Директории в флореале четвертого года не удался. Заговор народа против роскоши, безделья, преступлений должен восторжествовать.

Председатель Верховного трибунала, гражданин Гандон, был исполнительным чиновником. Во всех спорных вопросах он становился на сторону обвинения. Но, по природе человек ясный и тупой, он не раз пазовал перед подсудимыми, из которых многие куда лучше его знали все параграфы уложения. Тогда его вырочали «национальные обвинители» Вильяр и Бальи. Вильяр мечтал о кресле депутата, речами на суде он надеялся привлечь к себе симпатии роялистов. Бальи, хоть и любил поговорить о «республиканских идеалах», был известен ненавистью к якобинцам. Когда Бабеф произнес слово «революция», Бальи тотчас прервал его: «Революционные бури давно улеглись»...

Здесь судебное разбирательство превращается в политический диспут. Дартэ кричит:

— Вы слышите? Он судит уже не нас, а революцию. Мы — люди Четырнадцатого июля...

Не смущаясь, Вильяр отвечает:

— Мы тоже.

Этим Вильяр хочет еще раз напомнить: судьи в парадных мантиях, в красных тогах, отнюдь не судьи Людовика XVIII, нет, они судьи Директории. Они всем обязаны мужеству санкюлотов. Они судят тех, кто им когда-то помог. Спасибо за 14 июля!.. А Вандомское аббатство охраняется куда лучше Бастилии...

Главный защитник, гражданин Реаль, был хорошим адвокатом и хорошим дельцом. Несколько месяцев тому назад в своей газете он уверял, что Бабеф получает субсидии от Питта. Теперь он решил защищать «бабувистов»: можно ли пропустить столь громкий процесс?.. О нем еще в начале революции Шенье сказал: «И Реаль?.. Что же — Реаль реализует»... Расторопный адвокат решил из очередной трагедии извлечь пользу.

Среди подсудимых особенно смущал Реаля угрюмый Дартэ. Он так и не согласился с доводами товарищей. Он решил молчать. На вопросы председателя он отвечал коротко:

— Не вам меня судить.

Защищаться? Он только пожимал плечами:

— Когда приверженцы равенства отданы на милость заведомым убийцам, когда гонения — удел всех добродетельных людей, которые пытались возродить Францию, когда во имя справедливости совершаются преступления, когда в почете подлость, измена, разврат, разбой, когда вся страна покрылась трауром, когда больше нет стечества, тогда смерть — благодеяние.

Бабеф не был оратором. Он должен был писать свои речи. Зато красноречивый Жермен не давал покоя обвинителям.

В зал входит Жорж Гризель. Он горделиво оглядывается. Он теперь больше не трусит. Разве две сотни часовых и шесть пушек не охраняют его драгоценную жизнь? Охотно отвечает он на расспросы любопытных журналистов. Правда, он еще не генерал. Зато он подписывается в газете: «Главный свидетель обвинения» — хоть в чем-нибудь он главный. Гризель презрительно смотрит на Бабефа: ну, поцеловал!.. Он ждет от председателя комплиментов: он ведь не корыстный доносчик, он достоин гражданского венка.

Председатель одобрительно кивает головой: перед ним герой. Тогда встает Жермен:

— Нет, Жорж Гризель, ты не удостоишься лаврового венка, нет, Жорж Гризель, ты не удостоишься и венка из терний — он наш, этот венок. Тебе же уготован другой венок — из омелы, римляне украшали им головы рабов, чтобы продать их на несколько динаров дороже.

Все подсудимые держались дружно. Против Антонеля не было никаких улик: случайно о нем не знал Гризель. Но Антонель, этот флегматик, издавна равнодушный к смерти, маркиз, уверовавший в благородство санкюлотов, не хотел избежать общей судьбы. Он неоднократно заявлял: «Я — с ними». Здесь чувствовалась общность не политической партии, но гонимой секты, где все — братья, все равны: певица из «Китайских бань» Софи Ланьер и «трибун народа», маркиз де Антонель и слесарь Дидье.

Каждый вечер, когда председатель объявлял заседание закрытым, подсудимые начинали петь гимн прериальцев: «Восстаньте, павшие герои!»... Они все сроднились с мыслью о близкой смерти; через головы судей или жандармов они беседовали с великими тенями недавнего, но уже далекого прошлого.

Бабеф восклицает:

— Гужон, Ромм, Субрани, прославленные мученики! Ваши имена раздавались в этих стенах. Мы не устанем их повторять. Мы ежедневно прославляем вашу память пением. Ваша стойкость перед палачами да послужит нам примером! Ревнителю святого равенства...

Обвинитель Бан перебывает Бабефа. Тот не слышит.

— Мы стали на ваше место. Мы готовы...

Глаза Бабефа горят. Они смотрят не на присяжных, не на толпу. Они смотрят в прошлое.

Ему не дают говорить. Крик. Пререкания. Угрозы. Суд уходит совещаться. Резолюция: «Подсудимые не имеют права затрагивать посторонние вопросы». Буонарроти улыбается: если революция здесь посторонний вопрос, то почему же их судят?..

Показания Гризеля заняли два дня. Предатель рассказал обо всем: о тетушке, о двух обедах — у Карно и у Дартэ, даже о поцелуе Бабефа. Он ни разу не опустил глаз. О том, как швейцар в Люксембургском дворце поддержал его, он, конечно, умолчал. Нет, он не трус! Он чтит память героев древности, и он надеется к ним приблизиться.

Закончив показания, Гризель остался в зале суда. Недалеко от него сидела молодая женщина. Гризель ее сразу заметил: красавица! Кроме героев древности, он любил и слабый пол. Кокетливо оправив волосы, он подсел поближе к красотке. Его, наверное, ждет удача: ведь женщины падки на славу, а он, Гризель, — герой процесса, все парижские газеты пишут о нем. Женщина обернулась. Она взглянула на Гризеля, и Гризель, два дня сносивший презрительные взгляды подсудимых, не выдержал: быстро отсел на заднюю скамью. Это была Тереза Буонарроти.

Когда зашла речь о «Декларации повстанческого комитета», монтажьер Рикар, чтобы отвести опасность, которая грозила скорее «равным», нежели ему, сказал:

— Может быть, это дело Гризеля?..

— Нет! Автор не должен краснеть за эти строки, — воскликнул Бабеф, — Гризель слишком низок, чтобы написать подобные слова.

Мужество и благородство подсудимых потрясли даже копейных. Солдаты в городе говорили: «Вот это молодцы!..» Команданту Вандомы приходилось все время менять воинские части: он опасался бунта.

Некто Гезен вздумал выпускать газету с описаниями судебных дебатов: «Вестник Верховного трибунала, или Эхо свободных и чувствительных людей». В газете печатались подробные отчеты. Редактора вскоре арестовали. Жена подсудимого Дидье, а с нею еще одиннадцать женщин были посажены в тюрьму «за подстрекательство к восстанию». Директория торопила гражданина Гандона: скорее!.. Но одно чтение бумаг, найденных у Бабефа, длилось две недели. Вандомский процесс стал новым Конвентом. Председатель, теряя терпение, кричал:

— Замолчите! Кто кого судит: мы — преступников или вы — правительство республики?

На вопрос гражданина Гандона нетрудно было ответить: в Вандоме судили Директорию, и тщедушный Гризель олицетворял здесь предательство — высшую добродетель граждан директоров.

Бабефа спрашивают: «Кто был с вами?» Он удивленно смотрит на председателя:

— Мне непонятно, как можно у человека предполагать заранее отсутствие гражданских чувств.

Председатель, в свою очередь, удивляется: Гризель ему куда понятней. Но в зале аплодисменты. Солдаты выгоняют граж-

дан на улицу. Это рукоплещет Бабефу народ, народ, уже неспособный защитить героев, но еще способный умиляться их добродетелью. Эта третья сторона — не «равные» и не Гризель — только однажды выступила на процессе. Председатель приказал ввести свидетелей обвинения, граждан Барбье и Менье. Оба были солдатами «полицейского легиона», расформированного по приказу Директории. За участие в бунте они попали под суд. Их приговорили к десяти годам тюрьмы и в Вандому доставили под стражей.

В зал входит Менье. Это молодой паренек, щуплый, бледный. Председатель:

— Ваше имя?

Вместо ответа Менье начинает петь: «Восстаньте, павшие герои!»

— Замолчите!

Менье поет. Закончив песню, он говорит председателю:

— Если вы настоящий патриот, эта песня должна вам так же нравиться, как и мне.

— Известны ли вам подсудимые?

— Нет. Вы привели меня сюда, чтобы я мог выказать мое благоговение перед этими защитниками свободы? Скорей отсохнет мой язык, нежели я уподоблюсь презренному Гризелю. Суд палачей осудил меня. Мне грозили пыткой, если я не подпишу ложных показаний. Я пережил минуту постыдной слабости. Я каюсь. Теперь я тверд душой. Обвинитель, гражданин Вильяр — вот этот самый — приходил ко мне в тюрьму. Он говорил: «Если ты на суде все подтвердишь, мы тебя сейчас же освободим. Если нет, тебе придется худо!» Но чистая совесть дороже свободы.

Гражданин Вильяр пробует протестовать. Менье грозит: статья 336-я строго карает за ложные показания. Однако он не сдается. Тогда приводит Барбье. Он повторяет: «Обвинитель Вильяр требовал ложных показаний». У Барбье имеются доказательства... Председатель вовремя останавливает свидетеля:

— Вы обвиняете самого себя.

Барбье отвечает:

— Что же, если вам нужна еще одна жертва, я готов... Я счастлив сесть рядом с этими героями.

Бабеф говорил на суде о Руссо, о Мальби, о Дидероте. Барбье и Менье были полуграмотны. Они умели читать только по слогам, с трудом расписывались. Не разум — сердце подска-



звало им эти, полные мужества, слова. Гракх Бабеф, окруженный врагами, в их лице увидел тот народ, бескорыстный и справедливый, которому он посвятил свою злосчастную жизнь.

Процесс длился долго: он начался в вантозе — тогда стояли сильные холода. Теперь веселый месяц флореаль. В зале суда темно и душно. Напрягаясь, Гракх Бабеф читает защитительную речь. Он читает уже десять часов без передышки. На лбу пот, срывается голос. Он излагает перед судьями свои идеи: «Аграрный закон» — не лекарство. Только в общности имуществ залог равенства». Балли смеется:

— Кто же будет собирать плоды, если нельзя сказать «это мое»?..

Бабеф отвечает:

— Счастье в том, чтобы не было «мое» и «твое». Иисус Христос проповедовал равенство, справедливость, ненависть к богатству. Он был за это живым пригвожден к кресту.

Бабеф говорит о своей жизни: он знает, что такое революция, он знает, что такое голод. Две унции хлеба. Детский гроб.

Здесь все оглядываются: кто-то в зале, захлебываясь, плачет. Это жена Бабефа.

Бабеф говорит об опасности, которая грозит республике. Вильяр его прерывает:

— Вы хотели погубить республику.

— Нет, мы хотели ее спасти. Революция ничего не дала народу, и народ начинает ненавидеть республику. Что кругом нас? Оглянитесь! Равнодушные. Патриоты, еще вчера пламенные и отважные, теперь молчат. У всех опускаются руки... Но равенство должно восторжествовать. Оно восторжествует. Французская революция только предвестница другой революции, более великой и более торжественной! Они исчезнут — межи, изгороди, стены, тюрьмы, кражи, преступления, виселицы, зависть, ненасытность, обман, двоедумие и червь — точитель всеобщего беспокойства...

На лицах судей досада. Присяжные устали от высокой философии — их клонит ко сну. Бабеф сейчас в темном зале беседует с другим поколением. Он доказал, что не праздные сны его проекты, в них разберутся дети. А теперь пора кончать!..

Здесь человеческое горе меняет голос Бабефа: он не проповедует, он прощается с жизнью, и не слова, только дрожь голоса заставляет присяжных насторожиться. Может быть, они и не философы, но они все-таки люди.

— Если наша смерть предрешена, если для меня настанет последний час, я вправе сказать, что давно его ожидаю. Я привык к тюрьмам и к гонениям. Мысль о насильственном конце меня не страшит: такова судьба революционера. Мои писания останутся. Они покажут, что я жил и дышал только любовью к народу. Одно меня печалит. Вот они, мои дети, я их вижу сейчас. Они здесь, они слышат мой голос. Я говорю им: «Мне горька мысль о вас. Я хотел, чтобы вы были свободными людьми. Что же я могу вам завещать? Ненависть к насилию? Преданность равенству? Нет, это слишком злое наследие. Я вас оставляю на рабство. Это омрачает мои последние часы...»

Бабеф ничего не видит: слезы застилают его глаза. Но с удивлением Дартэ глядит на присяжных. Ведь все говорят, что эти присяжные подобраны, что они ненавидят анархистов. И что же — присяжные плачут. Плачет публика. Уныло вытирает нос конвойный. Только с лица гражданина Вильяра не сходит насмешливая улыбка. Национальный обвинитель не страдает сентиментальностью. Речь его проста и ясна. Был заговор? Был. Вот и все. Он знает, что может сильнее всего подействовать на присяжных, на этих мирных провинциалов, которые любят вист, незабудки и спокойствие:

— Довольно! Нельзя переходить от революции к революции. Вспомните восемнадцать месяцев террора. Франция устала.

Во имя усталости он требует столько-то голов: пусть не мешают Франции отдыхать. И присяжные, недавно плакавшие над словами Бабефа, теперь сочувственно вздыхают: что и говорить — все устали...

Жены подсудимых жадно ловят каждое слово, они вглядываются в лица присяжных: вот тот налево, кажется, жалеет, а этот, наверное, хочет засудить. Десятилетний Эмиль спрашивает мать:

— Они уже решили или будут еще думать?..

Мария Бабеф ждет чуда. Поспешно она отвечает:

— Что ты! Еще ничего неизвестно. Бог даст, они пожалеют. Ведь все видят, что Франсуа — честный человек...

Рядом с ней — почтенный гражданин. Это граф Дюфор де Шеве́рни, самый богатый помещик в округности. Он сидел в тюрьме при якобинцах. Все меняется: теперь он пришел посмотреть, как судят якобинцев. Услышав шепот Марии Бабеф, он возмущенно отсаживается подальше: можно ли называть злодея, который хотел всех ограбить, «честным человеком»?..

Граф Дюфор де Шeverни больше не скрывает своей привязанности к королевскому престолу. Кто же судит «равных»? Королевский суд? Республиканцы?

Антонель, спокойный, как всегда, в последние часы еще раз напомнил судьям:

— Против роялистов мы пошли бы сражаться даже за эту республику. Берегитесь, республиканцы! Вы хотите уничтожить последних патриотов. Что будет завтра? Кто сможет отстоять Французскую республику? Вы убиваете не только нас — себя.

Присяжные уходят совещаться. В последний раз Софи Ланьер затягивает: «К оружию, граждане!..» Наступает томительный долгий день. В комнате присяжных душно. Сколько они останутся здесь? Пока не сговорятся. А сговориться трудно. Как ни старались власти, четверо присяжных — патриоты. Граждане директора с волнением читают ежедневно рапорты о настроении присяжных. Вся беда в законе: достаточно четырех белых шаров, чтобы подсудимые были оправданы. Но ведь оправдание Бабефа — это приговор Директории. Из Парижа несется вестовые: голову Бабефа! Присяжные спорят, молчат, снова спорят. Вот уже смеркается. Они не сговорятся: четверо настаивают на оправдании. Кажется, Бабеф спасен.

В камерах подсудимых не спорят, не гадают о судьбе. Там тихо: люди напоследок думают, вспоминают близких, молча жмут друг другу руки. Бабеф не сомневается в близкой смерти. Он помнит слова Гужона: «Чтоб не ошибиться...» Расстегнув рубаху, он пристально смотрит на грудь. Потом встает, по привычке быстро шагает: что-то еще не выполнено... Он пишет жене и детям:

«Добрый вечер, мои друзья! Я готов войти в вечную ночь. Я уже просил моего друга не покидать вас. Я ведь не знаю, что с вами станет. Вот вы добрались сюда, несмотря на все препятствия, на нищету. Ваша любовь вела вас. Но как вы вернетесь?..» Он пишет жене: «Бедная моя, верная подруга», пишет сыну Эмилю: ведь Эмиль его будет помнить. А Камилл? Он просит: «Говорите обо мне Камиллу! Сколько у меня было к нему нежности... И третий, Кай,— он родился после того, как Бабефа арестовали: «И Каю говорите, когда он настолько подрастет, чтобы понять...» Бабеф просит сохранить его речь на суде. Лебуа обещал ее напечатать. Эта речь будет дорога всем благородным сердцам...

«Прощайте! Тонкая нить еще прикрепляет меня к земле, и завтрашний день ее оборвет. Я в этом убежден. Жертва нужна. Злые сильнее — я уступаю. А совесть моя чиста. Только жестоко вырывать меня из ваших рук, нежные мои друзья! Прости! Прощайте!.. Еще одно слово. Напишите матери и сестрам. Когда речь будет напечатана — пошлите им. Расскажите, как я умер. Растолкуйте — это хорошие люди, они поймут, — растолкуйте им, что такая смерть не позор, а подвиг. Прощайте навеки! Гракх Бабеф».

Ночь. Письмо дописано. Бабеф теперь прощается с Жерменом. Оба вспоминают Аррас, веселые записки, «орден равенства», жизнь. Потом с Дартэ, с Буонарроти: сколько надежд, волнений, горя!.. Они говорят вполголоса. Под окнами лязгают ружья. Часовые отгоняют женщин. Маленький Кай кричит на руках. Тереза Буонарроти умоляет часового: «Передайте ему только это — «я с тобой».

А в комнате присяжных еще душней, и еще угрюмей голоса: «да», «нет», «нет», «да». На первый вопрос о заговоре четверо ответили: «нет». Остался второй: «о призывах к ниспровержению Директории». Неужели спасены!..

Некоторые из присяжных легли на пол и уснули: восемнадцать часов они спорят. Председатель получил инструкции свыше, он оттягивает голосование. «Голову Бабефа!» Четыре слушника известны всем, хоть голосование тайное. С тремя нечего разговаривать — это якобинцы. Но вот четвертый — гражданин Дюфо. Он отнюдь не террорист, нет, он просто за республику. Зачем убивать патриотов, когда роялисты открыто призывают к мятежу?.. И Дюфо кладет белый шар. Тогда председатель сводит его в сторону. Он шепчет на ухо:

— Я хочу предупредить вас — будьте осторожней. Вас подозревают... Говорят, что вы ухаживали за женой Буонарроти. Мне только что сказал один присяжный, что вы анархист. Я, конечно, начал его разубеждать. Но смотрите — напрасно вы упорствуете. Вы, кажется, отец семейства? Видите... Стоит ли рисковать? Ведь это не маленькое дельце, это Верховный трибунал. В приговоре заинтересована Директория. Я надеюсь, вы меня понимаете?

Гражданин Дюфо наконец-то понял. Пока речь шла о жене Буонарроти, он только удивленно тарашил глаза: он ведь ее ни разу не видел. Но Директория... Действительно, зачем рисковать?..

Четыре часа. На дворе уж рассвело. Утро нехотя входит через маленькие окна бывшего аббатства в угрюмый зал, где еще догорают чадные факелы. Серый мучительный свет кажется туманом. Как бледны и как злосчастны при нем лица женщин! Тереза Буонарроти стоит у барьера, выпростав руки. Она как бы хочет вырвать из рук присяжных таинственный приговор. Жена Бабефа вздрагивает от каждого шороха,— вот стряпчий прошел, вот Реаль уронил книгу: идут!.. Лихорадочно горят глаза Эмиля, и плачет Камилл. Только на лице крохотного Кая беспечальная улыбка: Кай спит, прижавшись к груди матери.

Спят и вандомские жители: что им суд, Бабеф, белые или черные шары? Они просыпаются от барабанного боя, от цокота, грохота: артиллеристы тащат орудия. Что за напасть?.. Наверное, кончился суд над анархистами...

Как только председатель, побеседовав с гражданином Дюффо, собрал необходимое большинство, он тотчас предупредил коменданта. Войска были приведены в боевую готовность. Пригнали подсудимых. Они глядят не на ту дверь, из которой должны сейчас выйти присяжные, они глядят на женщин, и те улыбаются сквозь слезы.

Все встают. Председатель читает. От волнения он сбивается, путает слова, мертвые казенные слова, которые, сказанные дрожащим голосом, вдруг приобретают простую человеческую значимость. Сжимаются руки Терезы Буонарроти. Эмиль, как звереныш, ощерился. Мария Бабеф сложила беспомощно руки: она все еще ждет чуда. Председатель читает медленно. Между двумя длинными фразами он останавливается, как бы набираясь духу. Тогда в зале тихо, будто вошла сюда смерть. Молчат обвинители и подсудимые, заговорщики и судьи, молчат конвойные, молчат дети. Ни вдоха. И вот наконец-то выговаривает он жестокие слова. Директория недаром слала вестовых. Она выторговала две головы. Бабеф и Дартэ присуждены к смерти, другие «равные» к ссылке.

Буонарроти кричит:

— Народ, ты видишь, как судят твоих друзей! Народ, заступись за твоего трибуна!

И те, что в зале, кидаются к барьеру. Блестят сабли конвойных. Команда. Топот. Взвод солдат быстро оттесняет послед-

них защитников Бабефа. Буонарроти пробует еще что-то сказать, но крики, проклятья, плач заглушают его голос. Бабеф наклоняется к нему:

— Прощай, Филипп! Обещай мне, что ты расскажешь современникам и потомству о «заговоре равных».

— Герои прериала! Ваша участь завидна, пример ваш высок!..

Ужас теперь на лицах у всех. Председатель закрыл глаза рукой. Молчание. Еще нет сил у Марии Бабеф, чтобы вскрикнуть. Адвокатская мантия гражданина Реаля вся в крови. Над ним — Бабеф. И голос Буонарроти: «В сердце, кинжалом...» Тотчас же Дартэ приподымается. Он кричит: «Да здравствует республика» — и, взметнувшись, грузно сползает на пол. Жермен кричит: «Убийцы!» «Равные» кидаются к телам товарищей. Даже солдаты растерялись. Женщины перескочили через барьер. Смятение. Команда: «Холодным оружием! Арестантов в камеры! Публику вон!» Снова блестят сабли. Солдаты тащат окровавленные тела, они бьют осужденных, женщин. Половина пятого. Попыхивают глаза Эмиля: этот не забудет.

Судьба не была милостива к Бабефу и к Дартэ. Их хорошо стерегли. Достать оружие им не удалось. То, что Буонарроти назвал «кинжалом», они сделали сами из пружин тюремных подсвечников. Они точили железо о пол. Они только ранили себя. Рука Бабефа к тому же ошиблась: она ударила ниже, чем следовало. Лезвие, соскользнув, прободало живот. Он не мог больше говорить. Когда пришел к нему врач, чтобы извлечь лезвие, он покачал головой: «Не нужно... Он очень страдал, но еще хранил надежду умереть от раны.

Комендант Вандомы тем временем бранил адъютантов: что за разгильдяйство. Почему не позаботились заранее?.. Все были настолько уверены в гражданском мужестве какого-то Дюфо, что вовремя не выписали из Блуа «исполнителя высоких приговоров». Комендант приказал вестовому гнать что есть духу — боялся, как бы Бабеф не умер до прибытия из Блуа гражданина Сансона-младшего, сына парижского Сансона. Дороги плохие — засветло он никак не поспеет. Сансон-младший действительно приехал только в десять вечера. Комендант каждый час справлялся: «Живы?..» Бабеф и Дартэ лежали на соломе, покрытой бурой, запекшейся кровью. Они не жаловались, не стонали, и тюремщик всякий раз успокаивал коменданта: «Чего им!.. живут»...

Пять часов утра. Гражданин Сансон со своим помощником поднимают Дартэ. Тот упирается. Живьем он не дастся. Он открывает рану. Кровь хлещет. Руки Сансона в крови, — впрочем, ему не привыкать. Полумертвый Дартэ еще силен. Он выбивается. Его связывают. Несут. За ним Бабефа.

На площади Арм народу мало: слишком рано. Вандомцы еще спят. Несколько зевак. Несколько преданных Бабефу патриотов. Весеннее утро. Солнце. Сирень в саду аббатства. Бабеф жадно обводит глазами площадь: кто-то рассмеялся, кто-то дружески махнул рукой. Вот она, Мария! С нею дети. Кай на руках. Да, спасибо, верная подруга! Пусть дети видят...

Сансон едва справился с Дартэ: ему помогали два тюремщика. Дартэ кричал, уже лежа под ножом. Теперь черед Бабефа. Он на эшафоте. Он напрягается. Он говорит:

— Прощайте, друзья! Прощайте, народ. Я умираю с любовью...

Кай, улыбаясь, смотрит на блестящую игрушку: нож гильотины падает.

Трибун народа Гракх Бабеф умер 8 прериаля года пятого, а по старому летосчислению 27 мая 1797 года, тридцати шести лет от роду.

Тела казненных по распоряжению коменданта были выброшены за город в канаву. Родным их не выдали. Осужденных к ссылке снова посадили в клетки. Жермен воскликнул: «Пошлите меня в Кайену, я и там буду продолжать... если не будет ни одного человека — с попугаями!..» Когда изгнанники приехали в местечко Сан-Лю, к ним вышел навстречу мэр и все граждане. Мэр обнял Буонарроти:

— Мы вас приветствуем, как борцов за святое равенство...

Революция не могла сразу умереть, она еще билась, вся облитая кровью, как недавно бились Бабеф и Дартэ.

А Директория праздновала победу: бал у Барраса, прием у Карно. В день казни Жорж Гризель получил награду за свои бескорыстные услуги: саблю с поясом. Ему выдали также тридцать франков серебром. Трудно сказать, что продиктовало эту скромную цифру: евангельский пример или же финансовые затруднения граждан директоров.

Палачу Сансону-младшему заплатили больше... Гризель ведь сделал свое, а без династии Сансонов существование Франции казалось немислимым. Вечером Сансон-младший напился допьяна в кабачке «Ба Брей». Он хвастал, что Сансоны служат

государству уже сто двадцать лет, что без них не было бы ни Капетов, ни Барраса. Кто прикончил анархиста Бабефа? Разумеется, Сансон!

Ночью пастух Пьер, возвращаясь в деревню Монтрё, увидел два трупа. Он покрыл их ветками, а вернувшись домой, рассказал о своей находке односельчанам. Луи Вардур, который как-то ездил в Париж за солью, сказал:

— Это Бабеф. Он был честным человеком, за это его убили.

На заре крестьяне деревни Монтрё подобрали тела Бабефа и Дартэ. Они их благоговейно похоронили. Они не знали ни патриотических песен, ни красноречивых слов, которые говорят в Париже на похоронах республиканцев. Они молчали. Только тот же Луи Вардур сказал:

— Его звали Трибун народа... За это его и убили... Его и другого. Вот вам — революция!..

23

Сегодня у директора Барраса прием. Гостей улаживает модный тенор Гара. О, каватины Чимерозы! О, груди Терезы... Гости слушают, любят, обмениваются комплиментами и пьют ледяной крюшон. За окнами жаркая летняя ночь.

— Говорят, что с этим злодеем Дартэ едва справились. Он пролежал пять минут под ножом и все время кричал: «Долой тиранов».

— Невероятно! Кто же вам это рассказал?

— Маркиз, а ему об этом написал граф Дюфор де Шверни.

— А Бабеф?

— Бабеф до конца разыгрывал невинность, как в пасторали. Обычный фокус террористов!..

Входит Тальма. Тереза Тальен (она ведь здесь хозяйка) восторженно щебечет:

— Ах, наша гордость!.. Тальма!..

Актера обступают. Его просят:

— Усладите нас вашим высоким искусством. Вы ведь так красиво декламируете...

Тальма учтиво кланяется:

— Благодарю за лестный отзыв. Но декламировать я, к сожалению, не могу. Пусть лучше вам споет Гара. Что я могу



читать? Клятвы Брута? Они вас только расстроят. Я должен упасть вашу чувствительность. Увольте!..

Тальма подходит к мужчинам. Здесь — политические темы:

— Роялисты хотели пойти по стопам Бабефа, но это им не удалось. Вы помните коменданта Мало, который так удачно разбил бунтовщиков при нападении на Гренелльский лагерь?

— Как же! Мне сказали, будто он из монахов...

— Возможно. Во всяком случае, теперь он честный республиканец. Он вошел в сношения с эмиссарами короля, а потом их выдал Директории.

— Ага! Еще один Гризель...

Гражданин Баррас смеется.

— Вы не поверите, до чего теперь этот Гризель популярен. Все хотят быть Гризелями. Какой-то Гонден пытался меня убедить, что это он выдал Бабефа, что он — Гризель. Но Мало действительно республиканец. Анархисты теперь бессильны, зато сторонники Людовика поднимают голову. Им, конечно, помогают англичане. Сколько гиней было потрачено на выборы!..

Баррас вздыхает: Директория тоже пробовала подкупить, но куда же «мандатам» до золотых гиней! На выборах победили роялисты. Карно хорошо: он с ними ладит. А Баррасу приходится туго. Согласно конституции, один член Директории должен был выйти в отставку. Пять директоров провели бессонную ночь. Жребий пал на Летурнера. Нелегко убраться из Люксембурга! Чтобы утешить несчастного собрата, четверо оставшихся сложились. Каждый дал по десяти тысяч франков. Но что значат сорок тысяч, если сравнить их с одними подарками интендантов?.. Баррас уходу Летурнера радовался. Конечно, лучше бы Карно!.. Но ведь жребий мог пасть и на него, Барраса... При этой мысли виконт бледнел. Он волновался: кого же выберут на место Летурнера?..

Сейчас Барраса поздравляют:

— С новым членом семейства!

Ему, однако, не до шуток. В Директорию избран посол Бартелеми. Он уже выехал из Женевы. Все знают, что Бартелеми дружит с роялистами. Он, конечно, возьмет сторону Карно. При этом он много опасней Летурнера. Итак, все против Барраса! Даже здесь, у него в гостях, молодые люди перешептываются:

— Вы читали статью Барриеля?.. Здорово он отхлестал Барраса!.. Там насчет свидания с «бабувистом» Жерменом... Говорят, Баррас в бешенстве...

Солидные гости заняты делом: господин Гоберт обсуждает поставку фуража для северной армии, господин Мальяр поставку провианта для альпийских войск. Господин Деланне хочет получить концессию на леса. А господин Уврар, краса республики, Уврар, самый богатый плут Франции, — о чем он толкует тихонько с хозяином? Флот? Соль? Седла? Нет, сегодня голова Уврара занята более поэтическими вещами: он торгует у гражданина директора красавицу Терезу. Он знает, что Баррас просчитался: Тереза способна разорить кого угодно. Но Уврара хватит, чтобы поднять самую дорогую потаскуху республики. Поговорив, они жмут друг другу руки: видимо, сошлись.

Брезгливо морщась, проходит Тальма из одной залы в другую: повсюду «кожа», «десять тысяч», «подкупить администратора», повсюду сделки, сплетни, интриги.

Душно! В этом году на редкость жаркое лето... Тальме невмоготу среди разряженного сброда. Еще раз какая-то супруга поставщика сукна лепечет:

— Прочтите монолог!.. Ах, я чувствую «Отелло» до глубины души! А вы?

Тальма улыбается:

— Нет. Сейчас я чувствую до глубины души другую пьесу: «Мадам Анго».

Он откланивается, уходит. Душно и на улице... Хоть бы гроза нашла! Но в черном небе неподвижные, густые звезды. Их тысячи. Среди них одна «Нептун» — ее открыл Лаланд. Он вспоминает. Погреб, чердак. Сейчас дом продан, да и больше не нужны никому ни чердак, ни погреб. Все перебесились. Андре Шенье говорил о свободе. Давид при Робеспьере мечтал о равенстве. Что же теперь? Миллионы господина Уврара. Неужели за это погибло столько благородных сердец?.. Неужели революция — это только подвиги, мечты, кровь, преступления, горячие слова, примеры мужества и зверства, а после — лакеи во дворце, севрские бонбоньерки у крестьян, шлейф мадам Анго и скука?

Тальма идет по темным улицам. Он мучительно думает, думает вслух, пока его не останавливает актер-приятель:

— Ты что же, разучиваешь новую роль? Какую?..

— Роль современника. А впрочем, я устал... Спокойной ночи!

Гости тем временем разошлись. Баррас задержал Леревельера и Рейбеля: им надо о многом поговорить. Баррас вдруг забывает и прерывает и то, как он предал «гренелльцев». Он оглядывается: не подслушивают ли швейцары, и уныло говорит:

— Дело дрянь! Две трети «совета» — против. Бартеlemi, Карно. Если не случится чуда, республике — конец. А с нею — нам.

Это ясно всем и без слов Барраса. Долго они гадают: кого призвать на помощь? У рабочих нет оружия, к тому же рабочие больше не пойдут сражаться за республику: «Видали»... Патриоты уничтожены. На кого же опереться? Как-никак они не роялисты. Они хотят спасти республику. Может быть, положиться на армию? На генералов?.. Гош шлет Директории одно предупреждение за другим: «Неужто во Франции больше нет республиканцев?» Что же, можно вытребовать Гоша из Гааги с преданными ему войсками. А как настроен Бонапарт, герой Италии, кумир Парижа?.. Без Бонапарта — трудно...

Баррас старается успокоить товарищей:

— Бонапарт хоть и честолюбив, но он стойкий республиканец. Талейран сегодня мне рассказал, что Бонапарт потребовал у папы контрибуцию: сто картин или статуй на выбор, но обязательно бюст патриота Марция Брута...

Виконта легко обнадежить. Недоверчиво усмехаясь, Леревельер говорит:

— А вы забыли, что он нам писал еще в нивозе? Забыли?.. Хорошо, я вам напомню. Он писал: «Настало время объявить, что революции больше нет, она закончилась»...

*Февраль — май 1928,  
Париж*

День второй





Да будет твердь среди воды.  
И стало так. И был вечер, и  
было утро: день второй.

*Бытие*



У людей были воля и отчаянье — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. Десятник Скворцов привез сюда легавого кобеля. Кобель тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от голода и от тоски. Он садился возле барака и, томительно пожевывая, начинал выть. Люди не просыпались: они спали сном праведников и камней. Кобель вскоре сдох. Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним под землю, где тускло светились пласты угля. Они шли с ним и в тайгу. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, догадавшись, что не найти ему здесь иного прокорма, начал кушать человека.

На дороге сидел Захар Силкин, которого односельчане называли Халабруем, бывший кулак Веневского уезда, ныне переселенец и строитель шумного цеха. Он сидел нагишом и злобно щипал свою рваную рубаху, стараясь уничтожить несметных врагов. Он сказал Ваське: «Эти граждане заведутся — от них не избавишься». Но Васька ничего не ответил, он только уныло почесался.

В редакции газеты «Большевицкая сталь» Шольман, торопясь, дописывал статью о дезинфекции: «В бараке № 28 на столе можно увидеть «Анти-Дюринг», но там кишмя кишат клопы. Когда мы положим конец подобной некультурности?». В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки. Начесанные бока горели.

Но люди не звери: они умели жить молча. Днем они рыли землю или клали кирпичи. Ночью они спали.

Когда люди пришли сюда, здесь было пусто и дико. Кривой Артем из деревни Бессоновки пас здесь коров. Он сидел на пне и не то пел, не то кричал: «Э-э-э!» Его визгливый голос больно въедался в тишину степи. Иногда приходил сюда фельдшер Злобин из Кузнецка. Фельдшер собирал травы для лечебных настоек. Завидев Артема, он всякий раз лениво



спрашивал: «Пасешь?» И так же лениво Артем отвечал: «Ага». Фельдшер сгонял Артема с пня и начинал рассказывать о тайнах апокалипсиса: у фельдшера была своя страсть — он любил непонятное. Он говорил про число зверя, и, слушая его, Артем недоверчиво зевал.

В стороне был город — Кузнецк. Над городом белели развалины крепостной церкви. Когда партизан Рогов взял Кузнецк, он спалил церковь и повесил попа. Возле развалин люди оставались по нужде. Здесь был чудесный вид и на реку Томь, и на переугубанные домишки кузнецких мещан, но воздух здесь был трудный.

Иногда в ясный день показывались горы, голубые, как вымысел. Там жили шорцы. Никто не знал толком, как они живут. Они уходили из своих улусов в тайгу, били медведей, выдр и белок. Шаман ударял в большой бубен и на непонятном языке разговаривал с духами. Духи любили мясо и пушнину. Охотник пел песню: «Птицы, птицы! Не клюйте моих мертвых глаз!» Шорка кормила длинной свисающей грудью пятилетнего мальчугана, и тот урчал, как медвежонок.

Когда пришли сюда люди с машинами, шорцы смутились. Машины бегали по степи и рычали. Пришельцы начали рубить тайгу. Тогда шорцы ушли прочь. Они передавали из одного улуса в другой: «Казаки идут!» «Казаками» они называли русских. Как от лесного огня, неслись прочь шаманы, дети, медведи и выдры. В августе то и дело горела тайга. Шаманы говорили, что злые духи разгневаны.

Люди пришли сюда со всех четырех концов страны. Это был год, когда страна дрогнула. В Москве не хватало бумаги, шла в ход папиросная и оберточная. Из старых лабазов вытаскивали конторские книги прошлого века. Люди с фантазией безудержной, как стихия, старались писать бисерным почерком, чтобы сберечь четвертку листа. Бумага нужна была для проектов, для смет, для таблиц. Трещали одуревшие «ундервуды». Как бешеные бегемоты, ворочались ротационные валы. На заседаниях от цифр першило в горле и захватывало дух. Члены коллегий заболели грудной жабой от исторического пафоса. Счетоводы и регистраторы начали пить чай вприкуску; засыпая, они теперь мечтали о плюшках.

В стране надрывались паровозы. Из их груди исходил мучительный свист: они никак не могли поспеть за людьми. За одну ночь на вокзальных перронах, как сказочные горы, вы-

росли тюки, корзины, узлы — все вшивое и пестрое добро. Оседлая жизнь закончилась. Люди понеслись, и ничто больше не могло их остановить. Среди узлов вопили грудные младенцы. Старики отхлебывали суп из ржавых жестянок. Здесь были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, калмыки, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, бородатые рязанские мостовщики, комсомольцы, раскулаченные, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики и даже сектанты-проповедники. Все эти люди неслись куда глаза глядят. Они не знали, куда они несутся. Но все они неслись на восток, и это знала Москва.

По базарам Украины ходили вербовщики: они набирали рабочих. Глухие деревни севера всполошились, узнав, что в Кузнецке людям дают сапоги. В Казахстане раскулаченные баи успели вырезать скот. Казахи угрюмо щерились: они не знали, как им жить дальше. Они никогда не видели ни заводов, ни железнодорожного полотна. Им сказали, что где-то на севере еще можно жевать и смеяться. Тогда, подобрав полы своих длинных халатов, они пошли. Женщины тащили на спине ребят. Плевались измученные верблюды. Потом запыхтело железное чудовище, и у казахов замерли сердца. Они приехали на стройку, полные вшей, восторга и ужаса. Их повели к бараку, где сидел заведующий рабочей силой. Они не вошли в барак. Они сели на землю, скрестив худые ноги.

На стройке было двести двадцать тысяч человек. День и ночь рабочие строили бараки, но баракон не хватало. Семья спала на одной койке. Люди чесались, обнимались и плодились в темноте. Они развешивали вокруг коек трухлявое зловонное тряпье, пытаясь оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались одним громадным табором.

Те, что не попадали в бараки, рыли землянки. Человек приходил на стройку, и тотчас же, как зверь, он начинал рыть нору. Он спешил — перед ним была лютая сибирская зима, и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина и вера. Земля покрылась волдырями: это были сотни землянок.

Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи моргановского крана. Люди глядели на кран, который

путя подхватывал огромные болванки, и они понимали, что победа обеспечена. Они забирались в свои землянки. Крохотные печурки дымили. Находила зима. Мороз выжимал из глаз слезы, и от мороза плакали бородатые сибиряки — красные партизаны и староверы, не знавшие в жизни других слез. В трепете припоминали мечтатели из Полтавщины вишенники и темный, как сказка, юг. Ясными ночами на небе бывало столько звезд, что казалось, и там выпал глубокий снег. Но небо было далеко. Люди торопились с кладкой огнеупорного кирпича. Они устанавливали, что ни день, новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями.

«Почему ты приехал сюда?» — в сердцах спросил Васька Смолин рыжего Ястребцова. Тот, усмехнувшись, ответил: «Будто ты сам не знаешь. Вот получу спецовку и смоюсь». Тогда Васька Смолин, отчаянно сплюнув, отошел в сторону и громко сказал: «Гады! Мы строим гигант, а они пользуются...»

На стройку приезжали летуны. Они получали сапоги и одежду. Потом они уезжали на другую стройку. Они увозили с собой казенное одеяло и презрение к человеческой вере. Они готовы были презирать весь мир. Но Васька Смолин их презирал — он отказался от премиальных: он строил гигант.

Бригада мостовщиков побила рекорд. Ее чествовали с музыкой. На эстраде сидел начальник строительства, два американца, секретарь ячейки и фотограф с большущим аппаратом. Фотограф все время приговаривал: «Отвратительное освещение». Трубачи надували щеки; без передышки они играли «Интернационал». На эстраду поднялся Антип Сорокин. Это был старый мостовщик, владимирец. Всю жизнь он мостил мостовые тихих, степенных городов. Когда большевики надумали мостить сибирские болота, кряхтя, он поехал в Сибирь. Он взошел на эстраду, хитро шурясь: он всегда хитро щурился, когда чего-нибудь не понимал. Председатель прочел по списку: «Товарищ Антип Сорокин». Играла музыка, и кто-то дал Антипу книгу. Тогда старый мостовщик заплакал: он не выдержал света, звуков и счастья. Он не мог прочесть эту толстую книгу — он читал по слогам. Но он слышал, как молодые говорили: «Мы строим гигант», и он сочувственно мычал. Потом он вспомнил о своей собственной жизни: нет валенок, Красникову дали гармошку, а гармошку легко загнать на базаре, это не книга, и, вытерев рукавом мокрые глаза, он снова принялся хитро улыбаться.

Варя Тимашова кончила в прошлом году педтехникум. Она учительствовала на стройке. Ей было девятнадцать лет, и она любила переводные романы. Она думала, что она похожа на Ингеборг Келлермана. Она могла бы любить столь же глубоко и красиво, но у нее нет для этого времени... У Вари не было времени даже для мечтаний. Романы она читала только на каникулах. Она занималась в ФЗУ, и у нее каждый день было по десяти или по одиннадцати уроков. Из школы она возвращалась ночью. До Верхней колонии, где она жила, идти надо было добрый час. Не было ни тротуаров, ни фонарей. Варя вязла в глине. Иногда вода приходилась ей по колено, и Варя сердито ругалась: «Сволочи!» Она никак не походила на Ингеборг. Это была курносая русая девушка, с крепкими икрами и с добрым сердцем. Придя домой, она валилась на койку как мертвая, но вдруг приподымалась и, схватив тетрадь, что-то писала — она должна была записывать свои мысли. Она писала: «Надо объяснить ребятам наглядно отличие спор от семян. Чернов ужасный прохвост. У нас с 21-го объявлено соцсоревнование. Все-таки до чего прекрасна жизнь, и как я счастлива!..» Не в силах дольше бороться со сном, Варя совала тетрадь под подушку.

Летуны приезжали, чтобы сорвать спецодежду. Приезжали также крестьяне из ближних колхозов — «поработать на коровку». Приезжали и комсомольцы, товарищи Васьки Смолина: они строили гигант. Одни приезжали изголодавшись, другие уверовав. Третьих привозили — раскулаченных и арестантов, подмосковных огородников, рассеянных счетоводов, басмачей и церковников.

На пустом месте рос завод, а вокруг завода рос город, как некогда росли города вокруг чтимых народом соборов.

Из других стран приезжали специалисты. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, вшам и морозам. Жили они отдельно от русских, у них были свои дома, свои столовки и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили.

Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они походили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они бодро хлопали по плечу русских инженеров и улыбались комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцевали друг с другом.

Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшеничную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.

Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».

Итальянцы ставили турбины. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за русскими девушками, соблазняя их и пылкостью чувств, и мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.

Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос.

В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые.

Однажды рухнули леса. Инженер Фролов и двадцать строителей обсуждали сроки работы. Настил не выдержал. Люди упали в ветошку и задохлись. Их торжественно похоронили. Каждый день с запада неслись длинные поезда. Люди высаживались возле маленькой будки, которая называлась «станцией». Ветер кидал летом пыль, зимой снег, и, болезненно щурясь, люди шли через пустыри туда, где шумела стройка.

Так 4 апреля зажглись огни первой домны. Небо стало оранжевым, а воздух наполнился скрежетом и смрадом. По проводам понеслась короткая «молния»: «Москва, Кремль. Выдали первую плавку чугуна в 64 тонны. Чугун бесперебойно принят разливочной машиной. Чугун прекрасного качества, 4 процента кремния. Все агрегаты и самая домна работают совершенно нормально».

В тот день, когда начальник строительства послал «молнию» о пуске первой домны, на площадке было шумно: люди праздновали победу. В клубе итээров, всклокоченные от счастья, специалисты говорили речи и пили ячменный кофе с печеньем «Пушкин». В землянке Сидорчука, которую шутя называли «рестораном Порт-Артур», стоял дым коромыслом: Сидорчук тайно торговал водкой. Кто лез к сонливой жене Сидорчука, кто, перепив, тут же блевал. В красном уголке комсомольского барака Васька Смолин читал доклад: «Первый форт взят». После доклада состоялись коллективные игры. Манька визжала: «Не тронь! Я щекотливая!..» Смолин вышел с Верой на улицу. Ночь была холодная, и Вера вздрогнула. Васька сказал: «Так, Вера, делается история...» Вера в ответ тихо погладила его руку. В столовой для иностранцев косой Смит пил пиво и кричал, что он выиграл у Хайнца пари: он говорил, что домну пустят в срок. Словом, в тот день все волновались.

Колька Ржанов улыбался. На его лице нельзя было ничего различить, кроме одной огромной улыбки. Впрочем, улыбались в тот день двести двадцать тысяч строителей. Улыбались моргановские краны и пестрые платочки киргизок. Улыбалось апрельское небо — оно сулило шумные ливни, зелень, всю горячую неразбериху сибирского лета. В тот день можно было и не заметить Ржанова, спутать его с Федоровым или с Чеборевским. Улыбка съедала и щеки и глаза. Но у Кольки Ржанова было свое лицо. Несмотря на его молодость, у него была и своя жизнь.

Отец Кольки работал в Свердловске (тогда говорили — Екатеринбург) на Верхне-Исетском заводе. Колька помнит, что отец любил пить пиво. Когда приходили товарищи, отец подолгу с ними спорил. Мать, раздосадованная, говорила: «Опять они наследили...» Отца расстреляли белые. Глотая слезы, мать шептала: «Тихе, Колька! услышат...» Возле пруда Колька увидел офицера. Офицер смеялся и ел конфеты. Колька тотчас же подумал, что этот усатый человек убил его отца. Он уже умел ругаться, как взрослые. Он подошел к офицеру и громко крикнул: «Ирод!» Офицер не побил Кольку. Он и не рассердился. Смеясь по-прежнему, он дал мальчику карамель. Колька зажал конфету в кулак и бросился бежать. Потом он остановился.

Растерянно поглядел он на карамель. Бумажка была красивая. Он знал, что конфету следует бросить, но он поддался искушению: он засунул ее в рот. Он долго сосал. Его лицо выдавало не счастье, но смятение. Ночью он испугал мать внезапным плачем. Мать думала, что ему жаль отца, и тихо она проговорила: «Может быть, и умереть легче, чем так жить...» Но Колька не думал об отце. Он ненавидел себя. Он бил себя маленькими розовыми кулаками. В ту же ночь он узнал, что жизнь не легка. Ему было тогда семь лет.

Он рос быстро и неровно, то гнулся в сторону, то поникал. Его мать была верующая, и в углу висела икона. Колька был пионером. Икону он снял. Он попробовал объяснить матери, что все это неправда. Христос воскрес только потому, что народы весной сеют, а у кита крохотная глотка и кит никак не мог проглотить Иону. Он говорил наставительно и долго. Мать заплакала. Тогда Колька растерялся. Он не любил слез. Он сказал: «Можешь повесить свою икону. А насчет кита — это факт».

Он учился в заводском училище. Из уроков он любил воензащиту и родной язык. Он маршировал, стрелял и жадно повторял принципы стратегии. Он знал, что нет большей радости, нежели побеждать. На уроках родного языка он пропускал мимо ушей скучный синтаксис. Зато, как замороженный, он слушал стихи Пушкина. Он даже выучил наизусть две первые песни «Руслана». Его записали на черную доску за нарушение дисциплины. Он признал: «Правильно!» Когда был субботник по учету скота, он работал больше всех. Он видел, что счастье в труде, но у него было горячее сердце, и труд казался ему скучным. На уроках алгебры он читал романы Джека Лондона. В мастерских он затевал игры. Потом он кончил училище, и его послали в цех ширпотреба. Он вынимал из-под пресса кастрюли, и он тосковал.

Как-то в заводском клубе показывали картину «Вечный грех». Это была старая американская картина. К ней приделали русские надписи, и надписи поясняли, что бессердечный хозяин решил для забавы погубить одинокую конторщицу. Колька жадно глядел на красавицу с голыми плечами, на молодого шалопаю, который пил ликер, на гонку автомобилей. Нельзя было угадать: догонит ли отец Джона или не догонит? Они мчались так быстро, что болели глаза и голова шла кругом.

После этого вечера Коля зачастил в клуб нарпита. Там танцевали польку и вальс. Коля танцевал с девушками и пристыженно улыбался. Ему казалось, что он танцует хуже всех и что девушки над ним смеются. В душе он был растерян. Он часто спрашивал себя: должен ли комсомолец танцевать? Он не знал, как ему жить. Кругом люди работали день и ночь. Они не умели веселиться. Чтобы найти полузапретное веселье, нужна была шнорровка. У Кольки появился учитель — некто Сотов. Этот Сотов числился комсомольцем, но он только и делал, что гулял с девушками или резался в карты.

Сотов спросил Кольку: «Ты куда ходишь с девчатами?» Колька густо покраснел. Он хотел было соврать: «В рощу». Но он не умел врать. Он признался Сотову, что он еще не знал в жизни женщин. Сотов долго смеялся. Из его огромного рта вылетали брызги, а зеленые глаза весело туманились.

Несколько дней спустя Сотов сказал Коле: «Приходи сегодня к Павлику». Потом он помолчал и многозначительно добавил: «будет весело». Колька понял и взволновался. Долго пытался он щеткой пригладить чуб, но чуб упорствовал.

У Павлика была настоящая пьянка. Выпив три стопки, Колька охмелел. Он, однако, продолжал и видеть и понимать. Сотов прижимал к себе Аньку из упаковочной. Колька подсел поближе — ему хотелось послушать, о чем говорят влюбленные. Сотов, который был груб и насмешлив, с Аней говорил непривычным голосом. Он говорил о своих чувствах, о том, что у Ани «глаза, полные сердечности», о том, что любовь теперь свободна, «не как в романах Толстого». Говоря это, он смотрел за тем, чтобы Аня пила, и, поднося ей рюмку, каждый раз приговаривал: «За самое большое одну малюсенькую...» Аня, пьянея, бессмысленно хохотала. Когда она на минуту отошла от Сотова, тот, не забывая своей роли опекуна, деловито сказал Кольке: «Ты, Колька, не зевай. Вот Маруся не у дел. Подпой, а потом — в рощу. Будет отбиваться — ничего: это они всегда так, а потом сами рады...»

Колька послушно выполнил все предписанное. Он дал Марусе большую стопку. Когда та сказала, что у нее кружится голова, он вежливо предложил выйти на свежий воздух — проветриться. Маруся ему не нравилась: у нее были коровьи глаза, и она преглупо улыбалась. Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, он услышал запах духов. От этого запаха его начало мутить. Он подумал — вроде как клопами... Почему-то



он сказал: «Комсомолка не должна душиться». Маруся перепуганно улыбнулась и ответила: «Это не духи, это одеколон, и плохой...»

В роще Колька вспомнил: надо бы поговорить о чувствах, вот как Сотов... Но слов у него не было; а когда он понял, что слова надо придумывать, ему стало скучно, как в школе на уроках немецкого. Неожиданно, не только для нее, но и для себя, он повалил девушку на мокрую траву, Маруся закричала: «Пусти! Я не хочу!» Колька виновато съехался. Он сказал: «Это я пошутил. А теперь пора и по домам. Сыро здесь — ты простудишься...»

Потом, припоминая эту ночь, он неизменно морщился, как от приступа зубной боли. Он стал избегать Сотова. Он больше не ходил на пьянки. Он забросил и танцуйки. Он понял, что жизнь, которая на экране ему показалась веселой и стремительной, так же скучна, как алгебраические формулы или как станки мастерской.

Он работал теперь исправно. По вечерам он ходил на собранья. Он много читал. Но в душе он был холоден ко всему: и к числу выпускаемых кастрюль, и к борьбе с оппортунистами, и к стихам Безыменского. Его глаза, цвета светлой резеды, глядели на мир печально и отчужденно. Они ни на чем не задерживались. Это были глаза слепого.

Шаров сказал ему: «Знаешь, я записался на ускоренные. Заниматься придется по ночам. Зато через четыре года буду инженером». Колька удивленно посмотрел на Шарова. Он не понимал этой воли. Зачем напрягаться, хитрить, зачем пробиваться вперед, отталкивая других, как будто жизнь — это набитый до отказа трамвай... Колька молчал, пока Шаров с восторгом рассказывал ему о своем будущем. Тогда Шаров, желая, чтобы его счастье разделили все, сказал: «Почему бы и тебе не налесть? Подготовиться можно за лето...» Колька ответил равнодушно: «Не всем быть инженерами. Нужны и рабочие». В его голосе не было ни зависти, ни обиды. Но вечером он отбросил роман Шолохова, судорожно зевнул и подумал: «Везет же такому Шарову! А я?.. Нет, мне уже поздно начинать...» Колька решил, что он — неудачник, и это его несколько успокоило.

Умерла мать. Умерла она в больнице. Перед смертью она захотела причаститься. Одна из сиделок согласилась сходить за священником. Поп пришел в пиджаке, робко поглядывая на служителей. По утрам он сидел в санитарном тресте и регистри-

ровал исходящие. Но перед умирающей он вспомнил свой сан и величественно помахал грязными жилистыми руками. Сиделки отвернулись. Мать Кольки блаженно улыбалась. Эту улыбку и застал Колька. Он знал, что мать с двенадцати лет работала на прядильной. Двое детей ее умерли, мужа убили, а Колька вырос чужой и неласковый. Она не видала в жизни ни отдыха, ни участия. Но она верила в своего бога, и она была счастлива. Колька пренебрежительно морщился, но в душе он завидовал матери, как он завидовал и Шарову.

Ему было девятнадцать лет, но он думал, что это — старость.

После смерти матери он жил в общежитии. Как-то он не вышел на работу: поранил палец. Он оказался вдвоем с уборщицей Ньюшей. Нехотя читал он статью в «Известиях» о черной металлургии. Ньюша подошла к нему и, пахнув на него щами, засмеялась. Она была веселая, ее так и звали «Нюшка-хохотушка». У Кольки помутнело в глазах, как будто он залпом выпил стакан водки. Он приподнялся и пробубнил: «Вот что...»

Потом он ничего не мог припомнить, кроме запаха щей и этого смеха на «о». Он выбежал на улицу. Была оттепель. Пахло гнилью, весной и лекарствами. Черные пятна на снегу казались болячками. Колька глубоко дышал. От сырого тумана кололо в груди. Он растерянно глядел на небо, на дома. Возле него висела афиша — поверх старой газеты было написано чернилами: «Боевик! Пламя любви». С ненавистью поглядел Колька на расплывшиеся буквы. Снова закололо в груди. Отстегнув ворот, он положил руку на грудь, но тотчас же ее отдернул: ему было ненавистно собственное тело. Он долго бегал по улицам. Торчали остовы домов. Старый город был наполовину снесен, новый еще только строили. Между железными скелетами гнил снег. Люди радовались весне, и они ругались, попадая в глубокие лужи. Колька бежал по талому снегу, ничего не замечая, полный глубокого, непонятного ему страха. Он думал, что его жизнь закончилась, и в этом тяжелом разложении зимы он видел нечто себе родственное.

Он еще выходил каждое утро на работу, но его преследовала одна мысль: уехать! Может быть, распростившись с этими родными ему местами, он освободится от сердечной пустоты. Долгачев, глядя на Кольку, говорил: «Парень-то наш заскучал».

Весна шла быстрая и расточительная. В одну ночь она смыла ливнем снег, который еще прятался от солнца. Она взло-

мала лед на пруду. Она начала швырять на грустный город, в котором не было ни реки, ни тенистых садов, ни бульваров, то какие-то желтые цветочки, запестревшие среди щебня, то душистый вздор черемухи, то беспричинные улыбки. И эти улыбки развязно вмешивались в порядок дня очередных заседаний.

В шумное яркое утро Колька Ржанов понес на вокзал маленький сундучок. В сундучке лежали три рубашки, старые сапоги и пестрый галстук, купленный еще в те времена, когда Колька шлялся по танцулькам. Он ехал на стройку.

Всю дорогу он молчал. В окно глядеть было скучно: с утра до ночи тянулась все та же степь. Кругом люди без умолку говорили. Говорили они только о стройке: какие там харчи, правда ли, что дают по два кило сахара, не холодно ли зимой в бараках. Какой-то вертлявый человечек каждому повторял с глубоким восторгом: «Ровно на шестой день выдадут спецовку, честное мое слово!» В углу дремала бледная женщина. Она ехала к мужу. Выходя на минуту из забытья, она неизменно спрашивала соседей: «Вы мне скажите, а не страшно в Сибири? Я ведь по сложению слабая...» Колька трясся в такт колесам и сосредоточенно молчал. Он не знал, зачем он едет, он не знал, что с ним будет на новом месте, да сказать правду, он и не волновался. Его светлые глаза хранили все ту же отрешенность.

Но когда локомотив, облегченно вздохнув, остановился среди поля, когда из грязных прокуренных вагонов, которые казались людям уютными, как родной дом, выкатились на землю сундуки, корзины и узлы, когда обдал приезжих острый беспокойный ветер, Колька болезненно вздрогнул,

3

Вместе с Колькой Ржановым на стройку приехали и другие. В тот день приехало двести сорок новых строителей. Позади у них были разная жизнь и разное горе.

Егор Шуляев приехал прямо из колхоза. Он говорил: «В деревне теперь не житье. То — «сдавай картошку», то — «красный обоз», то — «коллективный хлев строим». Нет человеку спокойствия! Прошлой осенью у нас раскулачили тридцать восемь дворов. А какой же это кулак Клумнев, когда у него

только и было добра, что две коровы? Здесь никому до тебя нет дела. Отработал, получил пропуск в столовую, похлебал щей и гуляй». Егор Шуляев привез с собой двести целковых. На стройку он приехал с женой. Оба стали на работу, как землекопы. Вечером они пошли подыскивать себе кров. В деревне говорили, будто за две сотенных можно купить теплую землянку.

Инженера Карпова прислали из Москвы. С тоской он думал о жене, о друзьях, о премьерах в Художественном театре, о залитой огнями Тверской. Он, однако, храбрился. «Конечно, работа здесь интересная. Можно сказать, внимание всего мира сосредоточено... Это вам, Сергей Николаевич, не проекты разрабатывать, это настоящее дело!..» Ему казалось, что он у себя в Столешниковом и что он спорит с Сергеем Николаевичем. Но он сидел один в столовке итээров. Он пил жидкий чай и первно постукивал ложечкой о стакан. Кругом него люди спеша засовывали в рот картофельное пюре. Никому не было дела до Карпова. Допив чай, Карпов пошел на работу — он был специалистом по монтажу рольгангов.

Три сестры Кургановых прятались одна за другую: они никогда не видали столько людей. Они жили в деревне Игнатовка и продавали молоко. Когда началась коллективизация, коров отобрали. Потом пришло письмо Сталина о «головокружении». Коров развели по дворам. Две коровы Кургановых без присмотра околели. Девушки попробовали работать в колхозе, но с непривычки им было тяжело. Они вырабатывали мало трудодней. Тогда они решили уехать на стройку. Услышав пыхтение экскаватора, они в перепуге заметались. Младшая — Таня — со страха начала плакать. Но Варвара, заглянув в барак, восхищенно сказала: «Чай-то у них фамильный...» Двух Кургановых послали на кладку кирпича — подавальщицами. Таня была определена уборщицей в барак № 218.

Старый партизан Самушкин приехал на стройку, потому что его грызла тоска. Десять лет он рассказывал всем, как он гонял по Алтаю белых. «Только мы подходим, а они уже ставят на колокольню пулемет. Я говорил: «За кровь товарищей вы безусловно ответите». И действительно, трудно сосчитать, сколько церквей мы спалили. Попов, разумеется, на дереве...» Самушкин рассказывал об этом односельчанам и случайным попутчикам, сотрудникам ОНО в Бийске и бабам на базаре.

Вначале слушатели охали, поддакивали, волновались. Но мало-помалу гражданская война становилась историей. Самушкина перебывали: «Да ты об этом уже говорил!..» Он сидел в ОНО и писал бумаги: «Сельсовет Михайловского, несмотря на директивы центра, отказывается отпустить для школы дрова...» Как-то вузовец, услышав в десятый раз рассказ о пулеметах и колокольне, насмешливо спросил Самушкина: «Может, ты и при Бородине сражался?..» Самушкину стало в жизни неудобно: не было ни опасности, ни побед. Тогда он ушел со службы, сославшись на болезнь: старая рана, ревматизм. На самом деле он решил посмотреть, что такое стройка. Он попал сразу в какую-то канцелярию. Молоденькая девушка, даже не глядя на него, закричала: «Что же вы стоите? Надо сейчас же позвонить Шильману — на мартене только что сняли шестьдесят землекопов...» И, не переспрашивая, Самушкин кинулся к телефону.

Гришке Чуеву в Москве пришлось туго. Он продавал на Сухаревке сахар, который получал от заведующего распределителем Булкина. Этого Булкина недавно накрыли. Гришка понял, что пора менять местожительство. Четырнадцать лет революции он прожил кочуя. Он торговал контрабандным сукном в Батуме. В Ростове он работал на госмельнице, отпускная любителям крупчатку «по себестоимости». Потом его занесло на Днепрострой. Там он сводил инспекторов с машинистками. В Харькове он подыскивал комнаты. Теперь он приехал в Кузнецк. Опытным взглядом он оглядел бараки: здесь много людей, значит, здесь найдется дело и для Гришки! Он решил покупать у американцев крепкие напитки. Вечером он уже доказывал Дорану, что два червонца за коньяк «Конкордия» красная цена.

Писателю Грибину надо было написать новый роман. Критики его донимали. Они утверждали, что Грибин уклоняется от современных тем. Грибин взял в журнале аванс под роман о стройке и заказал место в международном вагоне. Он стоял возле управления заводом и рассматривал проходящих. Рядом с ним какой-то клепальщик перематывал портянки. Грибин, морщась, вспомнил, что жена забыла вложить в саквояж одеколон. Он подумал о жене, о своем кабинете с портретом Пушкина, о далеком уюте, и он загрустил. Но надо было работать. Он вынул из кармана записную книжку и записал: «Большая постройка. Зовут «кауперы». Грандиозное впечатление. Вста-

вить в главу, где ударник влюбляется». Утомившись, он зевнул и поплелся в столовую для иностранцев.

Шорец Мукаш приехал из улуса Сары-Сед. В улусе было четыре имама. Мукаш был охотником. Пушнину он отвозил русским в «Интеграл». За хорошую выдру ему давали до восьмидесяти рублей. В улус Сары-Сед приехал русский. Этот русский сказал, что стройка находится в стране шорцев и, следовательно, шорцы должны вместе с русскими строить гигант. Подумав, шорцы послали Мукаша — Мукаш был младший. Мукаш не понимал, что именно строят русские: дом, крепость или город. Он привез с собой трубку и божка. Трубка была из березового дерева с медной крышкой. Ее сделал дядя Мукаша хромой Ато, который считался лучшим стрелком. Кто сделал бога, Мукаш не знал. Бог висел над люлькой, вместе с крохотным луком. У бога были короткие руки и большая круглая голова. Бог охранял Мукаша от пули и от мух. Мукашу сказали, что он должен ехать в Тельбесс на копи. Там добывают руду и там работает бригада шорцев. Ему сказали также, что он у себя дома, что эта страна — Шория и что большевики строят в Шории гигант. Мукаш ничего не ответил. Он запел. Русские не знали, о чем его песня — он пел на своем языке.

Елена Александровна Гарт приехала на стройку как переводчица. Она знала английский и немецкий. Она работала в тяжпроме, но Маня Королева ей написала, что на стройке работать куда интересней. Правда, в Кузнецке нет театров. Но иностранцы скучают, и вечера они проводят с переводчицами. В распределителе для инспекторов можно достать все: шелк, береты, даже дамские туфли. Вдруг какой-нибудь американец влюбится в Елену... Мечтая, Елена зажмурилась. Тогда инженер Гармин в нетерпении крикнул: «Переведите — блюмсы сечением триста на триста отсюда направляются к шпеллерам...» От страха Елена похолодела.

Все эти люди приехали на стройку вместе с Колькой Ржановым; эти и другие, много других. Их записали в книгу. Никто не спросил, как они жили раньше и какая страсть привела их сюда. Их сосчитали, чтобы не ошибиться при выдаче хлеба. Людей распределили по цехам. Кольку Ржанова послали в доменный.

В тоске Колька оглядел барак. Люди лежали на койках не разувшись. Воздух был густой, как масло, — от махорки и

от человеческих испарений. В углу без умолку кричал грудной младенец. Колька попробовал было читать, но лампочка была тусклая, и у него быстро заболели глаза. Тогда он прошел в красный уголок. Два котельщика играли в шашки. Они чесались и однообразно приговаривали: «А я через нее сигану...» На стене висел старый номер стенгазеты. Колька прочел: «Галкин предается азартным играм, а на просьбы прекратить дебош отвечает бурным матом минут на двадцать. Когда же мы сразим огнем пролетарской самокритики это безобразие, унаследованное царизмом?»

Колька подумал: зачем он сюда приехал? В Свердловске было чище и спокойней. По вечерам он мог читать. Скучно? Но скучно повсюду... Разве можно жить в таком хлеву... Колька прочел все в той же стенгазете: «Мы строим гигант!» Он недоверчиво усмехнулся: он видел вокруг себя усталых и несчастных людей.

Дня три спустя Колька пошел в клуб. Там он встретился с Васькой Смолиным. Смолин начал ему рассказывать про ударную бригаду комсомольцев. Колька улыбался. Нельзя было понять, радуется он словам Смолина или насмехается. Потом, все так же улыбаясь, он сказал: «А вот я видал в распределителе — конфеты только для ударников. Как же это: с одной стороны — энтузиазм, а с другой — кило карамели?..» Смолин не смутился. «Премии или чествования это ерунда. Вся штука в том, что мы строим. Это как микроб. По-моему, доктора могут найти такую болезнь: «кузнецкая лихорадка». Ты на себе это почувствуешь. В жар и холод кидает. Люди не едят, не спят. Помыться и то нет времени». Колька больше не улыбался. Задумчиво постучал он папиросой о коробку и ответил: «Может быть. Я такого еще не видал».

Колька попал в бригаду Тихонова. Рабочие из других бригад смеялись над тихоновцами: «Они кауперы к сороковому году закончат...» Их звали «тихоходами». Кольку это злило. Он вспоминал школьные годы. Его группу дразнили «кувыркалы» за то, что при состязании в беге они сплеховали. Мальчишки из пятой группы даже сочинили песенку: «кувыркала фыркала». Колька тогда не вытерпел: он отлупил обидчиков.

Слыша, как рабочие смеются над «тихоходами», он досадливо пожимал плечами. Он глотал обиду, как глотают слезы. Он говорил с инженером Соловьевым. Тот объяснил, как надо прикреплять листы. Тогда подошел Богданов. Это был

краснощекий веселый парень. Улыбаясь, Богданов сказал Соловьеву: «Вы, Иван Николаевич, на них не полагайтесь. Эти тихоходы уже месяц как валандаются, и все без толку». Колька даже сгорбился от обиды. Он хотел обругать Богданова, но сдержался. Он отошел к товарищам и вдруг каким-то очень тонким, не своим голосом сказал: «Что ж это такое, ребята?.. Чем мы хуже других?..» Он сказал это и покраснел от стыда. Ему казалось, что рабочие в ответ засмеются: «Конфетки захотелось?..» Но рабочие молчали. Только Фадеев проворчал: «Кормить не кормят, а тут еще рекорды ставь».

Отступать было поздно. С минуту постояв в нерешительности, Колька полез прикреплять лист к колесу. Он работал до изнеможения. Ночью он долго не мог уснуть. В ушах гудело, и, забываясь, он конвульсивно вздрагивал, как будто кто-то его будил.

Так началась борьба. Колька не думал ни о гиганте, ни о стране, ни о революции. Он думал о цифрах: обогнать! Он шел на все хитрости. Он соблазнял Фадеева: «Премировать будут сапогами». Он льстил молоденькому Крючкову: «Ты у нас первый». Он подзадоривал Тихонова: «Тебя выдвинут». Для себя он не хотел ни сапог, ни похвал, ни курсов. Он хотел одного: перегнать обидчиков.

В третью декаду бригада Тихонова выполнила задание на сто девять процентов. Впереди шли только богдановцы.

Увидав цифры на доске, Колька вспыхнул. Он вспомнил полотно экрана, мигание и гонку двух автомобилей.

В Свердловске у Кольки были товарищи, которые увлекались спортом. Телемисов играл в футбол. Он только и говорил о том, что они обязательно побьют челябинцев. Колька тогда над ним подтрунивал. Теперь он жил той же страстью. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «Сегодня, может быть, и перегоним...»

В июле Тихонов слег. Бригадиром выбрали Кольку. Фадеев подсунул ему бугыль — sprыснуть. Колька не хотел спорить с Фадеевым — он отхлебнул. Он даже не почувствовал едкости спирта: он был пьян другим. Ночью он проснулся. В тревоге он подумал: «Неужто я пьян?» Он встал. Кружилась голова. Он разбудил Крючкова и жалобно спросил: «Скажи, Мишка, я пьян, что ли?..» Крючков со сна выругался. Колька, застыдившись, вышел из барака. С утра он был на работе.



Перегнуть богдановцев было не просто. Но Колька достиг своего: в сентябре его бригада стала первой.

Тогда неожиданно для себя он загрустил. Казалось, он должен быть счастлив. Он может теперь спокойно глядеть на краснорезжего Богданова. На собрании актива Кольку поздравляли. Соловьев с гордостью сказал: «Это наши — ржановцы». Что же дальше?.. В душе Кольки обозначилась давняя пустота. Глаза были готовы вновь отстраниться от жизни. Несколько дней он проходил молчаливый и скучный.

Соловьев его спросил: «Когда же мы закончим восьмой каупер?» Тогда Колька как-то сразу очнулся. Он понял, что его жизнь теперь неразрывно связана с жизнью этих больших и грубых чудовищ. Когда писатель Грибин, обходя цеха, сказал, что мартеповские трубы «куда изящней», Колька обиделся: для него кауперы были самыми нужными и самыми прекрасными.

Он забыл теперь обо всем, о самолюбии, о цифрах, о красной доске, о богдановцах, которые снова ухитрились перегнуть Колькину бригаду. Он работал только ради кауперов. Он видел, как они растут, и с волнением беременной женщины, с ее причудами и страхом следил за их таинственным ростом. Кауперы для него были не кирпичами и железом, не печами для нагревания воздуха, не сложным сооружением, которое позволит людям плавить чугун. Они жили своей отдельной жизнью. В «Порт-Артуре» землекопы пили водку и буянили. Старая киргизка искала вшей на голове дочери. Строители ругались: «За ноябрь еще не выдали сахара». Кругом шла обычная жизнь. Но над этой жизнью жили кауперы.

В январе стояли лютые морозы. Термометр показывал минус пятьдесят. Даже старые сибиряки приуныли. Прежде чем выйти из теплого, вонючего барака на улицу, люди сосредоточенно замолкали: их брала оторопь. Работа, однако, не затихала. Газета каждое утро повторяла: «Стране нужен чугун» — и каждое утро люди шли на стройку — они торопились. Были в этом отвага, задор и жестокость — сердца людей полнились той же неистовой стужей. Когда рабочий касался железа, он кричал от боли: промерзшее железо жгло, как будто его накалили. Люди строили не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Их подгонял голод и колонки цифр. Они валились без сил. Но они продолжали строить, и революция снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева, сибирских партизан

и Конармии: теперь она жгла их так, как жжет пальцы металл при пятидесятиградусном морозе.

В один из самых жестоких дней Коля стоял возле каупера. Он увидел, что канат на мачте застрял: нельзя поднимать листы. Тогда, не задумываясь, Колька полез наверх. Наверху было еще холоднее. Колька с трудом дышал. Большие круги света поплыли перед его глазами. Ему показалось, что он падает. Но он не испугался: в ту минуту для него не было смерти. Потеряв на миг равновесие, он успел ухватиться за канат. Перед ним была вся стройка: кауперы, тонкие трубы мартена, бесконечно длинный блюминг, экскаваторы, краны, лебедки, мосты. Все это дрожало в холодном, как бы искусственном свете. Воздуха не было. Были трубы и машины. Над стройкой висел крохотный человек. Он должен был выпрямить канат. Он это и сделал.

Он оставался наверху свыше часа. Когда он спустился вниз, он больше ничего не понимал. Люди толпились вокруг. Кто-то крикнул: «Качать!» Его несколько раз подкинули вверх. Он молчал. Партизан Самушкин, стараясь скрыть волнение, выругался, а потом крепко сжал руку Кольки. Соловьев проворчал: «Да ты, брат, того — герой». Колька не улыбался. Он глядел наверх — теперь все в порядке!

Так работал Колька Ржанов. Так работали и другие. Их называли «ударниками». Одни из них надрывались, чтобы получить леденцы к чаю или отрез на штаны. Других подгоняло честолюбие: они не хотели остаться позади. Третьи работали так, как обычно играют в железку: это был свой, строительный азарт. Четвертые мечтали выйти в люди: стать обер-мастером, попасть на курсы в Свердловск, променять кирку или кувалду на портфель красного директора. Пятые боготворили завод. Машины для них были живыми. Они звали домну «Домной Ивановной». Они звали мартеновскую печь «дядей Маргыном». Шестые верили, что стоит достроить этот завод, как людям сразу станет легче: будут рельсы, а по рельсам понесутся сахар, чай, сукно и сапоги. Ударников было много — чистых и нечистых. Но все они работали скорее, нежели могли. Они работали скорее, нежели могут работать люди.

На кладке огнеупорного кирпича французские специалисты говорили: «Человек может положить в день полтонны». Каменщик Щеголев выслушал переводчицу и ничего не сказал. Его бригада вышла на работу в шесть утра. Щеголевцы работали

до ночи. Они не курили, чтобы не потерять ни минуты. Когда они сдали работу, на человека вышло по полторы тонны.

В январе месяце строили ряжевую плотину. Запальщики взрывали лед. Рабочие стояли в ледяной воде. Беляев простоял в воде одиннадцать часов. Термометр показывал минус сорок восемь.

Бригада Гладышева торжественно обещала закончить клепку кауперов в двадцать дней. Рабочие не ходили в столовку. Они жевали хлеб и работали. Они простаивали на работе по восемнадцати часов без передышки. Они закончили клепку в четырнадцать дней.

У строителей были лихорадочные глаза от бессонных ночей. Они сдирали с рук лохмотья отмороженной кожи. Даже в июле землекопы нападали на промерзшую землю. Люди теряли голос, слух и силы.

По привычке в душной темноте барачников строители еще обнимали женщин. Женщины беременели, рожали и кормили грудью. Но среди грохота экскаваторов, кранов и лебедок не было слышно ни поцелуев, ни воплей рожениц, ни детского смеха. Так строился завод.

Жизнь Кольки Ржанова едва начиналась. Он почувствовал на себе доверчивые взгляды товарищей, и впервые он поверил в себя. Его походка стала живой и точной, зрачки как бы сгустились, голос погрубел. Прежде ему казалось, что он ничего не может: ни работать, ни учиться, ни любить. Теперь он ощущал, как живет и растет его тело. Иногда, работая, он вскрикивал «ого», только затем, чтобы услышать свой голос. Когда он выходил из темного барака, радовался не только он, радовались его глаза, зрачки сужались, весело они облетали мир — абрис труб, нестерпимую белизну снега, крохотных, как жучки, людей и желтое зимнее солнце. Он понял, что он силен, что ему ничего не стоит поднять тяжелую полосу железа, что его ноги ловко обхватывают канат, что он может карабкаться, прыгать и при этом улыбаться.

Он теперь чувствовал в себе глубокое веселье. Он перестал чуждаться товарищей. В те скудные часы досуга, которые оставались после дня работы, он шутил и смеялся. Его забавы были несложны. Он цел с другими глупые частушки: «Сашка в красном уголке с Машей обнимается. На строительстве прорыв его не касается»... Он цел, не думая о том, что он поет, и он смеялся.

Как-то после доклада в комсомольском бараче были игры. Колька поймал Варю Архипову. Они оказались возле стены. Варя тяжело дышала — она запыхалась. Не думая ни о чем, Колька крепко поцеловал ее в губы. Варя не отняла своих губ; губы у нее были розовые и горячие. Кто-то сзади крикнул: «Ай да Колька!..» Тогда Варя побежала снова в круг. Больше ничего и не было между ними, кроме этого случайного и в то же время необходимого для обоих поцелуя. Только на следующее утро, работая, он вдруг набрал в рукавицу снега и прижался к снегу губами. Снег был сухой и обжигал. Колька задумчиво усмехнулся. Больше он никогда не вспоминал о поцелуе возле беленой стены.

Как-то Колька проходил возле мостового крана. Он знал, что этот кран отличался огромной грузоподъемностью. Он глядел на него, как глядят на собор или на скелет мамонта. Ему хотелось понять ход колес и рычагов. Он жадно выслушал объяснения инженера. Ему показалось, что он понял. Но несколько дней спустя, когда он вздумал объяснить Крючкову, как работает кран, он сразу запутался. Он загрустил: до чего это трудно! Вот его выбрали бригадиром. Но разве он понимает, как движутся эти сложные машины? Он готов был пасть духом.

Вечером он увидел у Смолина книгу — там были рисунки различных кранов. Колька просидел над этой книгой две ночи, и наконец-то он понял. Он даже улыбнулся — как это просто! Он начал присматриваться к другим машинам. В нем проснулось огромное любопытство.

В доменном цеху работал немец Грюн. Этот Грюн до войны жил в России. Вернувшись в свой Эльберфельд, он только и рассказывал, что о русских диковинах: «Россия куда богаче Германии, да и русские не варвары — они скоро нас переполюпут». Когда он оказался без работы, он поехал в Сибирь на стройку. Беседуя с русскими, он неизменно расхваливал Германию: «Там люди умеют работать». У него были две родины, и его душа двоилась. Он обижался на молодых рабочих: они скалили зубы, когда немец начинал ворчать. Он никому не мог прочесть длинную нотацию, а без этого он не умел жить. Он весь просиял, когда Колька робко спросил его о работе на немецких заводах. Он обстоятельно рассказал Ржанову о различных способах коксования угля и об использовании колошникового газа. Колька решил, что нет ничего увлекательнее химии. Он подсадовал на

себя, что в училище он не налег на химию. Он раздобыл учебник и решил каждый день проходить одну главу.

Грюн пошел с Колькой на электрическую станцию. Учебник химии долго лежал с закладкой на тридцать четвертой странице: Колька увлекся электричеством.

Он понял, как мало знает. Он сразу хотел узнать все. Это было чувство острое и мучительное, как голод. Он спрашивал Грюна: как по-немецки мост? А уголь? Какие в Германии прокатные станки? Ну, могут они прокатать болванку в пять тонн? Как одеваются немецкие рабочие — вроде наших или по-другому? А у вас много театров? Правда, что среди немецких рабочих много фашистов? Почему Грюн эсдек — это ведь значит — предатель? Почему же он работает на нашу пятилетку? В газете было, что ученые нашли в Берлине синтетический глицерин — это правда? Зачем за границей учат латынь — кому это нужно? А почему рецепты пишут по-латыни?.. Он спрашивал сбивчиво и несвязно — он торопился узнать.

Его любопытство не довольствовалось этими беседами. Каждый вечер он уносил из библиотеки новую книгу. Он спал теперь не больше четырех-пяти часов — по вечерам он читал. Он кидался от одного к другому: от Петра Великого к анатомическому атласу и от путешествий Нансена к политэкономии. Он разыскал в клубе товарищей, которые могли бы ему объяснить, каково положение японского крестьянина, как работают муфеля на беловском заводе, что такое фресковая живопись и о чем писал Сен-Симон. С жаром он говорил о полетах в стратосферу и о цветном кино. Он видел перед собой тысячи дверей, и он метался, не зная, куда раньше всего кинуться. Он не хотел стать химиком или инженером. Он просто жил, и он хотел понять эту жизнь. Он думал, что можно узнать все.

Он продолжал с прежним упорством работать на стройке. Но мир его вырос. В этом огромном мире кауперы казались маленькими кустиками. Он понял, что нужно много кауперов и много домен, много заводов, машин, рук и лет, что путь к счастью долог. Но длина этого пути его не смущала. Он даже радовался ей. Он не понимал, как можно перестать строить. Он только-только открыл занимательную книгу, и он радовался, что в этой книге много страниц и что ее нелегко дочитать до конца.

Теперь он искал уединения. Но он не чувствовал себя одиноким. Он видел товарищей: как он, они сидели по углам бараков с растрепанными, зачитанными книжками. Та же лихорадка

трясла и других. Это не была редкая болезнь. Это была эпидемия.

Из деревень приходили новички. Перепуганно они косились на американские машины. Когда инженер говорил: «Нельзя дергать за рычаг», они недоверчиво ухмылялись: инженер казался им врагом.

Потом люди шли в плавку, как руда. Воздуходувки нагоняли раскаленный воздух, и металл отделялся от шлака. Одни продолжали жить, как они жили раньше. Они уныло работали — клали кирпич или копали землю. Они подолгу скручивали сигарки. Они препирались друг с другом. Они старались выиграть на этом пять или десять минут. Они жаловались: «щи в столовке жидкие», «сил нет — клопы заели», «нельзя ходить по такой грязице без сапог», «ударники — истинная чума, из-за них и мучаемся»... Иногда эти люди казались Кольке преступниками. Он думал, что их надо судить, отобрать у них хлебные карточки, послать их на принудительные работы. Иногда в смущении он сам себя спрашивал: может быть, это обыкновенные люди? Может быть, и впрямь нельзя требовать от людей, чтобы они так страдали ради будущего?.. Это были минуты упадка и усталости. Тогда Колька глядел на мир глазами виноватыми и несчастными. Он походил на загнанную лошадь. Он старался отделаться усмешкой: он называл это «ликвидаторскими настроениями». Но усмешка не помогала. Помогала молодость. Помогали также другие люди: не все жаловались и не все ругались.

Когда плавят руду, шлак, который легче чугуна, плавает поверху — его выплескивают. На стройке росли не только кауперы, росли и люди. Курносая Шура зубрила азбуку. Стыдась, она спрашивала Кольку, правда ли, что самолет летает без пилотажной команды. Васья Смолин готовился в вуз, и ночи напролет он просидивал за тригонометрией.

Колька знал, что главный инженер строительства Бардин умен и знаменит. В «Известиях» о нем была большая статья с портретом. Смолин рассказал Кольке, что американцы, которые над всем подсмеиваются, о Бардине говорят почтительно. Этот инженер, на вид скромный и застенчивый, для Кольки был человеком, который знает все. Но вот Крапец из управления рассказал Кольке, что Бардин получает кипы иностранных журналов. По ночам он читает. Он следит за всеми изобретениями в области металлургии — он боится отстать. Колька понял, что

и главный инженер продолжает учиться. Это его испугало и обрадовало. Он вспомнил, как он впервые взобрался на верхушку каушера — кружилась голова, мир сверху казался игрушечным. Колька взволнованно дышал: перед ним открывалось самое большое.

Как-то в комсомольском клубе был литературный вечер. Из Новосибирска приехал актер Лаврушин. Он читал стихи Некрасова и Маяковского, а потом рассказы Зоценко. Колька со всеми аплодировал, когда Лаврушин кричал: «левой, левой», и он до упаду смеялся над «Аристократкой». С тех пор как он приехал на стройку, он не читал больше ни романов, ни стихов. Он думал, что это — забава и что на забаву не стоит тратить времени. Как-то, еще в Свердловске, он пошел в театр, но пьеса ему не понравилась, и он клевал носом. Теперь все его занимало: гримасы актера, рифмы, смешные словечки.

После Лаврушина два комсомольца читали собственные стихи. Один из них клялся, что Кузнецк не уступит Магнитогорску. Другой был лириком, он восклицал: «Твои физкультурные губы!» Обоим много аплодировали.

Как был поздний, но комсомольцы не расходились. Они упрашивали Лаврушина почитать еще. Шура крикнула: «Что-нибудь покрасивей», — и покраснела от смущения. Лаврушин достал из портфеля книжку и начал читать. Кольке показалось, что он уже читал это. Может быть, в школе?.. Сначала было очень смешно. Потом Колька услышал слова странные и необычные. Он знал эти слова. Он даже часто слышал их: «дорога, душа, пыль, грусть». Но никто перед ним не повторял этих слов в столь неожиданном и прекрасном очертании. Казалось, что это написано на чужом языке. От волнения захватывало дух. Колька не видел больше ни товарищей, ни Лаврушина, который то закатывал вверх глаза, то, багровея весь, ударял кулаком по столу. Колька слушал.

Все шумно зааплодировали. Колька не мог шевельнуться. Он хотел спросить, что же с ним приключилось, откуда берется такая сила, какой человек мог написать эту книгу? Но он еле слышно пробормотал: «Что это?» Чапылов, который сидел рядом с Колькой, ответил: «Не знаю». Потом Чапылов подошел к Лаврушину, заглянул в книжку и вернулся с обстоятельным ответом: «Сочинения Н. В. Гоголя». Колька не слушал его. Рассеянный, он прошел в свой барак. Он лег, но не мог уснуть. Он продолжал слышать странные слова. Они заполняли мир, и

Колька растерянно прислушивался к их гуду. Он понял, что кроме вещей, есть слова и что эти слова живут отдельной жизнью. Мир, который и прежде казался ему необъятным, снова вырос.

В ту ночь он не спал. Он много думал. Мысли его были путаны. Он вдруг догадался, почему в роце он не мог ничего сказать большеглазой Марусе. Кроме знания, существовало другое: звуки, беспричинная боль и огромная непередаваемая радость.

Когда начало светать, он вышел на улицу. До работы оставался час. В воздухе было нечто смутное и беспокойное. Все смягчало, капало, гудело. Была оттепель. Значит, скоро год, как он здесь... Весна, с ее двоением, с дыханием, полным слез, цветочного сока и карболки, с ее зудом, гулом и глубокой немотой, теперь не показалась Кольке мучительной. Она шла на него, как счастье. Когда в голубоватом тумане показались кауперы, Колька подумал: домна будет пущена к сроку!

Так строят завод. Так строят и человека.

4

Революция одних людей родила, других убила. Колька Ржанов рос и радовался: он только начинал жить. Курносая Шурка из Криводановки ходила, как именинница: она сразу получила все — и азбуку, и городские туфельки, и кино, и собрания. На собраниях, вместе с другими, она решала, как быть и что делать. Васька Смолин поступил в институт черной металлургии. Их было много — Колек, Васек и Шурок. Неуклюже и весело они вступали в жизнь.

В Свердловске Колька часто встречал нищего, который приговаривал: «Гражданин, подайте отверженному!» Это был Иван Гаврилович Благодрагов, бывший профессор Духовной академии. Он был стар, немый и нечесан. Когда ему удавалось набрать несколько рублей, он жадно тянул из горлышка горькую. Его тощие ноги дрожали. Он спал в подвале развалившегося дома. Он был болен и мочился под себя. Никто за ним не смотрел. Когда-то он любил открытки с видами Крыма и «Осеннюю песню» Чайковского. Он забыл об этом. Его воспоминания были несвязны и назойливы: он видел то пол детской, затертый воском, то стерлядку на длинном блюде, то пухлые



руки покойного ректора. Он еще дышал и двигался, но он был мертв.

Сын предводителя дворянства Станевич молодость провел в Оксфорде, он изучал английское право и высшую школу верховой езды. Теперь он промышлял извозом. Он крихтел, сквернословил и старался ни о чем не думать.

Любимица Екатеринбургга Ася Муратова, которая лучше всех пела «Поцелуем дай забвенье», в «Деловом клубе» мыла сальные котлы. Она уносила с собой пшеничную кашу в платочке.

Так умирали те, которые не могли больше жить.

На стройке работали комсомольцы. Они знали, что они делают: они строили гигант. Рядом с ними работали раскулаченные. Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые толстые груди.

Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпереселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: «Нишкни!»

На осиновских рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков, тот, что перед смертью причастил мать Коли Ржанова. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он начал проповедовать «близость сроков». Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Его послали в концлагерь сроком на три года. Он грузил в шахте уголь. Рядом с ним работал Шурка Турок. Шурка прежде торговал кокаином. Извеков говорил Шурке: «Нечестивцы будут брошены в озеро, кипящее огнем и серой». Он говорил это, но он больше ни во что не верил. Он только припоминал тексты писания. Шурка в ответ гадко ругался. Зловеще посвечивал уголь.

В Топольниках в однодневном доме отдыха молодые казачки играли с комсомольцами. Они весело повизгивали. Петька Гронцев стоял над микроскопом: он глядел на каплю воды. В воде неведомые существа трепетали и росли. Капля

воды была огромным миром, и Петька Гронцев задышался от непомерной радости узнавания. Ирина Травина, работница механического цеха, читала товарищам стихи Маяковского. Ирина недавно вступила в «бригаду Маяковского» — работники этой бригады читали на вечерах стихи любимого поэта. Волнуясь, Ирина декламировала: «Наш бог — бег, сердце наш барабан». Она не понимала смысла этих слов, но они ее веселили, как весенний ветер. Колька Ржанов стоял на берегу Томи. Он глядел на ледоход. Огромные льдины, скрипя и гропясь, надвигались одна на другую. Казалось, не река это движется, но мир, и Колька, раскрыв широко глаза, не слыша ни шуток товарищей, ни суматохи — из прибрежных домиков выносили добро, — глядел на реку — река шла.

Одних людей революция сделала несчастными, других счастливыми: на то она была революцией.

Судьбу людей разделили и города. Когда-то города рождались, отстраивались, копили добро и не спеша старились. Революция прошла над городами. Тогда одни из них выросли, как в сказке. Другие смутились, примолкли и стали рассыпаться, как будто они были сделаны из снега или из песка.

Был уездный городок Ново-Николаевск. Люди в нем жили тихо и нехотя. Пристав Глашков пил зубровку, а директор прогимназии Кловоский признавал только померанцевую — собственной настойки. На главной улице чесались свиньи. Дома были низенькие и все деревянные. Сапожники в праздники буянили. Чиновники играли в преферанс. Ученики прогимназии читали Леонида Андреева и рисовали на заборах похабные картинки. Это был город, как тысячи других. Потом настала революция. Город брали белые и красные. Потом революция победила. Город переименовал имя: он стал Новосибирском. Он переименовал не только имя: он начал другую жизнь.

Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди. Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки называли «Нахаловками». Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром. Из Москвы приехал товарищ Зак. На нем были модный френч и сапоги из шевровой кожи. Он носил немецкий портфель с двойными ремешками. Появились в городе форды. Сотрудницы ОНО и «Лесотреста» ходили теперь с ярко-малиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Киршона. Приехал из Харькова Кронберг

и начал по знакомству поставлять заграничный коверкот. В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся «ресторан повышенного типа» с водкой и с музыкой. Из Иркутска прибыли братья Фомичевы — знаменитые по всей Сибири взломщики.

Старые дома сносили. Улиц больше не было, и весь город превратился в стройку. Он был припудрен известкой. Он пах олифой, нефтью и смолой. Автомобили прыгали по ухабам, вязли в грязи и, тяжело дыша, вырывались на окраины. На окраинах было ветрено и пыльно. На окраинах люди рыли землю, и редактор «Советской Сибири» острил: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы».

Город мечтал о новой Америке. Начали строить большие дома: это был Новый Свет — каким его показывают на экране. Жители говорили о своем городе: «Это сибирский Чикаго» и, желая даже в шутке соблюсти стиль, они поспешно добавляли: «Сибчикаго». Дома были сделаны по последнему слову моды. Они казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами.

Гордостью города была новая гостиница. Ее звали «Динамо». В номерах расставили громкоговорители и самый лучший из номеров назвали «наркомовским». В гостиницу как-то приехал настоящий нарком из Москвы. Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь в Сибчикаго начиналась с большого: с громкоговорителей. В вестибюле гостиницы сидели чистильщики сапог. Ветхие ботинки, привезенные из Старого Света, начинали блестеть, как новорожденные. Но у дверей гостиницы была непролазная грязь. Калоши оставались в грязи, и люди их привязывали бечевками. При гостинице имелся большой зал. Там собирались съезды и совещания. Делегаты из глухих сел Алтая слушали доклады об апатитах и о лицемерии Лиги наций. Имелся при гостинице и ресторан. На двери висел грязный листочек, карандашом было выведено: «Сиводни вужен». Заведующий не был тверд в правописании, зато он умел достать на ужин рыбу — нельму или муксуна, и он был полон энтузиазма.

В город приезжали тунгусы, остяки, ойраты. Они требовали дрови, керосина, учебников. Дул холодный ветер. Товарищ Ишамов бодро говорил: «В полосе вечной мерзлоты скоро зацветут яблони!» Раскосые люди просиживали часами на за-

седаньях. Они молчали. Потом они начинали говорить. Они говорили о величии коммунизма и о том, что в их поселки надо поскорее послать врачей.

Возле города строили большой завод, чтобы изготовлять комбайны. Вокруг завода колосилась пшеница. Город распределял, наставлял и правил. Не переводя дыхания, днем и ночью город повторял: «Слушали — постановили». Даже сны его были протоколами. В городе было не менее тысячи машинисток. В городе были обком и облисполком. Город все рос и рос. По переписи в нем значилось двести пятьдесят тысяч жителей.

Приезжали мечтатели из Иркутска, из Барнаула, из Тобольска: они искали удачи. Из Москвы приезжали лекторы, певцы и жокеи. Появились гербы иностранных консульств. Еще больше разрослись разные «Нахаловки» и «Порт-Артуры». Люди слетались из окрестных деревень на яркий свет управлений, трестов и кино.

Такова была судьба одного города.

У другого города позади была долгая жизнь. Томичане издавна гордились своей родиной. В те времена, когда люди любили не Америку, но классический стиль и велеречие, они шутили называли Томск «сибирскими Афинами». В этом городе декабрист Батеньков строил замысловатые дома с бельведерами. Польские ссыльные читали стихи Мицкевича и Словацкого. Когда в Томске венчался бунтарь Бакунин, посаженным отцом был губернатор, а посаженной матерью местная мещанка Бардакова. В Томске проживал старец Федор Кузьмич — бродяга, наказанный плетьюми. Народная молва превратила царя в бродягу, как не раз она превращала бродяг в царей. В томском монастыре содержалась невеста Петра II, Катя Долгорукова, девица семнадцати лет от роду, постриженная по приказу императрицы Анны Иоанновны. Имелись в Томске свои масоны. Они образовали ложу «Восточное светило». Томичане мечтали о справедливости и о просвещении. Их арестовывали и посылали на рудники. Просветитель Сибири, краевед, историк и писатель Потанин был приговорен к пяти годам каторги. Серафим Шашков поместил в «Томских губернских ведомостях» статью: он говорил, что в Томске надлежит создать университет. Серафима Шашкова обвинили в государственной измене. Он был присужден к двенадцати годам каторжных работ.

Университет все же был создан. В нем читали профессора с европейским именем. При университете имелась обширная

библиотека. Она получила в дар книги графа Строганова. В библиотеке хранились французские книги, которых не было даже во Франции. Ученые приезжали из Парижа в Томск, чтобы ознакомиться с сочинениями Жан-Поля Марата, который до революции писал труды об электричестве. Томские студенты устраивали тайные кружки. Они читали Маркса и Михайловского. В городе было несколько тюрем: для каторжан, для пересыльных, для подследственных. В тюрьме сидели студенты и рабочие из депо. Осенью 1905 года черносотенцы подожгли дом томской железной дороги: там шел митинг. Люди выскакивали из горящего здания. Их били дубинами и нагайками. Напротив пожарища, в кафедральном соборе епископ служил благодарственный молебен.

До постройки сибирской магистрали через Томск проходил тракт. По первопутку люди возили в Москву китайский чай и шелка. Сибирь посылала золото, масло, пушнину. Москва слала чиновников и конвойных: между конвойными звенели кандалами каторжники. У каторжников была выбрита половина головы.

Томские купцы богатели на золоте. Федот Попов открыл прииски на реке Закроме близ Томска. Его брат Степан оборудовал первый в России свинцовоплавильный завод. Сын Степана, получив наследство, умилился и пожертвовал в томский собор крест, украшенный ста двадцатью шестью бриллиантами и ста десятью яхонтами. Купец Горохов построил дом с садом. Один сад обошелся ему в триста тысяч рублей. В саду были статуи, бельведеры, беседки: «Храм любви» и «Убежище для уединения». Горохов намывал в год золота на два миллиона рублей.

Губернатор Лерхе требовал, чтобы ему приводили ежедневно девушек. Особенно он любил гимназисток. Начальник тюрьмы был знаменит тем, что, глядя, как порют на кобылке какого-нибудь Ивана Непомнящего, он повторял: «Богородица, дево, радуйся!» Были в Томске и знаменитые грабители. Они катались в кошევках и крючьями стаскивали с прохожих шубы. В нижней части города жили татары, они были лошаdnиками, и Томск славился лихачами.

В театре играли «Детей Ванюшина» и «Синюю птицу». Жены профессоров увлекались стихами Бальмонта. Они повторяли: «Будем как солнце». В садах цвела персидская сирень.

Летом томичане перебирались на другой берег Томи — там, среди кедровника, были расположены дачи.

Имелись в Томске депо, спичечная фабрика, литейный завод, мыловарня, несколько типографий. В казармах, где жили рабочие, большевики подолгу спорили с меньшевиками.

Потом началась революция. Вырос Новосибирск. Покряхтев, Томск сдался.

В голодные и холодные годы люди разбирали заборы и дома на топливо. Новых домов не построили. Построили только новый цирк. Дома гнили и падали, старые кондовые дома с резными воротами и затейливыми ставнями. Вместо тротуаров были деревянные настилки. Они истлели. Когда человек ступал на доску, доска подпрыгивала. Это было забавно, но томичане предпочитали ходить по мостовой. В домике Федора Кузьмича догадливые люди устроили отхожее место: люди любят по естественной надобности ходить не туда, куда полагается. В верхнем городе сломали заборы: там предполагали устроить общественный сад. Но сада так и не устроили — остался пустырь. На кладбище, где были похоронены Потанин и другие сибирские мечтатели, года два сряду ревелись беспризорники. Они посылали все памятники. Лошади лихачей, отощав без овса, стали походить на допотопных чудовищ. Люди понаходчивей и пободрей уехали из Томска в Новосибирск, в Кузнецк или в Москву. Остались растяпы, чудаки и лишенцы. Лишенцы, прикрыв плотно ставни, зажигали лампадки перед иконами. В собор свезли картошку, но картошка сгнила. В церкви Вознесенья тощий попик аккуратно служил панихиды по «убиенным».

Жил в Томске купец Макушин. Он был известен как поборник просвещения и благодворитель. Он построил технологический институт. После революции его выбрали почетным председателем «Общества ликвидации безграмотности». Он работал в томском наробразе. Потом он умер. Он завещал похоронить его не на кладбище, но во дворе построенного им института, а на могиле, вместо креста, поставить памятник: кусок рельса, лампочка и надпись — «Путь к знанию». Завещание было в точности выполнено. Лампочку, однако, вскоре стянули: все в городе знали, каков путь к знанию, но лампочек в городе не было. Рельс еще стоял на месте, но некто Шегиц уже выдвинул проект использования старых рельсов для ширпотреба: из

рельсов, по его словам, можно было изготавливать превосходные утюги.

В Томске имелось несколько фотографов. Над их заведениями значилось: «Друг детей» — часто выручку фотографы отдавали на содержание детских колоний: этим они откупались от суровости времени. В театре зимой было холодно, но, когда ставили «Коварство и любовь», зрители согревались аплодисментами и чувствами. В театральном буфете можно было получить чай без сахара, славянскую минеральную воду и красивые коробки для конфет.

Судьбу различных городов легко было распознать на вокзале: достаточно было поглядеть, какой хлеб едят местные жители. Там, где люди строили гиганты, хлеб был светло-серый и нежный. В Томске хлеб был черный, мокрый и тяжелый: пятилетка обошла Томск, и Томск умирал.

Томичане, не зная, чем им гордиться, с нежностью поглядывали на новый цирк. Изредка приезжали в Томск столичные эквилибристы и наездники. Они попадали сюда после гастролой в Свердловске и в Омске. Однажды приехал укротитель львов, старый немец из Бреславля. Весь день он бегал из одного учреждения в другое: он искал корма для львов. По договору львы должны были получать каждые три дня лошадь. Наконец укротитель раздобыл какую-то клячу. На бойне, однако, лошадь отказались убить: она еще годилась для работы. Во время представления старый лев, обычно кроткий, как пудель, кинулся на укротителя. Лев был голоден, и он не понимал, что Томск это не Новосибирск. Он начал грызть руку укротителя. Его загнали в клетку холостыми выстрелами.

Профессора университета между лекциями становились в очередь возле распределителей: они ждали, когда привезут хлеб. На базаре мальчишки продавали грязный сахар по кускам, и старые бабки глядели на этот сахар глазами, полными умиления.

Так жил город, который должен был умереть. Его не могли спасти ни шумная история, ни строгановская библиотека, ни рвение томичан, которые проектировали постройку завода дорожных машин. Томск был в стороне и от магистрали и от жизни. Он был осужден.

Но революция была своенравна и богата на выдумки. Она спускала в ту же шахту раскулаченного и комсомольца. Она золотила купола Архангельского собора, и она уничтожала со-

боры Углича. Она признавала только два цвета: розовый и черный, и эти два цвета она клала рядом.

В Томске жил раввин Шварцберг из Минска. Его привезли сюда с женой и с маленьким сыном. Жена шила платья, а раввин с утра до ночи проклинал мир. Он проклинал жену, сына и себя. Он проклинал Минск и Томск. Он проклинал революцию и жизнь. Он ел черный мокрый хлеб, и он выл от боли. У него была язва желудка, и он чувствовал, что он скоро умрет. Его жена работала и плакала. Ее слезы лились безостановочно, как дождь в осенние дни. Она старалась не залить слезами платья, но слезы лились и лились. «Да будет проклят день, когда он увидел свет», — говорил раввин Шварцберг, глядя на маленького Иосика. Иосик не понимал отцовских проклятий, он улыбался. Накануне праздника Рош-гашана жена раввина весь день бегала по городу: она искала свечу. Она достала свечу и зажгла ее. Тогда Иосик спросил: «Почему свеча, когда сегодня горит электричество?» Иосик знал, что электричество в Томске часто гаснет, но в тот вечер станция работала, и он не мог понять, почему мать зажгла свечу. Мать ответила: «Завтра праздник». Иосик обрадовался: «Значит, завтра все будут ходить с флагами?» Старый раввин не слышал этого, он молился своему злому и ненавистному богу. Мать сказала Иосику: «Нет, Иосик, завтра другой — еврейский праздник». Но Иосик не унимался: «А почему евреи не ходят с флагами?» Он не понимал скорби матери. Резвясь, он задул свечу. Он был весел, и он хотел вместе с другими ребятами ходить по городу и махать флагом. Ему было пять лет, и он доверял миру.

Томск мог умереть, но в Томске был университет. В Томск приехали десятки тысяч студентов. Они не знали истории города. Им были безразличны и причуды купца Горохова, и страданья Потанина, и деревянная резьба на воротах старых усадеб. Они приехали, чтобы изучать физику, химию или медицину. Они читали, как Евангелие, «Основную минералогию», «Расстройство пищеварения» или «Болезни злаков». Они ели тот же мокрый и тяжелый хлеб, но он им казался вкусным, как пряник: у них были крепкие зубы, здоровые внутренности и голод молодых зверей. Они заполнили Томск грохотом и гоготом. Они забирались в дома, где доживали свой век несчастные лишенцы. Они делились с лишенцами паечным хлебом и сахаром, и лишенцы их пускали в свои каморки, полные пыли,



моли и плесени. Они могли спать на козлах, на нарах, на полу. Они спали тем сном, о котором говорят, что он непробуден. Но рано утром они вскакивали и бежали к раковине с ледяной водой. На ходу они повторяли химические формулы или названия черепных костей. Их было сорок тысяч. Среди них были буряты, остяки, тунгусы и якуты. Они знали, что через несколько лет они будут управлять страной, лечить и обучать, строить заводы, налаживать совхозы, буравить горы, чертить планы мостов и, забираясь в самую глушь необъятной страны, весело тормошить сонных людей, как тормошит их яркий день, своими лучами взламывая ставни.

Так зажил Томск второй жизнью.

## 5

Васька Смолин приехал в Томск, чтобы учиться: он мечтал стать специалистом по постройке доменных печей. Илья Саблин записался на физическое отделение: он хотел разыскивать новые залежи цинка и меди. Коренков предполагал по окончании медицинского факультета уехать на Крайний Север и там бороться с цингой. Ажданов изучал различные породы корнеплодов. Они не занимались ни философией, ни поэзией. Они изучали точные науки, и они в точности знали, зачем они их изучают.

Они не знали, что с ними станет через несколько лет. Жизнь всей страны менялась из года в год, это была жизнь без быта. Но все они знали, что в этой текучей и переменчивой жизни им обеспечено верное место. Оттого их смех был весел, а сны спокойны.

Были, однако, и среди вузовцев отщепенцы. Они не умели искренне смеяться. Невольно они чуждались своих товарищей. Они не были ни смелее, ни одареннее других, но они пытались идти не туда, куда шли все. Их легко было распознать по беглой усмешке, по глазам, одновременно и презрительным и растерянными, по едкости скудных реплик, по немоте, которая их поражала, как заболевание.

Таким был и Володя Сафонов. Профессор Байченко сказал Сафонову: «Вы типичный изгой». Володя заглянул в словарь. Там значилось: «Изгой — исключенный из счета неграмотный попович, князь без владенья, проторговавшийся гость,

банкрот». Володя усмехнулся — профессор прав. Сафонова надлежит исключить из счета. Только по недосмотру он еще состоит в жизни. Он, например, не верит, что домна прекрасней Венеры. Он даже не уверен, что домна нужнее, нежели этот кусок пожелтевшего мрамора. Он — неграмотный попович. Он сдал, как и все, диамат. Но если просмотреть его мысли так, как просматривают школьную работу, придется подчеркнуть красным карандашом любой день. Все его существо — ошибка. Он не объясняет скуки доктора Фауста особенностями периода первоначального накопления. Когда на дворе весна и в старых садах Томска цветет сирень, он не ссылается на Маркса. Он знает, что весна была и до революции. Следовательно, он ничего не знает. Он туп и неграмотен. Он даже сомневается в том, что он — попович: у него подозрительное происхождение, его отец читал Мирбо и Короленко.

Сафонов — князь без владенья. Князь теперь не титул. Это, скорее, клеймо. Мотыльки не помнят ни тяжелого копошения гусеницы, ни того, как замирал кокон, — мотыльки весело порхают. А у князя избыток памяти. Он помнит за себя и за других. Он хил, тщедушен и, говоря откровенно, ничтожен. Трудно перечислить его наследственные болезни. Он готовится к параличу, и, однако, он сиятелен. Сафонов — князь не по родословной, он князь по несчастью.

Какие же у него владения? Койка в общежитии? Книжка Пастернака? Дневник? Разумеется, его владенья необозримы. Он недавно беседовал с Блезом Паскалем во дворе парижского Порт-Рояля. Он может оседлать коня и отправиться с поручиком Лермонтовым в самый дальний аул. Ему ничего не стоит подарить любимой Альгамбру или Кассиопею. Но эти владенья не признаны законом. Перед людьми он нищ. У него нет комсомольского билета. У него нет даже заваливающей надежды.

Вернее всего, он — проторговавшийся гость. Не пора ли признаться, что они банкроты? Они торговали верой, сердечным жаром, передовыми идеями. Они торговали и проторговались. Мечтая о справедливости, они не забывали о сложных рифмах. Невинности они не соблюли. Что касается капитала, то он был достаточно условен. Этот капитал ликвидировали заодно с капитализмом. Говорят, будто могила Кюхли в Тобольске разворочена. От Достоевского остались только переводы на немецкий да каторжный халат. Последний, разумеется, сдан

в музей революции. Змею «Медного всадника» остается сдать в зоопарк. Что же добавить? Обезумевшего старика на станции Астапово? Стриженных курсисток? Декадентов? Земских врачей?

Блок во что бы то ни стало хотел услышать «музыку революции». Услышав ее, он умолк. Он умер. Другие еще живут. Когда-то банкротов сажали в долговую тюрьму. Теперь одних вывели в расход. Другие сбежали в Париж: они лечат большую совесть на французских водах. Третьи? Третьи еще валяются: это мусор на стройке. Они даже ухитряются размножаться. Они размножаются не любовью, как прочие млекопитающие, но при помощи спор, как папоротники или мухоморы.

Почему Володя Сафонов должен повторять монологи давно истлевших персонажей? Он не Онегин, не Печорин и не Болконский. Ему двадцать два года. Он не помнит былой жизни, и он о ней не жалеет. Он учится на математическом отделении. Он мог бы весело гоготать, как его товарищи. Что же ему мешает? Какая спора проросла в нем? Чем объяснить его мучительную иронию — историческим материализмом или переселением душ?

Он знает, что он не один. В Томске можно сыскать еще десяток-другой столь же печальных чудаков. В Москве их, наверно, несколько тысяч. Профессор Байченко называет их «изгоями», Васька Смолин — «классовыми врагами», Ирина — «обреченными». Они все правы: и профессор, и Смолин, и Ирина.

Так думал Володя, валяясь на койке в общежитии «Смычка». На соседних койках лежали его товарищи. Одни готовились к зачету, другие читали, третьи, отдыхая, курили и глядели в окно. В окно был виден кусок синего неба. По небу неслись озабоченные облака.

Кто знает, что так всполошило Володю? Разговор с профессором Байченко? Ирина, которую он встретил утром на улице Фрунзе? Или, может быть, бег облаков, их хаотичность и поспешность, передававшая всю тоску весеннего дня? Володе захотелось услышать живой голос. Тоскливо он оглядел комнату. Вот Петька Рожков, вот Шварц, вот Гришка, вот Коробков. Он знал всех. Он знал, как они учатся, какой у кого голос, кто любит ходить в кино, кто играет в футбол. Он знал, в каких девушек они влюблены. Но с тревогой он подумал, что он их не знает. Вокруг него были незнакомцы.

Он решил поговорить с Рожковым. Он не знал, с чего начать. Он сказал: «Вот, Петька, и весна...» Это вышло неожиданно для него самого. Он поморщился: до чего глупо! Рожков на минуту оторвался от книги. Перед его глазами пронеслись облака. Потянувшись, он сказал: «Не будь этого зачета, я поехал бы в Городок...» И он снова взялся за физику.

Володя подошел к Коробкову. Тот читал «Войну и мир». Володя спросил: «Нравится?» Коробков подобрал под койкой окуроч, закурил и, недоверчиво глядя на Володю, сказал: «По моему, ерунда».

Гришка ничего не делал. Он только сладко позевывал. Володя сел на его койку. Он не выдержал, и Гришке он сказал напрямик: «Поговорить хочется. Что называется — по душам».

Гришка был веселый кудластый мальчик. Он любил петь частушки и дразнить девушек. Как-то Маня Шесткова, за которой Гришка приударял, подошла к нему в садике перед университетом. Маня думала, что Гришка ей скажет что-нибудь ласковое. Но Гришка загорланил: «Не гляди, красавица, на меня в упор! Я тебе не Гарри Пиль, не багдадский вор». Потом все долго смеялись над Маней.

Услышав признание Володи, Гришка растерялся. Он начал несвязно бубнить: «Ты что это придумал? Здрате — пожалста! Как в романах, честное слово! «По душам»! Мы с тобой, кажется, не девахи...» Он долго еще огрызался. Володька попросту ошалел! Это от весны! Ему бы с девушками погулять!.. Гришка шутил, но глаза у него были беспокойные. Махнув рукой, Володя вернулся к себе на койку.

Ему казалось, что он возвращается в осажденную крепость; вылазка не удалась. Он осужден на вечное одиночество. Нельзя разговаривать с колесами крана. Они способны потеть, как потеют люди. Но у них нет чувств: они передвигаются согласно плану.

Глаза Володи на одну минуту столкнулись с глазами Гришки, и Гришка первый отвернулся. Володя увидел, что Гришка встревожен, но он не попытался возобновить беседу. Томление Гришки показалось ему томлением глухонемого, который смутно чувствует, что есть на свете нечто для него недоступное.

Тогда Гришка запел. Пел он частушку: «Коммунисты юные, головы чугунные». Другие товарищи подхватили: они любили

петь хором. Володя зарылся в подушку. Потом он вытащил из сундучка тетрадку и начал лихорадочно писать. Рожков спросил его: «Ты что это сочиняешь?» Володя покраснел и, покрывая собой тетрадку, как наседка выводок, пробормотал: «Эта работа по механике». Рожков оставил его в покое. Рожков забыл сейчас и о своем зачете, и о больших пушистых облаках: он пел. Ему нравилось, что его голос попадает в общий гул, и этот гул растет. Хорошо идти в ногу со всеми: тогда не чувствуешь усталости! Хорошо и петь хором: это громкая песня! Хорошо знать, что ты не один, что у всех те же мускулы, то же дыханье, та же воля. «Ну, ребята, еще разок!..»

Володя писал: «Вновь убеждаюсь в том, что они не способны разговаривать. Они могут говорить о практике, о зачетах, о столовке. Девчата, кроме того, говорят о платьях, парни о том, что хорошо бы устроить пьянку. На собрании заранее известно, кто что скажет. Надо только заучить несколько формул и несколько цифр. Но говорить так, как говорят люди, то есть ошибаясь, косноязычно, с жаром, говорить о своем, личном они не умеют. Я где-то читал, что обезьяны из породы шимпанзе иногда пытаются подражать человеческой речи, но у них ничего не выходит, от ярости они ломают ветки. Гришка глядел на меня, как затравленный зверь. Но ведь они — строители новой жизни, апостолы, призванные вещать, диалектики, неспособные ошибаться. Они, а не я. Я только изгой. Затравлен я, а не они. Откуда же это беспокойство?.. Потом Гришка запел, и все тотчас же подхватили. Я заметил, что, когда они не могут друг с другом разговаривать, они начинают петь. Очевидно, пенье избавляет от необходимости думать. Я недавно прочел книгу одного военспеца. Кажется, автор — Свечников — бывший генерал. Он вспоминает, как во время империалистической войны он приказывал солдатам, которые шли в бой, петь. Он говорит, что солдат, который поет, ни о чем не думает. Наши ребята в точности следуют этому совету. Они берут с боя дифференциалы или химические формулы. Когда они строят плотины или мосты — это как на фронте, и они стараются ни о чем не думать. Но очевидно, думать присуще человеку. Тогда они начинают петь: они хотят отогнать искушение. Говорить друг с другом они не могут, хотя бы потому, что им не о чем говорить: все известно заранее. Притом у них нет слов. Слова рождаются в муке. Они идут изнутри. Ребенок видит улыбку матери, солнечный луч на стенке, большую

кудластую тень. Тогда он произносит первое слово. В изумлении он прислушивается к нему. Он озадачен и внезапной музыкой, и глубоким значением. Он понимает, что стоит сказать «мама», и мать покажется. Он заклинает. Он исповедуется в сокровенных чувствах. Слова заставляют его думать. Каждое слово вводит его в мир. Но стоит ли ему расти? Дикарь обходится тремя сотнями слов. Сколько слов нужно Петьке Рожкову? Иногда мне хочется завывать, завывать, как воют звери, от тоски, от одиночества, от сознания, что никогда не выскажу того, о чем я все время думаю. Может быть, услышав этот звериный вой, они на минуту смутятся».

Вечером того же беспокойного весеннего дня Гришка сидел на берегу Томи с Варей Шустовой. Он говорил: «Раньше я тоже думал, что любовь это предрассудки. А теперь я вижу: это вот здесь сидит. Шутками от этого не отделаешься. Вот ты мне нужна, ты, Варя, а не Катя и не Шура. Я и сам не знаю почему, но только это — правда. Вчера ночью проснулся, вспомнил, как ты улыбаешься, и сердце будто с петли сорвалось. Я при тебе другим человеком становлюсь. Мне хочется найти особенные слова. Я не так с тобой говорю, как со всеми. Кажется, умею, я стихи писал бы. Мне, например, хочется тебе показать, как я могу работать. Я ведь не лентяй. Я сейчас весь мир готов перевернуть. Вот попаду на стройку — увидишь. День и ночь буду работать. Ты меня, Варюша, приподымаешь...»

У Гришки были глаза серые и нежные. Он не шутил и не смеялся. Даже его чуб, пристыженный, лег на сторону. Вечер был светлый и прохладный. На другом берегу огоньки то вспыхивали, то гасли: там работали колхозники. Токовали бекасы. Их крик был похож на нежное блеянье. Они не боялись ни огня, ни грохота трактора. Казалось, они все забыли, кроме звуков и полноты жизни. Варя поцеловала Гришку в щеку. Поцелуй был неловкий: Варя никогда еще не целовала мужчины. Тогда Гришка вскочил и завертелся. Чуб его снова привстал. Он крикнул: «Давай бросать камни в воду — кто дальше! Да ты не по-бабьему, ты снизу...»

Васька Смолин был в театре. Давали оперу «Евгений Онегин». Выйдя из театра, Смолин растерянно поглядел на толпу, на базарную площадь с забитыми ларьками, на ржавую вывеску кооператива. Ему казалось, что его разбудили. Он жил другой жизнью. Он страдал, как Ленский. Потом он усмехался

вместе с Онегиным. Он поздно понял, в чем счастье: он так рвался к этой Татьяне!..

Васька Смолин остановился — что за галиматья? Какое ему дело до этих людей? Это люди не его класса. Это чужие и к тому же мертвые люди. Но вот они ожили. Они звучат. У каждого свой звук. Голова Васьки заполнена звучанием. И Васька сказал Иваницкому, который шагал рядом: «Большое дело искусство! Без него нам никогда не разобраться — что и как. Головой понимаешь, но это надо прочувствовать. Конечно, мы строим новую жизнь. Но мы должны взять у них самое лучшее. Красота-то какая! Я не знаю, как ты, а я — будто меня ошастливили. Может быть, я преувеличиваю, все равно! Я теперь на собраниях буду отстаивать, чтобы ребята налегли на искусство. Эх, Егорка, сколько у нас еще впереди! Подумаешь — и голова идет кругом».

Коробков в общегитии спорил с Шварцем о Толстом. Шварц говорил, что Толстой устарел. Коробков горячился: «Что же ты думаешь, теперь нет такой Наташи? Сколько угодно! Даже среди наших вузовок! Надо уметь различать чувства и обстановку. Возьми Машкову. Вот тебе, с одной стороны, активная комсомолка, а с другой — материнство. Будь у нас Толстой, он так ее описал бы, что — не оторваться. Когда Петька спутался с Коселевой, она хотела аборт сделать. Отказали — четвертый месяц. Сколько она намучилась: «Не хочу я ребенка! Куда мне одной», — ну и так далее. Говорила, что сейчас же его отдаст. А вот я зашел к ней вчера насчет проведения кампании — сидит, кормит. Меня и то проняло. Ничего здесь нет плохого! Мы, кажется, комсомольцы, а не монахи. Какого черта нам отмахиваться от жизни? Я Толстого ценю не за идеи. Идеи — это особая статья. А Толстой — он для меня как учебник. Не химии. Жить я у него учусь. Чувствовать. Понимать чужую жизнь. Я теперь, может быть, и с девахой буду по-другому разговаривать. Я вот Володьке Сафонову ничего не ответил. Задается он: дескать, все знает. А я могу те же книжки прочесть. И чувствовать могу. Как он. Только бы времени хватило, а жить мы и сами научимся».

Петька Рожков сидел в библиотеке и читал стихи Пушкина. Он хотел было почитать историю Покровского. Но неожиданно для себя он взял Пушкина. У него был тяжелый день. Таня сказала ему напрямик, что в Козулино она поедет не с ним, а с Чистяковым. Петька впервые узнал, что такое

ревность. Морщась, он припоминал лицо Чистякова, зеленые глаза, веснушки, бесшабашную улыбку. Такому Чистякову на все наплевать. Может быть, этим он и понравился Тане?.. Что же, Петька проживет и без любви! Теперь время горячее: зачеты. А потом на практику — в Кузнецк. Так он уговаривал себя, но сердце не сдавалось. Весь день он проходил как в чаду. Он старался работать. Вечером ребята пошли в кино. Он не пошел: он хотел жить сурово и трудно. Он хотел победить свое чувство в открытом бою.

Перед ним оказалась книжка стихов. В десятый раз он перечитывал: «Для берегов отчизны дальней...». Он думал при этом о Тане. Он понимал, что все это — вздор. Таня ушла от него не ради какой-то «отчизны», но ради быстроглазого Чистякова. Стихи, однако, передавали его грусть. Он никогда не смог бы сказать об этом так хорошо. Он вновь и вновь повторял любимившееся ему стихотворение. Мало-помалу музыка стихов вытеснила из сердца обиду. Выходя из библиотеки, он улыбался, рассеянный и счастливый. Он был так счастлив, как будто он сам сочинил эти необычайные стихи.

Володя Сафонов не был с товарищами. Он не знал ни их восторгов, ни их сомнений. Он не слышал, как в напряженной тишине пыльных улочек рождались мысль и слово. Он был один, со своей отверженностью и со своей немотой.

Желая уйти от себя, он пошел в кино. Он ждал, что мельканье и зыбкость, манишки, улыбки, горы, автомобили, что вся эта бестолочь если не утешит, то хотя бы оглушит его, подготовит его к тому тяжелому, глухому сну, который один помогал ему справляться с жизнью. Но на этот раз даже пестрядь экрана не могла отвлечь его от унылых, назойливых мыслей.

Показывали заграничную картину. В ресторане люди танцевали фокстрот. Володя не раз читал об этом, но увидел это он впервые. Люди прижимались друг к другу и подолгу тряслись. Так на экране мелькали кошмары Володи. Перед ним были не люди, но колеса, шестеренки, приводные ремни. Это показалось ему низким и оскорбительным. Зачем они это делают? Наверное, чтобы не думать. Значит, и там мысль людям не под силу. Они тоже пытаются жить так, как живут машины или заводные игрушки. Они не поют хором. Они танцуют фокстрот.



С гримасой отвращения Володя вышел из кино. Холодный ветер, доходивший с реки, показался ему враждебным. Он ежился. Жить становилось все труднее.

Вернувшись в общежитие, он снова вытащил тетрадь: это был единственный друг, с которым он еще мог разговаривать. Он начал писать: «Паскаль назвал человека «мыслящим тростником». Одно из двух: или он был визионером, или человечество с тех пор выродилось. Во всяком случае, из тростников делают дудки. На дудке можно сыграть все: интернационал, камаринского мужика, фокстрот и реквием. Это дело вкуса. Но лучше всего прижать дудку к губам и не дышать. «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...»

На соседней койке лежал Петька Рожков. Его губы едва заметно двигались: он все еще повторял прекрасные стихи. Он повторял их про себя, и Володя не мог догадаться, о чем думает его сосед, отходя ко сну.

Между ними были один метр и вся жизнь.

## 6

Отец Володи Сафонова был врачом в Тамбове. Лечил он главным образом бедняков. Люди с достатком к нему не обращались: у него была плохая слава. Он как-то публично признался, что, благодаря неправильному диагнозу, погубил вдову Шерке. Он часто говорил пациентам, что от их болезней медицина не знает средств, и больным это не нравилось.

Он сказал счетоводу Соловьеву, который жаловался на кашель: «Лекарства вам не помогут. Вам, голубчик, надо в Крым. Будь у меня деньги, я вам дал бы. А у меня у самого шиш. Вот и судите, как мне вас лечить?» Соловьев недоверчиво посмотрел на Сафонова. Он пошел к другому врачу, и тот выписал ему длиннущий рецепт.

Жене прокурора Власьева доктор Сафонов сказал: «Ваш супруг — сифилитик. Родить от такого ребенка — это, сударыня, преступление». В Охотничьем клубе прокурор Власьев ударил доктора Сафонова по лицу. Доктор подобрал с пола разбитые очки и печально улыбнулся. Он сказал своему молодому коллеге, доктору Гринбергу: «Себе я могу поставить диагноз: у меня гипертрофия того предполагаемого органа, который обычно зовут «совестью»,

Революцию доктор Сафонов встретил с улыбкой неуклюжей и виноватой. Эта улыбка проясняла его отекавшее печальное лицо, когда он в больнице глядел на красное тельце новорожденного или когда, ранней весной, выходя из дому, он щурился от солнца и пробовал ногой в огромном ботинке пробить слабеющий лед на лужах. Сафонов не знал, что ему думать об этой революции, но безотчетно он ей радовался.

Он легко сносил и лишения, и грубость сиделок, и тесноту. В его квартиру вселили братьев Крапницких. Крапницкие шумели, играли на гармошке, выпивали, а встречаясь с Сафоновым, ухмылялись: «Товарищ доктор, вы бы нам выписали спирта, а то у нас бессонница!»

Сафонов проходил мимо мелких бед и ничтожных обид. Он строго сказал доктору Яшмину: «Напрасно вы все переносите с больной головы на здоровую. Если они невежественны, в этом виноваты мы». И он работал не покладая рук.

Но порой сказывалась его давняя и, видимо, неизлечимая болезнь. Он вмешивался в то, что его не касалось. Так было, например, когда арестовали преподавателя реального училища Фомина. Сафонов размахивал руками и кричал: «Вы поймите, товарищ Васильев, нельзя человека сажать в тюрьму за то, что он пятнадцать лет тому назад состоял в этой, черт бы их всех побрал, кадетской партии! Может быть, это тогда героизмом было. А теперь мальчишка его револьвером пугает. Да я его великолепно знаю. Он ничего не понимает, кроме своей зоологии. Ему седьмой десяток пошел. Это, товарищ Васильев, уже не революция, это безобразие!..»

Вначале на выходы Сафонова никто не обращал внимания. Он слыл чудачком. Но время было тяжелое. Со всех сторон наседали белые. В городе не было хлеба. Обыватели шуткуслись: «Скоро им крышка!» По ночам раздавались выстрелы. Люди перестали доказывать, они начали расстреливать.

Как-то в больницу пришли два человека. Они потребовали, чтобы им указали, где здесь находится Михайлов. Сафонов, всплыв, закричал, что больница не митинг, что у Михайлова паратиф и что в палату он никого не пустит. Тогда люди нахмурились. Они сказали Сафонову: «Вы, гражданин, собирайтесь». Он просидел пять недель. Потом его выпустили. Он стал прихварывать. Он дышал с трудом: казалось, нет больше горючего. Он умер весной двадцатого года. Володе тогда было одиннадцать лет.

Отца Володя любил отнюдь не сыновьей любовью. Он его жалел. Он говорил отцу: «Ты как медведь на цепи». Он считал, что отец живет невпопад. Он не понимал, почему отец так волнуется за судьбу больных. Володя с ранних лет понял, что больные умирают. Смерть ему казалась простой и естественной, как конец считалки: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять». Но когда он вошел в мертвецкую при больнице и увидал отца, он вскрикнул: отец был необычно суров. Потом Володя увидел волосатые руки отца, пальцы, желтые от табачного дыма, и расплакался.

От отца осталась меховая шапка, которую отдали Володе, и несколько слов, глубоко засевших в голове мальчика. Он часто вспоминал, как отец говорил: «Эх, Володька, тот же блин, да подмазан!..»

Володю взяла тетка. Ее муж, ветеринар Соколов, вскоре после Октября ухитрился пролезть в партию. Он даже прочел публичную лекцию «О классовом подходе к борьбе с эпизоотией». Дома ветеринар распоясывался и, хитро щурясь, бормотал: «С волками жить, по-волчьи выть — это и есть правильная установка».

Тетка не любила Володю: он был чересчур вежлив и замкнут. Он еще ходил в коротких штанишках, но держал себя как квартирант. Тетка шипела: «В папашу», — она не любила и своего покойного брата. О докторе родные говорили, что это был вздорный человек, он ни с кем не мог ужиться: ни с губернатором, ни с большевиками. Не будь Соколовых, мальчонка пошел бы в беспризорные!..

У Соколовых был сын Миша, ровесник Володи. Мальчики учились в той же группе. Миша был краснощеким веселым мальчуганом. Он играл в городки, во время демонстраций носил знамя пионерского отряда, продавал значки Доброхима и выменял перья на яблоки.

Володя тоже был пионером. Он никогда не задумывался, почему он пионер. Ребята должны быть пионерами. Это было для него очевидным, как правила орфографии: надо писать «в течение» через «е» — так все пишут. Он выступал на собраниях и писал статьи для стенгазеты. Когда пионеров мобилизовали для работы в совхозе, он работал с таким усердием, что не выдержал и слег. Он делал это искренне, но нерадостно: сомненья уже начинали его томить. Он склонен был подмечать нелепое и смешное. Он трюнил над стенгазетой: «Скатываем

из «Правды». Он не верил в искренность товарищей: «Аля для базы написала поэму об английских горняках. А что она пишет подругам в альбомчики? «Розу алую срывала, слезы капали на грудь...» Он возмущался непорядками в совхозе: «На свинарне большущий плакат, а внутри такая грязь, что свиньи и те сдохли».

Но именно эти сомнения и заставляли его работать с двойным усердием: он как бы чувствовал, что его место в жизни зыбко, и он старался его сохранить. Пионеры были для него раскрытым окном — в окно дул ветер.

Окно вскоре закрылось. Володке было четырнадцать лет, когда он вышел из пионерской организации. На один день в вежливом и молчаливом мальчике проснулась беспокойная душа доктора Сафонова.

На собрании Миша Соколов предложил исключить из организации Сашку Власьева за то, что Сашка скрыл от товарищей свое происхождение: он — сын царского прокурора. Миша говорил, как настоящий оратор. Он стучал по столу и кричал: «Кто знает, сколько революционеров повесил его отец!..» Сашка сидел в углу и молча грыз ногти.

Володя не любил Сашку. Он никогда не слышал о пощечине в Охотничьем клубе, но он считал Сашку «подлизой». Кроме того, у Сашки на голове была противная парша. Володя сидел в классе позади Сашки и, глядя на голову, покрытую струпами, морщился: он был очень брезглив. Но теперь он неожиданно взбеленился. Всегда бледный, даже зеленоватый, он покраснел. Он поднял руку: он просил слова. Он произнес речь горячую и сбивчивую. «По-моему, никто не может отвечать за родителей. Чем Сашка виноват, если его отец был прокурором? Что Сашка соврал, это нехорошо. Но в этом виноват не он. У меня есть своя теория. Я хочу сказать об этом. Если человек врет, то не для своего удовольствия. Только больные врут для своего удовольствия. А если человек врет, значит, его заставляют врать. Говорят, что таковы обстоятельства. Но я не верю в обстоятельства. Это глупый фатализм. Это придумано, чтобы успокоить себя. Человека заставляют врать другие люди. Значит, он побоялся, что мы его не поймем. Если его исключить, он пойдет к врагам, а мы должны его успокоить. Я, товарищи, решительно выступаю против подобной меры».

Речь Володи не произвела никакого впечатления. Шрамченко крикнул: «Довольно болтать! Мишка, ставь на голосование!» Против голосовал только Володя. Сашка был исключен из организации. Начали обсуждать вопрос о первомайском спектакле. Тогда Володя снова встал и сказал: «Ввиду принципиальных разногласий, я выхожу из организации. Я хочу вам еще сказать, что вы не пионеры, а трусы». Он быстро убежал на улицу.

Дома дядюшка, которому Миша успел рассказать о выходе Володи, злобно сказал: «Ты еще за охранников начини вступаться». Володя поглядел на него и спокойно ответил: «Я, дядя, не знаю, может быть, и вы в этой охранке состояли. Папа мне говорил, что вы — черносотенец». Ветеринар побагровел от злости, но он ничего не ответил. Он только шепнул жене: «Змею растим. Такой побежит и донесет».

Володя всю ночь метался. Он не заметил, как упала на пол подушка. Он был в жестоком полусне. Он задыхался от лжи и лицемерия, от подлости дядюшки, от трусости товарищей. Он начинал понимать, что правда смешна и неуместна. Среди черной духоты этой долгой ночи он учился молчанью и одиночеству. Он встал наутро с синяками вокруг глаз и с новой, неселой улыбкой.

Он остался один. Вокруг него шла жизнь: люди верили, спорили, притворялись и гибли. Захолустный город казался ему полным скрытых шумов и борьбы. Так уничтожают друг друга огромные осьминоги где-то глубоко под водой. Он слышал глухое сердцебиенье города. Он видел, как набухают его жилы и как показывается пот возле створок рта. Одни хотели стать первыми, другие спасали свою шкуру. Это были годы нэпа, и жизнь была лихорадочной, полной аффекта. Прикидывались и люди, и вывески лавок, и газетные статьи, и дома. Старые купеческие домишки почему-то заново покрасили. Они стали нежно-розовыми и голубыми. Никто из обитателей этих домов не знал, где закончит он день: в кабаке или в остроге. Но никогда еще люди не были так падки на жизнь, как в те годы, прозванные «передышкой». Володя томился: его мудрость еще не могла справиться с возрастом. Он хотел кинуться в жизнь, как в веселую свалку.

Тогда он организовал литературный кружок при школе. Он читал доклады: о Есенине, о формализме, о «Шоколаде». Он мог теперь говорить обо всех сокровенных обидах. Он клеймил

ханжество и малодушие. Он вносил в жизнь поправки: он требовал «революции быта». Он призывал на помощь Маяковского и молодость.

Об одном из его докладов была заметка в местной газете. Его тщеславие было ребяческим: он долго носил при себе вырезку из газеты. Но важнее газетного отчета было сознание, что в кружке он — первый. Ни Башкирцев, ни Вайскопф не могли с ним тягаться. Когда они выступали с докладами, Володя легко их разбивал. Он говорил о Башкирцеве: «Тургеневская сентиментальность». Вайскопфа он выслушивал с усмешкой: «Вульгаризация марксизма».

Члены кружка не любили Володю: он был заносчив и неуступчив. Он слишком много читал и слишком ловко спорил. Рядом с ним другие казались глупыми и невежественными. Володя не замечал этой неприязни. Он готов был принять молчание за восторг. Он не умел разбираться в человеческих чувствах, и беда застала его врасплох.

Казалось, ничто не могло сблизить Башкирцева с Вайскопфом. Башкирцев, сын бывшего инспектора гимназии, был вял и беспечен. В каждой тамбовской девушке он видел Джени или Асю. Он писал тайком стихи, и, влюбляясь, он всякий раз думал, что это его первая и последняя любовь. Вайскопф приехал в Тамбов недавно: его отца прислали сюда для партийной работы. Это был тощий прыщеватый мальчик, признававшийся в жизни только химию и революцию. Он презирал стихи. Он говорил: «Настоящая литература — это социальные полотна». С Башкирцевым его сблизила общая нелюбовь к Володе. Башкирцев не мог простить Сафонову унижения: Володя в присутствии Глаши Дурилиной пренебрежительно сказал о нем: «Так можно тренькать на балалайке, а стихи так не пишут». Глаша обидно смеялась. Поэтому, когда Вайскопф сказал, что Сафонов «вредный элемент», Башкирцев тотчас же поддержал его.

На очередном собрании кружка Володя объявил: «Сегодня я сделаю доклад о «Конармии». Вайскопф его прервал: «Прошу слова к порядку дня. Я считаю, что работа кружка ведется в корне неправильно. В течение трех месяцев мы выслушали семь докладов Сафонова и всего четыре доклада других товарищей. Это — во-первых. Во-вторых, темы, которые выбирает Сафонов, помечены враждебным нам подходом. Он, например,

ни разу не говорил о настоящих пролетарских поэтах. Все свое внимание он сосредоточил на представителях буржуазной литературы. Поэтому я предлагаю произвести переборы, и от имени группы товарищей я вношу список кандидатов: Башкирцев, Коровин, Чижевский, Вайскопф».

Володя сложил листки, которые он приготовил для доклада. Он был спокоен и даже улыбался. Он спросил Башкирцева: «Ты, значит, тоже думаешь, что у меня буржуазный подход?» Башкирцев смутился, но все же ответил: «Да, я согласен с Вайскопфом». Тогда Володя сказал: «Я сам хотел просить, чтобы меня освободили от моих обязанностей — у меня теперь слишком много работы». Он высидел до конца собрания. Он голосовал за предложенный Вайскопфом список. Больше на собрания кружка он не приходил.

Он пережил второе свое поражение легче и спокойней. У него был опыт. Кроме того, он знал теперь утешение: книги. Он читал запоем. Кончая книгу, он тотчас же принимался за новую. Он забывал не только об уроках, но и о еде. Ночи напролет он проводил с книгой, и голубоватый рассвет сливался в его сознании с позорным или прекрасным эпизодом длинного повествования. Мир настоящий понемногу бледнел и редел. Он напоминал о себе только назойливыми подробностями: надо сделать задачи, отлетела пуговица, если не сходить в кооператив за сахаром, тетка будет браниться... Он жил тысячами чужих жизней, и каждая из них казалась ему необычайной и увлекательной.

Так прошли школьные годы, и так настал день, когда Володя столкнулся с настоящей жизнью, упрямой и грубой; ее нельзя было перелистать, как книжку, — она была рядом и требовала дел.

Миша Соколов больше не бежал по пыльным улицам. Он увлекался радио: он даже смастерил приемник. Он работал в комсомоле. Его выбрали делегатом на конференцию. Его будущее не смущало ни его, ни близких. Ветеринара при одной из чисток выставили из партии. Он был уже стар и хлопотал о пенсии. Он не унывал: «теперь за Мишкой черед — Мишка меня вывезет...»

Володя задумался, что же с ним будет? Он не хотел слышать о службе: это была пыль канцелярий, исходящие, рубашки дел и скука, серая, как вата между двойными рамами. Думая о службе, Володя неизменно вспоминал

заведующего ОНО, которого он называл Товарищ Кувшинное Рыло.

Володя хотел учиться. Он любил историю и стихи. Но изучать он хотел математику. Он не верил ни рифмам, ни подвигам. Тысячи книг оставили в нем ощущение неудовлетворенной жажды. Он пил залпом, но во рту было по-прежнему сухо. Он полюбил математику за ее отчужденность, за ту иллюзию абсолютной истины, которая другим открывалась в газетном листе или в живых людях. Он видел перед собой аудиторию университета, цифры и одинокое служение суровой, но пламенной науке.

Попасть в вуз было, однако, не столь просто: вся страна рвалась в эти старенькие, тесные аудитории, как на пышные пиршества. У Володи не было никаких прав на знание, он мог представить только справку о том, что доктор Сафонов сидел в тюрьме за контрреволюцию.

Миша сказал Володе со всей вескостью человека, который знает государственный аппарат ничуть не хуже смастеренного им радиоприемника: «Два года у станка. Когда поработаешь на заводе — сразу все двери раскроются».

Володя не удивился и не опечалился. Он отнесся к этому просто, как к воинской повинности. С легким сердцем он покинул родной город. Только разлука с Верой Сахаровой его несколько огорчала. Вера когда-то приходила в литературный кружок на его доклады. Они подружились. Она верила в то, что Володя — необычайный человек. Вероятно, она была в него влюблена. Но она никогда ему не говорила об этом. Это была высокая некрасивая девушка с добрыми туманными глазами. Узнав о том, что Володя решил уехать на завод, она всю ночь проплакала.

Последний вечер они провели вместе. Они сидели в садике, полно теплой сырости, желтых листьев и зарниц: в тот год была жаркая осень. Вера говорила: «Володя, ты не должен подчиниться!.. Таких, как ты, немного. Ты можешь стать великим ученым. Нельзя потерять два года зря. Поезжай в Москву. В Москве ты чего-нибудь да добьешься. Я могу продать мамино серебро. Если б ты знал, как я страдаю от невозможности тебе помочь!» Володя ей отвечал: «Не стоит. Ничего страшного не предвидится. Два года — пустяки. Я еще молод. Потом — к чему ломаться — я не герой. Когда мне было четырнадцать лет, я пробовал бунтовать. А теперь мне восемнадцать, и я научился



хитрить. Я обхожу препятствия. Значит, я поступаю, как все. Значит, из меня ничего не выйдет. Но только ты, Вера, не убивайся!..» Он говорил долго, и все же он чувствовал, что не может утешить Веру. В темноте он видел, как ее глаза полнятся слезами. Тогда он замолк. Они несколько раз поцеловались. Эти поцелуи были длинные и грустные: они что-то должны были выразить, может быть, боль разлуки, может быть, страх перед жизнью. Они сидели, прижавшись друг к другу. Потом теплый ветер кинул в лицо охапку мокрых листьев. Открылось окно, и мать Веры закричала: «Веруся, где же ты? Ветер какой! Сейчас гроза начнется». Тогда они молча расстались.

Прокочевав несколько недель, Володя осел в Челябинске. Он стал шлифовальщиком. Он работал исправно, но без увлечения. С товарищами он был обходителен, никого не задевал и ни на что не жаловался. Когда у него бывали деньги, он угощал товарищей пивом. Они смеялись или пели, а он молча улыбался. О нем говорили: «Хороший парень. Только любит играть в молчанку». Никто не знал, о чем он думает, стоя у станка или забираясь вечером в свою тесную комнату.

Вторая, подпольная жизнь Сафонова продолжалась. Ее не могли заглушить ни шум машины, ни шутки товарищей. Он читал. Когда же усталые глаза закрывались, среди горячей ночной тишины он думал. Его мысли были воспаленными, как у человека больного горячкой. Эта горячка длилась годы.

Как-то товарищ Володи Чадров спросил его: «Почему ты, Володька, не в комсомоле?» Чадров знал, что Володя мечтает о вузе, и эта мечта была понятна Чадрову: он сам записался на ускоренные курсы. Все в жизни Володи казалось ему понятным, все, кроме одного, — Володя не был комсомольцем.

Володя ответил не сразу. Он глядел в сторону. Видимо, он подбирал слова. Он давно научился молчать, но ему трудно было лицемерить. Он ответил Чадрову: «Видишь ли, прежде всего я со многим не согласен...» Чадров рассмеялся: «Брось дурака валять! Ты вот думаешь, что без общественной нагрузки скорее выбьешься. А по-моему, времени для всего хватит. Конечно, можно и беспартийному работать, даже на передовых постах...»

Володя не возражал: он решил, что уместней всего промолчать. Но, придя домой, он не смог взяться за книгу. Он жалобно глядел на лампочку, на обои, на портрет усатого вояки, вероятно, родственника квартирной хозяйки. Сколько он дал

бы за живого собеседника. Он не мог разговаривать с обоями или с усами!..

На столе лежала тетрадка: Володя занимался немецким. Здесь же, под спряжениями он начал быстро писать — перо едва поспевало за мыслями: «Чадров мне не поверил. Они не могут допустить, что существуют люди, которые думают иначе, нежели они. Чадров считает, что я — беспартийный потому, что это мне выгодно. Он не упрекнул меня за это. Он даже улыбнулся. Так, наверное, улыбались священники грешникам. Они принимают грех. Зато они никак не могут принять ереси. До чего утомительна история человечества! В каком-то романе имеется герой, который не может объясниться в любви, потому что до него те же слова произносили миллионы. Причем каждый из миллионов думал, что эти слова произносятся им впервые. Этот герой, конечно, сумасшедший. Нормальных людей повторность не пугает. Отец говорил: «Тот же блин, да подмазан». Впрочем, к чему хитрить? Есть две правды. Одна — временная. Она у них. Другая — вечная, и другой нет ни у кого. Она не во времени и не в пространстве. О ее существовании можно только догадываться по совокупности отрицаний. Что касается меня, то у меня ничего нет, кроме пошлых сравнений и кукиша в кармане».

Он в ярости отшвырнул тетрадку. Но час спустя он перечел написанное. Он перечел и удивился: никогда раньше он не думал о других людях, как о чем-то цельном и отличном. Теперь он написал: «они» — «они принимают грехи», «у них правда». Значит, он — это он, а против него люди. Володе стало страшно. Как в детстве, он натянул на голову одеяло и вобрал в себя ноги: он боялся жизни.

Его мечта исполнилась раньше, нежели он предполагал. Он был принят в Томский университет. От Тайги он ехал с другими вузовцами. Там он впервые увидел Петьку Рожкова. Рожков несколько лет тому назад пас в деревне баранов. Быстро прошел он путь от букваря к вузу, и жизнь казалась ему быстрой: она неслась, как курьерский. Володе жизнь казалась нерасторопной и глупой. Зачем-то он работал на заводе. Зачем-то поезд без конца стоит на несчастных полустанках. Зачем-то он будет завтра ходить на лекции и хлебать щи. Он вез дневник и глубокую скуку. Петька Рожков весело спросил: «Где вылезать? На Томске первом или втором?» Володя виновато улыбнулся: «Вот уж, право, не знаю...»

В стране было много неизведанных богатств: руды, меди, угля, золота, марганца, нефти и платины. Много древнего невежества таилось в ее глубинах.

Кузнецкий завод люди строили в сердце Азии. Земля промерзла на три метра. Ломы ее не брали, строители шли с клиньями. Часовая стрелка двигалась слишком быстро. На заснеженных полустанках цепенели обессиленные паровозы. Вокруг были болота и тайга. Людям приходилось бороться с природой.

Людям приходилось также бороться с людьми. Это была жестокая борьба. Человек оставался человеком: он зажигался на час или на два, но он не хотел гореть тем высоким и ровным пламенем, которым горят доменные печи.

В метельные ночи, казалось, можно было слышать, как стонет страна. Новый мир требовал мук и крови. Так строили Магнитогорск и Караганду, Коунрад и Анжерку, Бобрики и Хибиногорск. Так строили и Кузнецк. Среди строителей были герои. Среди строителей были полудикие кочевники и суевренные бабы. Среди строителей были воры и рвачи. Но больше всего среди строителей было обыкновенных людей. Они были способны на стойкость и мужество. Но они еще дорожили своей жизнью, теплой и кудластой, как овчина.

Их отцы знали только тупой подъяремный труд и то горькое вино, в котором они топили муку. На силу они отвечали хитрой уверткой. Они прикидывались юродивыми и полоумными. Они крестились на иконы, но уважали расстриг, плутов, беглых каторжников и великодушных разбойников.

Они говорили друг о друге: «орловцы голову раскроют», «Елец всем вора́м отец», «с вятчанами ночевали — онучи пропали», «хлыновцы краденую корову в сапоги обули», «Валдайские горы, любанские воры», «ржевцы отца на кобеля променяли», «шуйский плут хоть кого впряжет в хомут», «нижегородец — либо вор, либо мот, либо пьяница», «костромичи на руку нечисты», «казанской сиротой прикидывается», «в Сибири человека убить, что кринку молока испить».

Они говорили друг о друге: «ухорезы», «головотяпы», «ротозей», «слепороды», «сажееды», «гробокрады».

Они говорили о жизни: «как ни мечи, а лучше на печи», «работа не медведь — в лес не убежит», «на мир не зарабо-

таешься», «что ни двор, то вор», «правдой жить — живым не быть», «доброму вору все впору», «кок да в мешок», «что плохо положено, то брошено», «пускай будет по-старому, как мать поставила».

Крала министры и карманники, форточники и губернаторы. Инженеры, строившие железные дороги, брали взятки с купцов. Околоточные требовали осетрового балыка и почтения. Прокуроры были картежниками и хабарниками. Штабс-капитаны выбивали по десяти зубов у вестовых. Солдат пороли розгами. Погромщикам выдавали наградные: красненькую или часы из накладного золота. Сановники купали в шампанском шансонеток и ползали на брюхе перед образами святой Параскевы или святого Пантелеймона. Во дворце сидел бородатый мужик и, щечоча сальной бородой придворных, бормотал молитвы — он камлал, как камлает шаман в шорском улусе. Студентов загоняли нагайками в манеж. Жандармы насиловали курсисток. Нижние чины становились во фронт. Они лихо рявкали: «Рады стараться!» В одну ночь богатели подрядчики и интенданты. Сторожа обсыкивали работниц и залезали под юбку. Слепли в деревнях сифилитики, и сочились кровью десны цинготных. Так жила страна.

Потом настала революция. Горели усадьбы. Мужики резали племенной скот. По Украине носились десятки «батьков» с головорезами. Они жгли и грабили. На Кавказе англичане выдавали пулеметы и золото беспардонным ребятам. Горели нефтяные вышки, и на дорогах стонали умирающие. В Туркестан ворвались басмачи. В Сибири разбоем промышляли семеновцы. В стране был голод.

Прошли годы. Страна начала строиться. В Кузнецк приехал Колька Ржанов. Вместе с товарищами он строил кауперы. Но на стройке было много людей. Люди помнили дедовы наказания, и люди хотели жить.

В селе Горбуново сдохли все овцы. Это были овцы колхоза «Красная Сибирь». К овцам был приставлен колхозник Болдырев. Болдырев не поехал за ветеринаром. Он почесал затылок и сплюнул: «пушай их»... Он считал, что овцы принадлежат колхозу, следовательно, они ничьи. Он не хотел ради ничьих овец ехать в город. Он хитро ухмылялся: ему казалось, что он перехитрил всех.

Колхозник Ключев ехал в Кузнецк: он вез молоко для яслей. В семи километрах от Кузнецка телега сломалась. Ключев

бросил телегу и поплелся назад. Он сказал Ваньке Хмарову: «Надо бы за телегой съездить. Теперь ты поезжай. А мне надо картошку копать». Хмаров ответил: «Ты сломал, ты и вытаскивай. А мне недосуг». Хмаров пошел в избу и лег спать. Клюев не поехал за телегой. Он и не пошел копать картошку. Он сидел возле избы на лавочке и скучал. Он глядел, как кобели бегают за сукой, и кидал в собак камнями.

На деррике работал некто Добромыслов. Он приехал из Ленинграда. Ему дали двух комсомольцев, Медведева и Федорова, чтобы он научил их работать на деррике. Добромыслов купил в старом Кузнецке водку. Он сказал комсомольцам, что работа потерпит, а человеку надо и порадоваться. Комсомольцы вначале отнекивались, но Добромыслов умел спаивать. Комсомольцы напились вдрызг и пробастовали три дня. Это было в самое горячее время.

В бараках по вечерам степенные землекопы вели задушевные беседы. Они говорили о том, что Матюшин здорово надул всех: «Получил спецовку и смотал удочки». Они говорили также о рыжем Иванове, который стащил четыре одеяла. Они говорили об этом эпически, как о подвигах богатырей. Потом они пели воровские песни: «Шел с дамой шикарный пижон...» Это были не воры, но обыкновенные крестьяне из Славгородского района.

В доменном цеху собирали кожухи. Строители установили мачту. Они ее закрепили. Ночью злоумышленники разобрали мачту. Мачта упала и придавила двух строителей.

В коксовом цеху строители домкратом вытаскивали сваи. Тогда они увидели, что в машину насыпан песок. Они потеряли рабочий день. Ночью они тревожно думали — кто среди них враг?

Строитель Петров, приехавший недавно из колхоза, попробовал повернуть рычаг. Рычаг не поддавался. Петрова взяла злость. Он решил переупрямить машину. В деревне, сердчая, он хлестал мерина. Он налег на рычаг, и рычаг поддался. Но машина была испорчена. В цеху работал спецпереселенец Воронков. Подозрение пало на него. Воронков сначала божился, что он ни в чем неповинен. Потом он примолк. Петров злобно глядел на Воронкова: Петров твердо верил, что машину испортил Воронков. Он сказал ему: «гадина», и он вытер рукавом мокрый лоб.

Секретарь ячейки Лукьянов праздновал свадьбу: он женился в шестой раз. Он буянил в бараке и бил посуду. Зайцев строго спросил его: «Как ты, член партии, столь безнадежно разложился?» Лукьянов ничего не ответил, он лег на койку и захрапел. Его исключили из партии. Зайцев предложил выбрать в секретари товарища Горохова: «Хоть он малограмотен и знания получил по тощему пайку, но он умеет работать». Лукьянов тем временем шумел в землянке Сидорчука: «Вот возьму и застрелюсь! Тогда-то они увидят, что Ваня Лукьянов был честный боец».

В бараке № 29 был объявлен культпоход: барак решили вычистить, выбелить и подвергнуть дезинфекции. Работница Шакирова села на койку и закричала: «Только через мой труп перейдете!..»

Клепальщик Паршин подбил ребят: они не вышли на работу. Они кричали: «Даешь спецуру!» Партизан Егоров сказал: «Товарищ Паршин, стране нужна сталь! Неужели мы истекали кровью на всех фронтах, чтобы теперь бузить из-за какой-то спецовки?» Паршин не смутился. Он помолчал, а потом, не глядя на Егорова, он крикнул осипшим голосом: «Даешь спецуру!» Три дня спустя он получил спецовку и тотчас же уехал в Караганду.

Люди, которые строили Кузнецкий завод, не были слепыми: они видали темноту, равнодушие и косность. Но они знали, что стране нужна сталь. Они знали, что здесь будут построены четыре коксовых батареи, четыре доменных печи и пятнадцать печей мартена. Они знали, что Кузнецкий завод будет выпускать ежегодно миллион четыреста тысяч тонн стали.

Шор следил за пуском деревянной галереи на Томи. Работали всю зиму. Ковш замерзал. Тогда люди обмазывали паклю мазутом и зажигали паклю, чтобы отогреть ковш. Галерею на ночь подымали.

Шор жил в Верхней колонии, далеко от реки. Как-то он проснулся под утро. Он проснулся от непонятного рева: была пурга и барак перепуганно скрипел. Шор в ужасе подумал: что же будет с галереей? Он поглядел на часы: без четверти пять. Значит, на реке — никого. Вокруг электрического фонаря в бешенстве носились белые стаи. Шор быстро оделся. В темноте он побежал к Томи. Метель сбивала его с ног. Спускаясь вниз, он упал, и сугроб на минуту проглотил его. Но он тотчас же выбрался из-под снега. Он растерянно шарил руками вокруг —

он искал шапку. Но, боясь потерять время, он побежал к реке без шапки. У него была одна мысль: вдруг галерея опустилась?.. Он не чувствовал, как мороз жжет его уши. Он бежал. Он добежал до реки. Здесь для метели был простор, и метель здесь была страшна. Но галерея стояла на месте. Шор улыбнулся. Он побрел в ближний барак. Горело лицо и мысли путались. Кто-то тер ему уши снегом. Он чувствовал необычайную слабость. Он едва проговорил: «Скажите, чтобы прислали лшадь».

Приехав домой, он лег. Он не мог дышать. Сердце замирало. Левое плечо томительно ныло. Шор знал, что он болен. В Москве доктор Шведов строго сказал Шору: «Сердце никуда не годится. Так, голубчик, вы долго не протянете. Поезжайте сейчас же в Кисловодск!» Шор поехал не в Кисловодск, но в Кузнецк. Как он мог думать о каких-то сердечных клапанах? Его голова была полна мысли о чугуне.

Он расстегнул ворот рубашки и подумал: сегодня проваляюсь! Но в девять затрещал телефон. Шор привскочил: неужто с галереей? Звонил Гордин: с клепкой неладно — все время останавливается компрессор. Шор ответил: «Сейчас приеду». Он робко пощупал свою грудь. Он как бы просил спокойное сердце повременить с развязкой. На ходу он хлебнул какое-то горькое лекарство.

Полчаса спустя он шутил с клепальщиками: «Мороз-то настоящий ударник!» Он вспомнил, как он бежал к реке, и вдруг закричал: «Что за безобразие! Сейчас же ступайте отогреться! Так можно и замерзнуть, черт бы вас всех побрал!» Он всегда чертыхался, когда хотел сказать людям что-нибудь ласковое.

Он пошел в управление. Разумеется, он никому не рассказал о своей ночной тревоге. Но кучер Василий доложил Чернышеву, и Чернышев строго спросил Шора: «Что же это, Григорий Маркович? Вы бы себя поберегли». Шор растерянно улыбнулся. Он бормотал: «Ничего особенного. Очень просто — могла и опуститься. А тогда как прикажете — начинать сызнова? И при чем тут «беречь себя»? Это даже полезно. Это, что называется, моцион».

Вряд ли Чернышев смог бы объяснить, почему Шор работал с таким ожесточением. Он часто забывал поесть. Он уходил на работу, не помывшись. Когда приехали американцы, Геринг отвел его в сторону и шепнул: «Григорий Маркович,

вам нужно того — побриться». Шор подозрительно дотронулся до своей щеки, которая поросла неровной щетиной, и закивал головой: «Обязательно, обязательно! Они еще, чего доброго, подумают, что мы дикари».

Он работал над кауперами или над мартенами так, как в старину люди любили девушек или молились богу. На советы взять отпуск он отвечал раздосадованно: «Ну и глупо! Вам самому надо полечиться — у вас цвет лица нехороший. А я здоров как бык. Потом, если все начнут отдыхать, кто же будет строить? Партия это не Иван Иванович, с партией нельзя шутить».

Трудно было молодым понять то, как Шор выговаривал это слово: «партия». Для Чернышева партия была государственным аппаратом. Она делилась на области и районы. В ней были умницы и дураки. Она отпускала средства на строительство, и она определяла сроки пуска домен. Он говорил «партия», как «управление заводом». Партия для него была огромным управлением многими заводами и многими шахтами.

Геринг вступил в партию два года тому назад: он понял, что без партбилета трудно и работать, и жить. Он не задумывался над принципами. Он любил свое дело. Он легко связывал эстакады с пунктами программы, а резолюции съезда с тоннами чугуна.

Колька Ржанов был членом комсомола потому, что он был рабочим. Это было просто и очевидно: если рабочий умеет глядеть и думать — он в партии. Вне партии либо враги, либо шкурники.

Для молодых партия была чем-то абсолютным и общим, воздухом, которым они дышали, хлебом, который они ели, чугуном, который они отливали. Для Шора партия была понятием настолько близким, что порой, говоря о своей работе, он краснел, как человек, который рассказывает о подробностях своей интимной жизни.

Когда Шор вступил в партию, партия казалась ему крохотным кружком. Они собирались на квартире у Фишберга: товарищ Егор, товарищ Варя, товарищ Смирнов. У них были пальцы, запятнанные чернилами: они наливали в противень желатин и тискали бледные листочки. Мысли были ясные, но буквы туманились, как будущее. Это было двадцать четыре года тому назад. Теперь партия казалась Шору огромной, как мир. Она строила комбинаты, распахивала степь, гнала нефть по трубам



и зажигала огни мартенов. Она пестовала полтораستا миллионов. Путь партии был длинен. Этот путь был жизнью Шора.

Его жизнь была величественна и ничтожна. Он сидел в тюрьме по делу о смоленской организации РСДРП. Его товарищем по камере был некто Чайков — эсер. Днем Шор неизменно доказывал Чайкову, что крестьянство — не класс: «В деревне можно опереться только на беднейшие элементы». По вечерам, когда тюрьма замирала, когда с воли доходили сырая весна и детские крики, Чайков читал вслух стихи: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла». Шор слушал молча. Потом Шор ворчал: «Вздор! Декадентство! Распад! Как вам может нравиться этакая ерунда? Ну-ка, прочтите еще разок — я вам докажу, что это — ерунда». Чайков снова читал стихи. Шор ничего не доказывал. Он вбирал в себя грусть слов. Она сливалась с синевой вечера и с голосами ребят. Когда сторож зажигал лампу, Шор прятал свои глаза: они были полны умиления:

Он убежал из тюрьмы. Он очутился в Париже. Неприязненно он косился на роскошные магазины, на огни кафе: он вспоминал явки, собранья, рабочие казармы с их запахом махорки и пота — он тосковал. Он клеивал в картон тонкие листочки — так партийная газета проходила в Россию. Он ходил с лесенкой и с ведрами: он мыл стекла — это был его заработок. Потом он грыз жареную картошку, протирал платком очки и садился за книги. Он читал Бебеля, Каутского, Лафарга и Плеханова. Один раз случайно ему попалась под руку книга Мопассана. Он прочел ее, не отрываясь. С удивлением он почувствовал, что его горло сжимается: ему хотелось плакать. Он ненавидел людей, которые оскорбили Пышку. Потом он обругал себя: можно ли тратить на это время? Он взялся за Энгельса. Ему было некогда жить.

Иногда вечером он заходил к Наташе Ляминой. Он недоверчиво осматривал комнату. На столе был букетик фиалок. Наташа не умела жить. Шор строго спрашивал: «Вы обедали?» Наташа молчала. Тогда Шор уходил. Он возвращался с большим свертком. Он угрюмо приговаривал: «Вот колбаса, кажется, не собачья, настоящая...» Наташа спрашивала: «А вы?» Шор сердился: «Я фиалок не покупаю. Я уже обедал. В ресторане. Четыре блюда и вино. Вот как!» Он говорил неправду: на деньги, которые ему уплатили за мытье стекол, он купил

две марки и еду для Наташи. Но он не дотрагивался до колбасы — он боялся, что колбасы мало.

Один раз он даже принес букетик фиалок. Он принес его в кармане: он стыдился нести цветы в руке. Это был тяжелый для него вечер: Наташа заговорила о чувствах. Тогда Шор начал доказывать, что всему свое время. «А работа?..» Он говорил и сердито кашлял. Он чувствовал, что с каждым словом он слабеет, что когда он глядит на Наташу, его горло сжимается — как тогда, когда он читал рассказы Мопассана. Наташа молчала. Шор помял и без того мятую шляпу и пошел к себе.

Революция застала его в Туруханске. Он вскочил на какой-то ящик и загрохотал: «Не время радоваться!» Он поехал в Петербург. Он говорил в цирках и в казармах, на грузовиках и на цоколях императорских памятников. Он был с солдатами возле Зимнего дворца. Потом его отправили на фронт.

Возле Чернигова они поймали белого. Допрашивал его Шор. Это был высокий ушастый мальчишка. Сначала он отвечал стойко: он за Россию, против предателей. Но потом он не выдержал. На вопрос Шора, давно ли он у деникинцев, он ответил невпопад: «Мне восемнадцать лет. Я в первой гимназии, в седьмом классе. У меня в Киеве мать и две сестры: Ольга, а младшая Надя». Тогда Шор вскочил и зарычал: «Ах ты сволочь. Туда же лезет. Застрелить тебя мало! Снимай-ка шинель. Все снимай, сукин сын! Вот тебе штаны и рубаха! Хватит с тебя и этого! Воин! И сейчас же проваливай к черту! К этой самой матери! Чтоб я тебя больше не видел! А попадешься, — застрелю, как собаку. Понял?»

Его послали в Лондон: продавать лес. Он встретился с крупным английским инженером. Англичанин спросил Шора: «Как вы работаете в столь мизерных условиях? Я читал, что в России редко у кого из специалистов ванна, не говоря уж об автомобиле. Может быть, вы мне скажете, сколько у вас зарабатывает такой специалист, как вы?» Шор поглядел на англичанина, и в глазах Шора показалось глубокое веселье. Он ответил: «Это называется — партмаксимум. Ерунда! Меньше, чем этот швейцар. Может быть, как дипломат, я должен говорить иначе. Но по-моему, правда куда лучше. У меня, например, нет машины. Иногда я жду трамвая полчаса и, не дождавшись, иду пешком. Мыться приходится в бане: два часа потеряны. Наша страна еще очень бедная. Вы меня спрашиваете, сколько я

получаю. Я мог бы вам ответить: столько-то — в рублях. Перевести на фунты трудней. Но и не в этом дело. Я получаю радость. А сколько, по-вашему, стоит настоящая радость — ну, хотя бы в фунтах?..» Англичанин вежливо улыбнулся.

Когда Шор вернулся в Москву, все только и говорили, что о коллективизации. Шор тоже высказался. Кто-то из товарищей, не дослушав, махнул рукой: «Это, брат, недооценка наших сил». Шор увидал, что генеральная линия не такова, и он не стал спорить. Он считал, что спорить можно с людьми, но не с партией.

Он поехал на хлебозаготовки. Крестьяне ночью накрыли его мешком и избили. Он провалялся с месяц в пензенской больнице. Он говорил врачу: «Они не понимают, в чем их выгода. Но они скоро это поймут. Я видал в одном колхозе бабу — умница! Всем заправляет. Пчельник устроила. Она мне жаловалась: «Церковь у нас не прикрыли. Звонят. Не могу я этого слышать — душу они из меня звоном вытряхивают»... Я слушал эту бабу, как Пушкина. Скажите, доктор, долго я еще буду валяться? Вы должны меня выписать — я не умею отдыхать».

Шор вышел из больницы прихрамывая. В Москве он попал на заседание, посвященное Урал-Сибирскому комбинату. Он запросился в Кузнецк. Он говорил: «Большое дело!» Он никому не говорил о том, что это дело увлекает его своей трудностью. Он знал, что такое Сибирь. Он знал также, что такое люди.

Такова была эта жизнь, похожая на справку из партархива. Но за жесткой, как бы металлической, жизнью был еще сутулый человек, близорукий и добродушный, который то и дело поправлял плохо повязанный галстук, который с восторгом нюхал резеду в станционном садике и спрашивал девочку: «Девочка, это что за цветок, то есть как он называется», — который кричал, что Горбунов «лентяй и разиня», а потом шел в ЦК и упрашивал, чтобы Горбунову дали отпуск, так как он «совсем зашился». Если вместо стройной жизни у Шора были только разрозненные улыбки, шутки или невыплаканные слезы, в этом повинно время: Шор не успел обзавестись биографией, как другие не успевают обзавестись квартирой.

Когда он приехал в Кузнецк, он ничего не смыслил в металлургии. В такой-то раз он брался за новое дело. Он осилил когда-то политическую экономию и шифры. Потом он узнал

международную политику и тюремную азбуку — он перестукивался с соседями. Он научился стрелять из винтовки и говорить прибаутками. Он стал разбираться в стратегии. Он различал, какой лес годен для верфей. Он очутился в деревне. Он не мог отличить пшеницы от овса. Месяц спустя крестьяне говорили: «С очкастым держи ухо остро — это дошлый...»

Он приехал на стройку. Он должен был сразу понять, что такое блюмсы, фурмы, деррики, грейферы и скруберры. Он взялся за работу. Он забыл о диалектике, о лесе, о стратегии. Ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что строил заводы. Он знал теперь в точности, сколько кирпича могут выложить рабочие, когда закончат клепку, как вычерпывать грунт для галереи и как ставить болты.

В комнате Шора висела небольшая акварель — он привез ее из Москвы. Кто знает, почему он таскал с собой двадцать лет подряд эту картину. Отрываясь на минуту от работы, он глядел на акварель: это был Париж, крыши домов, трубы, а над ними немного неба, едва голубоватого. Небо было положено художником с болезненной осторожностью, оно ничего не весило, глаза скорее догадывались о нем, нежели его видели. Глядя на акварель, Шор улыбался. Он не мечтал о городе, в котором когда-то прожил несколько лет. Он с трудом мог себе представить, что этот город еще существует: для Шора существовал только завод. Но, глядя на крыши и на легкое небо, Шор улыбался.

Кроме этой картины, ничто не выдавало прошлой жизни Шора. Когда к нему заходили товарищи по делу, он открывал шкаф и подолгу в нем рылся: он искал коробку с конфетами. Он угощал инженеров карамелью и ласково посмеивался. В шкафу все лежало вместе: белье, доклады, лекарства и, где-то среди носков, старая пожелтевшая фотография. На фотографии вихрастый юноша в косоворотке улыбался. Рядом с ним стояла девушка в большой шляпе — такие шляпы носили до войны. От шляпы легла густая тень, и лица девушки не было видно. Шор никому не показывал карточки, да и сам никогда на нее не смотрел. Он только время от времени, хмурясь, проверял, лежит ли она под книгами или под бельем.

Инженер Шалов спросил Шора: «Вы читали «Гидроцентраль»? Это, знаете, удивительно!» Шор покраснел от смущения: «Как-то времени не хватает. А в общем — распущенность. Спасибо, что надумили. Теперь я обязательно прочту».

Он действительно взял книгу и начал читать. Но вдруг он вспомнил, что в шумном цеху рабочие ворчат из-за сапог, и кинулся к телефону: «Нельзя ли раздобыть сапоги? Это безобразие!» Он так и не прочел романа.

Когда Колька Ржанов взлез на каулер, чтобы выправить канат, Шор пришел в цех. Все решили, что он пришел поздравить Кольку. Но Шор зарычал: «Что это за головотяпство? Ты мог замерзнуть или того — сорваться. Что у нас, много таких рабочих? Надо, черт возьми, беречь себя!» Он говорил и улыбался. Он видел глаза Кольки, полные смущения и радости. У Шора никогда не было детей. Когда он приходил к семейным товарищам, он ползал с ребятами по полу и смешно хрюкал. Теперь он глядел на Кольку, как на своего сына. Он был горд и умилен. Потом он побежал в управление и забыл о Кольке.

Колька не забыл о Шоре. Он говорил: «Ну и старик!» Шору было сорок восемь лет, но Кольке он казался очень старым. Когда Кольку охватывали сомнения, когда он видел вокруг себя корысть или малодушие, он вспоминал «старика». Тогда работа спорилась, и Колька снова веселел.

В то самое утро, когда Шор, обезумев, побежал к реке поглядеть, не упала ли галерея, рабочие Колькиной бригады обсуждали — выходить ли на работу? Фадеев говорил Кольке: «Андрюшка был в управлении. Говорит: на градуснике ничего не видать. Нет больше градусов — спрятались. Значит, пятьдесят или того холодней. А по контракту мы обязаны работать до сорока пяти. Умирать, милый, никому не хочется». Колька спокойно ответил Фадееву: «Нам не о градусах надо думать, но о сроках. Вторая декада февраля, а домну обещали пустить к апрелю. Вы, ребята, как знаете. Можете здесь валяться. Я и один пойду». Он опустил наушники шапки и, не глядя на товарищей, пошел к выходу. Тогда Васька Морозов сказал: «Что ж это, ребята? Неужто одному ему мерзнуть?» Он вышел вместе с Колькой. Вслед за ними пошли и остальные.

Это был тревожный день: кто-то подпустил лебедку. Листы упали. Рабочие мрачно глядели друг на друга: в их бригаду затесался враг. Они жили дружно, вместе работали, пели песни, старались обогнать богдановцев, иногда выпивали и балагурили. Но вот кто-то подпустил лебедку, и сразу они оказались друг другу чужими. Они приехали сюда с разных концов страны. Фадеев думал, что виноват Андрюшка: эти сибиряки хитрые, говорит «бывает, бывает», а сам нож точит. Тихонов был сибиряк.

ряком, и он считал, что лебедку подпустил Панкратов: кулаки убежали из России, а здесь вредительствуют.

Они подымали листы молча, среди метели и вражды. Молча они вернулись в барак. Андрюшка попробовал запеть, но никто не подхватил, и голос его затонул в душной полутьме барака.

Колька думал: кто же?.. Он перебирал в мыслях всех товарищей: этот, этот, этот?.. Перебрав всех, он решил, что лебедку подпустил чужой. Когда они уходили в обеденный перерыв, он и пробрался. Мало ли на площадке вредителей?

Колька подумал вслух: «Нет, это не наш». Фадеев в ответ проворчал: «Зачем так далеко искать?..» Колька строго сказал ему: «Если думаешь на кого — скажи. А зря болтать нечего. Только людей мучаешь, да и себя». Фадеев никого не назвал. Колька продолжал: «Нет, ребята, это не наш. Надо охрану ставить, вот что». Мало-помалу все успокоились. На следующее утро они работали, как всегда, дружно и бойко.

Происшествие с лебедкой имело, однако, неожиданные последствия: Маркутов решил проверить, кто работает на кауэрах. Тогда-то и выяснилось, что Васька Морозов подчистил свои документы. Он говорил, что он батрак. На самом деле он был сыном кулака Николая Морозова.

Когда Фадеев узнал о прошлом Морозова, он затрясся от злости: «Так я и думал! Лебедку это он подпустил. Все ходил и допрашивал: как да что? Вредитель несчастный!» Васька сидел на койке, опустив низко голову. Он молчал. Потом он не выдержал и крикнул: «Не я это сделал! Меня там и не было. Я со всеми в столовку ходил. Вот тебе мое слово комсомольца, что не я». Фадеев засмеялся: «Хорош комсомолец! Ты вредитель. Вот кто ты. Змея ты, а не товарищ!» Фадеев теперь не смеялся. Его лицо было искривлено злобой, а глаза под лохматыми бровями горели, как угли. Он подошел вплотную к Ваське и сказал: «Трус поганый! Уходи отсюда, чтобы чего не вышло. Я человек горячий. Я тебя прикончить могу».

Васька медленно встал. Он ни о чем не думал. Он вышел на мороз и остановился возле отхожего места. Была ясная ночь. Звезды были крупные, как в сказке. Прошла в уборную старуха Сидорова. Она злобно провыла: «Ты что, паренек, заглядываешь?..» Потом из барака вышел Тихонов — его вызвали в ячейку. Васька стоял, не двигаясь.

Когда Фадеев ругал Ваську, Колька молчал. Но потом он задумался: неужели это Васька подпустил лебедку! Он вспомнил,

как Васька улыбался, когда они обогнали богдановцев, как он первый пошел за Колькой, когда ребята бузили. Нет, лебедку подпустил не он!.. Колька весь просветлел: он понял, что он связан с товарищами и что эта связь глубока. Он оделся и пошел за Васькой.

Он помнил о том, что Васька подделал документы. Он подошел к Ваське и сурово сказал: «Ты чего здесь стоишь?» Васька не откликнулся. Тогда Колька потряс его за плечо: «Ну?..» Не глядя на него, Васька сказал: «Лучше бы мне в бараке остаться! Вот Фадеев грозился, что убьет. А зачем мне такому жить?» Колька прикрикнул: «Нечего языком трепать. Ты мне прямо скажи — почему ты это сделал?»

Тогда Васька вышел из себя. Он смолчал Фадееву. Но вот и Колька с ними. Васька гордился тем, что он работает в бригаде Ржанова. Он говорил: «Погодите — Колька красным директором станет». Он считал, что Колька умней всех рабочих. Ради Кольки он готов был пойти в огонь и в воду. И теперь Колька — заодно с Фадеевым. Васька закричал: «Если ты на меня думаешь, я и разговаривать с тобой не желаю. Ты мне тогда не товарищ. Я над этими кауперами, как ты, работал. Я, кажется, жизнь отдам за них. А ты говоришь мне, что я вредитель. Как же мне после этого жить? Уйди от меня, Колька! Не верю я больше в товарищей. Все только и ждут, чтобы съесть человека живьем».

Колька в душе радовался этим злобным словам: они укрепили его веру. Он снова подумал: нет, это не Васька! Он сдержался, чтобы не улыбнуться. Он строго сказал: «Я тебя не о лебедке спрашиваю. Я тебя о документах спрашиваю. Почему ты обманул партию?»

Васька недоверчиво поглядел на Ржанова: «Ты мне сначала ответь — ты веришь, что это не я подпустил лебедку? Если веришь, я тебе все расскажу. А нет — уходи! Лучше мне тогда молча погибнуть, чем с тобой разговаривать».

Они прошли в барак. Койка Морозова находилась в углу. Рядом спал старик Зарубов. Васька говорил тихо, и никто, кроме Кольки, не слышал его слов.

«Мы сами тульские. Здесь, в Сибири у крестьян по пяти лошадей было, и не раскулачивали — говорят: «средняки». А у отца было две лошади и корова. Только деревня наша бедная. Он, значит, и оказался в кулаках. Я не спорю, он в душе был настоящий кулак. Я сначала этого не понимал — мальчишкой

был. А потом и я возмутился. Приходит к нему Жданова. Ее муж в Красной Армии служил. Она говорит: «Иван Никитович, разреши ты к тебе хлеб ссыпать». Отец сейчас же прикидывает: «Вот тебе муженек подарки привез. Мне бы ситчика на рубашки». Жданова — в слезы: «Нет у меня ситца». Но отца слезами не разжалобишь. Он говорит: «Тогда и ссыпай куда хочешь». Вот он где, настоящий кулак! Но я только спрашиваю: откуда он мог другого набраться? Разве это его вина?»

Колька прервал Морозова: «Мы с тобой не попы. Незачем в душу залезать. Так ты скажешь, что и царь не виноват — он, дескать, родился царем, только то и знал, что стрелять в народ. Мы не рассуждать должны, а бороться. Ты, Васька, это оставь. Ты мне скажи про себя: почему ты подделал документы?»

«Я отца и не защищаю. Я тебе сразу сказал, что это настоящий кулак. Его четыре месяца в тюрьме продержали. Потом отправили на Магнитку. Он теперь, наверно, на стройке работает. Землю копает. Конечно, жаль мне его, но я сам понимаю — ничего другого и не придумаешь. Если он плачет, то и Жданова плакала. Я только хотел сказать, что это его судьба. Если кто-нибудь здесь подпускает лебедку, он сознает, что он делает. Это безусловный враг. А мужики жили, как жилось. Взяли помещичью землю и обрадовались. Потом отец купил мерина, и сразу душа у него перекосилась. Начал он людей мучить. Очень много зла в человеке! Ты меня спрашиваешь — почему я подчистил документы. Я тебе прямо скажу: со страха. Можешь меня презирать. Скажи, как Фадеев, что я трус. Только не такой уж я трус. Помнишь, когда на каупер лезли и ты сказал «держись»? Андрюшка говорил: «боязно». А я — ничего. Скажут мне завтра — «защищай революцию от японца», — я не испугаюсь. Но одно дело умирать со всеми. А здесь сиди и жди, пока тебе не скажут: «Ах ты кулацкое отродье!..» Вот я и струхнул. Я на стройку приехал без мыслей. Шкуру спасал. А потом присмотрелся, и как-то все во мне проснулось. Я только тут и понял, зачем мы это строим, за что мучаемся. А ночью лежу, думаю: вдруг узнают?.. Я боялся, что меня из комсомола вычистят. Куда я тогда денусь? Я, Колька, одну семью потерял. А теперь меня из второй гонят. Да еще такое на меня возвели, как насчет этой лебедки. Я вчера себя чувствовал героем труда, а сегодня на мне клеймо. Сегодня я жалкий вредитель. Как же мне после этого жить?..»



Васька долго говорил. По многу раз он повторял те же жалобы и упреки. Колька дал ему наговориться. Он понимал, что Васька не может молчать, что его страшит одиночество. Когда же Васька, измученный, наконец-то умолк, Колька потрепал его по плечу и сказал: «Ложись спать. Завтра что-нибудь да придумаем. А теперь мне надо в горком, на заседанье».

Колька пошел к Маркутову: он хотел отстоять Морозова. Он говорил: «За Морозова я отвечаю. Поговори с ним — никогда ты не скажешь, что это сын кулака. Он на стройке переродился. Не бузит. Только спросишь: «Кто за это возьмется», — сейчас же — Васька. Я тебя, Маркутов, не понимаю. Конечно, кулаков надо держать на цепи. Но Морозов не кулак. Он настоящий комсомолец».

Маркутов постучал карандашом по столу, и карандаш сломался. Тогда он стал подписывать бумаги пером. Перо было ржавое, оно скрипело и плевалось: листы были покрыты лиловыми брызгами. Маркутов не глядел на Кольку. Он подписывал бумаги и говорил: «Ты, Ржанов, молодчина! Только ты еще здорово молод. Не разбираешься в людях. Откуда ты знаешь, что это не Морозов подпустил лебедку? Кто у нас вредительствует? Именно такие. Именно такие. За спецпереселенцами смотрят. Они ничего не могут поделать. А вот — просачиваются. Как этот Морозов. В комсомол, в партию. Им доверяют, а они вредительствуют. Если Морозов один раз обманул, почему ты думаешь, что он и теперь не обманывает?»

Колька глядел на серые листы, покрытые лиловыми брызгами, и он злился. Он понимал, что Маркутов говорит резонно и что возразить ему трудно. Однако по-прежнему он твердо верил, что лебедку подпустил не Морозов. Он так и сказал Маркутову: «Я Морозову верю». Маркутов усмехнулся: «Верят верующие, а коммунисты рассуждают».

Маркутов не верил людям. В своей жизни он видал много лжи и обмана. Он был подкидышем и детство провел в омском приюте. Заведующая говорила ребятам: «Разнюнились, нюнечки?» Голос у нее был нежный, как будто она все время пела. Потом она схватывала ухо мальчика и начинала его мять, крутить и дергать.

При Колчаке Маркутов был партизаном. У него был друг Красицкий. Этот Красицкий выдал Маркутова белым. Маркутова били в разведке. Отбили ему легкие — с тех пор он каш-

лял и покрывался болезненным потом. Он жалел об одном: когда пришли красные, не он расстрелял Красицкого.

Он работал в деревне по раскулачиванию. В Михайловском кулаки убили учительницу. Они говорили, что учительница пишет в газете, сколько у кого коров. Они раздели труп, отрезали груди, а голову вымазали калом. Потом они взвалили все на слабоумного Антипку. Маркутов нашел труп в овражке.

Он работал упорно и угрюмо. Он доверял только ЦК партии и хорошо выверенным машинам. Он видел, как вокруг него люди крали, отлынивали от работы, портили машины и пьянствовали. Он думал, что завод нужно строить с людьми, но против людей.

Маркутов сердито сказал: «Савченко до тебя приходил. Сволочи, в хлеб запекают гвозди! Не понимаю — вредительство это или разгильдяйство? А рабочие ворчат: «Хлеб пожевать и то страшно»... Маркутов нажал в сердцах на перо. Перо не выдержало. Он прижег огромную кляксу папиросой и замолк. Потом он снова начал ругаться: «Для жалости теперь не время. Это как на фронте. Только тогда мы знали: здесь свои, здесь белые. А теперь все перепуталось. Надо глядеть в оба. Не возись ты с этой дрянью. Он на словах коммунист, а сам только норовит, что поджечь или сломать. Я это племя знаю!»

Колька попробовал возразить: «Я его вовсе и не жалею. Я с тобой о деле говорю, а не о глупостях. Нет в нем никакого кулацкого духа. Парень перестроился. Мы кирпичи и то бережем. Как же людьми швыряться?» Прервал Кольку телефонный звонок. Маркутов схватил трубку. «Да. Я самый. Это какой же Окунев? Из Свердловска? Машинку? В ГПУ звонил? Я сейчас приду. — Бросив трубку, Маркутов сказал Кольке: — Вот полюбуйся! Приехал будто бы инженер. Конечно, документы сам сделал. Стянул восемьсот целковых и машинку».

Колька поглядел на Маркутова. Он увидел, что глаза у Маркутова серые и грустные. Они вышли вместе и тотчас же распрощались. Колька подумал: Ваське — крышка!

Колька растерялся от незнакомого ему чувства. Прежде он был уверен, что легко объяснить любую вещь: ход машин, резолюции съезда, поступки людей. Каждая книга ему открывала новую правду. Когда книга была написана врагом, Колька читал ее, насторожившись, и он понимал, в чем ее ложь. Но вот он говорил с Маркутовым. Маркутов партиец. Он знает куда больше Кольки. Почему же он не понял, что Колька прав?

Колька старался говорить толково, но выходило, что прав Маркутов. А здесь еще этот телефон помешал... Нет, телефон ни при чем. Дело ясно: подчистил Морозов документы? Подчистил. Правда, это было давно. С тех пор он изменился. Но об этом знает Колька. Маркутов об этом не знает. А Колька знает и не может доказать.

Колька дышал сосредоточенно и часто. Был сильный мороз. Воздух казался твердым. Колька остановился. У костра грелись строители. Они перетаптывались на месте. Снег был как камень. Колька подумал: ну и холодище! Он чувствовал себя одиноким. Он повернул к бараку, но сейчас же снова приостановился: Васька-то, наверное, не спит!.. Ну хорошо, пусть накажут за документы! Но ведь с лебедкой это не он. Неужели никто этого не поймет?..

Колька вспомнил о «старике». Шор все понимает. Он — старый большевик. Потом глаза у него добрые. Он и ругается — как будто шутит. Может быть, попробовать?

Так Колька очутился в комнате Шора. Испуганно поглядел он на акварель, на кипу чертежей. Шор не ругался и не шутил. Кольке показалось, что Шор его плохо слушает: он поглядывал по сторонам и шевелил губами, как будто он что-то жевал. Когда Колька кончил говорить, Шор буркнул: «Ты его завтра пришли. Я с ним потолкую. Только я боюсь, что Маркутов прав. Уж очень много этой шпаны развелось. Листы-то вы подняли? Я у вас три дня не был. А теперь ступай. Мне еще работать надо. Я вот на двенадцать разговор с Москвой за-казал».

Возвращаясь в барак, Колька думал: нет, и «старик» не поверил. Но на душе у него было спокойно. Может быть, его утешило обещание Шора поговорить с Васькой, может быть, глаза «старика», серьезные и ласковые.

Шор позвонил в горком: «Что за история с этим... Как его?.. Да, Морозовым?..» Потом Шор говорил с Москвой. Было плохо слышно. Он кричал: «Транспорт!.. Понимаете? Транспорт! Ведь это не паровозы, это черт знает что!» Потом он сел за проекты подземного туннеля. Он лег только под утро. Засыпая, он вспомнил Кольку, и как тогда, возле каупера, его сердце наполнилось нежностью. Он подумал: хорошие у нас ребята! Теперь и умереть не страшно. А этот... Как его? Да, Морозов... Черт его знает! Может быть, Маркутов и перестарался. Конечно, если не мы — их, они — нас. Только этот еще молод. Он мог и

вправду перемениться. Страшное это дело: отец, сын — как веревка! Может быть, отец такого Кольки тоже кулак?..

Шор вспомнил своего отца. Отец Шора был лавочником. Когда Шора арестовали, отец сказал матери: «Я прокляну его самым страшным проклятием!» Потом он побежал в тюрьму с колбасой, и колбасу выбрал самую большую: «чтобы хватило на всех мерзавцев». Шор засыпал, и мысли его путались. Он видел отца, Кольку, кулаков, которые напали на Шора, тюрьму. В тюрьме сидел Шор. Потом в тюрьме оказался кто-то другой. Шор едва успел подумать: как его?.. Кажется, Морозов... Потом он уснул.

Когда на следующее утро к нему пришел Морозов, он встретил его ревом: «Хорош! Эх ты, Батрак Батракович! Здесь тебе нечего делать. Здесь люди завод строят. А ты спец по другой части. Тебе бы на Сухаревку — там для таких раздолье. Ну, чего ты рот разинул? Никто тебя здесь не держит. Можешь хоть сейчас убираться ко всем чертям».

Морозов стоял, не двигаясь. Шор громко высморкался и спросил: «Деньги на дорогу есть?» Морозов не ответил. Тогда Шор подошел к нему вплотную и снял очки. Его глаза стали сразу бессильными и добрыми. Он сказал: «Ну, чего тебе еще надо?» Тогда Васька, ободренный и голосом Шора, и его глазами, начал говорить. Он говорил долго и несвязно. Он клялся, что это не он подпустил лебедку. Он объяснял, что ему некуда ехать: он хочет работать на стройке. Он не вредитель, он честный комсомолец. Шор молчал. Васька тоже замолк, а потом, глупо выпятив нижнюю губу, сказал: «Я без партии — как без дома».

Шор не вытерпел, он даже отбежал в угол. Слова Васьки его потрясли. Он понял, что этот парнишка говорит о партии так, как о ней думает сам Шор, что и для него партия не государство, не тактика, не строительство, но нечто бесконечно близкое, что разлука с ней — это разлука с жизнью. Чтобы скрыть свое волнение, Шор еще раз высморкался и проворчал: «Мальчишка!» Потом он позвонил Маркутову: «Морозова я возьму к себе, на галерею». Он прикрикнул: «Только у меня, брат, смотри! Я этих штук не люблю». — Потом он крепко сжал руку Васьки и, рассердившись на себя, вслух заметил: «Рукопожатия, что называется, отменены».

Когда Морозов рассказал Кольке о своей беседе с Шором, Колька просиял. Он радовался не только потому, что он спас

товарища, он радовался и потому, что жизнь снова ему казалась ясной и глубокой. Он увидел, что, помимо книг и слов, существуют еще глаза и что глаза способны разговаривать. Его силы удвоились. Он как бы получил право на чувствования.

Он сказал Ваське: «Я видал в управлении плакат: Кузнецк три года тому назад и Кузнецк теперь. Красота! Сначала — голое поле. Потом все эти кауперы, батареи, мартены. Вот если бы нарисовать такой плакат: Колька Ржанов три года тому назад и теперь. Я ведь тогда ничего не понимал. А думал, что все знаю. Мне жизнь казалась скучной-скучной. Я теперь на жизнь другими глазами гляжу. Хорошо быть настоящим человеком. Как старик. Он действительно все знает: и насчет галереи, и как туннель рыть. Я у него на столе такие чертежи видел, что кажется, всю жизнь учись, и то не разберешься. А ко всему еще, он человек. Я, Васька, думаю, что при коммунизме все такими будут». Он улыбнулся и уже шутя добавил: «Разве что помоложе и без очков».

## 8

Была северная весна, как всегда громкая и неожиданная. Шумели ливни, и от яркого солнца люди хмурились. Тайга наполнилась новым шумом. Тетерева бормотали. Глухари охали. Еще в оврагах было много снега, но снег хирел, и над ним смеялись даже трясогузки.

В улусе Кады слегла старая шорка Мара. Ее сын пошел за шаманом. Шаман сначала не хотел идти: он боялся комсомольцев. Потом шаман все же пришел: он помнил, что у Мары имеется черный баран, и он хотел мяса. Он пришел отоцавший, но величественный. Его одеянье звенело побрякушками: это были звери, птицы и рыбы. Шаман, камлая, посылал зверей, птиц и рыб, чтобы они расспросили духов. Звери ломали лесную чащу, птицы неслись к небу, и глубоко ныряли медные рыбы. Духи потребовали черного барана. Сидя на корточках, шаман ел баранину. Он вытер сальные руки о священное одеянье. К вечеру Мара умерла. Тогда шаман сказал ее сыну: «Духи не смягчились. Весной жизнь как река: одни переходят через реку, другие остаются. Мара была очень стара. Ты не должен доносить на меня в комсомол! Я тоже очень стар. Я чувствую, что эта весна для меня последняя».

На стройке люди пели и ругались. Они пели потому, что им хотелось счастья, и они вязли в грязи. Земля как будто задумала проглотить людей. Проваливаясь в желтую глину, строители ругая ругали и товарищей, и стройку, и весну.

Землекопы нашли скелет мамонта. Он был древен, как мир. Увидев находку, Колька вспомнил, как Смолин говорил: «Мы строим гигант». Ему стало весело и страшно. В его голове прошлое смешивалось с будущим. Жизнь казалась ему непрерывной, и эта жизнь была полна чудес.

Землекопы нашли скелет мамонта. Рабочие возле Томи нашли цветы: первоцветы, одуванчики, куриную слепоту. Переселенец Яшка Крючков вспомнил заливные луга возле своей деревни, и он сердито отвернулся от цветов. Комсомолки в выходной пошли на реку. Они визжали, аукали, а Груша Тренева сплела всем веночки.

Зимой на стройке любовь была бессловесной и тяжелой. Ванька Мятлев как-то привел в барак смешливую Нюту. Нюта не смеялась. Она робко глядела на спящих людей. Сосед Ваньки, рыжий Камков, не спал. Он почесывал голый живот и сквернословил. Ванька боялся, что Нюта уйдет, и шепотом приговаривал: «Только на четверть часика!» Потом Васька прикрыл их головы пиджаком. Они не могли запрятать свою любовь от людей, но они прятали свои глаза. Это было воспоминанием о стыде. Сильней стыда была страсть. Ванька сказал: «А теперь тебе пора домой!» Нюта закуталась в овчину и убежала.

На постройке ГРЭСа, возле чадных жаровен по ночам скрещивались руки, спецовки, юбки и сапоги. Люди любили жадно и молча. Вокруг них была жестокая зима. Они строили гигант. Они хлебали пустые щи. Они не знали ни нежности, ни покоя.

Весна была шумлива, и она сразу потребовала слов. Люди заверещали, как птицы. Весна раскрывала людям глаза. Люди шурились, но глядели. Парни уводили девушек за реку. Там щекотала щеки трава, и по ночам там кричали совы. Ванька Мятлев увидел грудь Нюты. Грудь у нее была крутая и смуглая. Ванька хотел пошутить, но осекся. Его лицо стало светлым и сосредоточенным. Он тихо сказал: «Ты, Нюта, красивая».

Вечерами строители обнимали женщин, и женщины становились тяжелыми.

Работа на стройке шла вовсю. Никогда еще люди так не торопились. Строитель Демьянов кричал в бреду: «Подавай кирпичи! Да, мать твою, скорей!..» У Демьянова было воспаленные легкие. Он умер на третий день.

В тот же день умер американский инженер Герл. Его тело отправили в Москву. Иностранцы провожали гроб. Они надели цилиндры и котелки. Они чинно ступали по грязи, и они глядели то на эту жестокую грязь, то на мальчишески синее небо с облаками, которые играли в перегонки. Иностранцы думали о том, что жизнь здесь не легка, что Герл был еще молод и любил играть в футбол, что смерть подкрадывается к человеку внезапно, как весна на севере. Они думали о высоком и постоянном, как и подобает думать на похоронах. Позади шли комсомольцы с красными флагами. Герл умер на боевом посту, и ему отдавали революционные почести. Комсомольцы пели похоронный марш, но он выходил у них бравурным. Гроб положили в товарный вагон. На вагоне значилось: «Срочный возврат».

Из Москвы приехали корреспонденты газет и кинобригада. Все готовились к торжеству. Строители работали иступленно. В этой лихорадочности, помимо плана и сроков, помимо голода и веры, была еще воля весны, ее поспешность и размах, ее тоска, которая днем подготавливала огромную домну к пуску и которая ночью наполняла утробы женщин семенем.

Так впервые заскрежетала воздуходувка. Этот скрежет с непривычки был страшен, но строители улыбались: завод начал дышать. Услышав ужасные звуки, смутились старые казашки и шорки: они припоминали камланье шаманов. В крохотное оконце можно было увидеть нутро бога, но глядеть на него человек не мог: огонь слепил, как солнце. Чтобы следить за утробной жизнью домны, люди вставили в оконце синее стекло. Домна дышала с грудом, и, вдыхая доменный газ, люди задыхались. Из печи вытекали струи расплавленного металла. Это было величественно и просто. Ради этого люди страдали, как страдают женщины, обливаясь кровью и проклиная любовь.

Кузнецку весна принесла спешку, эпидемию, любовь за рекой, пуск первой домны, празднества и грохот. Весна заглянула и в старенький Томск. Она смыла несколько прогнивших домиков, и на фасадах правительственных зданий она развесила несколько вылинявших от непогоды флагов. Про запас у нее были ливни, солнце и смех сорока тысяч томских вузовцев.

У вузовцев была горячая пора: они сдавали зачеты. В курсы химии или физики вмещивались непрошенные советчики: то запах черемухи, то зайчик на стене, то веселый смех: «Это Женька»...

Сады сразу расцвели, и Томск наполнился цветочными запахами, зеленой пылью, вздохами. Вдыхали и старые лиценцы, припоминая прошлое, и курносые стриженные вузовки — они чувствовали, что подходит любовь. Вечерами все смешивалось: «Я сегодня у Королькова перехватила зачет», «послезавтра поедем в Городок», «с звуком плохо, ничего не знаю», «ты почему гулял вчера с Аней?», «вот поеду на практику, пришло тебе подарок», «ну, раз дай поцеловать, тоже недотрога», «милый ты мой, как я с тобой счастлива», «в столовке ни черта не дают, жрать совершенно нечего», «как у тебя с ботаникой?», «помнишь Есенина: «все пройдет, как с белых яблонь дым»?», «Шурка, давай с тобой поженимся», «ну куда ты, ну как же, ну, милый...» Весна не обошла Томск, и старый город, весь изношенный и злосчастный, сиял наново. Его глупая каланча с шарами встречала солнце, не смущаясь своего ничтожества, как будто и не каланча это, но кузнецкая домна.

Перед университетом устроили цветник и фонтан. Это было культурным достижением, и на открытие фонтана собрался народ. Милиция не позволяла лежать на траве. Тунгусы глядели на фонтан и одобрительно вздыхали. Старый профессор Ивашов сказал раздраженно: «В Европе такие фонтаны на каждом шагу, а здесь это мировое событие». Профессор был болен печенью. Он страдал от плохой пищи и от невежества вузовцев. Он презирал фонтан. Тунгусы ели с восторгом щи, и фонтан им казался затейливым, как сон.

На собрании взаимной чистки Петька Рожков произнес горячую речь: «Мы должны помнить о темпах! Стране нужны специалисты. Каждый день, потерянный нами, отразится на успехах второй пятилетки. Товарищи, вузы — это та же стройка, и перед нами примеры героев Кузнецка!..» Петька Рожков больше не думал ни о стихах Пушкина, ни о Тане. Он думал только об органической химии и о великом строительстве.

Рабфаковец Сенька Крамов сказал Ирине: «Я тебе открою мою тайну». Ирина печально вздохнула. Они сидели в роще, вокруг цвела шальная черемуха, и Ирина думала, что Сенька будет говорить о любви. Ирина не хотела слушать признаний: она сама знала, что такое любовь. Она не спала по ночам, и



мысли у нее путались. С тех пор как она познакомилась с Володей Сафоновым, она жила растерянно и беспокойно. Но Сенька Крамов не хотел говорить о любви. Ирина ему сказала, что она любит стихи, и Сенька решил раскрыть ей свою тайну: «Я тоже пишу стихи. Но я не знаю, может быть, это ерунда. Я работал в Прокофьевске на шахтах. Туда прислали одного англичанина-специалиста. Я как-то услышал — этот англичанин говорил с переводчицей. И вот тогда мне захотелось так же писать стихи, то есть пронзительно и красиво. Ты не подумай, что по-английски. Нет, по-русски. Но не так, как все говорят. Иначе. Я искал неожиданного сочетания звуков. У нас был кружок рапповцев. Я прочел им. Лашков мне ответил, что это «буржуазный футуризм». Я очень горевал, но стихов я не бросил. Я тебе как-нибудь почитаю. Когда вот такое кругом, меня распирает. Приду в общежитие и пишу, пишу. Кажется мне, что замечательно, а может быть, ерунда. Только нет сил, чтобы остановиться...»

Ирина с удивлением поглядела на Сеньку. Она его много раз видала. Они занимались вместе немецким. Но ей показалось, что она видит его впервые. У него были большие глаза, светло-синие, и чуть приоткрытый рот, как у ребенка. Она почувствовала к нему большую нежность, и она тихо сказала: «Ты настоящий поэт. Так только поэт может говорить. «Внезапное сочетание звуков» — это уже стихи». Они помолчали. Потом Сенька проводил Ирину до дому: она торопилась. Прощаясь, он крепко пожал ее руку и, не выпуская руки, заглянул в ее глаза. Тогда Ирина снова смутилась: Сенька в нее влюблен, он понял ее слова, как ответное признание. Вся покраснев, она сказала: «Я, Сенька, очень несчастна. Я люблю одного человека, а он меня не любит. Впрочем, и это вздор. Надо заниматься — завтра зачет».

Ирина спешила домой потому, что к ней обещал зайти Володя Сафонов. Они встречались теперь каждый вечер. Они никогда не говорили о любви. Они говорили о стихах, о весне, о жизни. Володя все знал, он казался Ирине большим и мудрым. Она робко его слушала. Иногда она прерывала его вскриком: «Вот хорошо!» Иногда она начинала смеяться, и смех ее был звонкий, веселый. Володя не умел смеяться. Когда Ирина смеялась, он пробовал улыбнуться, но улыбка у него выходила грустная. Казалось, он сейчас заплачет. Тогда Ирина неожки-

данно говорила: «У тебя на рубашке нет пуговицы. Ты, наверное, и нитку вдеть не умеешь... Дай я на тебе пришью».

Когда Володя бывал с ней, она ни о чем не думала. Ей было хорошо, и она отдавалась счастью. Но, оставаясь одна, она начинала терзаться. Она думала о том, что она глупа. Ирина как-то сказала: «Я не умею думать об отвлеченном». Брат Лелька потом ее дразнил: «философ»! Конечно, она дура, и Володе с ней скучно! Зачем же он приходит к ней? Может быть, ему нравится ее лицо? Ирина недоверчиво гляделась в зеркало. Круглое лицо, скулы, маленький носик. Лелька ее звал «курнофэйкой». Как она может понравиться Володе? Володя сказал: «Красота — вещь условная. Для нас это обычно — греческие каноны». Ирина видела в томском музее гипсовую Диану. Ирина на нее никак не похожа. Позавчера Володя гулял с Варей Калининковой. Варя куда красивей ее!..

Так Ирина терзалась, когда она поджидала Володю. Но после разговора с Сенькой она чувствовала себя приподнятой. Слова Сеньки ее настроили на иной лад. Володя сразу заметил, что Ирина чем-то взволнована. Он спросил: «Ты что это рассеянная? Приключилось что-нибудь?» Ирина молчала. Тогда Володя почувствовал себя одиноким. Он сел на стул и, покачиваясь, начал говорить: «Надоело. Все надоело. Самокритика. Взаимная чистка. Тунгусы в роли спасителей цивилизации. Ну и так далее. Как видишь, я не из приятных собеседников. Данте, изображая ад, многого не предвидел. Например: обыкновенный взрослый человек среди торжествующих недорослей. Вариации: человек среди патефонов, человек среди поугаев и так далее. Ну, а вы что изволили делать? Самочистились? Или стояли в очереди за хлебом?»

Ирина ответила: «По-моему, ты не прав. Почему ты надо всем смеешься? Конечно, ты умней других. Но все-таки ты не прав. Я сегодня разговаривала с Сенькой Крамовым. Ты его, кажется, не знаешь. Это рабфаковец. Шахтер из Кузбасса. Он, оказывается, стихи пишет. Я знаю, что ты снова будешь смеяться. Но он меня совсем растрогал». Ирина повторила Володе слова Сеньки.

Сафонов нахмурился, его рука с окурком долго шарилась по столу — он думал. Потом он начал говорить. Он говорил медленно и мучительно, как будто он убеждал себя: «Еще одна иллюзия! Конечно, такой Сенька умнее рапповских критиков. Но почему я, Владимир Сафонов, обязан умиляться? Когда

ребенок начинает говорить, все стоят и ждут: что это он скажет? Он, разумеется, говорит: «ма-ма». Обождите, но кто умиляется? Та же мама. Или папа. Или бабушка. А здесь должны умиляться все. После Платона, после Паскаля, после Ницше — не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил! Причем, ввиду столь торжественного события, обязаны тотчас же и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сеньки. Бернард Шоу от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сеньками. Разрешите задать еще один вопрос. Хорошо. Сенька говорит. Он на рабфаке. Он будет красным профессором. Он научится носить галстуки и цитировать Маркса по первоисточнику. Его сын будет выбирать галстуки, сообразуясь с цветом пиджака, и цитировать не только Маркса, но даже Канта. Спрашивается, что будет делать его внук? Писать поэмы о галстуках? Опровергать Маркса с помощью Ницше? Нюхать кокаин от мировой тоски? Или, может быть, подготавливать новую революцию? То, что меня раздражает, Ирина, это не жестокость революции, но ее бессмысленность».

Ирина не сдавалась: «Ты не о том. Ты всегда стараешься обобщить. А это живой человек. Он говорил как настоящий поэт. Ты подходишь к нему с готовым мнением. Чем ты лучше критика, который ему говорил о «буржуазном футуризме»?»

Володя досадливо отмахнулся: «Я не об этом Сеньке говорю. Какое мне до него дело? Допустим, что он гениальный поэт. Тогда он через пять лет замолчит. Или сойдет с ума. Или повесится. Можешь почитать историю русской поэзии: она началась с двух трупов и двумя трупами кончилась. Скучно, Ирина, так скучно, что, кажется, встал бы и завыл, как собака!..»

Володя с отвращением поглядел на большой букет черемухи — весна его преследовала повсюду. С детских лет он боялся весны: она его выгоняла из норы. Сердце билось неровно, он судорожно зевал или задыхался, то его клонило ко сну, то он без толку слонялся по мокрым крикливым улицам. Весной он не мог читать: книга с первой же страницы казалась ему знакомой, как будто он ее читал прежде. Особенно смущали его весенние запахи. Он не мог удержаться от соблазна: он зарывался лицом в ворох сирени и тотчас же отбегал прочь. Он сам дивился, почему он не может, как все — понюхать, поискать «счастье», а потом сесть за книгу. Цветы для него были пыткой. Так было и с букетом черемухи, который Ирина прита-

шила утром, думая им прикрасить полутемную грустную комнату. Он понюхал и мучительно отвернулся. Тогда он увидел перед собой глаза Ирины. Он понял, что на этот раз весна его перехитрила.

Он вдруг стал послушным и пустым. Он ни о чем не думал. Он только глядел на Ирину и радовался. Мир, который всегда казался ему страшным и враждебным, сузился, он вошел целиком в глаза Ирины, в глаза, полные такой печали и доброты, что Володя, глядя на них, улыбался. Кажется, впервые за долгие годы его улыбка не сбивалась на гримасу. Так мальчиком он улыбался отцу, когда отец сажал его на колени и говорил: «Ну, коза-егоза, скучно тебе с доктором Сафоновым?..» Глаза Ирины стали очень большими. В них была воля, не самой Ирины, не Володи — чужая, и, подчиняясь этой чужой воле, Володя подходил все ближе и ближе. Он шел, как лунатик, выставив руки вперед. Крохотное расстояние между ним и Ириной казалось ему непреодолимым. Он испуганно остановился. Его руки неловко коснулись плеча Ирины. Она не отодвинулась. Он прижался губами к ее губам. Губы Ирины были горячие и слабые. Она вся как-то поникла. Он обнял ее, чтобы она не упала. Потом он вздрогнул, как будто кто-то его окликнул. Он бережно посадил Ирину на стул, а сам отошел к окну.

В голове его появились мысли неясные и жестокие. Они походили на первые мысли человека, которого разбудили непривычно рано. Сейчас она спросит: «Хорошо тебе?..» Так спросила Таня. Так и в романах спрашивают... Он снова почувствовал знакомую ему тоску, как от букета черемухи. Он робко ждал, что скажет Ирина. Но Ирина молчала. Она заставил себя оглянуться. Ирина плакала. Володя растерялся. Он подумал со всей неуклюжестью мужчины: может быть, ей воды дать?.. Потом он подошел к ней и, виновато дотронувшись до ее руки, забормотал: «Ну чего ты? Я ведь искренне. Да ты сама знаешь. А если тебе неприятно, я больше не буду. Только не плачь. Ну, перестань!»

Ирина сказала: «Ты не обращай внимания! Я сама себя не понимаю. Глупо — разревелась, как девчонка. Но ты не подумай, что это от горя. Я еще никогда не была так счастлива! Слышишь меня — никогда!» По ее лицу все еще бежали большие частые слезы. Но, говоря с Володей, она улыбалась. Володя ничего не мог понять. Он несколько раз пробежался по комнате. Ему было страшно: никогда прежде он не думал о

том, что для него Ирина. Теперь, глядя на ее лицо, затуманенное и слезами и радостью, он вдруг догадался, что он приходил к Ирине совсем не потому, что она охотно выслушивала его рассказы. Ирина не Таня. Это не случайная связь. Кажется, никогда он не сможет от нее уйти!.. В его голове не было слов: он не пытался взвесить или определить. Он только чувствовал, что нечто очень важное неожиданно приключилось.

Он снова подошел к Ирине. Он начал ее целовать. Он целовал мокрые щеки, глаза, лоб. Потом он поцеловал ее в губы. Он откинул ее голову назад, и он целовал отрывисто, жадно, с каким-то веселым отчаяньем. На минуту высвободившись, Ирина прошептала: «Замолчи! ну, замолчи, милый...» Володя ничего не говорил — она путала поцелуи со словами. Она была без сил.

Володя сразу выпрямился. Он стоял посередине комнаты, высокий и нескладный. Он вынул папиросу, но не закурил. Он подумал: «Вот и катастрофа!» Он попытался отделаться шуткой: «Знаешь, Анатоль Франс говорил, что...» Не досказав, он выбежал из комнаты. В палисаднике на него сразу обрушился душный запах сирени. Он прикрыл лицо горячими сухими ладонями.

Он долго бегал по улицам. Улицы назывались по-разному, громко и торжественно: Красноармейская, Пролетарская, Интернациональная. Все они походили одна на другую: те же деревянные домики, те же лавочки у ворот, та же теплая пыль. В домиках кряхтели лишенцы: они терли мазью поясницу и заправляли лампадки. В домиках вузовцы зубрили оптику или патологию. Они украдкой читали стихи и писали любовные цидулки. Гришка спрашивал Рожкова: «Единственная — через два н?..» Навстречу Володе кидались то флаги, то черемуха, то парочки. Влюбленные шли, как на экзамен. Но глаза их не умели прикидываться. В этих глазах был ворох нежных кличек и вздохов, задыхание поцелуев, запах примятой травы, несколько рифм и несколько торопливых слезинок — все, чем жив обыкновенный весенний вечер. Володя бежал по улицам, а за ним бежала весна. Он чувствовал, что его глаза полны того же смятения. По его глазам всякий может догадаться, что он сдался на милость счастью, что он не одинокий чудак, не советский Печорин, но попросту вузовец, который целуется и сдает зачеты, который должен работать, жениться и жить. Так вот почему он боялся цветов!..

Он остановился, измученный, и присел на лавочку. Он хотел привести в порядок не только глаза, но и мысли. Он хотел понять, что с ним. Он думал, что мысли будут сложными и путаными. Но первое, что пришло в голову, было простым и в то же время решительным: он любит Ирину. Разгадка испугала его своей точностью. Но потом он вспомнил глаза Ирины и улыбнулся.

Однако не зря он готовился к мучительным мыслям: они пришли с небольшим запозданием. Они не касались ни его чувств, ни чувств Ирины. Он не гадал о том, любовь это или не любовь. На него накинудись другие мысли. Они снова погнади его по улицам: вниз, наверх, на горку, к реке. Старые татарки таинственно верещали. Овраг был заполнен огоньками, которые метались, как светлячки. Кто-то сказал: «Наденька, вот тебе слово, что не я!» Потом крестьянин в лаптях гнусаво провыл: «Гражданин, копейчку!» Потом звонили в церкви. Потом громкоговоритель зарычал: «По выполнению хлебозаготовки...» Володя все бежал и думал. Он думал не о любви, он думал о себе.

Когда наконец он осмелился свалиться на койку и вытащить из сундучка тетрадь, он уже знал все. Он сам прочел себе приговор, и, выслушав этот приговор, он прикусил губу, чтобы не расплакаться. Он старался сохранить спокойствие. Когда он раскрыл тетрадку, ему захотелось тотчас же выписать имя Ирины — тогда он услышит рядом ее тихое и нежное дыхание. Но он не поддадся соблазну. Он писал, не отрываясь до поздней ночи.

«Сегодня, в итоге некоторых событий, выяснилось, что я осужден. Началось все с разговора о каком-то поэте-рабфаковце. Тема сама по себе незначительная. Но она послужила проверкой многого. Если Ирина после этого разговора не прогнала меня, но даже сказала о своем счастье, это доказывает, что любовь лежит в ином плане. Конечно, Ирина живет чувством. Я старше ее, и я обязан думать за нас обоих. Разговор о рабфаковце принимает первостепенное значение. То, что мне рассказала Ирина, действительно трогательно и даже глубоко. Я ей ответил чересчур резко. Возможно, что это от ревности: меня обидело, что такой рабфаковец мог ее взволновать чуть ли не до слез. Но дело не в тоне. От главного я не отрекаюсь: я глубоко безразличен к такой жизни. Что для меня этот Сенька? Нечто вроде Рожкова, который сейчас лежит рядом со

мною. Разве я могу поручиться, что Рожков не пишет стихов? Отнюдь нет. Это вовсе не звери. Это люди. Но это люди иного класса, а следовательно, иного душевного возраста. В чем я их упрекаю? Только в том, что они младенцы. Официально им двадцать лет, и они «строители новой жизни». По моим соображениям, им от трех до семи лет, и они учатся грамоте. Это не мои сверстники, и мне с ними нечего делать.

Тетка говорила, что отец тоже не мог ни с кем ужиться. Он все время ругал губернатора, чиновников, купцов и пр. Но он жил среди подобных себе. Он был несколько честней их и поэтому возмущался несправедливостью. Он мог работать. Он мог не соглашаться и спорить — ему было с кем спорить. Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни. Искренне я пишу только дневник.

Живи я сто лет тому назад, я был бы вполне на месте. Я тоже презирал бы людей. Но это были бы существа моей породы. Нельзя презирать пчел или дождь. Притом я не имею никаких прав на презрение. Будь у меня поэтический талант или хотя бы воля, достаточная, чтобы совершить какой-нибудь безрассудный поступок, я был бы вправе презирать всех этих Рожковых. Но, видно, я заурядный человек. По классовому инстинкту или по крови, или, наконец, по складу ума я привязался к культуре погибающей. Значит, для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой». Она не стоит разработки. Конечно, в иную эпоху человек мог любоваться горными вершинами, не думая, выйдет ли из этого ландшафта хороший чугун. Лермонтов на Кавказе отыскал не руду, но демона. Что же, для всего свое время! Владимир Сафонов осужден историей, как несвоевременный феномен. Ему остается ждать другого суда, менее эффектного. Во всяком случае, впереди у меня мрак. Отсюда прямой вывод: я не имею права губить Ирину.

Я говорю не о моральном праве. Какой-нибудь Рожков верит в пролетарскую мораль (причем эта мораль меняется в зависимости от последних установок). Профессор Шологин ходит в церковь из протеста: он считает, что революция поставила у власти хамов, что хамы отобрали у него дом и что поэтому он должен класть поклоны перед каким-то плюгавым попиком. Нечто вроде тунгусов! Я понимаю, что мораль христианства по-своему высока. Но для меня это такой же вздор, как теле-

фонный справочник на 1916 год. Говорят, что профессор Шологин бережет этот справочник и читает его, как Евангелие. Однако по старым номерам никого не вызовешь: ни культуру, ни господ-бога, ни городского.

О какой же морали может идти речь? Отец не верил ни в бога, ни в Маркса. Но у него еще что-то получалось. Он говорил: «нехорошо». Следовательно, он подозревал, что именно хорошо. Это была интеллигентская мораль: смесь Льва Толстого и либеральных газет. Мне даже этого не досталось. Если у меня имеются единомышленники, мы вправе претендовать на звание «беспризорных».

Когда я говорю, что не имею права губить Ирину, я не исхожу из каких-то абсолютных норм. Дело много проще. Мне неприятно об этом писать: я ведь начал дневник для борьбы с обязательным младенчеством, а вовсе не для сентиментальных излишаний. Но все же следует признать, что речь идет о чувствах. Будь на месте Ирины Таня или еще кто-нибудь, я спокойно проделал бы все, а потом ушел бы. Ну было бы неприятно, и только. В конечном счете я не скопец и это, увы, не первое увлечение. Но сегодня я понял, что Ирина мне бесконечно дорога. Говоря откровенно, это единственное, к чему я привязался. Некоторые слова очищены долгим молчанием. После «Собачьих переулков» и «девах» Рожкова, я могу, не стыдясь, сказать, что я Ирину люблю. Именно любовь запрещает мне быть счастливым. Конечно, Ирина куда тоньше других девушек, которых я здесь встречал. Она любит Блока, а не Жарова, — это уже достаточно, чтобы почувствовать одиночество. Но все же Ирина веселая, живая девушка. Она прекрасно уживается со своими товарищами. Ее может растрогать какой-нибудь Сенька. Никто ей не скажет, что она «изгой». Она крепко стоит в жизни. Неужели я потащу ее туда, где я сам вижу только смерть, даже без красивого жеста? Если бы я был туберкулезным, я никогда не осмелился бы ее поцеловать. Но ведь моя болезнь еще страшней. От туберкулеза лечат, а от этого нет лекарств. Ирина мне доверяет. Я никогда не забуду, какими глазами она сегодня смотрела на меня. Она сама на грани — нельзя безнаказанно читать дневники Блока, а потом идти на взаимную чистку! Мне легко передать ей мою болезнь. Возможно, что в социальном плане я негодяй. Но в любви я стараюсь быть честным. Никогда я еще не писал так глупо! Это сбивается на дневник влюбленной девчонки. Недостает



только поставить инициалы или нарисовать бронzenное сердце. Но от таких вещей никто не защищен.

Прощай, Ирина! Прощай, любимая!

Володя провел три дня, ни с кем не разговаривая. Он сидел над учебниками или бродил один по окраинам. Он не вынимал из сундука тетрадки. Он решил пережить испытание сухо и молча.

На четвертый день случайно он встретил Ирину. Она его окликнула: «Володя, ты что же не приходил?» Он смутился: «Очень занят был — сразу два зачета...» Ирина позвала его к себе: «Я иду домой». Володя подумал: отказаться глупо. Надо побороть чувство, даже оставаясь с ней.

Они пили чай. Володя пробовал шутить. Ирина один раз засмеялась, но тотчас снова стала серьезной. Она чего-то ждала. Володя это чувствовал и пуще всего боялся молчания. Он говорил без умолку. Казалось, все в тот день его занимало. Он говорил не только о пьесе «Швейк», которую ставили в местном театре, но даже о пуске кузнецкой домы. Он рассказывал Ирине, как смешивают кокс с рудой. Говоря это, он вспомнил о пустой породе и невпопад заметил: «Получается шлак».

Ирина его не прерывала. Она не попробовала заговорить о другом. Но она чего-то ждала, и, не вытерпев паузы, Володя вскочил: «Мне пора заниматься». Ирина его не удерживала. Она проводила его до двери. Неожиданно в сенях они заговорили. Они говорили так долго, что на голоса выбежала соседка Ирины Гвоздева. Тогда они вернулись в комнату Ирины. Говорил Володя. Ирина иногда подсказывала слова, иногда, вбирая в плечи голову, она тихо переспрашивала: «Разве?» Володя поспешно отвечал: «Разумеется».

Это был странный разговор. Не его ждала Ирина. Его не предвидел и Володя. Он начался с вопроса Ирины: «Когда же ты теперь придешь?» Володя увидал перед собой глаза Ирины, как в вечер их первого объяснения. Ему захотелось поцеловать Ирину. Это желание было внезапным и острым. Володя понял, что он слабеет. Тогда-то он резко ответил: «А зачем придеть? Глупо! Когда я тебя поцеловал, ты расплакалась. Ты меня прости, но я все же мужчина».

Потом Володя сам не мог понять, почему он это сказал. Он хотел резкостью оттолкнуть от себя Ирину. Но чувство оказалось достаточно сильным. Он был сбит с толку. Он думал, что грубыми словами он ее расхолодит. Выходило наоборот: он на-

стаивал на любви. Ирина робко положила свою руку на его ладонь: «Ты не должен на меня сердиться. Я не потому плакала. Я сама не знаю, как тебе объяснить. Может быть, это инстинкт. Во всяком случае, это глупо. Ты знаешь, все эти дни я так ждала тебя!..»

Володя вздрогнул. Он чувствовал себя разбитым. Он не отдернул своей руки. Он готов был здесь же, среди ящиков и щеток, поцеловать Ирину. Но он совладал с собой: «Напрасно ты мне доверяешь. Возможно, что с моей стороны это только минутное увлечение. Если я расскажу тебе про мой донжуанский список, ты сразу меня прогонишь. Я не умею любить. У меня с одной стороны философия, а с другой животре чувство. Мне гораздо лучше спутаться с какой-нибудь «девахой», как говорит Рожков. Я буду для нее двадцатым, а она для меня двадцать первой». Он долго говорил. Он старался очернить себя. Он уверял, что он никого не любит. Но неожиданно он сказал: «Если я эти дни и думал о тебе, то только потому, что я тебя ненавижу». Тогда-то высочила Гвоздева, и Ирина сказала: «Пойдем ко мне. Здесь неудобно разговаривать». Володя спросил: «Стоит ли? Кажется, договорились...» Но Ирина взяла его за руку и повела по темному коридору. Она не знала, что ей думать о словах Володи. Она готова была поверить, что он ее не любит, что он любит Варю или другую женщину, что в тот вечер он просто над ней посмеялся. Но когда Володя сказал, что он ее ненавидит, она вздрогнула и в темноте едва приметно улыбнулась: ей показалось, что она спасена. Володя говорил ей неправду только потому, что он очень горд.

Володя продолжал говорить с той же злобой. Теперь он доказывал, что любовь устарела. «Кто еще способен влюбляться? Разве что профессор Шологин. Или твой рабфаковец: они ведь подражают античным образцам. Человеку теперь не до любви. Он отливает чугуна, а время от времени совокупляется».

Ирина наконец не выдержала. Она была измучена непонятной ей жестокостью. Она тихо сказала: «Володя, да ты не то говоришь. Я ведь знаю, что это не так. Я не могу с тобой спорить. Я очень устала за все эти дни». Тогда Володя собрался с силами. Он нарочито медленно закурил папиросу и совсем спокойно, так, как он обычно разговаривал с товарищами, сказал: «Ты совершенно права. Все мои разговоры о ненависти — аффектация. Просто со скуки. Когда-то были ряженые. Теперь

приходится довольствоваться монологами под Шекспира. На самом деле я к тебе равнодушен. А так как ты ждешь другого, нам лучше не встречаться. По крайней мере, в ближайшее время. Советую взять себя в руки. Заняться чем-нибудь другим. Например, стихами Сеньки. Или, еще лучше, вопросом о выплавке чугуна».

У него хватило сил договорить это до конца, пожать холодную руку Ирины, спокойно выйти на улицу, даже медленно дойти до угла. Он шел, как заводной, — ему казалось, что Ирина еще смотрит на него. На углу его походка сразу переменилась. Он побежал. Лицо теперь выдавало муку. Он забыл бросить папиросу, и он размахивал рукой с окурком. Он бессмысленно повторял: «Ирина, ну Ирина, ну!..» Он производил впечатление пьяного, и какой-то прохожий брезгливо на него покосился. Он не помнил, как он прошел к себе, как без сил свалился на койку. Он подумал в чаду: может быть, уснуть?.. Но тотчас же он привскочил и снова начал бормотать. Впервые он не замечал, что вокруг него люди. Он забыл о гордости. Он сидел на койке, обняв руками колени, и медленно раскачивался. Может быть, движениями он хотел утишить боль. Его лицо то и дело скашивала судорога.

Петька Рожков сначала прикинулся спящим. Он знал, что Володя скрытен, и старался не глядеть на соседа. Но вскоре Петька услышал бормотание. Он привстал и поглядел на Сафонова. Он увидел глаза, мутные от горя. Тогда он тихо подошел к Сафонову и сказал: «Брось, Володька! Если с девахой что — не стоит, уладится. Ну перестань ты! Нечего расстраиваться!» Слова едва доходили до Володи. Он ничего больше не понимал. Но когда Рожков дружески хлопнул его по спине, он не выдержал и заплакал.

9

«Володя, дорогой мой! Я сама не знаю, зачем я тебе пишу. Я уже тебе писала много раз, но рвала письма. Не знаю, отправлю ли это. А вот нет сил удержаться — когда я пишу тебе, мне кажется, что ты рядом. Не смейся — это не от меня зависит! Я стараюсь быть сдержанной и не вспоминать о прошлом. Я и сейчас решила писать тебе обо всем, только не о любви.

Прежде всего я хочу рассказать тебе о моих планах. Я, наверное, скоро уеду из Томска. Я хочу учительствовать где-нибудь на стройке. Это вместо «чистой науки», о которой ты мне говорил, как о единственном достойном. Представляю, как ты сейчас иронически улыбаешься. Может быть, ты даже вспомнишь, что сказал об этом Анатолий Франс?.. Только, пожалуйста, не думай, что я ухожу в работу от несчастной любви, как тургеневские героини уходили в монастырь. Я иду навстречу жизни, и я никак не обольщаюсь насчет того, что мне предстоит. Это не тихая обитель, но настоящее пекло. Работа трудная и неблагодарная. Но все же я склоняюсь к этому решению. Я тебе расскажу все, что я передумала за это время. Ты выслушай, а потом скажи, глупо это или нет.

Ты знаешь, я часто думаю — в какое великое время мы живем! Это не слова из газеты, но мое чувство. Когда я в кино увидела «Турксиб» — как старый киргиз встречает паровоз, я чуть было не расплакалась: так это прекрасно! Ты всегда издевалась над «чугуном». Недавно я познакомилась с одним комсомольцем. Он проработал год на стройке. Хороший парень, толковый, не хвастается, видит все, как есть. Он рассказал мне о Кузнецке. Это как сотворение мира. Все вместе: героизм, рвение, жестокость, благородство. Страшно подумать, в каких условиях они работают! Почему ты можешь понять красоту этого, когда ты об этом читаешь в книге, как о далеком прошлом, а того, что рядом с тобой, ты не видишь?

Есть у нас такие блаженные (или ловкачи) — они замечают только хорошее. Читают в «Известиях», сколько тонн чугуна отлито, и улыбаются. Возьми Вадима — ты его тоже знаешь. Его считают прекрасным спецом. А по-моему, он дурак или прикидывается. Я с ним как-то шла вечером, попала в лужу — вода по колени. Я, конечно, выругалась: «Черти, досок не могут положить!» А он говорит: «Как вы можете обращать на это внимание? Если у нас грязь, то ведь это потому, что мы строим». Как дятел! Забыл даже, что он не в Новосибирске, а в Томске и что здесь ничего не строят. Или я рассказала при нем о Федотове. Это возмутительный случай! Он влюбился в девушку из детдома. Девушке этой 18 лет. Они решили пожениться. А Павченко приревновал и объявил, что Федотов в качестве инструктора «развращает малолетних». Федотова вычистили из комсомола. Два месяца просидел. Потом все от него отшатнулись. Словом, зарезали парня. Так вот я рассказываю

об этом, а Вадим говорит: «Почему вас интересуют подобные мелочи? Что представляет один такой случай рядом с ростом миллионов?» И пошел, пошел. Я таких презираю. Это, по-моему, не борцы, но настоящие оппортунисты.

С другой стороны — ты. Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка происходит не в прекрасной чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я и считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться или рассказывать шепотом какие-то глупые анекдоты.

Ты пойми — меня возмущает несоразмерность. С одной стороны, эпоха требует от нас чего-то большого. Я убеждена, что внуки нам будут завидовать. С другой стороны, я вижу ужасные будни. О чем мечтает такой Вадим? Получить заграничную командировку и закупить в Берлине разного тряпья. Гвоздева говорит: «Вот поеду в Кузнецк — там у итээров замечательная столовая — каждый день мясо». На занятиях девочки только о том и толкуют, что Женьке муж прислал из Москвы шелковое платье и т. п. Это отвратительно! Но по-моему, ты делаешь то же самое. Только ты культурней, тоньше и тебя занимают не галстуки и не столовка, а твои собственные переживания. Есть у нас люди, которые брезгают есть в столовке. Это легко понять — такая грязь, я и сама до сих пор не могу привыкнуть. Но вот ты брезгаешь не есть с другими, а жить. Это, Володя, страшно!

Ты скажешь, что я повторяю чужие слова, что меня завели, как патефон, и т. д. Но посуди сам — кто мог мне это внушить? Ребята сами не успевают все как следует продумать. Если я пришла к таким мыслям, то в этом повинна только жизнь. Да еще, может быть, ты. Смеешься? Возмущен? Бегаешь по комнате и бормочешь: «Ну-с, еще что?..» Милый, я тебя представила, и так захотелось хоть немного побыть с тобой! Ведь я тебя не видала четыре месяца, если не считать того раза, летом, возле библиотеки. Но погоди, я теперь говорю о другом. Это не шутка — в моем повороте отчасти повинен и ты. Ты, наверное, не подозреваешь, скольким я тебе обязана. Когда ты рассказывал, я чувствовала, как я расту. Ты

дал мне куда больше, чем школа или книги. Ты научил меня ненавидеть все пошлое и низкое, как ты это сам ненавидишь. Тогда я и задумалась — откуда такая тоска?..

Ты ответишь, что люди всегда пошляки, что прекрасны только исключения и что «нельзя строить общества на подчинении меньшинства большинству». Так ты мне сказал в роще, когда мы говорили о стихах в «Красной нови». Тогда я ничего не сумела ответить — ты меня застал врасплох. Но теперь я знаю, что ты не прав. Людей можно переделать. Все то низкое, что творится вокруг, происходит от невежества одних, от трусости других. Гордина с утра до ночи полирует ногти — она убеждена, что это и есть культура. Лена объявила мне, что Маяковский «ерунда на постном масле». Бривцов хвастается, что он умеет «срывать зачетики», а сам «ни в ус». На пьянке у Чистяковых хотели изнасиловать Егорову. Причем Чистяков доказывал, что Егорова — дочь служителя культа и «не понимает пролетарской установки». Примеров можно привести тысячи. Но от чего это? От того, что низка социалистическая идея? Или от того, что люди еще полны старой низости? Здесь не может быть двух ответов! Я хочу со всеми бороться и со всеми ошибаться, но только что-то делать, а не сидеть сложа руки!

Когда я тебе рассказала про Сеньку, ты начал издеваться. Потом я нашла у Пастернака, в той книге, которую ты мне подарил, замечательные стихи: «Так начинают года в два, от мамки рвутся в тьму мелодий...» Помнишь? Почему ты понял это в книге, а когда это приключилось рядом с тобой, в городе Томске, ты счел нужным сказать с иронией: «Сень-ка но-эт?..»

Это первое письмо к тебе без клякс. Я пишу и не плачу. Прежде не могла: только подумаю о тебе — как будто кран открыли. Теперь я нашла в жизни какую-то опору. Я не скажу тебе, что я счастлива, — зачем врать? Я очень страдаю, и я не могу отделаться от моего чувства. Но я увидела, что нельзя замкнуться в своем горе, — это смерть. Отсюда мое решение заняться общественной работой и пр. Но, конечно, я еще не стою крепко, то и дело шатаюсь. Надеюсь, что стану умней и выдержанней. Пока во мне все двойится. Я вот начала это письмо чуть ли не с барабана, а сейчас сбиваюсь на есенинскую гитару. Обещала вначале ничего не писать о любви, а возвращаюсь к тому же. Но что тут поделаешь? Это, как говорит наша

уборщица Шура, «бабьи слезы». Может быть, для вас это легче. Я вот после того разговора в снях целый месяц ходила как потерянная. Девчата спрашивают: «Ты что это все шепчешь?» Я не понимаю и смеюсь. Хочется плакать, но гордость мешает, говорю: «Смешно!»

Я тебе скажу откровенно, Володя, что меня мучает. Минутами я начинаю во всем сомневаться. Мне кажется, что в последний вечер ты передо мной ломался. Ты прости это грубое слово. Но как иначе определить? Когда я думаю, что, может быть, ты ко мне не так равнодушен, как сказал, я совсем теряю голову. Мне тогда хочется побежать к тебе и сказать: «Вот видишь — я все поняла!» Конечно, я не имею на это никакого права. Я знаю, что ты меня не любишь. Иначе, как бы ты мог встать и уйти? Потом — ни слова. Когда встретились возле библиотеки, притворился, что не узнаешь. Все это так. Но иногда мне кажется, что ты ко мне немного привязался. Ты ведь очень одинок! Как же я могу тебя оставить? Конечно, с моей стороны это сумасшествие, после того, как ты определенно заявил, что я тебе «ни к чему». Но я в данном случае не рассуждаю. Я говорю только то, что у меня на сердце. Если бы я могла угадать твои мысли!.. Я согласна на обиды, на издевку, на все, что угодно, только чтобы отогреть тебя. Да, Володя, с любовью это не так просто!..

Я перебираю в памяти все, о чем ты тогда говорил, и я никак не могу успокоиться. Вот ты рассказал о каком-то «списке» — что у тебя было много любвей. Я не знаю, правда ли это или ты нарочно придумал, чтобы меня обидеть. Но знаешь — мне это все равно. Я не отрицаю, что я способна на ревность. Это ужасное чувство, но оно еще крепко в нас сидит. Когда ты одно время часто встречался с Варей, я у себя втихомолку плакала. И все же, какая это ерунда по сравнению с самой любовью! Потом, как я могу тебя ревновать к прошлому? Ты всего на два года старше меня, но когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка. Я знаю, что у тебя позади целая жизнь. Если ты любил других женщин, я не понимаю только одного. Ты мне сказал, что ты не умеешь смеяться. Неужели ни одна из этих женщин не смогла тебя утешить, обрадовать, развеселить? Здесь что-то не так! Может быть, ты их любил, а они тебя не любили. Или наоборот. Но только я убеждена, что настоящая любовь сильнее и твоей иронии, и даже самого мрачного характера.

Сильней любви разве что жизнь... Я тебе никогда не говорила про Юру Шестакова — это мой «список», как видишь, он недлинный. Когда мне было пятнадцать лет, я была влюблена в Юру. Мы вместе учились в семилетке. Когда мы оставались с ним вдвоем, мы или готовили уроки, или играли в такие игры, где надо ответить «кого любишь». Один раз на лестнице он меня поцеловал в губы и сам перепугался. Мы оба были детьми. Потом мы кончили школу и больше не встречались. Юра умер прошлой весной от тифа. Я случайно узнала. Прибежала на похороны. Мне казалось, что я потеряла самого близкого человека: у меня до тебя никого не было. Даже подруг. Потом я часто приходила на могилу Юры — там мне легче было о многом думать. Вот позавчера я шла с вокзала мимо кладбища и вдруг вспомнила, что с тех пор, как я с тобой познакомилась, я не была на могиле Юры. Я пошла на кладбище. У Юры вместо креста на могиле сердце — это его мать так захотела. Я увидела сердце, и мне стало не по себе. Я презирала любовь — это только красивое слово или вот сердечко из дерева. Но потом я подумала о том, что детство прошло, что надо учиться, жить, работать, — и тогда мне показалось, что я перед Юрой не виновата. Я даже подумала о тебе, и когда я заплакала, я сама не знала почему: оттого, что мне жаль Юру, или оттого, что я вспомнила, как ты мне сказал: «Человек теперь не может любить».

Володенька, ведь это неправда. Человек теперь может любить, и он может любить еще лучше, чем раньше. Конечно, не потому, что легко развестись, или потому, что девушки стали «сговорчивей», как у нас думают некоторые. Все это низость! Но жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить! Наверное, куда трудней, чем раньше. Но зато и любовь эта выше.

Вот ты говорил: «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это вовсе не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они действительно только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сенька «рвется в тьму мелодий», так сейчас рвутся все — выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь. Я не



знаю, сумела ли я это тебе высказать, но я это глубоко чувствую. Мне кажется, что, поворачиваясь к грубой работе, я не изменяю любви. Нет, я еще больше тебя люблю! Я так люблю тебя, мой бедный мальчик, так люблю, что сейчас я, кажется, готова...»

Это письмо не было ни дописано, ни отослано.

10

Они познакомились на докладе профессора Зарьялова: «Перспективы черной металлургии». Ирина слушала доклад внимательно, но ей трудно было сосредоточиться. Зарьялов иногда пробовал шутить, однако Ирина ни разу не улыбнулась. Ее лицо выдавало напряжение. Ей казалось, что профессор говорит о вещах загадочных и далеких.

Ирина полагала, что она обязана интересоваться всем. Она не пропускала ни лекции Горнштока о проблеме жизни на других планетах, ни очередного диспута о целесообразности изготовления бумаги из водорослей, ни доклада Белоусова о изобретении латинского алфавита в обиход ойратов. Она смутно надеялась, что эти старые и мудрые люди расскажут, как надо жить.

Она аккуратно читала газеты. Она читала и книги. Но эта напечатанная правда была для нее слишком общей. В ней не чувствовалось ни дрожи человеческого голоса, ни возможности снисхождения, ни понимания того, что люди отличны друг от друга и что жизнь это не прямое шоссе, но миллионы троп, которые идут через густую тайгу.

Правда, помимо книг у Ирины был живой учитель — Володя. Но она боялась его слов: Володя надо всем смеялся. Както он написал в ее тетради: «Ты меня спрашиваешь — как жить? Спроси лучше об этом Луначарского. Или гадалку. Что касается меня, то я постараюсь ответить тебе вполне серьезно: живи несерьез! Лучше обкрадывать анонимного автора, нежели Безыменского. Поэтому, если ты должна кому-нибудь подражать, я тебе советую подражать соловью, а не граммофону. Кто придумал соловья — ты не знаешь. Но граммофон придуман американцем Эдисоном и достаточно распространен, как в цивилизованных, так и в полудивицизованных странах».

Ночью Ирина долго не могла уснуть: она думала о том, что Володя написал в тетрадке. Ей казалось, что она погружается в какую-то горячую темную жизнь. Странные, сбивчивые звуки — это и есть птичий язык, который непонятен человеку. В испуге она повторяла привычные ей слова: «Володя... уснуть... лекции... Лена...» Но это ее не успокаивало. Тогда она встала, зажгла свет и недоверчиво взяла в руки тетрадь. Она увидела не слова, но почерк, ровный и все же напряженный. Только концы строк, неожиданно спадавшие вниз, выдавали волнение. Ирина не перечла написанного — она знала все наизусть. Она вытянула листок из тетради и немного замешкалась. Но потом она его разорвала. Так вечером она выносила из комнаты черемуху или жасмин, выносила с жалостью и с опаской, зная, что от цветов болит голова и что ночью человек беззащитен. Она легла успокоенная и быстро заснула. Это было давно — тогда Володя еще приходил к ней.

Профессор Зарьялов долго говорил о будущем Кузнецка. На юг от Тельбесса находят еще малообследованные пространства. По данным разведки, там имеются огромные залежи руды. Возможно, что через несколько лет Кузнецк перестанет нуждаться в уральской руде. Дальше Зарьялов приступил к характеристике пород, и здесь-то Ирина, на минуту забывшись, потеряла нить его слов. Произошло это потому, что Зарьялов упомянул о «пустой породе». Ирина вздрогнула: об этом говорил и Володя в тот последний вечер!.. Она досадливо нахмурилась: ей показалось недостойным и унижительным во время серьезной лекции думать о своих мелких невзгодах.

Она снова внимательно слушала, но теперь она плохо понимала. «Четыре процента кремния представляют собой...» Ирина вдруг почувствовала, что она зевает. Она покраснела от смущения. Невольно она вспомнила о том, что сегодня она встала в шесть: надо было приготовиться к немецкому. Она, наверное, не выспалась.

Рядом с Ириной сидел Блюм. Он что-то писал. Ирина решила, что он записывает доклад, и поглядела. «Как будто я не вижу, как ты вешаешься на шею Левке!..» Тогда Ирине стало снова стыдно за свою слабость. Она тоже думала о Володе!.. Для кого же говорит Зарьялов?.. Растерянно она оглянулась. В заднем ряду она увидела лицо, которое ее поразило. Вернее было бы сказать, что поразили ее глаза, радостные и возбужденные, — лица разглядеть она не успела. Она тотчас же

отвернулась и до конца доклада просидела не шелохнувшись, как пристыженная школьница.

Когда доклад кончился, она сразу узнала человека, глаза которого ее так поразили. Он теперь с жаром говорил соседу: «Вот и в Темир-Тау много руды...» У выхода слушатели долго толпились. Ирина оказалась рядом с незнакомцем. На улице было темно и тепло: стояла пригожая сибирская осень. Под ногами уютно бормотали листья, а звезды были ясные, раздельные и сосредоточенные.

Он спросил Ирину: «Товарищ, как мне на Красноармейскую пройти?» Ирина ответила: «Направо. Да и мне туда же. Я вам покажу». Они разговорились. Он сказал, что он комсомолец. Работает в Кузнецке. Приехал сюда на десять дней — партийное совещание. Потом, вспомнив о докладе Зарьялова, он начал рассказывать, какие в Кузнецке замечательные домны.

Он говорил, захлебываясь от счастья. Все его волновало: и то, что профессор сулил Кузнецку великое будущее, и то, что рядом с ним идет милая девушка, которая внимательно его слушает, и то, что вокруг него большая строгая осень, звезды, голоса расходящихся по домам вузовцев, огоньки в окнах, теплый ветер, молодость. Больше всего его волновало новое чувство: он как будто попал в иную страну. Он не слышал скрежета воздухоудки. Он не видел перед собой оранжевого зарева. Здесь не было ни кранов, ни землянок, ни напряжения. Люди здесь листали толстые книги, слушали в аудиториях лекции, бродили по роще и о чем-то подолгу спорили. В этом странном и чужом мире он чувствовал себя посланцем Кузнецка. Это происходило не от скромного мандата, который он сдал для прописки, но от сознания, что он — один из кузнецких строителей. Ему хотелось рассказать этим спокойным людям о кауперах и о бараках, но он был застенчив: начиная говорить, он тотчас же замолкал. Сегодня вечером ему выпало двойное счастье. Сначала перед притихшей аудиторией знаменитый профессор восторженно говорил о Кузнецке, о домнах, о чугуне. Потом, в темноте этой теплой ночи, он наконец-то нашел человека, способного его выслушать и понять.

Они дошли до Красноармейской. Ирина сказала: «Вы очень интересно рассказываете. Хотите, дойдем до того угла?» Они прошли и до того угла, и до следующего. Они ходили взад и вперед по пустой и тихой улице. Он говорил о жестоком холоде

и о воле людей: «пятьдесят мороза»... Хоть и тепла была ночь, Ирина ежилась: не то она чувствовала на лице холод железных листов, не то ее пугали слова о людях, которые умеют так бороться. «Наш бригадир влез на каупер. Все думали — сорвется. В такой-то холод! Шапка у него упала. Значит, без шапки. Целый час он там пробыл. У него сначала голова закружилась. Удержался. И так, знаете, ему было весело наверху, так весело, что и не расскажешь...» Ирина остановилась. При мутном желтом свете, едва доходившем из окошка, она пыталась разглядеть глаза собеседника. Это были те же глаза, которые ее смутили во время доклада. В тревоге она спросила: «А это не вы были? То есть я хотела спросить — это не вы тот бригадир?..» Ему стало не по себе. Он сразу превратился в хвастунишку, который рассказывает девушке о своих подвигах. Он ответил сухо: «Ну, что вы! Это Андрюшка. Мой товарищ. Да я вам вовсе не о людях рассказывал. Я вам хотел объяснить про кауперы. А теперь, знаете, поздно. Пора и по домам!»

Попрощавшись, он вдруг вспомнил, что не спросил даже, кто она. Он усмехнулся: зачем ему это?.. Но все же он окликнул Ирину, которая еще стояла на крыльце. «Вот, товарищ, я и не знаю, как вас звать? Я не из любопытства. Но только я здесь еще останусь деньков шесть или семь. Может быть, и увидимся...» Ирина поспешно сказала: «Обязательно! Вы в котором часу освобождаетесь?.. Вот и приходите. Я вам Томск покажу. Особенно глядеть нечего, но все-таки интересно. Это номер восемь. Третий дом от угла. А зовут меня Ирина Коренева. Запомните?» Он широко улыбнулся: «Значит, до завтра! Я вам и не сказал, кто я, то есть имя. Ржанов. Колька».

На следующий день Ирина повела его по горбатым улицам Томска. Она говорила важно, как директор музея: «Здесь был дом декабриста. Я забыла имя. Он недавно сгорел. Вот поглядите, какой смешной мезонин! А здесь в пятом году помещалась большевистская типография. Доску хотели прибить. Мне вот нравятся такие старые домики. Как старушки. Сгорбились. Кажется, подуешь — и упадет. Я люблю вечером заглядывать в окна. Это, конечно, не очень-то похвально. Но трудно удержаться. Кажется, поглядишь — и сразу станет понятно, как живут люди. Только обыкновенно — тоска. Сидят, зевают, пьют чай или еще ссорятся. Иногда страшно от бед-

ности. А иногда даже бедности не замечаешь, только скука. Какая-то бессмыслица!..» Колька усмехнулся. «Этого у нас на стройке нет. То есть бедности сколько угодно. Даже не понимаешь, как еще люди держатся. А скуки вы у нас не найдете. Чаю 'попить и то не успеваешь. А если уже выпадет свободная минута, это такое наслаждение!.. Вот как я здесь. Мне ваши говорят: «В Томске со скуки все мухи сдохли». А мне весело. Я даже с вами согласен, что эти домики очень хорошие. Конечно, надо бы построить что-нибудь поновей. Но пока стоят — интересно и на них поглядеть. Это оттого, что для меня такая жизнь, как 'выходной день. Для меня Томск и не город, а сплошной университет. Вузовцы вчера жаловались: «Тесно, шумно». А по-моему, тишина прямо как на лекции. И места много. А времени — сколько хочешь. Я здесь за три дня столько передумал, сколько в Кузнецке и за год не передумаете. Но, правду сказать, — не сидится. Хочется туда. Вот я утром проснулся, и сразу — как это там ребята?.. Ведь у нас скоро должны вторую домну пустить...»

Он не вытерпел и снова начал говорить о своем любимом деле. С удивлением Ирина чувствовала, что рассказы Кольки ей кажутся увлекательными, что ей хочется самой поглядеть на эту необычайную жизнь. Она несколько раз бывала на спичечной фабрике возле Томска. Там все ей казалось понятным, даже приветливым: запах свежераспиленного дерева, большие печи, похожие на те, в которых пекут пироги, этикетки, пестрые, как переводные картинки. Батальоны спичек послушливо передвигались, потом они надевали шапочки. Проверив спичку, мастер искоса глядел на крохотный огонек. Дерево было Ирине родным и близким. Но когда Володя ей рассказывал об уральских заводах, она сразу становилась грустной. Она чувствовала, как в ее глаза летит черная пыль, как уши заполняются грохотом, как жжет лицо ужасный огонь. Когда она была еще маленькой, соседка Иванова повела ее в церковь. Ирина увидела на стене огонь и чертей. Она расплакалась. Ей казалось, что плавильные заводы похожи на тот ад. Ее смущало и то, что она не могла себе представить вещей, ради которых столько страдают эти люди. Когда же она их представляла, они ее не радовали, но пугали. Это не были ни спички, ни ситец, ни чашки. Она видела то снаряды, то рельсы с их визгливым напоминанием о близкой разлуке, то листы толя, стальные кубы и жестокую неумолимую проволоку.

То, чего не могли сделать газеты, сделал Колька. Когда он упомянул о Магнитогорске, Ирина шутливо его перебила: «Да ваш Кузнецк это и есть магнит. Я уже чувствую, как меня тянет...»

Ирина по-прежнему думала о Володе, но встреча с Колькой укрепила в ней волю к жизни. Может быть, она и написала последнее письмо Володе только потому, что почувствовала в себе новую силу. Из-за Кольки она написала это письмо. Из-за Кольки она его и не отправила. Она не хотела жить прошлым. Она начала готовиться к переезду: она решила стать преподавательницей в кузнецком ФЗУ. Володя оставался «любимым» — засыпая, Ирина все еще говорила с его тенью. Но он не был больше учителем. Она теперь сомневалась и спорила. Шепот был нежен, но она не уступала.

Она каждый день встречалась с Колькой. Они уже говорили друг другу «ты». Ее удивляла его сила. О чем бы он ни говорил, в его словах всегда была уверенность. Он не прикидывался всезнайкой. Он охотно признавал, что он не прав. Но даже когда он говорил «этого я не знаю» или «ну и сел в лужу» — в его голосе слышалось веселье. Все ему было интересно, и все он воспринимал не так, как Ирина. Она ему пересказала некоторые истории, которые она услышала от Володи. Ей казалось, что эти рассказы грустны и безвыходны. Но Колька, слушая, усмехался: «Здорово!..» Тогда она вдруг начинала сомневаться: да полно, правда ли, что все это так мрачно?..

Володя как-то сказал Ирине, что его преследует биография одного немецкого композитора. Ирина забыла имя. Этот композитор написал замечательную симфонию. Он был беден и продал симфонию какому-то бездарному дилетанту. Когда симфонию исполняли впервые, зал безумствовал: люди плакали от счастья. Они вызывали автора. Дилетант застенчиво улыбался. Старик поцеловал его руку. Женщины кидали ему цветы. Он вышел из зала с красивой девушкой. А в темном зале все еще плакал бедный композитор. Служители думали, что он плачет, умиленный гармонией. Но он плакал оттого, что он увидел, до чего жестока жизнь. Ирина сказала Кольке: «Правда — настоящая трагедия?» Но Колька пожал плечами: «Конечно, свинство, что надули. А трагедия я здесь не вижу. Трагедия была бы, если бы тот негодяй изорвал ноты. А ведь композитор своего добился: он хотел что-то рассказать людям, и он рассказал. По-моему, это главное. А кому руку

поцеловали — это ерунда. Это вопрос самолюбия. Возьми Кузнецкий завод. Разве дело в том, кто составил проект? Важно, что завод по этому проекту построили. Ты, Ирина, все усложняешь!..»

Ирина была озадачена. Ответ Кольки ей казался и чересчур детским, и в то же время чересчур умным. «Ты все как-то странно берешь. Я не могу тебя понять: ты фанатик или ты, правда, по-другому видишь?.. Вот мне интересно, что ты на это скажешь. Мне один знакомый сказал, что лучше подражать неизвестному автору, чем Безыменскому. Или, говоря иначе, лучше подражать соловью, чем машине». Колька рассмеялся. «Почему тебе приспичило подражать? Машина — это машина. Это для дела. А соловью пусть соловьи подражают. Есть такие охотники: они даже привозят голосистого. Вроде как соловьиный вуз. Кому же человеку подражать, как не человеку? Вот ты сказала — Безыменский. Конечно, живи теперь Пушкин, он не стал бы подражать Безыменскому. А наоборот, по-моему, не мешало бы...»

Он немного помолчал, а потом, улыбаясь, уже совсем по-другому сказал: «Я соловьев люблю. Знаешь, когда гусачком или лешевой дудкой... У них все колена замечательные. Я и вообще птиц люблю. Какой-нибудь щеглячий напев — что это за прелесть!..» Он долго рассказывал о птицах, столь же восторженно и подробно, как о домнах. Ирина сбоку поглядывала на него и смеялась. Ей казалось, что вокруг нее раскричались все эти соловьи, щеглята и малиновки.

В детстве Ирина была веселой, но Володя отучил ее смеяться. С Володей она боялась и пошутить, и признаться, что она ночью всплакнула над книжкой, и похвалить какую-нибудь новую подругу. Володя молча выслушивал, а потом начинал говорить. Выходило, что ничего нет смешного, что книжки дрянь, а Таня или Лиза — «образцовые дуры».

Ирина пошла с Колькой в кино. Показывали какую-то глупую картину: ударники в новеньких рубашонках строили завод, совсем так, как играют в мяч — «раз-два». Они пели хором и, не прерывая песни, «утирали нос» очкастому американцу. Колька насупился: «Халтурщики! Ведь они и не нюхали, чем пахнет стройка...» Но когда показали поле со скирдами, он вздохнул: «Красота!» Ирина подумала: «А ведь и правда красиво... Володе не понравилось бы...» Володя сказал бы: «Мармелад для советских барышень, чтобы не скучали о настоящем»

мармеладе...» Она поймала себя на ужасной мысли: она радовалась, что рядом с ней не Володя, но этот простой и веселый человек. Она готова была встать и уйти. Она ненавидела себя. Она не глядела больше на экран. Она была благодарна темноте, которая покрывала ее позор. Когда вспыхнул наконец свет, она поспешно отвернулась от Кольки.

Они вышли молча. Колька не улыбался. Его светлые глаза были несколько темнее обычного. Он тоже досадовал на себя: почему он не радуется? Ведь завтра он едет в Кузнецк. Там его ждет настоящее дело. Почему же грустно ему расставаться с этим никчемным, тихим городом?.. Он не сразу ответил себе. Он не сразу догадался, что дело не в отдыхе, не в лекциях, не в золотых печальных садах. Когда же он дошел до правды, он откровенно перепугался. Он был один в непроходимой тайге, и он не знал, куда идти, что делать. В его голове толпились тысячи слов, нежных и оскорбительных. Но он не знал, уместны ли здесь слова. Да и как говорить? Хорошо поэтам — они вроде щеглов. Но каково обыкновенному человеку?.. Уж очень это нескладно: будто говорил о деле — какие кауперы или еще что, и вдруг, ни с того ни с сего, — любовь. Колька подумал: как же другие?.. Он вспомнил Андриюшку с крепкой веснушчатой девушкой. Они сидели возле барака. Андриюшка говорил: «Ты того...» Она в ответ смешно фыркала. Потом Андриюшка сказал Кольке: «Теперь-то хорошо — на травке можно. А зимой я намучился...» Кто же научит Кольку? Как это Ирина говорила: соловей? машина?.. Интересно — со «стариком» это бывает? Ну, не теперь, прежде — ведь наверно бывало. Но «старик» говорит глазами — у него такие глаза, лучше всяких слов. А у Кольки глаза большие и глупые — они ничего не могут рассказать. Да Ирина и не хочет на него смотреть — идет рядом, а как будто она далеко, далеко...

Колька наконец придумал нечто очень сложное и важное. Он хотел сразу высказать все: и свое смятение, и радость, и то, как они будут вместе работать на стройке, и еще, что у Ирины очень смешные губы, когда она дуется, — совсем как у ребенка. Но вместо длинного признания, густо покраснев, он едва-едва вымолвил: «Вот я и уезжаю. Ты что же, приедешь в Кузнецк?»

Ирина снова почувствовала, что этот человек имеет над ней непонятную власть. Она обрадовалась вопросу. В мыслях она уже завязывала старенький мамин чемодан, бежала запыхав-



пись на вокзал, протискивалась в темный вагон, чтобы лечь на верхнюю полку и, сжавшись вся, ждать, когда же покажутся огни этой сказочной стройки... Ирина удивилась — вот он, магнит!.. Потом она рассердилась, как тогда в кино. До чего она ветрена! Любовь в жизни одна. Как она могла забыть о Володе? Нет, Колька — это минутное увлечение. Она любит Володу. Кузнецк для нее не радость, не чувства, не Колька, но работа. Вот как она писала в письме: «грубая работа»... Она ответила Кольке сухо, почти неприязненно: «Приеду. Работать». Она сделала ударение на последнем слове, чтобы Колька не принял ее готовности за измену тому, другому. Но Колька и не знал о другом. Он не вникал в оттенок слов. Он был полон своим внезапным смущением. Он шел молча, большой и непривычно слабый. Никогда его ноги еще не касались земли с таким печальным недоверием. Казалось, он плывет. Его щеки горели. Кружилась голова. Он был как в жару.

Кругом была осень, яркая и лихорадочная. В пестроте раскраски, в особой прозрачности воздуха, в птичьей суматохе, во всем была тоскливая приподнятость разлуки. Казалось, не только люди, но и тополя в рощице понимали, какое им предстоит испытание. Неумолимость зимы, ее хруст и скрип, ее ночная тишина, ее отчаянные метелицы — все это придавало последним теплым дням особую грусть, способную растрогать даже седого деда, который торговал на площади кедровыми орешками. Он время от времени поглядывал на небо и что-то бормотал в желтую бороду. Девка купила орешков, погрызла, поплевала и вдруг крикнула усатому своему кавалеру: «Вот возьму и кинусь в воду! Тогда будешь смеяться!..» Крикнула и снова взялась за орешки.

Ирина и Колька по-прежнему шли молча. Они с трудом прокладывали путь среди густой, как сон, тишины. Наконец Колька не выдержал. Он стыдливо дотронулся до рукава Ирины: «Ирина, ты что это загрустила?» Может быть, он смутно надеялся, что Ирина ответит: «А ты?» Тогда окажется, что у них одна тоска и одна жизнь. Но Ирина сказала: «Вздор! Я тебе об этом ни разу не говорила. Но если ты спрашиваешь, я скажу. Лучше без недомолвок. Видишь ли, у меня большая беда. Я полюбила одного парня. Только он особенный. Я сейчас сказала «парень», как обо всех, и самой смешно. Конечно, с виду он как другие. Вузовец. Но только он не парень. Он и не человек. Иногда мне кажется, что он черт. А иногда мне

его жалко, как маленького мальчика. Впрочем, дело не в этом. Когда любишь, не выбираешь. Я, вероятно, была бы с ним счастлива. Хоть он очень страшный — не с лица, душой. Только он мне сказал, что он меня совсем не любит. Понимаешь — вот никак. Сказал и ушел. Может быть, он другую любит. А может, никого, — он такой, что я поверю — ни-ко-го! Вот я и осталась. Ты, пожалуйста, не подумай, что я скулю. Я умею с этим бороться. Я тебе сказала, что приеду в Кузнецк, и это правда. Но только когда я о нем думаю, мне так больно, что и жить неохота».

Колька ждал всего, кроме этого. Он впервые понял, что значит «не судьба». Здесь никто не мог ему помочь: ни книги, ни люди. Он сразу похолодел и сжался. Его глаза стали темными. Даже со щек слезла краска. Он не походил на себя. Только где-то внутри еще барахтались нежные слова. Там, далеко, под всей видимостью разумного человека, Колька еще просил, жаловался и негодовал. Так внутри чугунной болванки, застывшей на холоду, еще краснеет разгоряченное сердце.

Ирина, высказав все, почувствовала облегчение. Она теперь не боялась измены. Она не стыдилась, что идет рядом с Колькой. Она даже поглядела ему в глаза — они стояли возле ее дома. Она увидела, что глаза Кольки переменялись. Он где-то далеко, как будто они уже растались. Робко она спросила: «Что с тобой, Коля?..» Тогда Колька очень просто ответил: «Сомной? Не знаю. Наверно, то же самое. Понимаешь? А теперь до свиданья. Встретимся на стройке».

11

В старой книге сказано, что всему свое время: время кидать камни, и время их собирать. У революции было мало времени и много сил. Она все делала разом. Гудели экскаваторы среди степи, и печальная трава покрывала площади бывших губернских городов. В селе Криводанове из шестисот домов сто двадцать пустовали. У них были выколотые глаза и на боках раны. Это были хорошие, крепкие дома, но хозяева их бросили, и дома гнили, как трупы. Одних хозяев раскулачили, другие ушли на стройку. Криводаново умирало. В десяти километрах от села находился совхоз. Там с утра до ночи люди строили: они строили свинарни и крольчатники, амбары и бараки. Там

249

было шумно и тесно. Люди жили в землянках, и они говорили о перевыполнении плана.

Люди научились кидать камни и убегать от камней. Каждый спасал то, что ему было дорого. Бывшая томская мещанка Баранова спасала свою жизнь. Когда в Томск пришли белые, она натерла маслом иконы. Когда город взяли красные, она сняла иконы и начала всем рассказывать, как ее покойного мужа в пятом году избили казаки. Когда объявили принудительные работы, она достала у доктора свидетельство с большой печатью. Когда по ее карточке перестали выдавать хлеб и подсолнечное масло, она уговаривала племянника Мишу вступить в партию: «Ты, Мишенька, за меня похлопочешь!..» В годы нэпа она пекла пирожки с мясом и продавала их на базаре. Когда Широкова посадили, она прокляла торговлю и поступила на службу. Она была курьершей в санитарном отделе. Она ползала по полу с тряпкой и думала, где бы ей раздобыть сахар. Она сносила все в свою нору, как зверь перед зимой: старые газеты, соль, веревки и яблоки. В сундуке у нее были запасы монпансье и спичек. Она боялась, что завтра ничего не будет, и она отстаивала свою жизнь. Потом ее решили сократить. Она тихонько помолилась перед иконой троеручицы и пошла в комиссию. Она заявила, что Маслов говорит за царя и крадет мыло. Она не чувствовала к Маслову никакой злобы, но она хотела жить. Она продержалась на службе еще год. Потом ее все же сократили. Она ходила к Розенфельдам мыть полы. Там ей давали крупу и масло. Когда открыли торгсин, она понесла туда колечко. Она принесла из торгсина муку. Она положила муку в сундук и облегченно вздохнула. Она ела мало, но она спала на сундуке и, просыпаясь ночью, с радостью думала, что муки хватит до осени и что она отстояла свою жизнь.

Розенфельд оказался в Томске случайно: он ехал в Нарым. Он вовремя заболел не то воспалением легких, не то острой невралгией. Он вцепился в Томск, и он остался. Он говорил, что его преследует «злой рок». В бумаге значилось куда суше, что Розенфельд выслан из Москвы за злостную спекуляцию. У Розенфельда были свои вкусы. Он не хотел ни чистить улицы от снега, ни жить на скромное жалованье, ни строить Кузнецкий гигант. Он торговал с ранних лет, и он хотел торговать. Он был ловок и недогадлив. Он понимал, как надуть фининспектора, но он не мог понять, что на дворе революция. Встречая человека с портфелем, он пугливо озирался, но жил

он бурно и бесстрашно. Он торговал всем: государственным имуществом и улыбками дочери, партбилетом сына и заграничным коверкотом. Он сидел в Чека четыре раза. Каждый раз он прощался с жизнью и плакал навзрыд. Но никогда он не забывал о главном: он спасал добро свое и своей семьи. Его сын поместил в газете объявление: «Настоящим заявляю, что с 1926 года порвал всякие отношения с моим отцом, Наумом Розенфельдом». Он прочел объявление и усмехнулся. Он не обиделся на сына. Он сказал рыжему Кану: «Я должен работать, чтобы мои дети вышли в люди». Его дочка вышла замуж за партийного. Она отказалась взять у отца сорок червонцев и браслет. Розенфельд на минуту призадумался. Но потом он сказал жене: «Рая взбесилась! Но ты увидишь — она придет ко мне через месяц. Или через год. Я должен работать, чтобы ты и наши дети жили хорошо».

Он жил в Томске убого, но полный надежд. Он продавал касторку, электрические лампочки и мармелад. Он купил у Барановой золотую брошку, он отнес брошку в торгсин, в торгсине он купил сахар, сахар он продал на базаре, и на вырученные деньги он купил у Шелгунова портсигар с золотой монограммой. Ложась спать, он стонал от десяти болезней и, однако, он улыбался: у него были припрятаны восемь английских фунтов, два бриллианта и ящик со столовым серебром.

Партизан Чашкин спасал революцию. Он спасал ее с винтовкой и с ржавым пером. Он гонял по Алтаю белых. Он поджег вокзал. Он расстрелял охранника. Он командовал отрядом — у него было сорок отчаянных ребят. Когда красные победили, он начал писать бумаги. Он устраивал субботники. Он учил тунгусов новой жизни. Он ездил по деревням и уговаривал крестьян сдавать хлеб. Он шел впереди красного обоза, состоявшего из семи телег, запряженных клячами, как он шел некогда во главе отряда, который брал города. Он сидел и думал о том, как бы улучшить жизнь. Он увидел на заводе железные обрезки, и он придумал, как из этих обрезков делать вилки. Он написал об этом статью в газете «Красное знамя». Когда его жена купила у Розенфельда стеганое одеяло, он угрожающе сказал: «Если ты будешь способствовать спекуляции, я не посмотрю, что жена...» Он кричал на своего сына: «Ты должен быть сознательным пионером, а ты, что же, — перышки вымениваешь?..» У него было хорошее место и квартира из трех комнат. Он бросил все и уехал в Кузнецк. Он чувствовал,

что там идут бои, и он хотел вместе с другими идти на приступ. Он знал в жизни одно: он спасал революцию.

Наталья Петровна Горбачева не спасала ни свою жизнь, ни добро, ни революцию. Она спасала книги. Она была одинока, немолода и некрасива. Никто не знал даже, как ее зовут — говорили «библиотекарша». Глядя на нее, люди думали, что она похожа на книжного жучка и что в ее голове только номера каталога. Они не знали Натальи Петровны. На самом деле ее жизнь была шумной и полной героизма.

В начале революции она ошеломила город. На заседании Совета обсуждался вопрос, как отстоять город от белых. Чашкин, надрываясь, ревел: «Товарищи, мы должны умереть, но спасти революцию!» Тогда на эстраду вскарабкалась маленькая, щуплая женщина в вязаном платке и закричала: «Сейчас же уведите этих солдат! Они сидят внизу и курят. Каждую минуту может начаться пожар!..» Председатель сурово прервал ее: «Товарищ, вы говорите не к порядку дня». Но женщина не унималась. Она подняла руки вверх и закричала: «Разве вы не знаете, что в нашей библиотеке десятки инкунабул!» И хотя никто не знал, что такое эти «инкунабулы», люди, обмотанные пулеметными лентами, смягчились: они вывели из библиотеки красноармейцев.

Не одну ночь Наталья Петровна провела на боевом посту. Ей казалось, что она может отстоять книги и от людей, и от огня. Она молила бородатых крестьян: «Это народное добро! Это такое богатство!» Она кричала на щеголеватых офицеров: «Вы не смеете так говорить! Это не казармы! Это строгановская библиотека!» Она старалась понять, как нужно разговаривать с этими несхожими людьми. Они стреляли друг в друга. Они хотели победы. Она хотела спасти книги.

Город зябнул и голодал. Наталья Петровна получала восьмушку мокрого хлеба и спала в большой, насквозь промерзшей комнате. Весь день она просиживала в нетопленной библиотеке. Она сидела одна — людям в те годы было не до книг. Она сидела закутанная в какое-то пестрое тряпье. Из тряпья торчал сухой острый нос. Глаза тревожно посвечивали. Изредка заходил в библиотеку какой-нибудь чужак. Увидев Наталью Петровну, он шарахался прочь: она походила не на человека, но на сову.

Как-то Наталья Петровна повстречалась с профессором Чудневым. Профессор стал жаловаться на голод и холод. Он

жаловался также на грубость жизни: «Это ли Томск?.. Вы только вспомните: художественное училище, четыре музыкальных школы, концерты, выставки. Вместо этого — цирк, дурацкие афиши и невежество. Иногда я завидую тем, которые уехали. Конечно, на чужбине трудно. Но они спасли себя. Они все-таки живут среди культурных людей. А здесь... Вот вы, Наталья Петровна...» Наталья Петровна его прервала: «Что же, я очень счастлива! У меня интересная работа. Я вас не понимаю, Василий Георгиевич! Значит, по-вашему, я должна была все бросить и уехать в Париж? А что стало бы с библиотекой?»

Она раскрывала старые книги и подолгу любовалась фронтисписами. Музы показывали дивные свитки, и они играли на лютнях. Титаны поддерживали земной шар. Богиню мудрости сопровождала сова. Могла ли Наталья Петровна догадаться, что она похожа на эту грустную птицу? Она рассматривала гравюры: сон в летнюю ночь или подвиг Орлеанской девы. Иногда ее волновало начертание букв. Она прижимала к груди книжку и повторяла, как завороженная: «Эльзевир!» Когда она брала с полки первое издание стихов Баратынского, ей казалось, что это не книга, но письмо от близкого человека. Баратынский ее утешал. Потом ее веселил лукавый Вольтер. Рядом с ней были газеты французской революции. Они чинно стояли на полках в красивых сафьяновых переплетах. Она заглядывала в эти газеты, и газеты кричали: «Нет хлеба! Нет топлива! Мы окружены врагами! Мы должны спасти революцию!» Она слышала голоса людей. Это говорил Чашкин. Он уже жил когда-то. Тусклые пожелтевшие листки помогали ей понять ту, вторую жизнь, которая шумела вокруг здания библиотеки. Когда же, измученная, она готова была пасть духом, она раскрывала «Лоджи» Рафаэля, и она замирала в темной холодной библиотеке перед той красотой, которую не вмещали ни громкие годы, ни маленькое человеческое сердце.

С тех пор прошло немало времени, и библиотека наполнилась гулом. Сотни вузовцев поспешно листали книги: они хотели узнать все. Наталья Петровна могла бы радоваться: самое трудное было позади. Она отстояла библиотеку. Чашкин полупуть-полусерьез сказал: «Вы, товарищ Горбачева, молодчина! Вам нужно выдать орден Красного Знамени». Наталья Петровна смущенно покраснела: «Глупости! Но я хочу вас попросить об одном: достаньте дрова. Библиотеку то топят, то не топят. Я привыкла, но книги от этого очень портятся».

Она по-прежнему не знала покоя. Внизу, под библиотекой устроили кинематограф. Как некогда, призрак пожара преследовал Наталью Петровну. Она боялась, что книги погибнут от сырости. Она боялась также, что приедут люди из Москвы и увезут самые ценные книги. С недоверием она поглядывала на новых читателей: они слишком небрежно перелистывали страницы. Она подходила к ним и жалобно шептала: «Товарищи, пожалуйте, осторожней!» Она страдала оттого, что никто из этих людей не чувствовал к книгам той любви, которая переполняла ее сердце. Они брали книги жадно, как хлеб, и у них не было времени на любованье.

Иногда Наталья Петровна спрашивала себя: неужто никто не может разделить ее чувства? Среди людей, которые сидели над раскрытыми книгами, она искала одного, как она, влюбленного в эту рябь букв, в этот шелест листов, в пыль и в блеклое золото. Она проверяла глаза, движения рук, улыбки и почерк. Требовательные записки ее волновали, как письма. Она знала теперь читателей так же хорошо, как и книги. Она знала, что читает каждый из них, что он оставляет, не дочитав, и что перечитывает.

Когда она наконец нашла того, которого так долго искала, она не сразу ему поверила. В течение нескольких месяцев она за ним неотступно следила. Она заметила, как его взволновал Сенека. Она заметила также, что, читая Свифта, он нервно усмехался. Она знала все, что он брал в библиотеке. В списке значилось: «Чаадаев, святой Августин, Розанов, Дидерот, Кальдерон, Тютчев, Жерар де Нерваль, Хомяков, Гейне, Ницше, Паскаль, Соловьев, Анненский, Бодлер, письма португальской монахини, Пруст, история Византии, Джемс, апокрифы, дневники Галейрана, словарь Даля, д'Оревиллы, Декамерон, Библия».

Как-то он взял «Похвалу глупости». Наталья Петровна видела, что он делал пометки на листочке. Он при этом морщился, как будто книга причиняла ему боль. Уходя, он забыл листок в книге. Наталья Петровна долго колебалась: вправе ли она посмотреть?.. Может быть, это что-нибудь личное? Но соблазн был велик, и она достала записку. На листочке стояла выписка из Эразма: «Мудрая природа окутала младенцев покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, награждает их за труды, доставляет малюткам любовь и опеку». Тогда Наталья Петровна поняла, что этот человек мог страдать от книг, как другие страдают от неудачи или от обиды.

На требовательной записке значилось: «Владимир Сафонов», и Наталья Петровна несколько раз повторила это имя.

Она теперь встречала его улыбкой. Она находила, что его глаза свидетельствуют о высоком уме и о глубине чувствований. Он казался ей одним из тех титанов, которые на старых фронтисписах поддерживали мир. Ее не смущали ни его щедрость, ни очки. Очки ей даже нравились. Она делила все вещи на свои и враждебные. Враждебными были: винтовки, калоши, мяч, снег, коньки, телеги и огонь. Своими были: стол, лампа, тетрадки и очки. Ей было сорок шесть лет, но, думая о Сафонове, она краснела, как школьница.

Она решила заговорить с ним, заговорить сразу о самом главном: не о себе, не о нем, но о книгах. Она улучила минуту, когда Володя остался один: библиотеку закрывали. Он еще сидел, сторбившись над Плотиним. Наталья Петровна бесшумно подошла к нему и, задыхаясь от волнения, сказала: «Я заметила, что вы не как другие. Вы любите книги, и вы...»

Володя вздрогнул от неожиданности. Никогда прежде он не замечал лица библиотекарши. Она показала ему большой уродливой буквой. Ее голос походил на шорох листов. В библиотеке никого не было, и на минуту Володе стало страшно. Он стоял молча. Молчала и Наталья Петровна. Она хотела сразу спросить его обо всем: почему его смутил Свифт, что означает выписка из Эразма, какие переплеты он больше любит, видал ли он ранние издания Шекспира... Но она ни о чем его не спрашивала. Она только еще раз сказала: «Вы ведь любите книги?» Тогда Володя усмехнулся — вот так он усмехался, читая Свифта. «Вы думаете, что я люблю книги? Я вам скажу откровенно: я их ненавижу! Это как водка. Я не могу теперь жить без книг. Во мне нет ни одного живого места. Я весь отравлен. Что же вы мне прикажете делать после Плотина? Строить домны? Гулять с «деваками»? Я спился. Вы понимаете, что значит спиться? Только алкоголиков лечат. А от этого нет лекарств. Бессмыслица, но факт. Будь это в моих силах, я поджег бы вашу библиотеку. Вот принес бы керосина, а потом — спичкой. Ах, как это хорошо было бы! Представьте себе...» Он не докончил фразы: он поглядел на Наталью Петровну и сразу замолк. Она дрожала, как в лихорадке. Володя спросил: «Что с вами?» Она не ответила. «Вам воды надо... Пожалуйста, успокойтесь!..» Наталья Петровна молчала. Тогда Володя крикнул: «Эй, товарищ! Вы бы воды дали!..» Служитель Фомин принес



кружку, полную доверху. Он бормотал: «Довели! Паек-то у нее — кот наплакал. Граммы! Поглядеть страшно: кожа да кости». Наталья Петровна, опомнившись, сказала: «Уберите воду — вы можете замочить книги». Потом она строго поглядела на Сафонова: «Уйдите! Вы хуже всех. Вы варвар. Вы поджигатель». Володя неловко помял кепку в руке и вышел.

Для Натальи Петровны настали мучительные дни. Она приходила в библиотеку, просматривала списки, тревожно проверяла градусник и возмущалась кинематографом. Но все это она делала по привычке. В ее душе было смутно и беспокойно. Кажется, ничего не изменилось. По-прежнему вузовцы читали книги. На третий день она увидела Сафонова. Он снова сидел над Плотиним. Проходя мимо нее, он отвернулся. Но Наталье Петровне он был теперь безразличен. Она думала не о нем. Она думала о книгах: впервые она усомнилась в их правоте.

Студенты занимаются: они готовятся к зачетам. Но кому нужны те, другие книги, тени Гамлета и Дон-Жуана, летописи и рифмы, ворохи слов, то нежных, то жестоких? Эти книги утешали Наталью Петровну в голодные годы. Но, может быть, она больна, как тот сумасшедший в очках? Может быть, ей нужны эти книги только потому, что у нее нет ни дома, ни семьи, ни живой теплой работы? Она в страхе проводила рукой по лбу, как будто желая понять, что происходит в ее голове. Она больше не раскрывала любимых книг. Она готова была погибнуть, и Фомин, глядя на нее, уныло сморкался. Он бормотал что-то о «бесчувственных людях».

Наталья Петровна вечером проверяла шкафы. К ней подошла крепкая девушка с крутыми скулами и с деревенским румянцем. Наталья Петровна уныло подумала: химия или медицина? Они сдают зачеты. Что им Шекспир или Лермонтов? Девушка, смущенно переминаясь, сказала: «Товарищ заведующая, можно мне с вами поговорить наедине?» Наталья Петровна удивленно пожала плечами: должно быть, снова кто-нибудь крадет книги... Она ответила: «Хорошо. Только обождите, пока закроют».

Когда они остались вдвоем, Наталья Петровна присела на табурет и, глядя в сторону, спросила: «Ну, в чем дело?»

«Вы меня простите, что я вас занимаю такими глупостями. Но мне не с кем посоветоваться. Мне вот придется вам рассказать целую историю. Только вы мне скажите — вы, может быть, торопитесь?» Наталья Петровна никуда не торопилась. Дома ее ждали холодная постель и чай без сахара. Но она была

в размовке с книгами и с людьми. Она хотела ответить: конечно, тороплюсь. Но она посмотрела на девушку. Она увидела доверчивые глаза и рот, чуть приоткрытый от смущения. Она ответила: «Можете говорить. У меня времени много». Она забыла сказать посетительнице, чтобы та села. Девушка говорила стоя, она волновалась и теребила полу пальто.

«Я, знаете, из Чернышевки. Отец сначала вошел в колхоз. Потом посорился и вышел. Ну, а хлеба все равно не было. У старшей сестры муж работал на стройке, в Кузнецке. Он написал: «Пусть Валя приезжает сюда. Здесь хоть сыта будет». Я и поехала. Меня поместили уборщицей в бараки. Потом пришел Грольман и заметил, что чисто. Он спросил меня: «Как тебя звать?» Я сказала. А на следующее утро меня вызвали и сказали, что я буду теперь в служебном вагоне, как проводник. Я сначала очень обрадовалась: в вагоне чисто. Да и работа легкая. Но до меня там работала Шаболова. Она вышла из вагона на станции размять ноги, а здесь-то все стянули. Одежда, даже тарелки. Мне сказали: «Ты смотри не отлучайся». Так я и оказалась вроде как в тюрьме. Даже когда в Кузнецке стояли, я не выходила. Разве что попрошу кого-нибудь покараулить и сбегая к сестре. Вот в этом вагоне я и начала читать. Я прежде только что грамоту знала. А которые ездили, они оставляли в вагоне разные книжки. Романы я не любила: роман прочитаешь, и все уж известно — неохота перечитывать. А книг было мало. Я каждую с жалостью дочитывала. Но там один инженер забыл книжку. Я сначала ничего не понимала. Раз сорок я ее прочитала, и наконец поняла. Это «Диспетчерское руководство движением поездов». Для втузовцев. Один товарищ ехал из Томска. Я ему показала. Он рассмеялся: «Да ты ничего в этом не понимаешь! Это по специальности». Но я ему по чертежам все показала: рычаги, лампочки, пусковую кнопку. Он очень удивился и сказал, что мне надо готовиться в транспортную школу. Написал на листочке, какие книги читать. Я некоторые достала в Новосибирске. Начала зубрить математику. За лето очень много успела. Грольман ко мне очень хорошо отнесся. Сказал: «Мы тебя выдвинем для начала в рабфак».

Я здесь уже два месяца. Столько узнала, что самой страшно! Я даже не думала раньше, что можно столько знать. А я ведь еще ничего не знаю, если меня сравнить с профессором или с вами. Я все время занимаюсь. Но только нет у меня

тальной удовлетворенности. Я, конечно, понимаю, что на первом месте должна быть специальная подготовка. Но вот и товарищи говорят, что нельзя быть узким специалистом. Мне хочется понять очень многое до самой глубины. Я знаю, есть книги, которые не по программе, но они очень развивают. Я вот читала сочинения Пушкина, и они мне очень помогли. Только я сама не знаю, что мне читать в свободное время. Вот я и решила вас спросить, как заведующую. Очень много здесь книг! Сама я никогда не разберусь. Вы мне, товарищ, помогите!»

Наталья Петровна вскочила и обняла девушку. Хотя она была куда ниже ростом, ей казалось, что она обнимает свою дочь. Не раз ее спрашивали: «Что мне читать?» В этих вопросах она чувствовала любопытство, скуку или корысть. Люди брали книги, чтобы подготовиться к зачетам или чтобы развлечься. Но эта девушка хотела от книг правды и глубины. Наталья Петровна глотала слезы. Наконец-то она увидела, что не зря она трудилась, что стоило охранять эти книги от огня и от людей. Пришла девушка из какой-то Чернышевки, и она поняла, зачем здесь собраны все эти старые темные книги.

Нескладно всхлипывая, Наталья Петровна говорила: «Книги — большая вещь! Он это зря сказал, их нельзя сжечь, их надо хранить. Вы, товарищ... Как вас зовут? Валя? Вы, Валя, идете к настоящей правде. Я вам сейчас покажу замечательные книги. Пойдемте туда, наверх!»

Она повела девушку на верхний этаж. Там хранились самые ценные книги, и Наталья Петровна никогда не пускала туда посетителей. Она сразу хотела показать Вале все: и Баратынского, и французскую революцию, и Минерву с совой. Она говорила: «Вот возьмите эту большую. Вы сильней меня. Я не могу поднять — я очень ослабла. Хлеба мало. Но это пустяки. Я ни на что не жалуясь. Наоборот, я так счастлива! Вот эту... Дайте сюда, скорей! Это — «Лоджи» Рафаэля. Посмотрите — какая красота, какая красота!..»

12

В Кузнецк часто наезжали иностранные посетители. Они глядели на домны и на землянки. Они снимали раскосых шорцев. Они спрашивали: «Где здесь ударники?» Потом, удовлетворенные, они садились в спальный вагон. Они ехали дальше:

в Шанхай или в Москву. К чудесам, достойным обозрения, к снегам Монблана и к египетским пирамидам бюро путешествий приписали еще одно: советскую стройку.

Томск лежал в стороне, и редко кто из чужестранцев добирался до Томска. В Москве имелись кремлевские соборы и Мавзолей Ленина, в Свердловске — небоскребы, а также подвал ипатовского дома, в Новосибирске — соцгород и «наخالовки». В Томске ничего не было: ни древних церквей, ни образцовых яслей, ни барачков. Это был город без достопримечательностей.

Случалось, однако, судьба заносила и в Томск непоседливых чудаков. Они приезжали с большим путеводителем и с мясным консервами. Они глядели на томичан, и томичане глядели на них. Понять друг друга они не могли — здесь были бессильны и словари и переводчики.

В Томск приехал профессор Иенского университета Плихтер. Он изучал камлание шаманов. Он брал у шорцев и ойратов деревянных божков или бубны. В обмен он давал немецкое мыло. Он подружился с профессором Черницким. Они беседовали о костюмах тунгусов и о гонимом искусстве монголов. Черницкий сказал Плихтеру: «Тунгусы — франты. У нас говорят: «тунгусы — Сибири французы». Плихтер долго хохотал; он стал весь лиловый от смеха, и, смеясь, он приговаривал: «Вот так французы!»

Накануне отъезда Плихтер пришел к Черницкому. Они пили чай, и Черницкий угостил гостя коржиками с черемухой. Плихтер пил чай вприкуску: он успел ознакомиться с бытом Томска. Черницкий вдруг сказал: «Ну и жилет у вас — прелесть! В таком не замерзнешь». Тогда Плихтер расчувствовался: «Разрешите, я вам его оставлю?» Черницкий поспешно ответил: «Что вы! У меня такой же. Я не ношу только потому, что очень жарко в нем». Плихтер с грустью оглядел Черницкого: он был плохо одет, на локтях блестели неуклюжие заплата, а коржик он ел бережно и углубленно, как ребенок ест конфету. Плихтер сказал: «Вы работаете в ужасных условиях». Черницкий промолчал. «За границей вы могли бы куда больше сделать, даже в вашей области». Черницкий снял очки и удивленно заморгал: «Конечно, здесь не жизнь, а черт знает что. Но ведь это мелочь. Зато какие у нас возможности! Я вот привык к моим тунгусам. Сначала они меня побаивались, а теперь я у них вроде как свой. Мне удалось кое-что сделать для борьбы

с суеверьями. У них, знаете, насчет гигиены — беда! Женщина рождает — ужас берет. Мы здесь как-то поневоле распыляемся. Вот сказал: «поневоле» — и глупо. По самой что ни на есть воле. Так что вы меня не жалейте. Я замечательно живу. Дайте я вам налью еще стаканчик. Только, позвольте, я сахар положу, а то вы не привыкли...

Когда профессор Плихтер читал в Иене доклад о верованиях сибирских народов, он вдруг вспомнил Черницкого. Он сказал невпопад: «И вообще, я должен отметить, что все население Советской России, включая даже передовые умы, охвачено мистицизмом, который абсолютно непонятен для европейского сознания».

У Давида Гольдфильда был в Нью-Йорке меховой магазин. Он объезжал Сибирь, прельщенный советской пушниной. Его сопровождал сотрудник «Интеграла». Гольдфильд был родом из Белой Церкви. Он с удовольствием ел селедку и объяснялся, не прибегая к помощи переводчика. Он говорил вместо «билет» — «тикет», а секретаря горсовета называл «мистером Хоршковым». Он любил слушать русские песни. Он подошел в парке к Петьке Рожкову и сказал: «Если вы споете про уха-ря, я подарю вам доллар». Петька едва сдержался, чтобы не прыснуть. «Я пою, как немазаное колесо. Вы лучше пойдите в «Коммерческую столовую» — это рядом с цирком. Там за этот доллар не только что споют, но кубарем завертятся». Гольдфильд обиженно поморщился: «Я не люблю, когда вертятся. Я люблю, когда красиво поют».

Он побывал в музее. Увидев картину Венецианова, он громко вздохнул от восхищения и спросил: «Сколько — в валюте?» Над ним тихонько посмеивались, но сотрудник «Интеграла», памятуя о долларах, говорил: «Мистер Гольдфильд известен как тонкий ценитель искусства». Мало-помалу Гольдфильд и сам начинал верить, что он в душе не скоряк, но художник. Он купил в торгсине две иконы и, коверкая неприличные слова, хвастал: «Это уникамы! Одно покрывало девы и одна Параскевья!»

Он ходил в «Коммерческую столовую» и слушал цыганские романсы. Там он встретил Фадея Ильича. Это был сибиряк с большой бородой и с хитрыми глазенками. Фадей Ильич налил водку в чайные стаканы. Гольдфильд замер, но все же попробовал улыбнуться. Он даже сказал: «Ваше здоровье». Тогда Фадей Ильич, лукаво прищурясь, ответил: «А чо нам

болеть?» Гольдфильд в тоске подумал, что Россия страшная страна.

Его утешила Шура Карцева. Она сидела в «Коммерческой столовой» за кассой. Она сказала Гольдфильду: «Здесь теперь не люди, а животные. Все только и думают, что о хлебе. У вас, Давид Исаевич, музыкальная душа!» Он готов был проследить за умилением. Он дал Шуре два доллара. Шура побежала в торгсин за мукой, а Гольдфильд, вспомнив о выдрах и песчанниках, отбыл в Новосибирск.

Немка Эллен Штейн изучала постановку в Союзе ритмической гимнастики. В Омске она выступила с докладом о необходимости гармоничного развития тела. Она презирала традиции, брак и семью. Она искала нового человека.

В Томске она первым делом пошла к Постникову. С жаром она говорила: «Вы не гнилые европейцы, вы мудры, как звери. Товарищ Постников, я чувствую, что вы — новый человек! У вас суровый взгляд, и вы ходите как медведь. Вы должны меня научить не только постановке воспитания, но настоящему чувству!» Толмачом был бывший преподаватель гимназии Перепелкин. Он привык переводить доклады о бломсах или о соломке для спичек. Однако он не смутился. Он перевел слова Эллен. Постников поглядел исподлобья на немку и сказал: «Переведите ей, что я женат. У меня трое детей. У меня нет времени для такой ерунды. Я занят. При чем тут звери?.. Она может посмотреть ФЗУ и Дом матери». Он не выдержал и отвернулся: у этой женщины глаза были нетерпеливые и ласковые. Никогда в жизни Постников не видал таких ярко-красных губ. Он закричал: «Знаете что, уберите ее отсюда! Мне вот надо разместить четыре тысячи вузовцев. Голова идет кругом. А тут еще эта баба!..»

Эллен попробовала завести знакомство с вузовцами. Она подозвала Ваську Смолина. Васька спросил: «У вас в Германии какие автомобили — Форда или свои?» Эллен раздраженно ответила: «Я ненавижу машины! Они убивают чувство. Мне куда милее ваши лошадки». Тогда Васька не стал с ней разговаривать. Она пожаловалась Перепелкину: «У вас очень грубая жизнь». Тот ответил: «Да». Эллен подумала и шепнула: «Приходите вечером ко мне». Перепелкин сначала обрадовался. Потом он пошел домой. Он поглядел на рваную рубашку — другой у него не было. Подойдя к зеркалу, чтобы побриться, он увидел большую уродливую плешь. Он уныло подумал: «Волосы лезут,

а все потому, что мало жиров...» Он зевнул и не стал бриться. Он был приписан к плохому распределителю и ненавидел жизнь. Он не пошел на свидание.

Эллен Штейн уехала в Красноярск, так и не разыскав нового человека.

Трудно сказать, почему приехал в Томск Джексон. Это был сухопарый, печальный англичанин. Войдя в номер гостиницы, он спокойно оглядел его: так он оглядывал океан или джунгли. Он увидел колченогую кровать и пузатую купеческую конторку. Над конторкой висел плакат: «Плевать воспрещается». Джексон спросил: «Клопы есть?» Дежурная загадочно вздохнула: «Не жаловались». Тогда Джексон отослал переводчика и начал читать книгу, длинную и утомительную. Всю ночь он боролся с героями какого-то романа, а также с насекомыми. Наутро переводчик предложил ему осмотреть тюрьму, превращенную в редакцию газеты, спичечную фабрику и цирк. Но Джексон ответил, что все это его никак не интересует. Он мрачно шагал по дощатым тротуарам, и тротуары в страхе подпрыгивали. При виде его широчайших штанов вузовцы весело прыскали. Но он не обращал на них внимания.

Он пробыл в Томске четыре дня. Потом он попросил счет. Он взял потрепанный чемодан, весь покрытый наклейками, и направился к выходу. Его остановили, потребовав пропуск. Увидав, как уборщица проверяет, не вынес ли он чего-нибудь из номера, он впервые улыбнулся. На вокзале переводчик спросил его: «Простите нескромность, но почему вы сюда приехали?» Джексон помолчал, а потом ответил: «Я всегда делаю не то, что надо».

Иностранец, с которым столкнулся Володя Сафонов, не был случайным ротозеем. Он твердо знал, зачем он приехал в Томск. Это был журналист Пьер Самен. В Сибирь его послала большая парижская газета. Он не хотел ехать: с детских лет при слове «Сибирь» он ежился,— ему казалось, что в Сибири холодно даже летом. Но газета платила хорошо, а Самен недавно купил новый автомобиль и залез в долги. Он поворчал и согласился.

Он любил жену, маленький пляж близ Бордо, весь росший соснами, марсельские анекдоты и вечера в скромном ресторанчике «У Венсена», где после бутылки хорошего бургундского полушутя-полувсерьез он доказывал ослобевшим приятелям, что кто-кто, а он-то знает жизнь. Он говорил: «По-

годите! Автомобиль Форда можно сделать и в Париже — раз-два. А вот посадите-ка в Америке бургундскую лозу. Получится не вино, но бурда». Потом он говорил: «Кстати, со вчерашнего дня собакам разрешается ездить в трамваях. Это — сто сорок лет спустя после Великой революции. Спрашивается, стоило ли делать для этого революцию?..» Хотя приятели давно знали все сентенции Пьера, они все же, стяхивая дрему, смеялись, — Пьер был «славный малый».

Самен считал, что человечество заслуживает презрения. Он говорил: «Смерть от заворота кишок, после хорошего обеда, куда достойней смерти на баррикадах. К счастью, с баррикадами дело кончено: у полиции теперь пулеметы и газы. Кто говорит о спасении человечества? Жулики. Или идиоты. Жуликов легко подкупить. А идиотов следует посадить в «Общество покровительства животным». Или сослать на необитаемый остров. Тогда сразу кончится весь коммунизм». Левая газета его отправила в Италию. Он возмутился страданиями рабочих и написал: «В стране, которая родила Дантона, нет места для Муссолини!» Потом он перекочевал в другую газету. Ему поручили доказать, что большевики куда страшнее кризиса. Он был толковым журналистом, и он знал заранее все, что напишет.

Он успел побывать в Новосибирске и в Кузнецке. Он видел повсюду то, что и хотел увидеть: невежество, гнет, нищету. В Томск он приехал, чтобы написать статью о советской школе. Он искал студента, с которым мог бы поговорить без переводчика. Ему указали Володю Сафонова.

Они разговаривали в саду перед университетом. Самен прежде всего спросил: «Может быть, вам неудобно говорить со мной? Вы мне скажите откровенно. В Свердловске одна дама рассказала мне много интересного: про хищения и как коммунисты куют. Но если бы вы видели, до чего она боялась!.. Мне пришлось тряхнуть стариной — когда-то я встречался «конспиративно» с одной замужней женщиной, конечно, при других обстоятельствах... Если у вас имеются сомнения, мы можем отложить наш разговор...» Володя поморщился: «Глупости! Мы ко всему привыкли. А мне интересно с вами поговорить».

Самен закидал Володю вопросами: «Сколько раз в месяц ваши товарищи едят мясо? Как обстоит дело с квартирами? Наверно, студенты развратничают? Потом, я хотел спросить вас о школе — как поставлено преподавание общеобразовательных



наук, например древней истории? Допустимо ли объективное изложение идеалистической философии? Но ведь студенты должны страдать от такого деспотизма!..»

Володя отвечал кратко, как бы нехотя: «Мясо я ел в последний раз месяца два тому назад. Суп, каша. Сплю в общежитии. Нас шестнадцать человек. Страшная скученность. Разврата никакого: все ясно и просто. Древней истории вовсе не преподают. Все освещается с точки зрения диамата. Вы не понимаете? Это диалектический материализм. Вузовцы, по-моему, отнюдь не страдают. Что касается меня, то я не типичен. Я — островитянин. Товарищи, те всегда веселы. Вероятно, от этого я и страдаю».

Эти ответы были столь скудны и неинтересны, что Самен еще раз спросил: «Может быть, вы мне не доверяете?» — «Я уже сказал вам, что я не боюсь. Я вам ответил, как мог. Но, по-моему, вы не о том спрашиваете. Если вы хотите говорить о вузовцах, надо забыть о древней истории. А если вас интересую я, то при чем тут мясо или жилплощадь? Мои лишения — несколько в иной области. Я так рад, что я вас встретил! Я знаю Францию только по книгам. Вы для меня — человек «оттуда». Вы не сердитесь, что я вас задержу с расспросами...»

Володя спрашивал горячо и сбивчиво. Он не подготовился к этой беседе. Боясь забыть о главном, он прерывал себя. Он иногда замолкал, выжидая, что скажет его собеседник. Но тот слушал молча. И Володя снова начинал говорить: «Я вот читал о «беспокойстве». Это, кажется, основная тема ваших молодых писателей. Что их тревожит? Механизация жизни? Окостенение? Гибель культуры? Я не могу уловить чего-то главного. Мне кажется, что я слышу тревожные сигналы, но я так и не знаю, в чем дело — пожар, наводнение, обвалы?.. Хотя бы сюрреалисты... С одной стороны — культ сна, утверждение некоторой сверхреальности. В философском плане это чистейший идеализм. С другой стороны, они тяготеют к коммунизму. Может быть, это в виде протеста?.. Я не знаю, понимают ли они, что такое коммунизм?.. На земле. Скажем, в Томском университете. Наши ребята — и фрейдизм! Это нелепость! Отсюда я никак не могу в этом разобраться. Я хотел достать новые сборники стихов. Но здесь опять — непонятное: у меня создалось впечатление, что во Франции больше не пишут стихов. Это так? Почему?.. Какова же роль Валери?.. В особенности интересно,

каково его влияние на молодежь? Если бы я мог перенестись туда на один час! Вы, наверное, знаете что-нибудь о философских кружках среди студенчества. Какие течения сейчас доминируют?..»

Самен был раздосадован: ему казалось, что этот студентик хочет щегольнуть перед иностранцем случайными и поверхностными знаниями. Он сердито ответил: «Вы видите не Францию, но карикатуру. «Беспокойство!» Это все болтовня! Это выдумали несколько снобов. А сюрреалисты — мальчишки. Притом добрая половина из них иностранцы. При чем тут французская культура? Конечно, Валери знаменитый поэт. Его вот в Академию выбрали. Но если на то пошло, я вам скажу откровенно: я его никогда не читал. Да и не собираюсь читать. Его никто не читает. Это такая скучища! Похуже Пруста. Бросьте вы эту канитель! Наши студенты, право же, куда разумней. Учатся так учатся. Диплом так диплом. Но зато они умеют и повеселиться. Когда я здесь, в вашем Томске вспоминаю Буль-Миш, тоска берет. Буль-Миш — это улица. Латинский квартал. Там кафе, и все сплошь студенты. Ну и девочки. Посмотрели бы вы на «мономы» — это они устраивают шествия и поют...»

Володя встал. Не глядя на Самена, он проговорил: «Петь и у нас умеют. Спасибо за информацию. От меня, я думаю, вы все уже узнали. Если хотите еще спросить, пожалуйста... Мясо чрезвычайно редко. Вы так и хотели? Значит, все в порядке. О Гомере слышали только редкие идиоты. Их зовут «изгоями», но я затрудняюсь перевести — это архаизм. Что касается идеализма и прочего, я вам расскажу смешную историю. Вам, наверно, понравится. К тому же — лестно для национального самолюбия. Здесь в позапрошлом году несколько вузовцев устроили кружок. Назвали «Ша Нуар» — в честь парижского кабака. Читали вслух стихи. Про красоту. Как вы сказали, «скучища» — вроде Валери. Ну, их и вызвали для внушения. Теперь вам еще сильнее захочется на веселый Буль-Миш. Что же, счастливой дороги!» Он вежливо откланялся.

Он шел, как всегда угрюмый и отчужденный. Он не мог понять, почему разговор с французом настолько смутил его. Вероятно, где-то в глубине его сознания жила робкая надежда, что он не одинок, что далеко отсюда, на другом конце света, у него имеются неведомые друзья. Он часто пытался представить себе этих далеких единомышленников. Он видел усмешку и пытливый взгляд. Он знал, что жизнь и там лишена пафоса. Он равно

презирал и Форда, и неокатолицизм, и демократию. Но отчаяние того, другого мира ему казалось настолько глубоким, что оно переходило в надежду. Как любитель у радио, он ловил звуки. Над миром стояла тишина. Ее прерывали только вскрики отчаявшихся и мяуканье саксофона. Прислушиваясь к этой тишине, Володя верил, что она может сгуститься в новое слово.

Он понимал, что журналист, с которым его свела судьба, пошел и ничтожен. Но все же эта встреча его обескуражила. Он увидел, до чего мал тот мир, в котором еще живут и дышат его воображаемые друзья. Он шел и думал о спертости. Сам того не замечая, он что-то напевал. Он поймал себя на этом — он пел дурацкую песенку: «Смотрите здесь, смотрите там...»

Тогда он собрался с мыслями. Он забыл о французе. Его голова была занята другим. Он чувствовал, что не может дольше молчать. После разрыва с Ириной он не произнес ни одного живого слова. Молчание настолько пугало его, что порой он начинал разговаривать сам с собой, косясь, нет ли кого-нибудь поблизости, — ему казалось, что он сходит с ума.

Неделю тому назад он увидал в столовке объявление о собрании вузовцев, посвященном «культурному строительству». Предстояло еще одно, десятое или сотое собрание с бесхитрым докладом и с путаными прениями, похожими то на зазубренный школьный урок, то на горячую, сбивчивую исповедь. Теперь он решил пойти туда и выступить с речью. Это решение пришло внезапно. Однако он верил, что оно медленно в нем вызревало, что его дневник был только подготовкой к этому неизбежному объяснению, что уже в Челябинске, под грохот машин, он впервые репетировал речь, которая должна была подойти на выстрел.

Когда он чувствовал, что наконец-то заговорит, он облегченно улыбнулся. Он понимал, до чего жалок и унижен сарказм его дневников. Не будучи трусом, он был обречен на осторожное юродство, на проглоченные угрозы, на эти насмешки под замком, на двойное существование. Как все, он слушал лекции, читал книги, обедал в столовке, пытался шутить с товарищами. Он был обыкновенным вузовцем. О другой жизни знали только тетрадки в сундуке. С завистью он глядел на своих товарищей: они мало говорили, но они что-то делали. Как бы ни были повторны и заимствованны их поступки, они могли осуждать, радоваться, надеяться. Они готовились к живому делу: сложные теоремы или загадочные термины включались в план

строительства. Усваивание истины становилось процессом, родственным коксированию угля или плавке чугуна.

Володя был обречен на бездействие. Все, что он делал — от работы на заводе до математических формул, — было только отдачей чужой жизни. С неприязнью он оглядывал свое прошлое. Он видел все превосходство отрочества: тогда тормоза еще не работали. Он начал хорошо — только дураки могут смеяться над Дон-Кихотом. Не все ли равно, что Миша или Васька Башкирцев не заслуживали таких страстей? Ветряные мельницы — те же враги. Они ничтожней людей, но их еще трудней упичтожить. Они встают на пути и требуют поединка. Они похожи на историю.

Он только и делал, что уклонялся от боя. Он боялся встретиться с жизнью глаз на глаз. Он лгал и в ответах на анкеты, и в разговорах с товарищами. Он уступил Ирину какому-то Сеньке. Даже Ирине он лгал: он играл в благородство, как будто он не человек, а герой романа. С кем он осмелился быть откровенным? Да только с этой несчастной библиотекарьшей. Он почему-то ее обидел. Она ни в чем не виновата... Она только буква. А книги?.. Книги — ничьи.

Они хотят из книг построить заводы. Это плохой кирпич. Это тонны бумаги. При соприкосновении с некоторыми чувствами они превращаются во взрывчатые вещества. Он, однако, не поднес спички. Он шел к гибели, не пытаясь уничтожить хотя бы частицу враждебного ему мира. Он выше окружающих. Почему же свое превосходство он превратил в проказу? Почему даже Ирину — после того вечера, после черемухи и губ, после сеней, — почему и ее он не отстоял, не схватил, не отнял? Он вздумал спасти ее от заразы. Это самый трусливый поступок во всей его жизни. Петька Рожков или Шварц вправе его презирать. Он выбрал трезвость. Он даже написал в дневнике: «К чему донкихотствовать?» Следовательно, он записался в двурушники. Он — один из многих. Другие двурушничают ради куска мяса, ради новых ботинок, ради карьеры. А он? Ради приличья? Ради законов истории? Или, может быть, ради подражания литературным предшественникам? Не для того ли он осудил Дон-Кихота, чтобы повторить Печорина? Как Печорин, он болен тем бессильным отчаяньем, которое прикрито любезной улыбкой.

Эта суровая оценка и продиктовала решение: он скажет все. Он заранее вдохновлялся враждебными криками. Он был счаст-

лив, что наконец-то окажется один против всех. Они увидят, кто он. Они заревут в злобе. Может быть, они кинутся, чтобы стащить его с эстрады... Продлевая удовольствие, он заглядывал дальше: его вычислят из университета. Могут и посадить. Мысль о расплате его приподымала. Он даже изменился с лица: стал живей и моложе. Исчезла болезненная вялость. Он глядел на мир если не с задором, то с той незнакомой ему отвагой, которая внезапно сказывалась в беглой усмешке, в блеске раздраженных глаз, в румянце, набежавшем на щеки при одной мысли о предстоящем. Впервые он думал об Ирине без приниженности. Он не давал себе отчета в том, что ее образ, память о неловких и горьких объятьях, что вся эта история неудавшейся любви придавала ему силы для бессмысленного и в то же время необходимого выступления.

Он вытащил дневник и попробовал набросать черновик речи: «Вас, наверно, удивят мои слова. Вы привыкли к молчанию. Одни молчат потому, что вы их запугали, другие потому, что вы их купили. Простые истины теперь требуют самоотверженности. Как во времена Галилея, их можно произносить только на костре. Вы хотите обсуждать вопрос о культуре. Но вряд ли кто-нибудь из вас понимает, что такое культура. Для одних культура это — сморкаться в носовой платок. Для других это — покупать книжки «Академии», которых они все равно не понимают, да и не могут понять. Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов и поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Но это еще не основа культуры. Вы можете построить тысячу домен, и все же вы не преодолеете вашего невежества. Муравьиная куча — образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Ничего в ней не изменилось. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, и они работают. Они носят пружики, кладут яйца, едят друг друга, и они счастливы. Они много честнее вас: они не говорят о культуре».

Володя остановился и перечел написанное. Он подумал: все это литература! Надо говорить проще, прямей. Он решил не писать черновика, но довериться чувству. Его голова была напол-

нена едкими сравнениями. Он скажет все, как сложится. Это будет куда сильнее приготовленной заранее речи. С отворачиванием посмотрел он на исписанные листочки: они напомнили ему о годах молчания.

Он сказал Петьке Рожкову: «Я сегодня приду на собрание». Петька радостно улыбнулся: «Вот это хорошо! А то у нас мало кто может работать на культфронте. Васька правильно говорит, что надо налечь на искусство. А из ребят никто не знает, с чего начать».

Когда Володя вошел в аудиторию, он увидел лампу и много лиц. У него закружилась голова. Он понял: сейчас это должно произойти!.. Он машинально прошел к трибуне и записался в список ораторов. Он не помнил сейчас ни об Ирине, ни о муравьях, ни о разговоре с французом. Только когда председатель назвал одного из докладчиков: «Товарищ Валерьянов», в голове Володи встало: Валери — «скучища», Буль-Миш... Он тотчас же отогнал от себя эти мысли. Он хотел сосредоточиться и наметить хотя бы начало своей речи. Тогда он почувствовал, что в голове у него пусто. Он растерянно хватался за обрывки несвязных фраз. Как перевести «изгой» по-французски?.. Конечно, все это не случайность, но исторические законы... А стихов у них все-таки не пишут... Может быть, Ирина здесь — она ведь ходит на собрания... Как странно — стоят и слушают... О чем они говорят?..

Володя попробовал прислушаться к речам. Говорил Васька Смолин. «Некоторые товарищи высказывались против оперы. Я вот знаю, в Новосибирске целый диспут высказался прогив «Майской ночи»: будто там показывают обнаженные тела, и это классовый враг. Но я видел здесь две оперы: «Евгений Онегин» и «Кармен». Это большие вещи. Это, что называется, отражает всю эпоху, и потом это так приподымает, что с двойной энергией садишься за работу. Мы не должны отказываться от такого мощного орудья, и поскольку здесь идет речь о создании музыкальных кружков, я в первую очередь предлагаю...» Володя отвернулся. Он больше не мог слушать. Почему-то он вспомнил противный фильм и фокстрот. Он растерянно усмехнулся: тоже отражает эпоху! Как все это непонятно!.. Нет, Ирина, видно, не пришла... А это кто? Уж не ее ли Сенька?..

Он внимательно оглядел нового оратора. Это был деревенский паренек. Он с жаром говорил о поэзии: «Я вот сначала Маяковского сам не понимал. Как начну читать — будто язык

ломается. Это оттого, что у него необыкновенные размеры. Теперь я вижу, что это настоящая поэзия. Я вот и Пастернака понял. Трудно было — кажется, голова разломится. Неожиданно он переходит, скажем, с чего-нибудь отвлеченного на посуду или на стулья. Но только это так захватывает, что я каждому скажу: надо это понять, надо!..»

Володя снова задумался. Он вспомнил стихи Пастернака: «И никого не трогало, что чудо жизни с час...» Эти слова его увели куда-то далеко. Он с болью подумал: хоть бы Ирина пришла!.. Он всполошился: с час. Всего только с час! Кому же нужно другое: споры, муравьи, подвиг? Все это пыль. А жизни под ней нет. С Ириной — кончено. Ирина с таким. Или с его товарищем. Как все глупо сложилось! Он не подумал раньше... Прозевал. А может быть, так и надо: оттенять счастье других. Вот этот — он счастлив? Почему нельзя подойти и прямо спросить: «Ты вот читал о чуде? У тебя есть? Настоящее? Задыхаешься? Плачешь? Сходишь с ума?» Да нет, у них это — самообразование, и только. Все-таки странно, что такой читает Пастернака. Вот бы выпустить его на Буль-Миш... Смешно! Все в мире перепуталось: Пастернак, муравьи, Валери, Володя...

Он снова заставил себя прислушаться к речам. Он увидел девушку. Она очень стеснялась и прятала большие красные руки. Она говорила: «Библиотекарша мне показала некоторые иллюстрации. Это помогает многое понять. Например, трагедии Шекспира — огромный мир! Я как будто увидела живых людей и все их страсти...»

Володя подумал: «Кажется, я записан после девушки... О чем же я буду говорить? Начну так: «Чтобы вырастить плодовые деревья, нужны века. Их скрещивают, прививают дичкам новые ветки, оскопляют, оплодотворяют. Тогда...» Он не закончил фразы: председатель сказал: «Слово принадлежит товарищу Сафонову».

Когда Володя поднялся на трибуну, он сразу понял, что не знает, о чем ему говорить. Это не был страх перед толпой: он ощущал теперь спокойствие огромное и приятное. Ему казалось, что он под водой. Но у него не было ни мыслей, ни слов. В одно мгновение он пережил все события дня: разговор с журналистом, улыбку Петьки Рожкова, тетрадку с муравьями, речи говоривших перед ним вузовцев — Кармен, Пастернака, остроносую библиотекаршу. Он начал, как и предполагал: «Плодовые деревья выращиваются веками...» Он запнулся. Ему показалось,

что в глубине зала стоит француз. Он досадливо поморщился: наблюдает! Он отвернулся. Тогда он увидел Петьку. Петька, приоткрыв рот, внимательно слушал: он ждал, что скажет Сафонов.

Володя заговорил. Ему самому казалось, что это говорит не он. С удивлением он прислушивался к своему голосу. Голос был взволнованным и полным чувства, но для Володи он был чужим. Он говорил, не останавливаясь, как будто он заранее знал все, что он скажет. Он больше не видел раздражавших его глаз. Смутно проплыла в дыму восторженная улыбка Петьки. Потом все слилось в одно: это был желтый масляный свет. Он зажмурился, но продолжал говорить.

«Деревья долго выращивают. Потом они дряхлеют и гибнут. У дичков богатая кровь. Им прививают черенки. Впрочем, все это дело садоводов. Я хотел сказать о другом. Я сегодня говорил с одним французом. Это журналист. Он мне рассказал, что во Франции студенты не читают стихов. Они хотят развлекаться. Они учатся ради диплома. Они много знают, но они ничего не могут. Есть во Франции поэт Валери. Его трудно понять. Он иногда темен, как Пастернак. Это настоящий поэт. Француз сказал мне, что Валери никто не читает, потому что это «скучища». Валери где-то написал: «Чтобы действовать, надо многого не знать». Я прежде тоже так думал. Я думал, что вы можете строить заводы потому, что вы не знаете Данте. Это звучит как парадокс. Но это не так глупо. Однако я думаю, что Валери не прав. Он живет без воздуха. Можно знать и действовать. Есть знание, которое обрекает на бездействие, — я его хорошо знаю: это мертвое знание. Чтобы построить завод, надо что-то знать: это точное, ограниченное знание. То, к чему вы стремитесь, это живая вода. Я скажу прямо: вы очень мало знаете. Но вы уже знаете куда больше, чем эти французские студенты с их дипломами и Буль-Мишем. Я не сравниваю программ. Я говорю о подходе к знанию. Они знают то-то и то-то. Для них важно занять место в готовой жизни, а вы хотите эту жизнь создать. Поэтому вам важно знание как таковое. Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорей всего, обречен. Я хочу быть со всеми. Я стараюсь хорошо работать. Но надо мной висит какое-то проклятье. Только не подумайте, что я говорю со стороны. Я действительно пойду со всеми на этот приступ. Но мое знание не нужно. У профессоров вы учитесь. У Шекспира,



у Пастернака. Это и есть те черенки, которые прививают. А я просто ветка. Ее можно отрезать. Листья на ней есть, поэтому и кажется, что я молод. Но плодов не будет. Впрочем, и это вздор! Надо уметь быть смелым. Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово: «мы». «Мы» это означает — против них. Мы должны победить. Мы должны взять у них самое ценное, и не как боевые трофеи, но как нашу жизнь, нашу силу, нашу кровь. Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост. Поглядите, что там я сегодня увидел. Музеи и несколько одиноких чудаков. Это смерть. А жизнь? Жизнь здесь...»

Когда Володя кончил, к нему подбежал Петька Рожков. Он схватил руку Володи и закричал в ухо: «Это ты, брат, замечательно!» Потом подошел Смолин и сказал: «Это ты хорошо сказал. Такая самокритика поможет и нам, и тебе. Это большое дело — суметь перестроиться. А теперь я хочу тебя спросить о другом: может, ты войдешь в наш литкружок? Надо помочь ребятам разобраться...» Володя ничего не ответил. Перед ним по-прежнему был густой желтый туман. Он пошел к выходу.

У двери кто-то остановил его. Он вздрогнул, почувствовал на своей руке чью-то руку. Он не узнал этой руки. Он узнал голос. Ирина тихо сказала: «Володя, я так рада за тебя...» Тогда он поглядел на нее и как будто проснулся. Слова Ирины его оскорбили. За ними ему почудились хлопки какого-то Сеньки. Он, вероятно, ревновал. Впервые за долгое время он увидел Ирину, и он сразу понял, что ничего не изменилось. Губы оставались губами. Он был бессилен перед этим клубком теплых путаных чувств.

Он мучительно морщился. Все происшедшее казалось ему тяжелым и постыдным сном. Он говорил, как Петька. Потом Петька жал руку. Смолин сказал: «Самокритика». Наверное, они думают, что он хочет примазаться. Ему предложили войти в литкружок. Конечно, что же ему теперь остается? Как он кричал: «мы, мы!» Кто это «мы»? Пастернаки? Шекспиры? Сафоновы? Муравьи? Он ни слова не сказал о муравьях. Он сам залез в кучу.

Он раздраженно ответил Ирине: «Почему ты, собственно говоря, радуешься? Может быть, ты думаешь, что я стал Сенькой? Просто двурушничаяю. Как все. У меня две жизни: думаю

одно, а говорю другое. Я тебе никогда не говорил, что я герой. Ты даже можешь сказать, что я трус. Я не обижусь. Только, пожалуйста, не спутай меня с твоим Сенькой!..»

Ирина вся похолодела. Ей показалось, что Володя говорит это, только чтобы ее обидеть. Она слышала его речь, и она знала, что перед всеми он говорил искренне. Она в тоске подумала: «До чего он меня ненавидит!» Она попробовала улыбнуться, но улыбка вышла виноватая. «Прощай, Володя! Я послезавтра уезжаю в Кузнецк». Он вдруг приостановился, внимательно на нее посмотрел и шепнул: «Хоть бы там ты была счастлива!» Он сказал это с такой болью, что сам изумился. Ирина крикнула: «Володя, погоди!..» Но он уже бежал прочь от нее.

Придя к себе, он нашел спокойствие. Он как-то окаменел. Он больше не испытывал ни ревности, ни подъема, ни сожалений. Он раскрыл книгу, как будто ничего и не произошло. Он ответил Петьке, что в кружок войти не сможет, так как очень занят. Может быть, потом...

Поздно ночью он вынул тетрадку. Он нетерпеливо улыбался: так пьяница нюхает водку. Он перечел еще раз черновик предполагаемой речи и написал под ним: «То, что не было сказано». Потом он начал писать.

«Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие. Я наблюдал этот феномен и прежде. Например, в литературе.

Я говорил так на собрании не потому, что я трус, но потому, что я калека. Трусость еще можно преодолеть, но нельзя приделать половинку души, которая отмерла. Видимо, я быстро приближаюсь к развязке. Что же сказать в дополнение? То, что Ирина уезжает в Кузнецк? Этого одного достаточно для развязки. Но я обещал себе не писать больше о любви. Что касается возможного эпилога, то револьвер — не перо, и за револьвер не бывает стыдно».

Школа встретила Ирину неласково. Когда она пришла на первый урок, ребята закричали: «Теперь не родной язык, а школьное собрание!» Она не хотела показаться придирчивой. Она села на заднюю скамью. Какой-то рыжий мальчуган произнес

речь: «Во-первых, мы должны поставить вопрос насчет пицци. Почему это мне дают суп, а там червяк? Потом, уборщицы швыряются тарелками, как будто мы собаки. А насчет уроков я тоже выражаю протест. У нас увеличили на три часа математику, а от этого происходит переутомление. В прошлом году пятая группа вовсе не проходила немецкий, а нас заставляют. Кому это нужно? Два умывальника, такая очередь, что нельзя помыться. Мыла не дают, а Марья Сергеевна нахально сказала, что мы все равно сопрем. Потом, Иван Николаевич проходит предмет, как безусловный вредитель. Почему он нас заставляет прорабатывать историю, как будто это может нас заинтересовать? Я предлагаю для протеста сегодня не заниматься».

Рыжего мальчугана звали Костей. Это был, видимо, коновод. Его слушали. Но когда одна девочка начала говорить, что на школьном собрании нельзя обсуждать программу, ее тотчас же прервали дружными криками: «Манька, утри нос!.. Учи сама, если хочешь!.. Эх ты, дердидас!.. Она в Ивана Николаевича втюрилась!..» Девочка покраснела и крикнула: «Прогульщики вы!» Миша, который сидел на задней скамье, рядом с Ириной, встал и пробасил: «Я предлагаю устроить общее нарушение дисциплины». Больше и не было никакого собрания. Миша измазал мелом спину Маньки. Потом в Ирину полетела грязная тряпка. Откуда-то ребята притащили кота. Кот фыркал и кричал. В углу малыш ревел: «Мои чернила пролили!» Костя строго сказал Ирине: «Можете идти домой. Урока сегодня не будет».

На стройке было много тысяч детей. Они жили с родителями в бараках или в землянках. Отец и мать уходили на работу: они строили завод. Ребята носились по грязи и по снегу. Они кидали камни в автомобили, дразнили старых казаков: «Киргиз прокис», таскали доски и жестианки, дрались и сквернословили.

Пашка, сын землекопа, кричал: «Кротов завел Анютку в барак, и он ее...» Отец говорил Пашке: «Замолчи, пащенок! Убью я тебя за такие разговоры!» Но Пашка его не боялся. Он приехал сюда из Владивостока. Он считал, что мир мал, как землянка, и что он, Пашка, нигде не пропадет. Вместе с Темкой Чельшовым они стянули у немца Гюнтера большую колбасу и четыре бутылки пива. Они выпили пиво и, охмелев, пошли купаться в прорубь. Когда Темка подрался с косым Павликом, Павлик пырнул его перочинным ножиком. Темка не почувствовал боли. Он и не заметил, что у него на животе кровь. Он

только кричал возмущенно: «Паскуда! Он мне полушубок порезал!..»

Темка изводил грабарей. Он пугал коняг. Он шел и пел: «Эй, ты, царь-грабарь!..» Но Темка любил стройку, и когда в январе месяце, из-за сильных морозов, наружные работы были частично приостановлены, он пошел к Соловьеву и сказал: «Вот дурачье — хотят бетон заморозить! Я могу с ребятами пойти на грелки — у меня пимы во какие».

Дашка Игнатова пристала к американцу Лайнсу с маргеновского цеха: «Вы напишите записочку в американский распределитель, чтобы отпустили карамель — кило, будто для вас, а деньги будут мои». Костя хвастал, что он в столовке получает каждый день два обеда — такой он ловкий. Ваня, которого звали «Ежиком», забрался в Топольники на спортивную площадку и гвоздем пробил два мяча.

Тот же Ваня, когда пионеры постановили принять активное участие в постройке ФЗУ, две недели подавал кирпичи, не отрываясь ни на минуту от работы. Когда Леша сказал ему: «Пойдем, я тебе покажу скворца», — он прикрикнул на Лешу: «Отстань ты! Здесь дело делают, а ты вон с чем!..» Он не поддался искушению, хотя он давно мечтал поймать скворца.

Учителя были перегружены работой: с утра до ночи они сидели в школе. Родителям было не до ребят. Мать Даши, приходя с работы, стонала, ругалась и стирала белье. Отец Пашки пил водку и в тоске кричал на сына: «Откуда ты взялся такой мордастый?» Дети росли быстро и как придется. Стройка для них была джунглями. Они глядели на американские краны и на оравы разноплеменных людей. Они мечтали как можно скорее стать инженерами и чертить диковинные планы. Но в возмущении они отвергивались от скучных теорем. Они хотели пайти знание среди листов толя, среди казаков, среди глины и угля.

Они дрались из-за гнилого яблока. Иногда кто-нибудь из самых отчаянных выменивал теплую шапку на две коробки папирос. Они терялись, когда преподаватель обществоведения спрашивал их о революции пятого года: это казалось им глубокой стариной. Зато они хорошо знали все марки автомобилей. Они знали также, кто записан как ударник, а кто как прогульщик. Они уважали стройку, но им казалось, что взрослые строят завод слишком медленно. Они пренебрежительно усмехались,

глядя на бородатых землекопов или на жалкие тачки. Они признавали только экскаваторы.

Ругаясь, они кричали: «Эх ты, подкулачник!» Девчонок, которые любили стихи и пестрые ленточки, они называли «твердозаданками». Они строили игрушечные самолеты. Начиная драку, они сурово оговаривали: «Не ладошами — кулаками». Они презирали иностранных специалистов, но всякий раз, увидев ковбойскую шляпу или короткую трубку, они замирали в восторге. Они набирали песок в карманы и на уроке немецкого языка устраивали «газовую войну». Особенно любили они уроки военизации. Они мечтали о том, как бы пробраться в кино без билета. Они знали все фильмы. Они говорили о Гарри Пиле: «Этот что надо!» Они в точности знали все столовки и кооперативы. Без запинки они могли ответить, где что дают. Они знали, почему на базаре яйца. Они знали также, как работает домна. Писали они с ошибками и в душе не признавали беспорядочности орфографии.

Костя сказал англичанину, который работал на ГРЭСе: «Вот вы угнетаете индусов, а когда индусы станут сознательными, от вашей Англии ни черта не останется». Англичанин улыбнулся и спросил: «Откуда ты это знаешь?» Костя не оробел. Он ответил: «Я читаю «Комсомольскую правду». А когда я кончу школу, я поеду в Индию, чтобы бороться против англичан». Косте было одиннадцать лет.

Иван Николаевич, измученный ревом, сказал: «У вас, ребята, совести нет». Мишка ему преспокойно ответил: «Нет так нет! Можно прожить и без совести даже очень хорошо». Когда Ольга Владимировна предложила ребятам издавать стенгазету, Мишка просидел над газетой всю ночь. Утром он сказал матери: «Если коллектив от меня требует, значит, я должен это выполнить».

Среди них были изобретатели, любители походов, драчуны, поэты и чудачки. Когда учителя находили слова, которые доходили до их сердца, они забывали и о камнях и о базаре. Они сосредоточенно слушали и цыкали, если кто-нибудь шепотом спрашивал, скоро ли кончится урок. Это была третья смена революции, и это были обыкновенные дети.

Ирине еще не было двадцати лет. Она хорошо помнила, что такое лукавый язык весны, которая забирается в раскрытые окна школы. Она еще сама любила коньки, ауканье в лесу и карамель. Может быть, о Кузнецке она мечтала так же, как

мечтал рыжий Костя об Индии. Увидев ребят, она растерялась. Она была слишком взрослой, чтобы говорить с ними как равная. Посмотреть на них со стороны она еще не умела. Она по-детски на них обиделась. Как они смеют говорить о вредительстве?.. Надо объяснить им...

Она растерянно оглядывалась. Она попробовала сказать «ребята!..». Но Костя, взобравшись на плечи Мишки, заорал: «Собрание закрыто, за исчерпанным порядком дня!» Ребята смеялись. Они сразу оценили все: и носки, и румянец смущения, и дрожь голоса. Они поняли, что Ирина их боится. Они прыгали вокруг нее и пели: «Мишка во как скаканул, Иру обнимает, оттого такой прогул — угля не хватает». Ирина стояла посередине комнаты, прижимая к груди тетрадку. «Ира» — значит они уже знают, как меня зовут... Но почему они хотят меня обидеть?..» Она почувствовала, что не выдержит и расплачется. Тогда она быстро вышла.

В тот день у нее больше не было уроков. Она бродила по площадке. Она говорила себе, что смотрит на стройку. Но весь день она думала об одном: что же ей делать?.. Она упрекала себя: до чего она легкомысленна! Какой нужен опыт, чтобы работать с такими ребятами! Это не Томск. Здесь и дети другие. Напрасно она сюда приехала — толка не будет. Она даже подумала: может быть, сразу уехать?

Все здесь казалось ей непонятным и страшным: скрежет воздуходувки, ругань строителей, воздух, полный зловонья, черная пыль, землянки. Не было ни деревьев, ни спокойных людей, ни места, где можно было бы отдохнуть и собраться с мыслями.

Но тотчас же она возмутилась своим малодушием. Конечно, это не Томск! Это — война. Восторженно и робко она поглядела на струи расплавленного металла: это и есть чугун, тот чугун, которого слишком мало, о котором, что ни день, пишут в газетах, ради которого все теперь столько мучаются? Да, здесь трудно. Товарищи Ирины предпочли Новосибирск: там и снабжение сносное, и спокойно. Она предпочла Кузнецк. Она знала, что жизнь — здесь. Надо только увидеть, где эта жизнь, увидеть не уголь или чугун, но людей.

Она вспомнила улыбку Кольки. Ей захотелось тотчас же разыскать его: он успокоит, поможет, скажет, как быть. Но она пристыдила себя. Колька знает свое дело. Он строит кауперы. Он не прядется за спины других. Она не может пойти к нему

с жалобами. Она должна сначала справиться с работой. Потом она пойдет к Кольке.

Вокруг нее люди работали. Они справлялись с землей и с камнями, с рудой, с углем, с огромными машинами и с водой, которая проступала из-под земли. Она им завидовала: она не знала, как ей справиться с сердцем этих суровых и шумных детей.

Когда стемнело, она сразу почувствовала, до чего она устала. Но она не хотела идти к себе. Ее поместили временно с какой-то старой учительницей. Та, не умолкая, плакалась: «Дети нахальные... ботинки продрались... ноги болят — сыро здесь...» Вчера Ирина спокойно ее слушала. Теперь она боялась, что не сможет вытерпеть причитаний. Несмотря на усталость, она продолжала ходить.

Она спросила рабочего: «Это что за место, товарищ?» Тот уныло ответил: «Сад-город». Ирина жалобно посмотрела вокруг: та же пыль и землянки. Она подумала вслух: «Почему сад?..» Тогда позади кто-то весело рассмеялся. «Названия у нас глупые. Это, говорят, подрядчик был Садов, в его честь. А насчет садов здесь слабо». Ирина оглянулась и увидела Кольку. Она даже рассмеялась от радости. Быстро схватила она его широкую руку. То, что она встретила Кольку случайно, среди тысяч и тысяч людей, не пошла к нему, решила не идти и все же встретила,— показалось ей редкой удачей. Это позволило забыть всю тяжесть дня. Колька спросил: «Ну, как тебе у нас понравилось?» Ирина ответила: «Очень. Я так рада, что приехала». Она не лгала: в ту минуту она и вправду радовалась.

Завод вечером был прекрасен и страшен. Пламя печей рвало наружу. Это походило на пожар. Казалось, огонь, зажженный людьми с такими усилиями, всемогущ и его теперь не погасить. Там, возле печи стояли люди в синих очках. Светились окна управления — другие люди проверяли цифры. Для них огонь был тоннами чугуна. Но издали огонь был только огнем. То в человеке, что некогда заставляло его боготворить степной костер, подымалось до мучительного восторга. Это было не только удовлетворением за месяцы непосильного труда, но почти телесной радостью. Поэтому, когда Колька сказал «здорово», Ирина не смогла даже ответить: как завороченная, она глядела на огонь.

Потом она сразу вспомнила рыжего Костю и перепугалась. Завтра у нее шесть уроков. Что она им скажет? Вдруг они

снова будут кричать и петь? Она не знает, с чего начать, как их приручить, как сделать, чтобы они ее приняли. Она стала грустной, и Колька заметил это. «Ты чего приуныла? Не ладится что-нибудь? Я и не спросил, как у тебя с ребятами?» Ирина поспешно ответила: «Я весь день проходила, устала. А с ребятами все в порядке. Сегодня у них было собрание, так что не пришлось заниматься, а завтра начну».

Она старалась говорить весело, чтобы Колька не почувствовал лжи. Она не могла признаться в позоре. Что он о ней подумает? Он ее презирает. Она почувствовала, до чего это важно, сказать — «я свое сделала». Даже не сказать — подумать про себя. Как Колька в тот первый вечер, когда он рассказал про кауперы. Она ведь сразу догадалась, что это он лазил... Он не сказал по скромности. Другое дело теперь — ей нечем похвастать. Надо сказать прямо: сплеховала. Но этого Ирина не могла сделать. Ее удерживал страх: что, если она потеряет Кольку? Тогда она останется одна на свете. Она не спрашивала себя о чувствах. Спроси ее об этом Колька, она, вероятно, ответила бы, что любит Сафонова. Но за весь день она ни разу не подумала о Володе. Как ей хотелось разыскать Кольку! Она сама не знала — почему. Но она чувствовала, до чего он ей дорог. Поэтому она и ответила, что «с ребятами все в порядке».

Колька сказал: «Я так и думал. Ребята здесь хорошие. Конечно, стервецы они ужасные, но молодчаги. Я смотрю в оба, чтобы они чего не попортили. Но, знаешь, весной ко мне пришел один: «Дай-ка я вместо тебя полезу. Ты не смотри, что я маленький, я на дерево какое хочешь взлезу и без веток — прямо». Нет, ребята славные! Только болтаются они, вроде как беспризорники. Придется тебе с ними повозиться. Но если сказать: это, ребята, дело! Это завод строят, а не то, чтобы собак гонять, — они поймут».

Больше они не говорили о школе. Ирина расспрашивала Кольку о его работе. Он отвечал нехотя: встреча с Ириной настолько его обрадовала, что он не мог говорить о привычных вещах. Ему казалось, что они идут по тихим улицам Томска. Он хотел говорить о другом — о чем — он и сам не знал.

«Я недавно прочел несколько книг. «Герой нашего времени» — я прежде знал Лермонтова только стихи. Потом один французский роман. Автор: Стендаль. Очень хорошо! Я как кончаю такую книгу, мне кажется, что я еще одну жизнь прожил, уж не просто Колька Ржанов, но еще кто-то. Замечательно



написано! Но читаю — не могу оторваться, а в душе все время возмущение. По-моему, о смерти они писали правдиво. Я видел, как мать умирала. Я это хорошо чувствую. Что у них, что у нас — одно. Но про жизнь они говорят как-то сторонкой. Все это сильно выражено. Самый ничтожный человечек становится огромным. Но чего-то не хватает. Мне кажется, что эти люди не едят, не работают, не любят. Столько все время чувств, что я читаю и спрашиваю: где же чувство? Понимаешь? Я сам не могу это толком выразить. Вот, погляди, какая у них любовь. Если — несчастье, тогда я им верю, я понимаю: над этим можно плакать, у меня у самого в горле стоит. А без несчастья они не могут. Или он чересчур самолюбивый, или она скрытная, или плохо друг друга поняли, или кто-то третий затесался. Иногда мне даже кажется, что они нарочно старались подбавить несчастья, чтобы было красивей. Счастье у них какое-то приспущенное, и если люди радуются, то им самим стыдно. О счастье щегленок и тот лучше расскажет. Вот ты мне скажи — почему это?»

Ирина вспомнила рассуждения Володи: «Животные страдают от недостатка в корме или от того, что им не дают случаться. Это относится и к двуногим разновидностям». Ирина тогда спросила его: «А люди?» Володя ответил: «Люди страдают не от того-то, но для того-то. Только страдая, человек становится непохожим на других». Так думал Володя. Наверно, так думали и старые писатели. Ирина ответила Кольке: «Должно быть, они стыдились простых чувств. А у нас другой подход. Да и любовь теперь другая».

«Это, конечно, верно. Мораль у нас не та. Для них труд был проклятьем, а я вот от этого «проклятья» ожил. Но мне все-таки кажется, что они писали не о живых людях. В любви все похоже друг на друга. Как когда умирают. Я думаю, что и тогда люди любили просто. Знаешь, без разговоров, но так, что дохнуть и то трудно. Только об этом нельзя написать...»

Ирина почему-то перепугалась. Она тихо сказала: «Говорить тоже нельзя». Она боялась, что Колька начнет спорить, но он молчал. Тогда она огорчилась: почему же он молчит?.. Она сказала: «Холодно! Дни хорошие, а ночью здесь холодно. Я совсем замерзла. Ты меня проводишь? Я живу наверху».

Они шли молча. Прощаясь, Колька спросил: «Скоро увидимся?» Он почувствовал, что у Ирины рука совсем заглодела.

Заботливо он сказал: «Ну ложись скорей, отогрейся». Ирипа послушно ответила: «Да».

На следующее утро, проснувшись, она сразу подумала: «Чего я испугалась?» Она весело пошла в школу. Ребята ее встретили молча, но недоверчиво. Она читала главу из «Войны и мира». Читала она хорошо, и дети внимательно слушали. Но когда она кончила, Костя злобно сказал: «А все-таки это ни к чему!» Ирина была довольна, что ей удалось довести урок до конца, но она понимала, что ничего еще не сделано: между ней и ребятами была стена.

Она начала работать медленно и упорно: так осаждают крепость. Она вспомнила о рукомойниках. Она пошла в управление. Там на нее сердито прикрикнули: «Не до вас!» Но Ирина настаивала. Ей удалось заполучить ордер на четыре рукомойника. В «Стандартстрое» сказали: «Пришлем рабочего». Ирина отказалась.

Как будто мимоходом, она сказала Косте: «Это ты бузил насчет рукомойников? Я вот достала — четыре штуки. Только рабочих не дают. Может быть, ты за это возьмешься?» Костя был польщен тем, что столь ответственное дело доверили ему. Он тотчас же набрал «бригаду строителей». На следующий день он гордо заявил Ирине: «Рукомойники будут поставлены в трехдневный срок». Это было не дружбой, но началом примирения.

Вскоре после этого Ирину послали в Гурьевск: надо было показать в ФЗУ, как применяются «тесты» для определения профессиональных способностей. Ирина поехала на день. Она взяла с собой несколько ребят, в том числе Костю и Мишку.

По грязным улицам Гурьевска бродили плешивые куры, но улицы назывались возвышенно, например «Творческий проезд». На заводских воротах значилось: «Чугуноплавильный и железоделательный завод». Это было почтенно и комично. Завод был построен в начале прошлого века. Сто лет тому назад люди раздули первую домну. Они клали в нее древесный уголь — кругом была тайга.

Завод был обнесен крепкими острожными стенами с башнями для часовых. Внутри еще можно было различить следы колец: на заводе прежде работали каторжники. Отцеубийцы и государственные преступники, злодеи и мечтатели стояли у неуклюжей печи: они плавил чугун. Об одних писал стихи Пушкин: «Не пропадет ваш скорбный труд!» О других пели блатные песни в ночлежках и на больших дорогах.

За сто лет завод мало переменялся. Начальники горного округа знали, что русские руки куда дешевле заморских машин. Вместо вагонеток двигались старые клячи. На паровых машинах, как на памятниках, стояли солидные даты: «1859». Деревянный кран подымал болванки. Стены были толстые, окон вовсе не было, и в мастерских стояла темь, как под землей. На дворе, заваленном мусором и шлаком, добродушно пыхтел старенький паровоз. Какой-то находчивый инженер приделал к нему длинную трубу, и паровоз шел за машину.

Ребята глядели на лошадей и на деревянный кран. Они весело смеялись: они помнили машины Кузнецка. Как скучный урок, выслушали они рассказ о каторжниках. Недавно им показывали скелет мамонта... Они не верили в труд мертвых людей. Им казалось, что жизнь началась вместе с ними. Тогда-то среди степи родился Кузнецкий завод.

Ирина, поглядев на кран, невольно улыбнулась. Она поставила себе рядом два крана: вот этот, деревянный, и моргановский. Она почувствовала, как быстро идет жизнь. Не успеешь опомниться, и мир уже другой. Непонятно, как люди прежде жили? Потом она задумалась: почему же вещи меняются быстрее людей?.. Нет, и люди меняются. Разве можно сравнить этого инженера с невежественным начальником, который кричал на каторжников?.. Только меняются не все вещи, да и не все меняется в людях. Конечно, автомобиль не похож на телегу, а вот колесо осталось колесом. Нельзя без смеха глядеть на эту печь. Но разве смешон Пушкин? Колька не мог оторваться от Стендаля. А ведь Стендаль — ровесник этого завода.

Ее смущала неравномерность развития: как будто у человека росла только одна рука, или плечи, или голова. Жизнь менялась, как на экране: вот прошло десять лет — не узнать Сибири, и жизнь оставалась настолько той же, постоянной и непрерывной, что становилось страшно. Колька сказал ей: «Люди и тогда любили просто». Значит, тоже любили, рожали ребят, радовались, умирали. Нет, лучше об этом не думать! Это та жизнь, которая идет сама собой — вне мыслей, вне плана, вне истории. Думать надо о другой жизни, быстрой и понятной: о работе, о кранах, о школе.

Она сказала ребятам: «Смешной завод? А вот вы не знаете, что он поработал на Кузнецк. Мне инженеры говорили, что без Гурьевска трудно было бы управиться. Здесь отливали для

Кузнецка различные части. Да и теперь много заказов. Все, что здесь делают,— это для Кузнецка. Конечно, потом завод сломают или перестроят. Но свое он сделал: старик, а помог молодому».

Она сказала это просто, как будто невзначай. Никто не мог бы догадаться, что ради этих слов она привезла сюда ребят. По тому, с каким вниманием выслушали ее дети, она поняла, что, может быть, впервые они почувствовали уважение к труду их предшественников. Костя сказал, показывая на деревянный кран: «Крепкий-то какой — держится!»

Когда они возвращались в Кузнецк, Мишка тихонько сказал Косте: «Она — ничего. Конечно, девчонка, но свое дело знает. Это не Марья Сергеевна». Костя неопределенно хмыкнул.

На уроке Костя сказал Ирине: «Почему вы все время говорите — «так нельзя сказать»? Кому они нужны, эти правила?»

Ирина стала объяснять, что такое язык. Она сама увлеклась. Она говорила о том, как трудно найти слова простые и точные. Потом она упомянула о музыке. Она повторяла различные слова, и дети, насторожась, слушали: слова пели. Их было много, как деревьев в лесу. Одни старились и умирали, другие рождались, но лес шумел, лес оставался лесом. Волнуясь, она прочитала стихи: «И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горячий». Волнение Ирины передалось ребятам. Они сами не понимали, почему их так увлекли эти стихи. Они даже не думали о страшном дереве. Они были смущены силой слов. Так прошла минута-две. Потом Манька робко сказала: «До чего это красиво!» Ирина в изнеможении села на стул.

Дня три спустя после урока к Ирине подошел Костя. Он что-то хотел сказать, но мялся и переступал с ноги на ногу. Наконец он сунул в руку Ирины тетрадку и тотчас же убежал прочь. В тетрадке были переписаны два стихотворения Кости. Одно называлось «Гигант стали», другое — «Александр Пушкин». Ирина много раз перечитала неуклюжие строки. Она не могла сдержать свою радость. Она все время улыбалась: улыбалась в школе, в столовке, улыбалась и когда шла к Кольке.

Она не видела Кольку с того вечера. Как-то они столкнулись в клубе, но Ирина сразу ушла. Она не хотела его видеть, пока не добьется своего. Она постучала в окошко, Колька высунулся. Не вытерпев, она закричала: «Есть, Колька!» Она

весело вбежала в комнату. «Я теперь знаю, что могу работать. Я говорю и чувствую — слушают. Не так, как раньше. Я тебе не говорила... Но это было здорово трудно. Такой Костя... Он хороший мальчишка. Только сначала я думала, что я от него повешусь. А теперь он стихи пишет. Нет, ты ничего не понимаешь! Я вздор мелю — все вместе. Но ты пойми, я так счастлива!..»

Она не могла больше говорить. Она взяла Кольку за руки, и Колька начал ее кружить вокруг себя. Они оба смеялись, и оба не знали, почему смеются. Они хотели о чем-то заговорить, но разговор не вышел.

Ирина сказала: «Пойдем ко мне, я тебя антоновкой угощу». В комнате Ирины было темно. Она не зажгла света. Она выбрала самое большое яблоко и дала Кольке: «Вот тебе». Он не взял. Он подошел к Ирине и крепко поцеловал ее. Тогда Ирина строго сказала: «Ешь яблоко!» Колька в темноте не мог разглядеть ее лица. Она улыбалась. Он только догадывался об этой улыбке. Он послушно грыз яблоко и тоже улыбался. Потом Ирина сказала: «А теперь иди! Мне нужно работать — в шестой группе трудный урок. Я завтра за тобой зайду».

Она просидела еще часа два за книгой. Иногда она глядела в сторону и улыбалась. Она не вспоминала при этом Кольку и ни о чем не думала. Она просто радовалась.

В соседней комнате жила Варя Тимашова. Она преподавала в ФЗУ природоведение. Это была та самая Варя, которая мечтала об Ингеборг и записывала в тетрадку свои мысли. Иногда ночью она заходила к Ирине. Они терли глаза — глаза закрывались: обоим хотелось спать. Но еще сильнее обоим хотелось говорить, и, борясь со сном, они говорили о книгах, о ребятах, о жизни.

Варя пришла из школы в десять вечера. Ее провожал инженер Готов. Всю дорогу он говорил о деррике. Потом он зашел в комнату Вари, и Варя забеспокоилась. Она сказала: «Я живу не одна. Здесь еще Марья Сергеевна живет. Она должна сейчас прийти». Готов молчал. Варя сказала: «Вот вы говорите, что на этом деррике...» Она не докончила — Готов больно сжал ее плечи. У нее потемнело в глазах, и она сама к нему придвинулась. Потом она в страхе крикнула: «Да ты с ума сошел! Сейчас Марья Сергеевна придет!» Она оправила волосы и тихо сказала: «Завтра я весь вечер одна». Готов ушел. Варя хотела выбежать и сказать ему, чтобы он вернулся: на-

счет Марьи Сергеевны она выдумала — Марья Сергеевна уехала на шесть дней в Новосибирск. Но она не позвала Глотова. Она даже с улыбкой подумала: здорово я сочинила!.. Потом ей стало грустно. Она попробовала было вынуть тетрадь и записать мысли, но мыслей не нашлось. Тогда она пошла к Ирине.

Она спросила Ирину: «Ты не знаешь, что такое в точности этот деррик?..» Ирина начала объяснять, но Варя ее прервала: «Я тебя об этом завтра спрошу, а то сейчас ничего в голову не лезет». Она помолчала, а потом, сев рядом с Ириной на кровать, тихо сказала: «Когда читаешь романы, так все красиво, и любить они умеют. А у нас ни на что нет времени. Вот и остаются эти деррики... Ты знаешь, я хотела бы жить на каком-нибудь острове. Чтобы деревья и никого. Только он. Вот тогда это настоящая любовь...» Ирина тоже вздохнула. Они еще долго о чем-то говорили, сами забывая о чем говорят, взволнованные и растерянные. Потом, доверясь друг другу, они тихонько поплакали. Они не понимали, откуда эти слезы. Им казалось, что они плачут оттого, что жизнь страшна и непонятна. Но это были легкие слезы, и они плакали от счастья. Они уснули с мокрыми щеками. Сон был ровный, глубокий — сон до утра.

На следующий вечер Ирина зашла, как обещала, к Кольке. Они не шутили и не смеялись. Они пошли к Ирине. Шли они, торопясь, хотя торопиться было незачем. Над трубами мартена висела луна, большая и близкая. Казалось, что и луна — это только диск расплавленного металла. Ирина поглядела на нее и недовольно отвернулась: она не хотела ничего видеть. Когда они пришли в комнату, она первая обняла Кольку.

В комнате было темно и тихо, и это длилось долго, так долго, что нельзя было поверить свету, голосам и памяти. Ничего и не было до этой ночи: жизнь только начиналась. Эта жизнь не спешила, она была горячей и неподвижной, она признавала только мельчайшие движения: вот Ирина вздохнула, вот Колька бережно поцеловал ее в плечо. Они прислушивались к дыханию; как неведомый мир, они открывали выгуклость лба, мускулы рук и горькую сухость кожи; они срастались, как сращиваются деревья, и много времени прошло прежде, нежели человеческий голос решился вмешаться в эту сосредоточенную тишину. Колька тихо сказал: «Ирина!..» Она не ответила. Она не могла говорить, не могла даже шелохнуться — до краев она была полна спокойствием.

Они вышли на улицу под утро: Ирина сказала, что хочет проводить Кольку. Она боялась остаться одна в этой комнате. Уходя, она настежь раскрыла окно.

Они шли теперь медленно и рассеянно. Навстречу прошли рабочие с ГРЭСа. Один из них крикнул: «Что, Колька, гуляешь?» Колька не откликнулся. Вдруг Ирина поскользнулась. Она чуть было не упала в яму. Колька ловко подхватил ее и рассмеялся. Засмеялась и Ирина: «Совсем как пьяная...» Оба обрадовались этому происшествию: все сразу переменялось, стало простым и ясным, похожим на день. Они могли теперь болтать о пустяках. Они и не обмолвились о том, что было. Возле мостика Ирина сказала: «А теперь я пойду домой. Еще два часа до школы — попробую соснуть». — «Может, проводить тебя?» Ирина отказалась: ей хотелось остаться одной.

Она пошла назад. Она ни о чем не думала. Она только повторяла про себя последние слова Кольки: «Значит, завтра...» Она снова была спокойна и счастлива.

Подымаясь в гору, она услышала позади шаги. Сначала она подумала, что это случайный попутчик. Но потом ей стало не по себе, она приостановилась. Остановился и человек. Она услышала, как чиркнула спичка, — наверно, закуривает... Она пожурила себя: что за трусость? Здесь и нет никаких грабителей. Но она все же не успокоилась. Она хотела заставить себя оглянуться, но не могла. Она то останавливалась, то шла очень быстро. Человек не отставал. Она тревожно поглядывала на темные бараки. Кругом никого не было. Что же это такое?..

Теперь она остановилась потому, что не могла идти дальше: сердце колотилось — вот-вот разорвется. Она прислонилась к стене барака. Тогда человек подошел к ней вплотную. Она поглядела и тихо вскрикнула — это был Володя.

«Я видал однажды в кино смешную картину: весенняя лужица была заснята первым планом. Все думали, что это бурный водопад, Ниагара. Труднее показать другое: до чего каждая капля бушующего океана живет скучной и мизерной жизнью! Конечно, издали все это весьма величественно. Вблизи — стоячая вода: распределители, карьера, сплетни. Поэтому я затрудняюсь сказать, что я решил «переменить жизнь». Это слишком

громко. Вернее — я решил переменить местожительство. Я подал заявление о переводе на отделение черной металлургии. Придется приналечь на физику и химию, но это легко — уровень, разумеется, низкий. В математике я сильнее всех. Словом, особых трудностей, к сожалению, не предвидится.

Итак, капитуляция! Ирина с полным основанием скажет (как после знаменитого «выступления»): «Я за тебя рада». В поединке между чугуном и Сафоновым победил чугун.

Вполне возможно, что я ищу примирения с жизнью или, выражаясь менее возвышенно, пробую приспособиться. Мне надоело переть против рожна. Кому нужна сейчас какая-то абстрактная наука? Конечно, они гордятся Павловым, но это оттого, что у него мировое имя. Это как памятник старины — пусть все видят, что и мы не варвары! Павлову могут дать замечательную лабораторию, двойной паек. Но молодому ученому не стоит обольщаться — его задача ясна: это все тот же тришкин кафтан. Один сидит и думает, чем бы заменить гуммиарабик, так как это импортный продукт. Другой ищет суррогата глицерина. Третьему поручено добиться изготовления бумаги из водорослей (дерева сколько угодно, но с целлюлозой возня — нельзя ли попроще?). Я читал в газете, что какой-то прохвост придумал, как изготовлять валенки из человеческих волос.

Я охотно признаю, что они правы. Когда человеку нечего жрать, он плюет на логарифмы. Если сейчас какой-нибудь советский астроном откроет новую планету, я первый усмехнусь: нашел что открывать! Какое нам дело до планет, когда нет штанов? При таких обстоятельствах «чистая наука» становится не только подвигом, но зачастую и свинством, как чистая поэзия и пр.

Я не могу уехать на другую планету. За границу мне и самому не хочется, особенно после разговора с тем французиком. Значит, я собираюсь жить в стране, именуемой СССР. Вывод ясен: этой стране нужен чугун и ей совершенно непужна абстрактная математика.

Я хочу быть прежде всего честным. Можно ли презирать инженера, который работает на заводе? Он — тот же землекоп или каменщик. Это настоящая работа. Если у нас ее делают хуже, чем в Германии, то это зависит от средств, а не от людей. Бедности нечего стыдиться. Но как только отступаешь от этого прямого дела, начинается фиглярство. Поэты пишут



стихи о домнах, художники изображают театральных ударников, историки литературы объясняют романтизм справками о развитии паровой машины и т. д. Я лично предпочитаю чугуны.

Помимо этих общих соображений, мной, по-видимому, руководит страх — желание спастись, ухватиться хотя бы за щепочку. Я столько слышал про эти стройки — все ими захвачены. Вдруг и Володя Сафонов, после Сенек, уверует в св. Домну?.. Если это массовый психоз, то почему я не могу ему поддаться? Во всяком случае, я поеду туда с искренним желанием разделить чувства других.

Я перечел все написанное, и мне самому смешно. Конечно, все это так. Это — мои мысли. Но позвольте, товарищ Сафонов, поставить маленький постскриптум: отделение черной металлургии, как вам известно, находится в Кузнецке. Там же находится Ирина. Вы говорите, что вас влечет к себе чугуны? Всякое бывает!.. Но не думаете ли вы, что это весьма напоминает скверный бульварный роман?»

Володя записал это еще в Томске. С тех пор прошло два месяца. Он приехал в Кузнецк. Он познакомился с разными людьми: с инженером Костецким, с Толей Кузьминым, с Соловьевым. Он не встречал Ирины. Он не знал, как ее разыскать, и в душе он радовался этому. Он боялся встречи. Он хотел убедить себя, что он приехал в Кузнецк отнюдь не ради Ирины.

Он попробовал увлечься металлургией. Ему показалось, что это живое дело. Он провел вечер в беседе с Костецким. Костецкий рассказывал об американских заводах. Когда они расстались, Володя подумал, что наконец-то он вращается в жизнь. Тогда с еще большей силой ему захотелось увидеть Ирину.

Он теперь часто видел ее во сне. Тогда все менялось — Володя был настойчив, даже груб. Он так крепко обнимал Ирину, что та кричала, и Володя просыпался. В столовой или в клубе он жадно вглядывался в лица женщин. Но Ирины не было.

Он увидел ее поздно ночью, возвращаясь с работы. Она стояла возле мостика с каким-то незнакомым ему человеком. Володя подошел настолько близко, что услышал шепот: «Значит, завтра...» Они его не заметили. Володя сразу понял, что он опоздал. Это было просто, как с комнатой или с калошами, — его место занял другой.

Он хотел было просто уйти. Он не любил борьбы: счастье либо сразу давалось, либо оно вовсе и не было счастьем. Но он не ушел, он поплелся вслед за Ириной. Он понимал, до чего это глупо, но он не мог ни окликнуть ее, ни отстать. Он шел как лунатик, ничего не соображая, полный горя.

Когда Ирина, увидав его, вскрикнула, он бросился прочь. Он бежал, как воришка, которого накрыли с поличным. Он понял, что Ирина его боится, и ему самому стало страшно. Зачем он ее преследовал? Он ненавидел себя, и, если бы человек умирал от одного нежелания жить, он, наверно, умер бы среди этих жалких землянок, с глупой гримасой страха и с лицом, мокрым от бессмысленного бега. Он хотел вытереть лицо; дотронувшись рукой до лба, он брезгливо вздрогнул. Он обрадовался дневному свету и рабочим, которые шли на стройку. Впервые с признательностью он подумал о чугуне, который обещал ему несколько часов передышки.

Вечером снова встало все: испуг Ирины, потный лоб и простая короткая мысль: «Опоздал!» Он вдруг всполошился: может быть, Ирина попросту испугалась? Ведь она не знала, что он в Кузнецке. Но тотчас же он вспоминал широкие плечи того, третьего. «Значит, завтра...» Вот оно и наступило это «завтра»! Сейчас они вместе. Почему-то Володе показалось, что это должно происходить в Томске, в комнате Ирины. Он видел, как тот, с широкими плечами, обнимает Ирину. А на столе — черемуха... Но ведь это уже было с Володей. Он усмехнулся: по требованию публики спектакль повторен. Сенька или Петька. Такой, конечно, не ведет дневников. Ему и в голову не придет разыгрывать благородство. О чем тут говорить? Он потерял Ирину — это просто и ясно. Ирина ушла к чугуну, и не так, как Володя — без позы, без снисхождения, без страха. Утром — в школу, вечером — с этим... Через год-другой можно будет поздравить социалистическое отечество с новым гражданином, который пригодится для пятой пятилетки. Вот и все.

Кругом него люди жили, как прежде. Они жили, сжав зубы. Они строили завод.

Инженер Костецкий выписал из Москвы жену, и жена, приехав, сказала: «Какой ужас!» Костецкий спокойно ответил: «Никакого ужаса. Мы вот вторую домну пустили. В столовке сносно — да ты сама увидишь. А одному трудно — пуговицу пришить и то некому. Хожу как босяк. Ну пока! Я побегу на заседание».

Толя Кузьмин сочинил стишки о безобразии на кухне: «У поваров Федьки, Мани и — Романа вино ни-ни — не выводится — приблизительно — и при окончании работы — у ребятток наших робких — ни капли не осталось водки — утешительно». Эти стихи были помещены в стенгазете.

Шор взялся теперь за блюминг. У него был жестокий припадок, но, провалявшись два дня, он прибежал в цех и весело крикнул: «Ну-ка, пристыдите прогульщика, покажите, что вы тут понаделали». Немец Вагнер сказал Шору: «Мой контракт кончается, но я хочу остаться. Я буду работать, как русский». Шор крепко пожал руку Вагнеру. Тогда Вагнер осмелел. Он спросил Шора о том, что давно его смущало: «Когда я говорю — «надо выписать то-то из Германии», русские смеются. Один раз я понял — они сказали: «Это немецкие штучки». Они отвечают, что это можно сделать руками. Конечно, можно, но сколько сил тратится зря! Ведь человек что-нибудь да стоит!» Шор улыбнулся ласково и чуть грустно: «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется... Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется «энтузиазмом». Одним словом, замечательная страна! Поживете еще год-другой, тогда и поймете!» Шор сказал и схватился за грудь — доктор строго-настрого запретил ему двигаться. Потом он побежал дальше.

На стройку понаехало самогетком много разного народа: казачки, чувашки, мордвинки. Молодой тунгус, увидев велосипед Фадеева, обмер. Он сказал: «Автомобиль мы видали. Самолет тоже видали. Они идут потому, что внутри машина. Но эта штука идет сама собой!»

Ударная бригада шорцев приняла резолюцию: «Так как гигант строится на нашей шорской земле, мы даем торжественную клятву перевыполнить задание, чтобы помочь совхозам, а также защитить советское отечество от хищников международного империализма». Бригадир, шорец с хитрыми глазами и печальной улыбкой, пососал трубку, а потом сказал Соловьеву: «Отпусти меня на два месяца! Теперь время идти на охоту. Теперь время бить выдру и соболя. Я пойду в тайгу. Железо может ждать, а зверь не ждет». Тогда выступил комсомолец Морич, и он сказал: «Ты говоришь не как сознательный. Ты говоришь как зажиточный. Мы строим этот гигант. Страна не может ждать, стране нужно железо. Если ты уйдешь, я

первый скажу, что ты дезертир». Бригадир вздохнул и остался.

Выпал снег, и наступила еще одна зима. Одни говорили — третья, другие — четвертая: никто не знал, когда началась стройка.

Варя Тимашова как-то ночью зашла к Ирине и сказала: «Черт знает что! Прибавили еще два урока. Сегодня у меня было одиннадцать. Я говорю с ребятами и чувствую, что засыпаю. Васька написал работу об уме собак. Так здорово, что я думаю послать в Москву. Он три года был подпаском: знает все об овчарках. А у тебя как?»

Варя постояла еще несколько минут, а потом, повернувшись к стене, сказала: «Кстати, ты знаешь Глотова? Высокий. На деррике. Так мы с ним поженились. Вчера. Пожалуйста, не смейся!» Вся красная, она выбежала из комнаты.

Ирина по-прежнему работала в школе. Мишка спрашивал, что такое ямб. Ребята писали: «Задание третье. Тема: «Неделя» Либединского. Целевая установка: осознать, как показывает автор героическую борьбу коммунистов в период военного коммунизма. План проработки: чтение произведения, краткий доклад бригады, анализ содержания».

Костя писал: «Коммунисты совсем забывали личную жизнь. Они все внимание сосредоточивали на революционной борьбе. Например, Робейко. Он был болен туберкулезом, и ему трудно было говорить, но он делал доклады о заготовке дров».

Потом Костя говорил Ирине: «Интересно они жили! Наши парни все норовят получить путевку в дом отдыха. Но когда начнется война с империалистами, будет куда веселей». Ирина, улыбаясь, показывала ему на рвы, насыпи и землянки: «Чем тебе не война?»

Ирина быстро оправилась после встречи с Володей. Иногда она еще плакала, но она стыдилась этих слез: она не хотела жить прошлым. Томск теперь ей казался детством — уютным и никчемным. Володю нельзя было пожалеть — тотчас же она вспоминала насмешливый голос: «Се-нька по-эт...» Он не хотел, чтобы Ирина жила как все. Он хотел ее запрятать в душевое подполье, где только он и книги. Думая так, Ирина радовалась, что она не с Володей.

Она теперь много работала. Колька записался на вечерние курсы. Их встречи были короткими и напряженными: столько надо было вместить в один тесный час! Но они были счастливы:

они твердо знали, что это и есть та «простая любовь», о которой говорил Колька, прочитав Стендаля.

Ирине казалось, что все в ее жизни ясно и понятно. Но когда, среди редких хлопьев снега, как бы рассеянно падающих сверху, она увидела лицо Володи, она сразу растерялась. Растерялся и Володя. Он теперь не пробовал убежать. Они стояли друг против друга в нерешимости. Потом на лицах проступила улыбка: еще ни о чем не думая, они попросту обрадовались. Ирина почувствовала, что эти серые глаза — не чужие. Она робко спросила: «Володя, может, зайдешь ко мне? Надо нам поговорить».

Володя покорно пошел с ней. Они шли молча. Они больше не улыбались, и когда они пришли к Ирине, Ирина с испугом подумала: а ведь говорить не о чем!.. Она спросила: «Хочешь чаю?» Володя вежливо отказался. Они снова помолчали. Потом Ирина сказала: «Ну, как тебе здесь живется?» — «Спасибо. Как всем. Обучаюсь. Строю, конечно, гигант. Хворал гриппом. В общем, ничего особенного». Он говорил нехотя, как будто его клонило ко сну. Ирина не поверила ни словам, ни голосу. «Ты это для стилиа... Хорошо, что ты сюда приехал. Это не Томск. Для тебя это не просто переход с одного отделения на другое. Это шаг к жизни».

Володя усмехнулся, и сразу все напомнило Ирине Томск: глаза Володи, которые никогда не смягчались улыбкой, голос — злой и в то же время трогательный, докучливые рассуждения, подлинная боль и вся откровенная нелепость его жизни. Она подумала: «Милый...», но тотчас же спохватилась и поправила себя: «Бедный... бедный и чужой».

«Я здесь говорю исключительно о руде, о сере, о процентах кремния. Эти дни я был так занят, что не было времени даже подумать. Но я попробую тебе ответить. Это не шаг к жизни. Если ты хочешь обязательно, чтобы я шагал, это скорее шаг к смерти. В Томске еще были вещи, которые меня привязывали: библиотека, деревья в садах, профессора, собаки на улицах. Словом, хлам. А здесь никуда не запрячешься. Это прекрасная школа — я говорю, конечно, не о втузе. Я здесь с каждым днем избавляюсь от глупой привязанности к жизни. Конечно, в этом отношении сегодняшняя встреча — ошибка. Но это не важно — я ведь никак не обольщаюсь...»

Он помолчал. Ирина увидела, как он злобно изорвал окурочек. Она боялась с ним заговорить, боялась, что любое слово будет

ложью. Заговорил снова Володя. Он посмотрел на Ирипу и спросил: «Как его зовут?.. Да ты понимаешь, кого... Се-нька? Или Пе-тька?»

Ирина вскочила. Она была вне себя от гнева. Впервые Володя увидел ее такой. «Ты не смеешь так говорить! Уходи! Сейчас же уходи! Ты думаешь, что они ниже тебя? Они на сто голов выше! Ты хочешь поглядеть свысока, а выходит низко, очень, очень низко...»

Володя прикрыл лицо рукой. Он тихо сказал: «Ты что же хочешь сказать? Что я его презираю? Куда там! Я ему завидую. Всему. Что у него вот такие плечи. Что он с тобой сумел по-другому, не как я. Что его, наверно, всерьез интересуется, сколько процентов кремния в чугуне. Я и злюсь оттого, что завидую. Я совсем не герой, Ирина. Скорей ничтожество. Даже хуже...»

Гнев Ирины прошел, остались усталость и какое-то глубокое удивление, она как будто впервые увидела Володю. Она спрашивала себя: «Неужели я его любила? Ведь это не человек, это труп! О таких прежде писали в романах... Если и есть в нем живое чувство, то одна только ненависть. Он ненавидит меня, ненавидит Кольку, всех ненавидит. Он и себя не любит. О чем он еще говорит?..» Она заставила себя прислушаться к словам Володи. Он сидел по-прежнему, закрыв руками лицо, и разговаривал скорее с собой, нежели с Ириной.

«Религия вообще нелепость. Но все же Христос на кресте — это не дядя Мартын. Я понимаю, что можно строить заводы. За границей тоже строят. Ну, не теперь, теперь не строят — кризис, чересчур много понастроили. Но там печь — это печь. Нельзя в двадцатом веке ввести примитивный фетишизм. Как-никак мы не шорцы! Ты думаешь, что история это прогресс, а это попросту толчея — как на базаре: взад и вперед. Все, конечно, меняется, только никому от этого не легче. Иллюзия движения, иллюзия цели, иллюзия...»

Он не закончил фразы — в дверь постучали. Нехотя он отдернул руку от глаз. Он увидел человека с широкими плечами. Он хотел сразу уйти: пускай воркуют о чугуне! Удержало его самолюбие: вдруг Ирина подумает, что он испугался? Он первый протянул руку: «Сафонов». Колька приветливо улыбнулся, и эта улыбка еще больше разозлила Володю: чем не американцы?..

Колька даже не задумался — кто этот человек: преподаватель ФЗУ, вузовец, инженер. Он был занят своим. Он, волнуясь,

рассказывал: «Двух землекопов сегодня пришибло. Насмерть. Они тащили из котлована щит. Деревянный. Они его на себе таскают. Один повернулся неловко — и бац. Черт побери, ведь какое безобразие!..»

Ирина молчала. Она видела двух бородатых людей в меховых шапках. Они лежали на снегу. Над ними глосили бабы. Бороды были гладкие и расчесанные, а лица измараны кровью. Она видела это так ясно, как будто была там. Весь день стал ей страшен: кровь, болтовня Володи и вой ветра за окном — началась метель.

Володя, выслушав Кольку, сказал: «Я не понимаю, чему вы удивляетесь? Конечно, Кузнецкий завод — чудо техники и прочее и прочее. Но строят его так, как строили пирамиды. Нагнали мужиков и успокоились — мужичок вывезет. Имеются экскаваторы, деррики, грейферы, но землю они таскают на себе. Месят ногами. А грабари — видели? Словом, с одной стороны мorganовский кран, с другой — даже не Петр, но допетровская Русь».

Колька пристально поглядел на Володю: «Вы кто же, товарищ? Из ФЗУ? Или так, проездом?..» — «Я втузовец. Работаю здесь». Тогда Колька нахмурился: «Я вас не понимаю. Так только враги могут рассуждать. Конечно, у нас мало средств. Этого нет, того нет...» Володя его перебил: «Могло бы все быть. За границей не так строят. Да и живут там иначе...»

Колька возмущенно поглядел на Ирину, как бы спрашивая: откуда такой взялся? «Конечно, могло бы быть все. Только нас бы тогда не было. То есть сидели бы здесь господа из какого-нибудь «Копикуза», а мы бы на них работали. Может быть, поставили бы еще десяток грейферов. По-моему, лучше землю руками таскать. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что это для нас. Разве в самом заводе дело? Вы думаете, я не знаю, что в Америке и не такое еще строили? Для меня это — как крепость взять. Конечно, у нас многого не хватает. Но ведь мы только-только начинаем. Красный директор, а он пять лет тому назад свиней пас. Или казаки — ведь это дикари, азбуке их надо учить. За каждую заграничную машину мы чем платим? Очень просто — голодом. Да вы это сами знаете. Нечего митинговать. Я о другом хочу вас спросить. Вот вы втузовец. Вы мне можете помочь. Я, видите ли, что надумал — надо землекопов выручить. Если нет настоящих кранов, почему бы не смастерить деревянный? Чтобы щиты подымал. Сразу полегчает. Да с краном

не может быть такого безобразья — ведь задавило их!.. А сделать, по-моему, нетрудно. Вот посмотрите — я нарисовал...»

Володя поглядел на чертеж и рассмеялся. «Каменный век! Вы не сердитесь, но только это очень смешно. Теперь вечную спичку изобрели. Вот и представьте себе, что является советский изобретатель: «Я придумал усовершенствованный трут».

Колька не смутился. Он спрятал чертеж в карман. «Что ж, если нет спичек, и трут придумаешь. Это вопросы практические. Нечего тут спорить о принципах. Я вот увидел, как людей зашибло, и подумал — почему бы не устроить такое?.. А не хотите, я другого спрошу. Или сам попробую».

Ирина молча слушала спор. Но, увидав все ту же снисходительную улыбку Володи, она не вытерпела: «Сейчас как раз время поглядеть на мир свысока. Что людей задавило, на это тебе наплевать. И вообще на все наплевать. Ты, Колька, его не слушай! Он сам мертвый и не хочет, чтобы другие жили...»

Володя тихо ответил: «Я, собственно, не о том думал... Впрочем, это не важно. Я вот засиделся, пора за работу!» Он неловко простился и вышел. Тогда напряжение Ирины сразу спало. Она зашлакала. Колька растерянно спросил: «Что с тобой?»; Она не ответила. Он понял, что это не случайный посетитель. Он вспомнил, как в Томске Ирина ему сказала, что любит другого. Никогда прежде он ее об этом не спрашивал. Теперь, нагнувшись к Ирине, Колька спросил: «Он?» Ирина ответила: «Да».

Колька отошел в сторону. Он сам не понимал, что с ним. Вдруг он решил, что Ирина его не любит. Колька ненавидел этого втузовца — как он смеялся над его рисунком! Нарочно — при Ирине. А Ирина — как все девчата. Только другие падки на красоту, а Ирина увлеклась разговорами: «каменный век», «допетровская Русь»... Конечно, если она любит такого...

Ирина подошла к нему сзади и руками обняла его шею. Оглянувшись, он увидел, что Ирина улыбается. Тогда он сразу забыл обо всем. Он виновато пробубнил: «Странный он — задается». Ирина покачала головой: «Нет, он просто несчастный. Но я не хочу о нем больше думать. Покажи мне, что ты там нарисовал — какой это кран?»

Они долго сидели над рисунком. Колька объяснял: «Вот это хвост, здесь — лебедка...» Потом, на минуту оторвавшись от чертежа, он сказал: «А знаешь, Ирина, я ведь приревновал. Ужасно глупо! Ты меня можешь презирать — вот говорим то



да это, а сколько у нас внутри старья!.. Ну скажи, очень презираешь?» Ирина спокойно ответила: «Нет, очень люблю».

Володя не пошел работать, как он сказал Ирине. Он не знал, куда ему деться. Он отгонял мысли об Ирине, но все время он возвращался к тому же — противно! Почему он возмутился? Пора бы привыкнуть! Никто его не преследует. Он не в Чека. Он и не лишенец. Государство выдает ему науку, хлеб, даже штаны. Он не может сказать, что он — жертва.

А жить он тоже не может. Все теперь ясно. Он мог быть философом. Он занят чугуном. Он мог говорить о поэзии с людьми равными ему. Он говорит с Петькой о пользе туалетного мыла. Он мог любить Ирину. Но Ирину они отобрали. Это в порядке вещей. Это, наверно, вытекает из так называемого истмата. А засим?..

Он увидел Толю Кузьмина. Машинально спросил он: «Ты куда?» Толя шепнул: «В Кузнецк — за водкой». Тогда Володя быстро сказал: «Я с тобой! Выпьем...» И Толя весело загоготал: «Да еще как! С огурчиком! Чтобы все завертелось...»

15

О Толе Кузьмине Маркутов сказал: «Шут его знает! Не то он анархист, не то просто летун». Никто не знал толком, откуда он взялся. Васька, услышав его разглагольствования, в злобе сказал: «Ты незаконченный тип». Толя усмехнулся: «Конец — делу венец, а теперь и венцов нету — только серп и молот».

Он любил глупые прибаутки и пиво. Он осторожно отодвигал губами пену и полоскал рот горьким пойлом. Он сыпал в пиво соль. Щипало в носу, он пил и улыбался. Он умел танцевать все танцы: барыню, матлоты, коробочку, даже фокстрот. «Падетруа» он называл «под утро». Танцевал он залихватски, глядя хитро в сторону и приговаривая: «А еще, а еще!» Он вытирал лоб и кричал музыкантам: «Ну-ка, поджазбань матлота!» Он умел плевать тонким плевочком, не шевеля при этом губами. Он умел также, набрав в рот пива, пускать дым кольцами. Ругался он неожиданно: «Эх ты, Перегиб Емельянович!» Если в трамвае какая-нибудь гражданка просила его: «Станьте, пожалуйста, боком», — он пренебрежительно отвечал: «Сама ходи конусом». Выпивая, он мрачно горланил: «Товарищ, товарищ, за

что мы боролись!» Он никогда ни за что не боролся, но ему казалось, что он страдал и узнал разочарование.

Он был прежде доверчив и растерян. Прочитав «Цемент», он растрогался и решил строить новую жизнь. Всю зиму он аккуратно ходил на собрания. Секретарь ячейки Розен говорил: «Необходима квалификация». Розен был худ, бледен и близорук. Он никогда не смеялся. То и дело он глотал какие-то пилюли: у него были боли в желудке. Толя зашел к Розену. Он увидел, что Розен пишет. Толя спросил: «Сочиняешь?» Ему показалось, что Розен тайком ото всех пишет замечательный роман, вроде «Цемент». Но Розен писал письмо в редакцию «Комсомольской правды». «В номере от 14 мая я прочел: «марксизм-ленинизм» — через дефис. Я прошу ответить, разделяет ли редакция такое толкование, и если да, то...»

Толя рассмеялся. «Тебе, брат, в попы надо. Или — как это по-вашему — в равнины!..» Розен обиделся: «Меня интересует теория». Толя продолжал смеяться: «Разве ты человек? Ты знак препинания, вот что ты! Сидишь, пишешь, мог бы цельный роман написать, а ты о дефисе»... Розен возмутился: «Такая вещь важнее десяти романов...» Толя в досаде махнул рукой. Он вдруг почувствовал, до чего ему надоели и Розен, и собрания, и красные доски, и политграмота.

Он влюбился в Лизу Аксюнину. Лиза была красивой рослой девушкой. Она чуть косила. Голос у нее был глухой, и когда она говорила самые обыденные слова, казалось, что она говорит о чем-то сокровенном. Она любила пестрые платочки и духи. Увидев ее, Толя опешил. Он не знал, как к ней подойти. Он попробовал заговорить о «Цементе», но Лиза сказала: «Я книг не читаю. Я молодая, мне жить хочется. Вот пойдем завтра в клуб танцевать». Так Толя научился матлотам. Он шепнул Лизе: «У меня квалификация — во какая!..» Лиза прогуляла с ним несколько дней. Потом она сказала: «Здесь немка туфли продает. По случаю. Настоящие заграничные. И номер мой». Толя испуганно спросил: «Сколько?» — «Восемнадцать червонцев — это недорого». Толя сплюнул: «Да ты с ума спятила?» Он решил, что Лиза перебесится. На следующий день Лиза ему сказала: «Я сегодня иду с Петрицким в цирк». Толя разозлился: «Я с таким спекулянтом и разговаривать не стану». Лиза повела своими раскосыми глазами: «Не разговаривай. Я и сама сговорюсь». Так кончилась первая любовь Толи.

Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться. Рядом с ним работала Настя. Ее дразнили «соней» — она сладко зевала и терла кулачком зеленые ласковые глаза. Настя была комсомолкой. Она сказала Толе: «Очень мне нравится Жаров — как он пишет про наш нахальный комсомол». Слово «нахальный» она произнесла с гордостью. Толя подумал: эта тертая!.. Он поймал ее в темном коридорчике. Настя вдруг стала высокой и строгой. Она сказала: «Не смей! Я тебе не Лиза. Я с Ильей живу». Толя выругался и, мрачный, пошел домой. Жизнь не давалась ему в руки.

Он был слесарем-инструментальщиком, и свое дело он знал. Говоря с девушками, он любил щеголять непонятными словами. Настя о нем сказала: «Этот паршивец все знает». Но Толя не любил читать. Когда он видел книгу, ему сразу становилось скучно. Его знания были случайны и спорны. Он знал, что Пушкин ревновал свою жену, а та кокетничала с Николаем, что в Мексике было много революций, что организм требует витаминов, что за границей правят фашисты или социал-предатели, но магазины там набиты товарами и можно повсюду танцевать фокстрот.

Прочитав какую-то старую книжицу, Толя важно сказал товарищам: «Главное — это индивидуальность». С тех пор за ним установилась репутация анархиста. Недостаток знаний он покрывал находчивостью. Его трудно было переспорить. В душе, однако, он часто смущался. Он ждал, что кто-нибудь надоумит его, как жить.

Он сидел в пивной с Мухановым. Об этом Муханове все говорили, что он человек «отпетый». Толя давно собирался с ним побеседовать: он верил теперь только людям, которых другие осуждали. Муханов сразу сказал Толе: «Вот если бы этот Карла дожил бы до нашего времени, интересно, что бы он сказал? Он-то жил — дай бог всякому! Детям костюмчики покупал. Да и выпить был не дурак. Поглядел бы он на эти распределители».

Толя внимательно посмотрел на Муханова и спросил: «Вы что же — меньшевик?» Муханов рассмеялся: «Ну и дурак ты, Толька! Наплевать мне, что большевики, что меньшевики. Я жить хочу и не как-нибудь, но по первой категории. Значит, по-ихнему, я шкурник. Мне вот пятьдесят стукнуло. При таких темпах я скоро, что называется, сдохну. Очень мне интересно, что после моей смерти будут всякие кисели. Нет, ты мне сейчас подай этого киселя! Можно день подождать, ну год, а здесь всю

жизнь только и делай, что жди. Тогда получается, что это вовсе не жизнь, а очередь. Я сегодня был в кооперативе — три сорта кофе: из японской сои, из гималайского жита, еще из какого-то ванильного суррогата — так и напечатано. Спрашиваю: «А нет ли у вас, гражданочка, кофе из кофе?» Погляди на себя — самое тебе время гулять. Работаешь по шестому разряду. Только спрашивается, что делать с этими бумажонками? Разве что сою жрать. А ты мог бы галстучек купить, барышню в ресторан повести, покатать ее на резвых. Вот тебе и вся история. Помню, пришли ко мне — это еще в двадцатом было — говорят: «Подавай излишки!» Взяли, одним словом, самовар и подстаканники. Я спрашиваю: «Это как же у вас называется?» — «Называется это у нас реквизиция». Разве в самоваре дело? Научились и в чайниках кипятить. Но только они не самовар реквизили, а, что называется, жизнь».

Толя внимательно слушал Муханова. Он вдруг понял, почему ему так скучно. Вот и Лиза ушла... Он пробормотал: «Это гибель индивидуальности». Муханов ответил: «Правильно». Потом они молча тянули пиво — за бутылкой бутылку.

На стройку Толя приехал, соблазнившись деньгами. Он зарабатывал пятьсот, а то и шестьсот рублей. Он говорил: «Я работаю ради денег, как настоящий пролетарий». Он доставал в Кузнецке водку и пиво. Жил он ото всех в стороне, работал исправно, но без рвения, а в душе по-прежнему тосковал. Он больше ничего не ожидал от жизни.

Тогда жизнь неожиданно вспомнила о нем. На строгальном станке работала Груня Зайцева, и, взглянув на нее, Толя понял, что он еще хочет жить.

Груня приехала на стройку прямо из деревни. Она была из села Михайловского. Это было старое сибирское село. Когда-то михайловцы были ямщиками. Потом троечные кошевки заснули в сараях: провели железную дорогу. Крестьяне хлебопашествовали и промышляли извозом.

При Колчаке свыше восьмидесяти человек ушли в партизаны. Они попали в отряд Несмелова. Этот Несмелов говорил, что он большевик, но коммунистов у себя не потерпит. Партизаны пускали под откос поезда. Они храбро дрались с белыми, но при виде чужого добра они слабели душой. Они тайком приволакивали в деревню пачки царских ассигнаций, купеческие дохи и пузатые портсигары. Многие поднакупили овец и поставили новые крыши. Село разбогатело.

Нагрянул карательный отряд. Белые повесили шесть человек за то, что они были родственниками партизан. Потом белых прогнали из Сибири.

Крестьяне с гордостью говорили: «Мы красные партизаны, у нас и билеты с печатью». Они жили крепко и стойко. Они говорили, что Ленин был великим человеком, а городских рабочих ругали «дармоедами». Они не хотели давать городу хлеб.

Когда началась коллективизация, в село приехал Вася Шишкин. Он боялся, что кулаки убьют его, и все время хватался за револьвер. Он произнес речь: «Государство выдаст колхозам тракторы и прочий инвентарь. Значит, кто хочет добровольно идти в колхоз, тот будет строить социализм. А кто не хочет, тот в полном праве. Но я скажу, что с такими наш разговор короткий — душу вон, кишки на телефон». Дня через три в овраге нашли труп Васи Шишкина. Арестовали шесть кулаков. Из Томска приехал Никитин, он начал раскулачивать. Среди раскулаченных было сорок восемь бывших партизан. Их увезли неизвестно куда. Бабы голосили.

Марья Ефимовна, увидав, что пришли за ее коровой, начала кричать, как оглашенная: «Хоть до утра оставьте! Ведь и скотина чувствует. Куда вы ее на ночь ведете?» Громов сказал: «Дура! Своей пользы не понимаешь. Может быть, ей прививку от болезни привьют». Марья не унималась. Тогда Громов прикрикнул: «Вот тебя раскулачат, тогда будешь орать!» Марья мигом примолкла. Два дня спустя она исчезла, вместе с ребятами.

Мужики поразъехались — кто в Новосибирск, кто в Кузнецк, кто в Прокопьевск. Остались бабы. Бабы ходили сердитые и ругались матом. В колхозе «Красная заря» работал Шахотин. Он был прежде столяром в Иркутске и не знал крестьянских распорядков. Когда начался падеж скота, Шахотин поехал в город за ветеринаром. Тем временем Архипов надумал лечить скотину огнем. Он подпалил общественный двор и сено. Архипова судили за поджог. Он плакал и клялся, что хотел уберечь коров.

На Шахотина ночью напали. Убийцы вспороли ему живот и всунули туда солому. Сельсовет принял резолюцию: «Постановляем обеспечить семью борца революции Шахотина, а от пролетарского суда ждем беспощадного наказания преступников».

Марья Ефимовна прислала сестре письмо. Она работала в большом совхозе неподалеку от Новосибирска. В письме она

жаловалась на харчи, но жизнью была довольна. «Детипкам здесь хорошо. За ними смотрят, и даже приехала учительница из Томска. Я зашла в ихний барак, а они все лежат и спят, мои тоже спят, а она сказала, что это называется мертвый час и что дети безусловно отдыхают. Я очень радуюсь, что приехала сюда. Здесь теперь купили пятьсот свиней и берут на работу всех, кто только приходит. Так что, дорогая сестрица, приезжай скорей!» Сестра Марья усмехнулась и начала вязать в узлы добро.

Из города прислали Бакулина. Бакулин нахмурился и сказал, что надо подписать контракт и всем идти на лесозаготовки. Работа была тяжелая. Людей донимала мошकारа. Бабы не выдерживали и сбегали.

Груня работала с отцом в колхозе «Могучий комбайн». Потом отец поссорился с Громовым. Он принес газету и сказал: «По газете выходит, что я могу выйти из колхоза, и никто меня за это не может преследовать». Он повесил в избе портрет Сталина, а когда председельсовета спросил его: «Ты что это мутишь?» — он гордо ответил: «Я по закону одноличник».

В сентябре кто-то поджег стога. Сгорело триста пудов хлеба. Калачев, который уже двадцать лет как был в сторе с Зайцевым, сказал Громову: «Никто другой, как Зайцев! Он вышел из колхоза и злится. Он это в отместку поджег». Громов позвал к себе Зайцева, отослал всех и глухо сказал: «Признавайся!» Зайцев сначала божился, что это не он поджег, а потом, глядя злыми глазами на Громова, прошептал: «Убить тебя мало, гад ты этакий!» Зайцева куда-то возили, допрашивали, а потом сказали, что он ни в чем неповинен: стога поджег Фомка Матюшин.

Зайцев возненавидел односельчан. Он сказал жене: «Нет мне здесь житья!» Кряхтя, понес он сундучок на станцию. Потом пришло письмо: Зайцев писал, что он работает в Осиновке на рудниках. Семью он к себе не звал: «Живу в бараке, а работа тяжелая». Жена Зайцева запросилась назад в колхоз, но ее не приняли. Тогда она сказала Груне: «Уезжай! Бог даст, я с ребятами и одна управлюсь. А ты молодая. Зачем тебе здесь погибать? Заключают они тебя». Так Груня попала в Кузнецк.

Сначала она дичилась людей. Она привыкла к тому, что люди — враги. Она боялась, что ничего не сможет сделать и что за любой проступок ее отдадут под суд. Еще больше людей ее страшили машины. Она не понимала, зачем они и как к ним подступить. Ее голова была полна вопросами, но заговорить с кем-нибудь она не решалась. Выручил ее старый слесарь Головин.

Он как-то посмотрел на Груню и, покачав головой, сказал: «Да ты, девушка, не бойся!..» Он ласково улыбнулся. Никогда еще Груня не видала такой улыбки. Она подошла к нему и доверчиво спросила: «Можно листы класть налево?» В первый день она увидела, что Федотов клал листы направо, и она решила, что иначе нельзя. Головин рассмеялся, но смех его был необидный.

С этого дня они подружились. Груня его спрашивала о рычагах, о людях, о непонятных ей словах, о чугуне, о партии. Головин охотно объяснял. Он как-то сказал: «У меня дочка, как ты. Тоже беленькая. Она теперь в университете — вот как!..»

Груня быстро росла. Она поступила на курсы по повышению квалификации. Головин сказал ей: «Ты что же в комсомол не идешь?» Груня ответила: «Глупа я — ничего не понимаю». Но несколько дней спустя она сказала секретарю ячейки, что хочет записаться в комсомол. С волнением она пошла на первое собрание: ей казалось, что она идет в университет, как дочка Головина.

Вскоре она познакомилась с Колькой Ржановым. Колька дружески улыбнулся и дал ей книгу: «Вот почитай, а не поймешь чего, скажи, — может, я смогу объяснить». В тот вечер она написала письмо матери. Она писала: «Теперь я вижу, что мы несправедливо ругали коммунистов. Если такой Громов плохой человек, это не потому, что он коммунист. Я теперь многое поняла и, когда я приеду, расскажу тебе. Но ты не должна говорить против коммунистов, если твоя дочь тоже член комсомола и этим гордится».

Она уверовала в коммунизм твердо и страстно. Коммунизм для нее был букварем: по нему она училась читать. Те небольшие поручения, которые ей давали, она выполняла немедленно и тщательно. Она никому не говорила о том, как она счастлива. Только раз ни с того ни с сего она сказала Головину: «Спасибо тебе, Иван Никитович!..» Ее голос выдал волнение, и Головин смущенно забормотал: «Ну, чего там...»

Ничто не могло поколебать ее веру. Она знала, что Ванька — врач, когда ему предложили остаться на сверхурочные, он ответил: «Очень нужны мне ваши три рубля!» Ловцович в доме отдыха завел ее под дерево и там начал тискать, она в гневе сказала: «Подлец ты, а не комсомолец...» Комсомольцы могли быть плохими. Комсомол оставался комсомолом, и за него Груня была готова отдать свою жизнь.

Она не гуляла с парнями, и в ее жизни был пробел, который напоминал о себе только внезапным румянцем и минутами тоски, когда Груня спрашивала себя: кому я нужна такая?.. Тогда ей казалось, что она соскучилась по матери, что она глупа и необразованна, что никто не хочет с ней знаться. Она не понимала, откуда эта тоска. Она никогда не думала о любви. Она была хороша собой, и парни часто ее задевали, но она отругивалась. Ее звали «нетрожкой», потому что на заигрывания она отвечала: «Не трожь!» Она видела, как легко девушки сходились с парнями, но она считала, что это — темное, дикое дело: так можно было жить в Михайловском, но так не может жить работница и комсомолка.

Толя Кузьмин ей сразу понравился. Он не рассказывал скверных анекдотов, не хвастал, что гуляет с девушками, не пробовал ее целовать. Он только нежно глядел на нее и говорил. Она охотно его слушала. Он умел рассказывать: он говорил о Пушкине, о неграх, о кино. Он сказал как-то: «Пойдем в клуб танцевать». Она заупрямилась: «Нехорошо это — я ведь комсомолка». Он сказал: «Мало комсомолок танцуют?» Груня возразила: «Это не танцы, а физкультурная пляска. Если коллективные игры, я это понимаю». Толя начал над ней смеяться — не все ли равно, какие танцы? Тогда Груня рассердилась и сурово сказала: «Бесстыдные эти танцы, жмутся друг к другу — не хочу я...» Она вся покраснела, и Толя, неожиданно сам для себя, сказал: «Может быть, ты и права».

Толя не понимал, что с ним. Он не пил пива, не балагурил, не думал о «реквизированной жизни». Он пробовал образумить себя: «Втюрился в дуру!..» Но и это не помогало. Он теперь жил только в те часы, когда бывал с Груней. Головин работал до позднего вечера: надо было спешно сдать части для «Водоканал-строая». Груня ему помогала. Толя говорил: «Я тоже останусь на сверхурочные». Он добавлял: «Надо на табачок заработать!» Но оставался он только для того, чтобы выйти вместе с Груней — он ее провожал до дому.

Груня его спросила: «Неужели ты это ради денег остаешься?» Толя поглядел на нее и ответил: «Нет!» Она обрадовалась: «Я так и знала. Ты все смеешься над ударниками, а ты сам ударник — понимаешь, что это дело чести». Толя остановился и сказал: «Наплевать мне на вашу честь! Не верю я в такие разговоры. А если остаюсь, только ради тебя». Груня растерялась: ей сразу стало и обидно и весело. Она возмутилась словами



Толи, но то, что он остается ради нее, ее удивило и обрадовало.

На следующий день они снова начали спорить. Груня сказала: «Столько ты знаешь, а не в комсомоле». Толя ответил: «Знал бы меньше, может быть, и пошел бы, как баран. Это я тебя должен спросить — почему ты пошла в комсомол? Тебя это унижает. Как перерыв, берешь анкету и сейчас же — агитировать. Глядеть и то неприятно». Груня сказала: «Если работать только ради денег, жить скучно. Так у нас в деревне жили. Водку пили, дрались. А я теперь знаю, зачем я живу. Вот мы строим социализм, и это такое великое дело, что даже кто кирпичи кладет, чувствует: совсем он другой человек». Толя притворно зевнул: «Эх ты, балалайка! Ты даже не способна по личному вопросу поговорить. Объелись вы политическим винегретом! Слушаю тебя, а как будто это Нюша говорит или Манька — все на один голос. А ведь ты, Груня, другая. Сердце у тебя нежное. Я тебе скажу стихи. У меня книжка есть «Чтец-декламатор» — старая, с ятями. Там стихи — читаешь, и красота! Вот ты послушай: «Хочу я зноя атласной груди! Мы два желанья в одно сольем!» Вот это жизнь. Я, Груня, не как-нибудь — побаловаться. Если я такое говорю, это от чувства. Я тебе вот что скажу — давай поженимся!»

Он говорил это среди покрытых снегом землянок. Вокруг никого не было, и, остановившись, он крепко поцеловал Груню. Впервые Груня не стала отбиваться. Она сама подставила Толе губы. Потом она пошла в барак, и тотчас же она поняла, что поступила плохо. Ей хотелось выбежать на улицу, нагнать Толю и сказать: «Я это по глупости, а больше — никогда! Если ты такое говоришь про комсомол, я тебе не товарищ. За честного пойду, а не за рвача!»

На следующий вечер, когда Толя пошел с ней, она сказала: «Ты, Толя, на меня не рассчитывай. Я комсомолка. Ты меня стихами не заговоришь. Я сама знаю, как нужно жить. А провожать меня ни к чему».

Толя продолжал идти рядом. Он чувствовал, что Груня от него уходит, и он терял голову. Он снова принялся ругать комсомольцев. Знаю я этих героев! Говорят, как попугай «дело чести», а сами — обыкновенные шкурники. Продались за тряпки. Какие же это герои, если они работают ради карточек? Так и при капитализме рабочие работают: чтобы побольше выгнать». Груня возмущилась: «У меня вот карточка ударника, а я ею не

пользуюсь. Я понимаю, что мы строим». — «Ну, значит, дура. Это всегда так: на сто жуликов один дурак. Ты вот посмотри на других — кто ради сапог, кто ради гармошки, а если девахи, то — подавай им тряпки...»

Груня ничего ему не ответила, но когда, прощаясь, он хотел поцеловать ее руку, она руку вырвала и закричала: «Отстань от меня, рвач ты несчастный!» Она закричала потому, что вспомнила, как Толя ее поцеловал и как ей тогда было хорошо: она испугалась себя.

Прошло еще два дня. Головин сказал: «Надо, ребята, на-лечь, чтобы сдать все к двадцатому». Толя заворчал «успеется». Тогда Груня громко сказала: «Мы это сделаем — наша бригада, а рвачей нам не нужно». Вечером было собрание, и Груня говорила о том, что надо обязательно выполнить работу к двадцатому. Она сказала: «Это для нас вопрос чести. Вот Толька Кузьмин говорит, что мы продались за тряпки. Мы должны показать, что мы не рвачи, а настоящие ударники». Груне аплодировали. На следующее утро Федюшин отозвал в сторону Толю. Он сказал: «Ты что же это, сволочь, баламутишь? Кто тебе платит за такую контру?..»

Поздно вечером Груня возвращалась домой. Вдруг она увидела Толю — он ее караулил. Толя сказал: «Я всегда говорил, что у нас надо хвост держать пистолетом. Скажи слово, голову раскроют». Груня спокойно ответила: «Не раскроили. Мало ты болтаешь?» — «А ты хочешь, чтобы меня сейчас же прикончили? Очень это с вашей стороны деликатно! Я с тобой интимно разговаривал. О любви. Душу открыл. А ты на собрание побежала. Как же мне после этого жить?» Он долго упрекал ее, жаловался и грозился. Наконец Груня сказала: «Замолчи! Ты думаешь, мне легко? Я ведь и правда хотела за тебя замуж выйти. Я до тебя никогда не целовалась — не такая. Если бы ты на меня сказал, я бы спустила, а ты комсомол оскорбил. Я перед этим ночь не спала, все думала: сказать или нет? А потом поняла — если не скажу, я себя презираю. Значит, я тогда не комсомолка, а баба. У нас в Михайловском кулак человека зарезал, а жена его штаны пошла стирать, чтобы кровь отмыть. Скажут застрелить тебя, застрелю. Таким людям у нас не место. Не говори ты со мной больше!» Толя схватил Груню за плечи: «Погоди!» Но она сказала: «Пусти, я людей позову!»

С этого дня Толя совсем отбился от рук. Он начал пить водку. Три дня он вовсе не выходил на работу. Его не рассчитали

только потому, что он числился хорошим рабочим, а слесарей было мало.

Он познакомился на работе с одним втузовцем: это был Володя Сафонов. Толя сразу подумал: этот не как все. Он почему-то вспомнил Муханова, но сейчас же усмехнулся — Муханов был темным человеком, до революции он торговал скобяным товаром, а это — настоящий студент, наверно, профессором будет. Он прислушивался к каждому слову Володи. Володя его спросил: «Ну как вы здесь, довольны жизнью?» Тот ответил: «Извиняюсь, но жизни у нас нет. Жизнь, что называется, реквизируют. Остались только ставки и распределители, а на это я не жалуюсь». Володя с удивлением посмотрел на него, потом он тихо сказал: «Вы не философствуйте.. Это вредно для здоровья. Куда лучше не думать». Толя в восторге рассмеялся: «Совершенно правильно! В санитарных целях думать теперь запрещено. Можно даже дощечки поставить, вроде как «запрещается плевать».

Володя подумал: любопытный парнишка! Вот только смех у него неприятный — будто он нарочно смеется... Толя стал к нему захаживать. Он приносил с собой пиво, рассказывал анекдоты о пятилетке и все ждал, что Володя объяснит ему, как надо жить. Но Володя отмалчивался.

Толя не забыл Груню, он чувствовал, что жизнь без нее пуста. Он теперь понял, что никогда не любил Лизу. Он ходил как в чаду. Он и с лица изменился — похудел, а глаза стали красными и припухшими. Когда он проходил мимо Груни, Груня отворачивалась. В ее сердце злоба еще боролась с тоской.

Груня переживала трудные дни. После разрыва с Толей она почувствовала свое одиночество. Мать написала ей, что дети хворают, нет ни хлеба, ни картошки. Отец не шлет денег. Мать писала также, что она плакала над письмом Груни — зачем это Груня пошла к комсомольцам? Груня послала матери два червонца, а на письмо не ответила.

Она встретила Кольку. Колька спросил: «Как работа?» Она ответила, что в ячейке работа идет хорошо, у них теперь кружок — двенадцать ребят, изучают историю партии. Потом, помолчав, она, неожиданно для себя, добавила: «Только жить трудно!» Эти слова взволновали Кольку. Он не знал истории Груни, но он попробовал ее утешить. Он говорил о Томске, о хороших книгах, о Шоре — «старик все понимает!». Груня его плохо слушала, но она ему была благодарна за то, что он гово-

рит с ней. Она сказала: «Товарищей много, а иногда поговорить не с кем». Колька крепко пожал ее руку: «Есть у меня девушка. Она в ФЗУ работает. Хорошая. Ты приходи — я тебя с ней сведу. Вот и потолкуете. Я ведь знаю, что с нашим братом вам не поговориться». Сказав это, он рассмеялся. Рассмеялась и Груня. Потом они распрощались.

Они не видели, что сзади шел Толя: он теперь неотступно ходил за Груней. Толя не слышал, о чем они говорили, но ему казалось, что так можно говорить только о любви. Он сразу возненавидел Кольку — вот кто подбивал Груню!

Когда Груня осталась одна, он ее нагнал. Он говорил, как в бреду: «Груня! Грунечка! Не могу я без тебя! Оставь ты его! Он, как все ребята, — побалуется, а потом бросит. Я тебе честно говорю — поженимся! Я пить не буду. Я и пью с горя, видишь, вся морда распухла... Ну, скажи мне хоть слово!» Груня ускорила шаг. Она ничего не отвечала. Тогда Толя сказал в гневе: «Не хочешь? Что ж, тогда я с ним поговорю. Убью я его! Вот тебе слово — убью! Я знаю, где он живет. Подкараулю — и трах! С ним у меня разговор короткий...»

Груня вспомнила Михайловское — как нашли Шатохина. Живот ему вспорол... Она повернулась к Толе и сказала: «Не убьешь! Вот не убьешь! Я ему скажу. Всем скажу. В ГПУ пойду! Тебя под замок посадят. Собака ты бешеная, а не человек!»

Она не помнила себя от возмущения. Взглянув на нее, Толя отвернулся. Он сразу поник. Прошла ярость, осталась только тупая, назойливая боль. Он оставил Груню и пошел назад. Лениво он подумал: донесет, обязательно донесет! Ну, значит, крышка... А теперь бы выпить!..

Он повернул к Томи: он решил сходить в Кузнецк за водкой. Не доходя до моста, он повстречал Володю Сафснова. Они пошли вместе.

Улицы старого Кузнецка были тихи и безлюдны. Маленькие домики скрипели под снегом. Стоял метельный ноябрь, и что ни день росли сугробы. Городишко походил на медведя, который сосет свою лапу. Жили в Кузнецке по большей части старики — ремесленники или лишенцы, жили плохо, без сахара и без надежды. Только и было радости, что опрокинуть стопочку.

Закусывали огурцом или ломтиком сухого хлеба. Выпив, приободрились, крикали, неуклюже переваливались с ноги на ногу, а потом засыпали.

На стройке продажа крепких напитков была запрещена. За водкой строители ходили в Кузнецк. Они презрительно поглядывали на деревянные домики, на кряхтящих или крякающих обывателей, на гору мусора, которая осталась от разрушенной церкви, на жизнь незатейливую и сонную. Засунув бутылку за пазуху, они шли назад в шумные бараки.

Одна из улиц Кузнецка называлась улицей Достоевского, но об этом не знали и люди, которые на ней проживали. Как-то приехали со стройки немцы. Из домов повысыпали разные людишки — поглазеть на красивый автомобиль и на людей, одетых по-заграничному. Вышел и Одинцов. Когда-то у Одинцова была богатая вывеска: «Военный и штатский портной». Теперь он шил «из материала заказчиков». Но никакого «материала» у лиценцев не было, а Одинцов клал заплатки и угрюмо хлебал пустые щи. Одинцов подошел к немцам поближе и сказал: «Вот это фасончик!» Немцы его спросили, где здесь находится дом Достоевского. Одинцов обиделся. Он сказал, что живет в Кузнецке тридцать четыре года, но такого человека не знает и не знал. Одинцов подозвал Тихомирова, бывшего псаломщика, который теперь выводил по домам клопов. Тихомиров, подумав, сказал: «Ага, инженер со стройки? Как же, он в том доме живет, на углу. Только сейчас его нет». Немцы рассмеялись. Тихомиров вежливо улыбнулся и шепнул Одинцову: «Вот что значит иностранцы — веселые!» Немцы долго бродили от одного дома к другому. Впереди бежали мальчишки и кричали: «Иностранцы писателя спрашивают».

Потом из кривого дома вышел старичок. У него была желтая борода, а говорил он тихо и задыхаясь. Он сказал: «Это третий дом отсюда. Я сейчас проведу вас. Здесь проживал Федор Михайлович. Он приехал сюда из Семипалатинска и был в большом волнении. Может быть, вы знаете, что здесь его дожидался предмет его воздыханий? Когда пьяница Исаев умер, Мария Дмитриевна никак не могла решиться, с кем ей соединить свою судьбу. Федор Михайлович повстречал здесь учителя Вергунова, а этот Вергунов сделал предложение Марии Дмитриевне. Вот у этого окна Федор Михайлович писал о несчастных». Потом старик показал на кучу мусора и добавил: «В этой церкви Федор Михайлович венчался». Один из немцев, прижав к

глазу фотографический аппарат, спросил: «Где же церковь?» Старик виновато зашамкал: «Стар я, забываю, что говорю...»

Самый главный из немцев сказал приятелям: «Не зная Достоевского, трудно понять душу этого народа». Они вошли внутрь дома. На маленькой печурке старуха готовила олады, и в комнатах стоял чад. Казалось, ничего здесь не изменилось за семьдесят лет: те же лапчатые кресла, те же фикусы и фуксии. На стене, среди старых картин, изображавших крестьянскую свадьбу и охоту на волков, немцы увидели портрет Ленина. Ленин был в кепке. Он стоял и говорил.

Старичок объяснил, что теперешние хозяева — внуки ссыльного; ссыльный был приятелем Достоевского — часто они проводили вечера в спорах. Немцы посмотрели на внуков: это были два мальчика, погодки, лет тринадцати — четырнадцати. Они сидели у того самого окна, у которого Достоевский писал свои повести. Они тоже писали: они готовили уроки. Немец, который знал русский язык, взял тетрадку и прочитал: «В Америке на семь душ приходится один автомобиль, но к концу второй пятилетки мы безусловно перегоним Америку». Он спросил мальчиков: «А вы читали Достоевского?» Мальчики ответили: «Нет». Из писателей они знали только Пушкина, Горького и Безыменского. Немец еще раз повторил: «Без Достоевского здесь нельзя ничего понять». Мальчики выбежали на улицу и, как замороженные, замерли перед автомобилем. Немцы погудели и уехали. Одинцов, глядя им вслед, сказал: «Жирные какие! А пальтишко видел? Настоящий коверкот! Вот и бесятся».

Не будь немцев, кто бы подумал, что эта улица чем-нибудь примечательна? Люди шли на базар, там поблизости была и лавка, где продавали вино, и фотограф, который снимал подвыпивших парней на фоне самолета, украшенного надписью «Ударник». На улице Достоевского никто из посторонних не захаживал. Но в тихий зимний вечер среди сугробов показались две тени. На одном человеке были очки и шапка с наушниками. Он шел медленно и задумчиво. Другой, в полушубке, все время бегал вокруг первого, размахивал руками и гримасничал.

Никто, впрочем, за ними не следил: час был поздний и люди спали — спал Одинцов со своей старухой, спал Тихомиров, покрывшись рваной шубенкой, спал и старичок с желтой бородой, один возле печи, спали липенцы, дети и столяры из трудовой артели, спала вся улица Достоевского. Кто скажет, что

снилось этим людям? Жирные пельмени? Весна? Первая любовь? Или та чепуха, которая чаще всего снится человеку: пропасти, пустые орехи, приبلудная собака и какой-нибудь доморощенный упырь с мордой сварливой соседки?

Пробежал инженер Каринский. Он работал на стройке, а жил здесь, спутавшись с одной разбитной вдовушкой. Любовь заставляла его каждый день бежать по снежным полям и пустырям. Он бежал и что-то мурлыкал под нос. Он думал об использовании доменного шлака для мостовых и о пухлых плечиках своей Машеньки. Он даже не посмотрел на двух полуночников.

Приятели уже успели побывать у кривого Медведева, который пускал загулявших строителей к себе на кухню. Медведев выставил бутылку водки и грибков. Хлеба у него не было, но гости и не потребовали хлеба. Они пили водку из больших стаканов жадно и сосредоточенно, как будто их мучила жажда. Медведев поглядел на них и тихо сказал жене не то с удовлетворением, не то с завистью: «Ишь как лакают!» Гости мало разговаривали, а допив бутылку до доньшка, сейчас же встали. Они сказали Медведеву: «Надо голову проветрить». Водка приятным жаром доходила до кончиков пальцев. В голове гудело. Они шли не глядя, куда ступают, и ныряя в сугробы. Кое-где в окнах желтели слабые огоньки, но ярче их были густые зимние звезды.

Толя, бегая вокруг Володи, говорил: «Если я пью, то от любовной катастрофы. Что меня обижает — это полное отсутствие глубины. Я, можно сказать, душу обнажил, страдал, хотел даже застрелиться. А она, простите меня, все это обратила в вульгарную анкету. Честное слово! Теперь меня посадят. Будто бы я на убийство покушаюсь. За такие дела могут и к стенке приставить. Только мне наплевать! Я давно с жизнью протислся. Важен голый факт — почему она меня обидела? Забуррила, как дятел: «комсомол и комсомол». Я понимаю, можно человека бросить ради чего-нибудь возвышенного.

Я видел оперу «Демон» — я это очень хорошо чувствую. Но что ей этот комсомол? На черную доску записывать? Или — сидят и лопочут: «Промежуточные элементы колеблются». А вот вы спросите их — они даже не знают, что такое элемент. Со стороны глядеть и то противно! У меня была любовная трагедия, а у нее строгальный станок. Если вы пописываете, вы об этом можете интересный роман написать. Почтище «Цемент»!

Только не напечатают — побоятся. Бездны побоятся, потому что такая жизнь — это и есть настоящая бездна!»

Голос Толи срывался. Он говорил то патетически, как оратор на трибуне, то жалостливо, со слезой, будто перед ним Груня. Володе было тяжело его слушать. Ему вдруг показалось, что и нет никакого Толи. Все это скверный сон, выпил — вот и померещилось. Он в досаде пробормотал: «Ты что юлишь?» Толя обиженно ответил: «Я не юлю, а иду с вами рядышком». Потом Толя снова начал говорить: «это такая драма, такая драма!..»

В голове Володи мелькнуло: «Что за ерунда? Как будто нарочно, чтобы меня высмеять... Даже с Ириной... Вот эта тоже... А может быть, он выдумал? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись! Ирина не такая. Да и все у меня не такое...» Он прикрикнул на Толю: «Замолчи!»

Толя испуганно поглядел на Володю и ответил: «Довольно я на моем веку молчал. Я только одного жажду: свободы...»

Володя съежился, как будто его ударили. Вот и о свободе говорит!.. Ну, чем не Сафонов? Наверно, и книжки почитывает... Голос у него противный... Впрочем, какое мне до него дело? Значит, деревянный кран, чтобы поднимать штыи?.. Что ж, наверно, этот Колька прав: надо сделать кран. Вообще все правы. Они правы потому, что они могут жить. Сейчас он у Ирины... Целуются... Честный отдых после трудового дня. Не то, что он: напился и разговаривает с этим вьюном.. Каждому свое! Только напрасно он у Ирины погорячился. Она поняла, что он ревнует. А это подло и ни к чему. Он должен был тоже улыбнуться, как Колька. Он ведь хочет, чтобы она была счастлива. Но он не умеет улыбаться, пробовал — не выходит... Надо обязательно научиться...

Володя больше не слушал Толю. Он шагал, отрешенный от всего. Каждый раз, когда его нога погружалась в мягкий снег, ему казалось, что он тонет, и он смутно радовался. Он подошел к забору, чтобы закурить. Машинально он прочел: «Улица Достоевского». Он никогда еще не был здесь. Несколько раз он повторил про себя: «Достоевского, Достоевского». Все внезапно переменялось, эта пьяная ночь, среди сугробов, оказалась продолжением других ночей, столь же темных и диких.

Когда он читал Достоевского, он заболел. Это были не книги, но письма от близкого человека. Он негодовал, усмехался, разговаривал сам с собой. Иногда, измучившись, он



бросал книгу. Он давал себе слово никогда больше этого не читать. Час спустя, с виноватыми уловками, он раскрывал книгу на той самой странице, которая его так возмутила. Он облегченно вздыхал — час передышки был вдвойне трудным. Он зарывался в чашу нелепых сцен, истерических выкриков и вязкой горячей боли. Иногда ему казалось, что вот-вот и он сам забьется в падучей. Он однажды сказал Ирине: «Есть писатель, которого я ненавижу, — это Достоевский. Это самое постыдное из всего, что у нас было. От Достоевского пошли все эти мировые масштабы, батальоны смерти, Рамзины, словом, расейская белиберда». Это было после того, как он прочел «Идиота». Он был убежден, что только один человек сказал всю правду о людях. Это та правда, которая бесспорна и смертельна. С ней нельзя жить. Ее можно выдавать умирающим — так прежде давали святые дары. Для того чтобы сесть к столу и пообедать, надо о ней забыть. Чтобы родить ребенка, надо прежде вынести из дома все эти приложения к старой «Ниве» в коленкорových переплетах. Чтобы построить государство, надо запретить даже повторять это имя.

Прочитав надпись на дощечке, Володя не то проснулся, не то погрузился в новый глубокий сон, и тот монолог, который он произнес на заснеженной улице, перед Толей и сугробами, был сказан как бы во сне.

«Итак, вы не побоялись назвать улицу его именем. Вам нельзя отказать в смелости. Впрочем, что значит это имя для какого-нибудь Сеньки? Я помню, как в тридцатом году вы отобрали в заводской библиотеке несколько чересчур зачитанных книжек. Вы унесли их на чердак. Это вполне резонно. Вы оставили их для Володи Сафонова. Следовательно, вам нечего бояться: вы великолепно знаете, что Володи Сафоновы — резонеры и трусы. Сопоставление прекрасно: улица Достоевского, а рядом «гигант стали». Между ними несколько километров и мост. Причем я не забываю о культурных достижениях. Достоевского в Омске вышорали. Теперь никого не порют. Были тюремщики, взяточники, холуи. Теперь — инженеры, Ирина — преподавательница в ФЗУ. Я все это знаю. Я готов вас приветствовать. Я хочу только сделать маленькую сноску — для неисправимых чудаков. Я хочу продолжить сопоставление. С одной стороны человек, обыкновенный человек — борода, рулетка, патриотические вирши, любовные неурядицы, болезни, ссоры с издателями. С другой — все грандиозно: самый боль-

шой в мире блюминг, не картишки, но диамат, не вшей искать, но взаимная чистка, рекорд кладки кирпича, наилучшая сталь, конвейер и прочее. Какой апофеоз человека в тысяча девятьсот тридцать втором году! Стыдитесь, Федор Михайлович! О чем вы мечтали? О доброте? Об участии? О жалости? У вас была слабость — пожалеть «несчастненького». Вы выгоняли чахоточную женщину на улицу, чтобы она била в игрушечный барабан. Это прием ярмарочного шарлатана! На жалости вы составили себе мировое имя. Мой отец, доктор Сафонов попался на вашу удочку. Он говорил: «Такого надо пожалеть!..» Но ведь это архаизм! Это и есть «промежуточные элементы». Вместо жалости у нас классовая солидарность. Мы уничтожаем не личностей, но класс. Конечно, при этом гибнут и людишки, но разве это важно? Раньше гибло куда больше — посмотрите на статистику. Важно то, что мы перегоним Америку. Федор Михайлович, вы напрасно презирали теплые клозеты. Мы научились их ценить. Мы хотим, чтобы у нас были первые в мире клозеты. Как в Чикаго. Не улыбайтесь в вашу бороду! Она пахнет нафталином. Ее можно сбрызнуть — кисточки для бритья подвергаются теперь дезинфекции. Мысли тоже. Никаких микробов! Раньше в тюрьму сажали петрашевцев, а теперь спекулянтов и валютчиков. Значит, вредных мыслей больше нет. Это уже достижение. Ваши письма выходят в издании «Академии». Будет много, много книг и домен много, мы обязательно перегоним американцев. Мы не будем жевать резинку. Мы будем заниматься диаматом. Мы начнем даже...»

Он запнулся, потеряв нить мыслей. Пристыженно, по-детски он сказал Толе: «Зачем ты мне столько подливал». Но Толя, который с восторгом слушал Володю, ответил: «При чем тут водка? Я тоже пьян. Но мне наплевать, сколько я выпил. Я Достоевского не читал, но я вас прекрасно понимаю. Я то же самое чувствую. Я вас давно хочу спросить, что же мне теперь делать?»

«Что делать? Не знаю. Пей водку. Если ты веришь в господа-бога, запрись в нужнике и клади поклоны. Можно еще написать в тетрадке: «Протестую во имя свободы мысли», а тетрадку запереть. Словом, лучше всего быть сволочью, как я. Я ведь болтаю, болтаю, а все это слова. Просто прочитал книжки и повторяю. А перед кем я говорю? Разве можно какую-нибудь домну пронять словами? Машина сама знает, что ей делать. Если сказать: «Я не согласен», она не смутится. А если

повернуть рычаг в другую сторону, тогда она сломается, вот и все...»

Толя весь просветлел, как будто что-то его озарило. Он цыкнул на Володю: «Тише! Не кричи!» Но Володя снова не замечал его. Он говорил теперь об отце, о каких-то пионерах, о тетрадке в сундуке, и Толя его не понимал. «Ирина, родная! Ты меня не слушай! Я все это — от зависти. Он крепкий. Да и все вы крепкие. Только мне надо убираться восвояси...»

Выждав, когда Володя замолк, Толя подошел к нему вплотную. Он прижался губами к его уху. Володю замутило от запаха сивухи и духов: у Толи были жесткие волосы и он их мазал какой-то душистой помадой. Толя шепнул: «Это ты правильно сказал — повернуть в другую сторону. Только ты, Володя, помалкивай!»

Володя посмотрел на него ясными, бессмысленными глазами. Он никак не мог понять, о чем это говорит Толя. Но слово «Володька» его раздражало, как запах помады. Он строго сказал: «Есть Петьки и Сеньки. А я Володя. Или Сафонов».

Толя вдруг расчувствовался. «Я, наверно, скоро умру. Грунька ужасная сволочь, а кавалер ее со связями. Он к Маркутову ходит. Так мне пожить и не удалось! Ты, Володя, моей тоски не понимаешь. Я вот стихи люблю. Я знаю на память много и красивые. Вот я тебе читаю — это, может быть, всю мою трагедию выражает...»

Он стал в позу возле сугроба и хриплым, пьяным голосом начал декламировать: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих слов!»

Володя не дал ему дочитать до конца. Он снова почувствовал страх перед этим человеком. Он закричал: «Почему у тебя голова воняет?» Толя ничего не ответил. Тогда Володя мучительно поморщился: он хотел что-то вспомнить. Ему показалось, что все это уже было: и сугробы, и стихи, и противный запах. Наконец он сказал: «Я, по-твоему, умный человек?» Толя ухмыльнулся: «Комплиментов захотелось? Ну, умный. Это слов нет — умный». — «Стой! А со мной приятно разговаривать?» — «Если говорю, значит, приятно». — «Вот теперь повтори: с умным человеком и поговорить приятно». Толя растерянно моргал. Володя больно сжал ему руку. Тогда Толя послушно, как урок, повторил: «С умным человеком и поговорить приятно». Володя оттолкнул его. «Это ты нарочно подстроил! Смеешься надо мной? Смердякова разыгрываешь?..»

Он бросился бежать прочь. Толя попробовал его догнать. Добежав до угла, Володя услышал, как он кричал: «Погоди! Да куда же ты?» Володя побежал еще быстрее. Он падал в сугробы и снова подымался, он скользил, его лицо было в снегу, горели руки, но, не помня ничего, он все бежал и бежал.

Он остановился, только увидав перед собой огни стройки. Тогда он сел прямо на снег и, наклонив низко голову, пробормотал: «Вот я и выпил...» Он просидел так с час. Потом он почувствовал, что ему холодно. Он встал, кротко страхнул с себя снег и поплелся домой. Он больше не думал ни о Достоевском, ни о Толе, ни о своем позоре. Он шел, как будто его завели, с пустой головой. Но все время ему казалось, что кто-то глядит на него и ласково, неуклюже улыбается. Сначала он подумал — Ирина! Но потом он вспомнил: нет, не Ирина, это отец, только отец так и улыбался...

17

Оставшись один, Толя припомнил все обиды этой сумбурной ночи. Володя над ним посмеялся. Почему он заставил Толю повторять какие-то слова? Конечно, он много знает. Насчет рычага он правильно сказал, но только он трус!

Хмель начинал выветриваться, и Толя приуныл. Что же с ним будет? Груня, наверно, уже все рассказала Ржанову. Тот побежит к Маркутову. Вызовут, станут допрашивать. Разве они поверят, что он просто хотел припугнуть девчонку?

Толя не хотел сознаться, что он сам трусит. Он уверял себя: наплевать! Но вместе с морозом в него забирался страх. Он бегал по пустым улицам, как будто за ним гнались. От холода гудели ноги. Наконец, не вытерпев, он постучался к Медведеву.

Сон у Медведева был крепкий, и Толя успел заоченеть прежде, нежели раздалось в сенях шарканье. Перепуганный голос спросил: «Кто тут?» Толя ответил: «Свой». Медведев выругался: «Вот черт, напугал! Ты что это придумал человека среди ночи будить? Не пуццу! Ни за что не пуццу». Толя сказал: «Два червонца». Медведев помолчал, а потом начал отодвигать тяжелые засовы.

От тепла Толя сразу размяк. Он клевал носом. Вдруг, сквозь сон, он вспомнил: расскажет, обязательно расскажет! Сон сразу

прошел. Умоляюще он посмотрел на бутылку: только она и могла ему помочь. Он выпил залпом стакан. Внутри жгло. Сидя на сундуке, он ругался долго и вязко.

От Медведева он ушел часов в пять, и, когда он подходил к стройке, рабочие уже спешили на работу. Гаврюша спросил Толю: «Ты что это — на именинах был?» Толя приостановился и визгливо крикнул: «Не болтай! Нет теперь никаких именин! Теперь у нас октябрины!» Гаврюша строго сказал: «Иди ты спать. Лодырь ты несчастный!» Но Толя в ответ выругался.

Он дошел до горкома и спрятался за будку. Ему казалось, что все люди заняты теперь одним: преступлением Толи Кузьмина. Он увидел, как приехал Маркутов. Глаза у Маркутова были серые и злые. Он долго соскребал снег с сапог. Пока он топтал возле двери, Толя в ужасе думал — вот сейчас раскроет папку и скажет: «Где этот Кузьмин?» Ждать было так трудно, что Толе захотелось подойти к Маркутову и сказать: «Вот я! допрашивай!» Но он спрятался подальше за возок.

Он подумал: «Может быть, Груня не скажет?..» Тогда он уедет на Магнитку. Там его никто не знает. Но тотчас же он усмехнулся: черта с два! Так его и выустят! Он вспомнил ночь, сугробы и тихий голос Володи: «Если повернуть рычаг...»

Он громко вздохнул. Бывает — задумаешь что-нибудь, и не выходит. Так и его жизнь не вышла. Стихи об этом хорошие: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз». А впрочем, и стихи ерунда! Кто это придумал — слова в ряд, а потом рифма?.. Беззаботные, мимолетные, безработные... Еще что?.. Животные... Глупо! Да и все глупо! Вот один раз поцеловался с Груней, а потом она побежала — доносить. Лизка, та спуталась с рвачом — тувельки ей потребовались! Даже выпить хорошенько не дали. Как это очкастый говорил? У Достоевского мировое величие, а у нас сортир. Тьфу! Медведев — жулик: не водка у него, а дерьмо. Тошнит от нее.

К возу подошел рабочий. Толя отбежал в сторону. Он стоял еще немного посредине площади, а потом поплелся, будто бы на работу. Он сам не понимал, что с ним. Он еще пытался себя образумить. Тупо он повторял: «Вот тебе мостик, вот это мартен, а вот и Васильев!..» Он хотел быть трезвым и спокойным. Так же безразлично он сказал: «Вот тебе рычаг!» Тогда в его голове снова встали слова Володи. Он оглянулся. Кругом никого не было. Он даже успел подумать: ну и бездельники!

Потом от злобы у него потемнело в глазах. Он подкрался и, как будто перед ним человек, навалился на рычаг. В ту минуту рычаг для него был живым: Груней, Ржановым, комсомольцами.

Рычаг не поддавался. На лбу Толи вспухли жилы. Он не помнил себя. Он напрягся, и рычаг наконец уступил. Тогда Толя радостно ухмыльнулся: он был теперь с жизнью в расчете.

Он хотел было уже побежать прочь, как кто-то вцепился в его плечи. Он стал вырываться, но человек не отпускал его. Они оба упали. Они катались по земле, хрипели и давили друг другу горло.

Сын кулака Васька Морозов, которого прошлой весной обвинили в том, что он подпустил лебедку, увидел, как Толя ломал рычаг. В ярости он бросился к нему. Впервые в своей жизни он видел живого вредителя, а вся та злоба, которая была в нем, сказалась теперь. Он не только спасал машину, он сводил счеты со своим старым врагом.

Он был крепок, но неповоротлив. Опасность сразу протрезвила Толю. Он выскальзывал из рук Морозова, как уголь. Привскочив, он ударил его по лицу. Морозов его повалил. Толя изловчился и укусил Морозова в ухо. Тот закричал и выпустил Толю. Толя побежал, но Морозов быстро нагнал его и снова начал душить.

Подбежали рабочие. Их едва разняли. У Морозова лицо было в крови. Улыбаясь, он приговаривал: «Вот и поймал!» Он в упор глядел на Толю, которого держали два рослых парня. Не вытерпев, он плюнул в него и закричал: «Вот тебе, вредитель!»

Сергеев сказал Морозову: «Брось, Васька! Теперь в ГПУ разберут». Но Морозов не мог оторвать глаз от Толи. Он глядел на него и все что-то говорил. Слов не было слышно, только губы шевелились. Толя дрожал, как в лихорадке, и Сергеев, усмехаясь, сказал: «Ишь, дрожит!» Рабочие стояли кругом, молчаливые и злые. Только Головин проворчал: «А еще слесарь!..» Морозов все так же глядел на Толю. Он даже лица не вытер. У него были мокрые губы, а глаза темные и горячие.

Толю наконец-то увели. Тогда Морозов в изнеможении сел на ящик. «Меня товарищ Шор к себе вызывал. Раз я кулацкий сын, я должен оправдать доверие пролетариата. У меня вот отец на Магнитке. Он, может быть, за чужие грехи страдает, если он от рождения кулак. А этот подлец сбоку приполз. Ку-

саться полез. Как собака. И зачем с таким разговаривают? Перебить их надо!..» Морозов в тоске закрыл глаза. Сергеев ласково ему сказал: «Не расстраивайся! Ты свое сделал. Его по головке не погладят. Ах, подлец, два дня из-за него простои!»

Колька Ржанов обрадовался за Морозова: теперь все увидят, что Васька честный парень. Да и «старик» будет доволен... Он пошел к Морозову, но Морозова увезли в больницу: к вечеру у него сделался жар. Подумав о Кузьмине, Колька почувствовал, как в нем подымается злоба. Он никогда не видел этого человека, но он думал о нем, как о своем личном враге. Вот они кладут кирпичи, роют землю, ставят машины, а потом приходит такой и портит!.. Колька знал, что его чувство разделяют все, и это его радовало. Он радовался силе и простоте чувства: здесь не о чем было думать, это была борьба насмерть, и будь на месте Морозова Колька, он с той же яростью душил бы ненавистного врага.

Груня узнала о вредительстве Толи позже других. Головин знал, что Толя приударял за Груней, и он не торопился с рассказом. Рассказала обо всем Груне рыжая Танька — ей давно хотелось поддеть «нетрожку». Она спросила: «Ты, говорят, с ним путалась?» Груня ей ничего не ответила. Но Головину она сказала: «Я себя во всем виню. Он мне вчера сказал, что хочет убить Ржанова. Я ему ответила, что расскажу всем. А потом я подумала, что он меня запугивает. Не поверила я, что он на такое способен. А он вот что придумал!» Она не выдержала и заплакала. Плакала она громко, подвывая, как плакала ее мать, когда отца повели на допрос. Головин ее утешал: «Ты-то при чем? Ты, можно сказать, первая его разоблачила. На собрании выступила». Груня вытерла лицо и взялась за работу. Но она не успокоилась. Это — ее вина! Она должна была сейчас же рассказать Ржанову или Головину. В душе она упрекала себя за другое: за поцелуй возле барака, за глупые свои мечты, за то, что ей тогда было хорошо и радостно. Засыпая, она подумала: хоть бы его пристрелили! Эта мысль ее облегчила — ей показалось, что Толя уже неживой, и его глаза, которые весь день ее преследовали, погасли и пропали в темноте барака.

Одного человека все происшедшее должно было особенно взволновать: борьба с рычагом была прямым продолжением ночной беседы среди сугробов. Но Володя весь день проспал. Никто не видел, как он вернулся. Под вечер к нему заглянул

Костецкий. Володя сказал, что у него, должно быть, грипп. Про историю с Толей он узнал только на следующее утро, развернув газету. В первую минуту он смутился. Он хотел что-то припомнить, но его мысли путались. Он никак не мог восстановить час за часом пьяную ночь в Кузнецке. Он вспоминал только сугробы, отдельные слова Толи и рябую морду Медведева. Кажется, они ходили по улице Достоевского. От этого Толи скверно пахло. Потом Володя чего-то испугался и убежал. Наверно, и Толя был пьян. Он это сделал с пьяных глаз...

Суд над Толей устроили показательный в клубе «Красный металлист». Большой барак был набит до отказа. Володя сначала не собирался идти на суд, но в последнюю минуту он передумал: этот нелепый человек его чем-то привлекал. Володя помнил, как Толя приходил к нему с бутылками пива и с глупыми анекдотами — это была смесь пошлых словечек, наивных рассуждений и почти нестерпимой тоски. На процесс Володя пошел с тревогой и с отвращением.

Он теперь чувствовал себя все более и более растерянным. Он понимал, что на стройке ему больше нечего делать — последняя карта оказалась битой. Надо было на что-нибудь решиться. Он походил на слепого щенка. Он вдруг останавливался и прислушивался к чужим разговорам. Бородатый итээр сердито ворчал: «Я масла на рынке не покупаю — совесть мне этого не позволяет». Володя бессмысленно повторял про себя: «Совесть... а что это совесть?» Он всполошился: почему он не подумал об этом раньше? В Томске Ирина его любила. У них могли бы быть дети. Час спустя он издевался над собой: Володя Сафонов с пеленками. Его неуверенность росла с каждым днем. Она начинала походить на душевное заболевание. Порой с опаской он присматривался к себе: вероятно, так сходят с ума!

Он пошел посмотреть на Толю. Ему вдруг показалось, что этот напомаженный философ сумеет пристыдить и судей, и публику, и Володю.

Но Толя на суде держал себя трусливо. Он уверял, что ничего не помнит: «Напился, простите, как стелька». О Володе он и не заикнулся, боясь, что стоит ему рассказать про ночную беседу, как его объявят «идейным вредителем». Он сказал, что в Кузнецк пошел еще днем, купил литровку и все время пил; что было потом, не помнит, помнит только, как под утро он встретил Гаврюшку и Гаврюшка его спросил: «Где это ты так нализался?»



Груня выступила как свидетельница. Она сказала, что Толя — классовый враг. Он ругал комсомольцев. Он грозился убить Ржанова. Потом, помолчав, она добавила: «Я хочу перед всеми сказать, что я очень плохо поступила. Пускай меня из комсомола вычистят. Я вот сразу увидела, что он рвач. Он мне говорил, что у нас нет свободы пролетариата, и ругался, как кулак. Я этих кулаков в деревне видала. Они у нас Шатохина убили. Я должна была сразу его отшить. А я поступила, как несознательная. Он мне сказал, что хочет на мне жениться. Я, товарищи, с ним целовалась, перед всеми это говорю. Меня надо за это наказать. Только я скажу, что без комсомола мне теперь не жизнь. С родителями я порвала на политической почве. Ничего у меня теперь не осталось, кроме комсомола. А вот и этого не смогла уберечь!»

Пока Груня говорила, все примолкли, председатель прикрыл лицо листом бумаги, даже Маркутов и тот отвернулся. Горе Груни дошло до всех, и все облегченно вздохнули, когда председатель сказал: «Вы ни в чем не виноваты. Вы себя покazали честной комсомолкой».

Тогда Толя вскочил и завизжал: «Вот она, любовная трагедия!» Он хотел еще что-то сказать, но вдруг зашнулся и уже другим голосом, тихим и жалостным, пробубнил: «Я ничего такого и не говорил. Шутил, вроде как частушки. Я болтаю по глупости, а потом выходит, что это идеи. Идеи у меня нет. То есть есть, но как у всех».

Председатель брезгливо поморщился: «Напрасно вы от всего отнекиваетесь. Скажите откровенно, что вас на это толкнуло? Пьянство еще ничего не объясняет. Пьяный может поскандалить. Но вы сами знаете, что сломать рычаг не так-то просто».

Толе вдруг показалось: придумал! Он заговорил с пафосом: «Толкнул меня вроде как дух. Я, конечно, в духов не верю, как убежденный материалист. Но это было мое заболевание. Я прочитал книжку писателя Достоевского, и там написано, что это мировое величье, то есть, а машины никому не нужны и если повернуть рычаг, значит, так надо. Я, конечно, читаю такие книги критически. Но когда эта деваха меня, можно сказать, смертельно обидела, я был в нервном потрясении и потерял тормоза. Потом я увидел, как она гуляет с Ржановым, и здесь-то началась драма. Я это говорю вполне откровенно пролетарскому суду. Я напился, и вот здесь я слышу этот голос: «По-

верни рычаг!» Это, товарищи, как настоящая галлюцинация. Я согласен, чтобы меня доктор осмотрел. Все слова этой книжки я слышал подряд. Я говорю себе: «Стыдно, Кузьмин! Ты слесарь-инструментальщик. Ты строишь этот завод, как честный пролетарий». А он мне и нашептывает: «Поверни! Поверни!» Так я и пошел на это преступление. Я прошу только об одном: дайте мне загладить вину работой! Потому, что это не вредительство врага, а исключительно личная трагедия».

Восемьсот человек жадно следили за лицом Толи: они ему не верили. Володя стоял в толпе строителей. Когда Толя заговорил о духе, он весь побелел. Это было внезапным прояснением: перед ним встала ночь в Кузнецке и сумасбродный монолог. Он не помнил в точности, что он тогда говорил, но в словах Толи он услышал искаженный отзвук тех признаний, о которых знала только тетрадка в сундуке. Первой мыслью Володи было: надо сказать! Он стал протискиваться вперед. Кто-то прикрикнул на него: «Не толкайся! Всем интересно!»

Володя вдруг задумался. Первый порыв прошел. Он говорил себе: необходимо выступить! Я трус и двурушник, но я не подлец. Я должен подойти к председателю и сказать: «Дух — это я. О Достоевском говорил тоже я. Он никогда не читал этих книжек. Я ему сказал, что человек важнее машины. Он ничего не понял. Он не виноват. Виноват я. Меня зовут Сафонов, и вы можете меня судить. Я не вредитель. Я вообще слишком труслив для поступков. Я только рассуждаю. Он оказался глупее и смелее. Я никогда не мог бы сломать машину, хотя бы потому, что я презираю машины. Бороться с ними так же глупо, как и поклоняться им. Вы воспитали машинопочклонников. Следовательно, вы воспитали и машиноборцев. Я книжная крыса и скептик. Я человек другого круга и, наверно, другого класса. Я знаю, что Достоевский выше этого рычага, но рычагу нет никакого дела до Достоевского. Следовательно, все в порядке, и вы можете меня торжественно осудить».

Он повторил про себя эту речь. Он даже увидел себя на трибуне. Почему-то он подумал: надо снять очки, без очков лучше... Но тотчас же он усмехнулся: рядом с таким пошляком!.. Он теперь не мог без отвращения смотреть на Толю. Наверно, и председатель думает: почему от него воняет?.. Он весь какой-то напوماженный... Значит, Сафонов будет осужден вместе с этим юродивым за вредительство. После Сенеки — рычаг. До чего это глупо!

Володя забыл приготовленную речь. Он теперь чувствовал только страх: вдруг Толя назовет его? Он боялся не наказания, но позора. Он сказал себе: «Трус», и сейчас же попробовал оправдаться: нельзя отвечать за чужие поступки. Представив себе, что его могут посадить рядом с Толей, он покраснел от стыда. Он решил уйти. На него запыкали, но он протиснулся к двери. Остановила его мысль: если Толя назовет — отложат... Лучше уж сразу!..

Председатель сказал Толе: «Насчет Достоевского вы оставьте, это не литературный диспут. А если вы говорите, что вас подговорил «дух», то у этого «духа» имеется имя. Кто же ваши сообщники?»

Все замерли: вот, сейчас назовет! Кто они? Монархисты? Эмигранты? Шпионы? Толя ответил не сразу, и Володя пережил тяжелую минуту: он видел, как губы Толи складываются, чтобы выговорить «Сафонов». Он готовился пройти вперед и ответить: «Владимир Сафонов, родился в 1909 году, сын врача». Он теперь не произнес бы никакой речи. Он ответил бы на вопросы председателя послушно и тихо, как школьник.

Наконец Толя сказал: «Сообщников у меня нет. Разве что водка и жизнь. Очень меня жизнь озлобила. Еще Груня. А потом я чересчур много думал о глупостях, вроде как о философии. Вот и результаты...»

Напряжение спало. Володя вынул из кармана платок и осторожно вытер лоб. Он сказал соседу: «Очень жарко». Тот ответил: «Ну и сволочь этот Кузьмин!» Потом говорили какие-то люди. Володя их не слушал. Толя просил о снисхождении. Наконец председатель прочитал приговор: пять лет.

Володя вышел из клуба вместе со всеми. Он теперь радовался, что стоял позади и что Толя его не увидел. Он подумал: а ведь Толя герой — он так и не назвал Володю. О себе Володя старался не думать. Его мучило от страха и от гадливости. Но надо было что-то делать: идти в столовку или на занятия. Тогда он отчетливо понял, что он не может больше оставаться на стройке. Он должен уехать, все равно куда. Он зашагал по направлению к станции. Потом он вспомнил про тетрадку и пошел домой. Он взял сундучок и сказал Костецкому, что едет в Томск на неделю. Он назвал Томск — это было первое, что пришло в голову.

Столь же машинально он спросил бородатого железнодорожника: «Когда поезд на Томск?» Поезд шел через час, и

Володя этому обрадовался. На станции было много народу: провожали какую-то делегацию. Вслухе показалось, что среди провожающих — Ирина. Он подбежал, чтобы проститься, но оказалось, что это — не Ирина: он ошибся.

Он подумал об Ирине. Он подумал о ней просто и ласково, как о чем-то очень далеком. Он хотел, чтобы ей было хорошо. Он жалел, что не повидал ее, не сказал: «Спасибо, Ирина!» Только это и мог он теперь ей сказать: она была давно, в другой жизни. Тогда Володя еще мог радоваться. Она была с ним очень добра. Когда он отчаивался, она его утешала. Но как давно это было! Теперь все кончено, все, все. Вот и поезд!

18

На стройке не было ни театров, ни деревьев, ни улиц, но стройка числилась городом, и в этом городе были: горком, бюро красных партизан, техникум овощеводства, литконсультация по поэзии, клуб напченгов и фотоартель. Стройка, однако, оставалась стройкой. Как прежде, клепальщики на морозе клепали кауперы, а в душных бараках строители ругали харчи и говорили о большевистских темпах.

На третьей домне стал электромотор. Бригадир Антомонов сказал: «Снова прорыв!..» У него оборвался голос, и он уныло махнул рукой. Мотор подали к вечеру. Тогда Антомонов собрал рабочих: «Ребята, не уйдем, пока не кончим!» Его бригада проработала три смены подряд. Первый каупер третьей домны был закончен. В тот же день ударные бригады бетонщиков начали фундамент под новую домну: это была домна четвертая, и она рождалась так же напряженно и мучительно, как первая.

Когда зажгли первую печь мартена, строители стояли вокруг в молчаливом восторге: колхозники, монтажники, казаки, мордвины, спецпереселенцы и втузовцы. Шор от волнения отвернулся. Но сейчас же он закричал: «Что вы делаете, черт бы вас побрал? Надо нагреть изложницы».

Инженер Гаврилов диктовал Ластовой: «Сегодня выдана десятая плавка: 155 тонн». Ластова, отстучав, улыбнулась — она радовалась победе. Потом она тихо шепнула Загребинной: «Кажется, завтра будут выдавать монпансье».

Маркутов выступил на пленуме с докладом. Он говорил: «Необходимо форсировать газопровод! Наш лозунг: бить морозы в лоб!» Потом Осицкий сказал: «Предлагаю почтить вставанием память товарища Ромашовой, которая погибла на боевом посту». Все встали. У Маркутова глаза были еще серее и грустнее обычного. Ромашова была его женой. Она умерла от плеврита, простудившись на ночной работе. Маркутов снова попросил слова и сказал: «Морозы нас не могут остановить. Мы должны закончить в этом квартале пятьдесят тысяч кубометров бетонных работ».

Куликова представила доклад о постройке детской площадки на семьдесят человек. Тапчаев положил резолюцию: «Категорически нет средств». Куликова не успокоилась. Она поехала на лесозавод и произнесла горячую речь. Рабочие постановили сделать сверх плана стулья, столы и кровати. На торжественном открытии площадки выступил Батиков. Он сказал: «У нас многие работницы не выходили на работу — не на кого было оставить ребятишек. Теперь семьдесят работниц смогут принять активное участие в стройке. Я предлагаю выбрать товарища Куликову ударницей коксового цеха». Куликова взяла на руки двухлетнего мальчугана и зачмокала: «Тю-тю!» Мальчуган от страха заревел. Девочка постарше подошла к Куликовой и деловито спросила: «Когда будут давать кашу?»

На вечере, посвященном культурному строительству национальных меньшинств, выступил казак Имамбаев. Он сказал: «Когда я приехал сюда, меня поставили землекопом на стройдоменном цехе. Я не знал, что такое цех. Были здесь казаки, которые приехали до меня. Я их спрашивал, что такое цех. Они мне отвечали: «Это сек». Сек по-нашему это баран. У баранов разная шкура, и у нас в деревне говорят: «красный сек и доменный сек». Они говорили мне: «Здесь коксовый сек и доменный сек» — они думали, что цех это сек. Они ничего не понимали. Я спросил комсомольцев, и комсомольцы мне объяснили. Я понял, что такое цех, и я рассказал другим казакам. Теперь они хорошо понимают, что такое цех, и никто из них не поедет домой. У нас, когда нет дождя, нет хлеба и казаки сидят голодные. Зачем гонять скот, когда можно работать на цехе? Мы теперь только начинаем жить». После Имамбаева говорила молодая казачка: «Мы прежде жили хуже скотины. Мужчины ели мясо, а женщины стояли позади и ждали, когда им кинут кость. А теперь я в ударной бригаде. Я вчера на курсы записалась...»

Она смутилась и больше ничего не могла вымолвить. Ей много аплодировали. В углу сидел старый бородатый казак. Он хитро щурился. Он сказал: «Ну и бесстыдники», а потом начал аплодировать.

Зубаков сказал Путилову: «Необходимо устроить театр. Вот в Анжерке замечательная труппа: четыре заслуженных артиста». Путилов помолчал и вдруг сказал Зубакову: «Знаете, я ведь приехал сюда в апреле двадцать девятого. Тогда здесь ничего не было, ровно ничего. Нас приехало сто сорок человек. Два шофера. А дорог никаких. Теперь я гляжу и глазам не верю. Смешно?» Зубаков сказал: «Грандиозно! Но как же насчет театра?»

Возле стройки находились Осиновские рудники. Прежде там была деревня Осиновка. Деревню снесли. Осталось кладбище: на нем хоронили рабочих. Кладбище было занесено снегом, и только один крест повыше других торчал из-под снега. В солнечное утро на кладбище пришли два инженера: Власов и Ройзман. Власов подошел к деревянному кресту и снял шапку. Он сказал Ройзмону: «Здесь похоронен доменный мастер Курако. Это очень странная история. Давно, еще до войны, Курако мечтал о постройке Кузнецкого завода. Он работал над проектами. Я видал один из проектов — это гениально. Никто не хотел его слушать. Он жил в бедности. Он умер от сыпняка в девятнадцатом году. Тогда людям было не до стройки...» Ройзман поглядел на лицо Власова, которое сразу стало суровым, и тоже снял шапку. Он не знал, что ему сказать. Тогда Власов неожиданно его спросил: «Почему у вас перебои с углем?» Они заговорили о работе.

Вербовщики продолжали вербовать крестьян. За одну декаду прибыло девятьсот тридцать человек завербованных и сто восемьдесят четыре самотеком. Из Чехословакии приехали безработные шахтеры. Жена Франца Кубки, вздохнув, сказала: «Франц, как же мы будем здесь жить? Здесь нет ни кофе, ни сливок, ни масла». Франц Кубка обозлился и закричал: «Мало я намучился? Здесь есть работа, и то хорошо».

Засыпало землей четырех землекопов. Резанова откопали живым. Тарасов его спросил: «Куда же вы, дураки, полезли?» Резанов не ответил. Он молчал час, два. Иногда он хватался за голову и начинал мычать. Пришел доктор и сказал, чтобы Резанова тотчас же отвезли в лечебницу. Тарасов насупился: «Вот тебе — человек языка лишился! Не хочу я здесь работать! Это не работа, это черт знает что!» Панасенко ему ответил: «Что

же, если ты приехал за длинным рублем, уезжай! А я останусь. Я приехал сюда, чтобы строить».

Шумели бураны, и пронзительно кричала воздуходувка. Люди продолжали строить. Они строили новые кауперы, туннели, мосты, газопроводы и шахты. Как прежде, они строили день и ночь.

Колька Ржанов ходил хмурый и молчаливый. Он был занят теперь одним: он хотел построить свой кран. Все свободное время он что-то чертил. Ирина его спросила: «Ты завтра пойдешь в кино?» Он невпопад ответил: «Если под углом, обязательно подцепит...» Ирина рассмеялась, рассмеялся и Колька. Он в смущении крепко ее расцеловал, а потом проворчал: «Все-таки я его построю!»

Колька показал чертежи Соловьеву, но тот рассмеялся: «Кому это теперь нужно?» Так говорили и другие инженеры: они знали, что существуют настоящие краны, и чертежи Кольки им казались игрушкой. Только слесарь Головин внимательно выслушал Кольку и сказал: «Попробуем. Может, и выйдет».

Три недели спустя Колька и Головин подтащили к яме диковинное сооружение из бревен. Деревянное чудище выткнуло шею над ямой. Колька закричал Головину: «Верти за хвост!» Лебедка тотчас же подняла щит. Землекопы сначала недоверчиво глядели на кран, но когда они поняли, что кран и вправду поднимает щит, что больше им не нужно таскать этот щит на плечах, они весело заулыбались. Головин сказал: «Ребята, качай Кольку!» Колька подлетел высоко, чуть ли не до морды своего деревянного зверя.

Подошел инженер Херсонский. Сначала он иронически прищурился: «Что это за белиберда?» Ему показали, как кран поднимает щит. Херсонский проворчал: «Да, конечно... А все-таки лучше было бы поставить настоящие краны...» Он не завидовал успеху Кольки, но он знал свое дело, и он никак не мог понять это дикарское изобретение.

Однако, встретив Шора, он сказал: «Ну, у нас теперь не только моргановский кран, но и свой доморощенный. Посмотрите, все-таки интересно, простой рабочий, а додумался». Шор возле крана застал Кольку. Он сразу узнал его и вспомнил разговор о Морозове.

Кто знает, сколько людей перевидал на своем веку Шор? Он тотчас же забывал их имена, но он помнил лица. Он помнил лица лавочников, тюремщиков, парижских консьержек, солдат,

английских дипломатов, крестьян, он помнил тысячи лиц. Все чаще и чаще, среди ночной тишины, эти люди обступали Шора, и он мучительно морщился: у него не было времени для воспоминаний.

Шор, посмотрев на кран, закричал: «Здорово! Ведь подымает, да еще как!» Потом, задумавшись, он сказал Соловьеву: «Конечно, это выпадает из стиля — американщина, а рядом такое. Но ничего не поделаешь: из курной избы в небоскреб сразу не прыгнешь. Лучше уж эта штукавина, чем на спине таскать». Он подозвал к себе Кольку. Колька, волнуясь, следил за глазами Шора — глаза улыбались. Тогда Колька робко сказал: «У меня никакого технического образования...» Шор прикрикнул: «Сразу видно! Но вот голова у тебя на плечах — это самое главное. Образование пригоним. Ты что, на курсах? Ну вот и хорошо. А с осени мы тебя в Томск пошлем. В техникум. Я сейчас запишу. Голова у меня дурацкая: помню, что не нужно». Он крепко пожал руку Кольки, и Колька готов был запрыгать от радости. Но он сдержался и простоял не двигаясь, пока Шор не ушел.

Потом он побегал к Ирине, — на счастье, у нее был выходной день. Он вбежал в ее комнату и закричал: «Старику» понравилось! Сказал, что меня в техникум пошлют. В Томск. Сказал, что хорошо придумано. Четыре раза при нем проверяли. Он и в книжку записал». Он хотел все сразу рассказать Ирине, но он не мог рассказать о самом важном: о том, как ласково светились глаза «старика», когда он глядел на Кольку. Он только, смущаясь, добавил: «Он со мной хорошо говорил, очень хорошо».

Они долго и шумно радовались, и все, что они делали, было праздничным. Пили чай, как в гостях, с медом: Ирина достала где-то банку. Колька обсасывал ложечку и смеялся. Потом Колька показал, как Херсонский разговаривает с немцами, и это было очень смешно, а может быть, и ничего смешного здесь не было, но они смеялись. Ирина сказала: «Вот ты в Томске увидишь профессора Ивашева. Он в пенсне и вдруг забывает, что говорил, и говорит «господа», честное слово!..» И они снова рассмеялись.

Колька сказал: «В Томске хорошо заниматься. Тихо. Только скучно мне будет без стройки. Зато научусь. Буду инженером. Тогда-то начнется самое интересное. Построим завод раза в два больше этого. К тому времени у нас только и начнут строить по-настоящему. Ведь еще ни черта не сделано. Я на Урале видел эти старые заводешки — все надо сломать. Или в Восточной



Сибири — какая там дичь! Вот туда и поплут. В разведку. Я сделаю проект...»

Он снова размечтался. С его лица теперь не сходила улыбка. Ирина ему рассказывала о Томске, о профессорах, о зачетах. Он слушал внимательно и в то же время рассеянно, как слушают дети сказку. Он не мог себе представить, что скоро это будет его жизнью и что эта прекрасная жизнь в больших светлых аудиториях окажется только вступлением к другой, с чертежами, эстакадами и мостами. Он сказал: «Чудно — Колька, и вдруг инженер...»

Потом Ирина неожиданно сказала: «Значит, осенью расстанемся, и надолго». Колька перестал улыбаться. Он постарался как можно беспечней ответить: «Ничего, я на практику сюда приеду!» Но это не утешило ни Ирину, ни его самого. Тогда он сказал: «Зачем теперь думать о том, что будет осенью! До осени далеко!» Они сразу развеселились: полгода для них были целой жизнью. Колька признался: «А трудно будет без тебя!..» Ирина просияла — если так, значит, они никогда не расстанутся! Она сказала, улыбаясь: «Ничего, привыкнешь». Но Колька ответил: «Ты, Ирина, не смейся! Это всерьез». Больше они не могли разговаривать, они сидели молча друг против друга и улыбались.

Вдруг Колька снова рассмеялся: он вспомнил свой крап. «Ты знаешь, Ирина, и во сне такое не приснится! Я видал в атласе жирафа. Вот, если сделать жирафа из спичек... Твой Сафонов правильно сказал «каменный век». Скажи, Ирина, ты с ним видишься?..»

Ирина удивленно посмотрела на Кольку. Он смутился. «Ты что это думаешь? Я и забыл. Вскипятился тогда, и все... Я это просто спросил. Он, кажется, умный парень. С таким поговорить интересно. Мы в тот раз сцепились. Я-то знаю почему. А он принципиально. Хотя, может быть, и он из-за этих чувств. Это ведь, как по голове трахнут — ничего не понимаешь. Меня что обижает — вот вы встречаетесь, говорите, наверно, о книгах, о людях, мне ведь тоже интересно... Неужели через такое нельзя перешагнуть?» — «Может быть, когда-нибудь. Но тогда и не на земле люди, а парят. Вот если бы ты полюбил Варю, разве я могла бы сидеть и слушать, как вы разговариваете? Не так это просто переделать. Может быть, через сто лет... А пока что трудно. Я Володю с того вечера не видала. Мне это самой странно. Я думала — сжились по-человечески — настоя-

щая близость. Но и это не выстояло. Он не приходит. Наверно, так лучше. Все-таки обидно — я даже не знаю, что он теперь делает. Он мне сказал, будто приехал, чтобы окончательно во всем разувериться. Но это слова. Он из-за меня приехал. А когда встретились, оказалось, что и говорить не о чем. Вот, как нарочно: он — в одну сторону, я — в другую. Если рассуждать логически, выходит, я его обманула. Только в этих делах нельзя рассуждать. Я когда о нем думаю, сердце сжимается: не может он жить, никак не может!..»

Колька еще никогда не видел Ирину такой печальной. Он быстро поддался ее чувству. Он не думал о Сафонове. Он был полон беспричинной грусти. Он боялся что-либо сказать, боялся неосторожным словом еще больше огорчить Ирину. Наконец он робко проговорил: «Может быть, и не так это. Может быть, он увлечется работой...»

«Я его прежде понимала. Не совсем, но все-таки понимала. Теперь — не знаю: я сильно переменялась. А он не меняется. Он весь готовый. Один только раз я почувствовала, что я старше его. Я не могу тебе рассказать, как это было. Но я тогда заплакала, а он ничего не понял. Впрочем, это чепуха. Он не то старше, не то старей. Я хочу тебе объяснить и не могу: у меня для этого слов не хватает. Я себе сейчас представила, как он усмешается. Вроде гримасы. Но это не от злости. Мне всегда в такие минуты казалось, что он задыхается. Знаешь, как рыба, когда ее вытасят. Он говорит, что теперь безобразная жизнь. А я вот думаю — как жила моя мать? Училась в гимназии. Танцевала. Ходила в театр. Потом вышла замуж. Папа работал в депо. Он с утра уходил. Она сидела дома или ходила в лавки или к сестре. Нянчилась с нами. Скучно это, так скучно, что страшно подумать! А что будет через сто лет, я не знаю. Может быть, будет замечательно. А может быть, тоже скучно: все построят, наладят, научат всех думать. Это, конечно, хорошо. Только куда интересней теперь. Все приходится делать своими руками. Как ты — этот кран. Я говорила Володе, а он отмахивался. Может быть, он не вовремя родился. Раньше такие люди были счастливы. То есть счастливы они не были, наоборот. Но тогда всем казалось, что быть несчастным — это очень благородно. Он был бы в своей среде. А это для человека главное. Его горе в том, что он честен, ни за что не хочет приспособиться. Сколько у нас таких — в душе на все плюют, а публично распинаются! Володя не умеет обманывать.

Он и себе не врет. А верить — он ни во что не верит. Как же ему тогда жить? Иногда мне кажется, что мы все перед ним виноваты, виноваты тем, что живем, работаем, веселимся. А иногда меня злора берет. Посмотришь кругом: ужас, вши, люди надрываются, надо дело делать, минуту потерять и то страшно, а он ходит с цитатами. Тогда я, кажется, сама готова сказать: «Уж лучше стреляйся!..»

Ирина выговорила это залпом и, выговорив, она сразу успокоилась, как будто ее освободили от чего-то очень мучительного. Она часто вспоминала Володю, но только теперь, рассказав о нем Кольке, она поняла, как много времени утекло с Томска, как отошла она от того, что ей казалось тогда жизнью.

Колька сидел молчаливый и сумрачный. Он был силен, когда приходилось сталкиваться с жизнью лицом к лицу, но, попадая в чащу сложных чувствований и противоречий, он неизменно терялся. Он не понимал, что происходит в душе Ирины? Почему она так безжалостна к этому Сафонову? Он сказал: «Здесь, Ирина, что-то не так. Если даже он чужой, он может перестроиться. Возьмем Ваську Морозова. Его не узнать. А ведь это кулак, темнота, у него жизнь и не в голове, а в крови. Сафонов другой. Он думает. Он и не похож на врага. Я это тогда зря сказал. У врагов зубы. А он какой-то неприкаемый. Выпал, а на место не поставили. Вот я тебя слушал и все время думал: может быть, это наша вина? Очень быстро мы людей отшпиваем: раз-два, и прощай! Я буду с тобой говорить откровенно. Ты пойми: с моей стороны это не любопытство. Я никогда не спросил бы... Но вот вы, что называется, друг дружку любили. Ты хорошо видишь жизнь. Я с тобой душевно вырос. Два человека мне так помогли: ты и «старик». Почему же ты его не выволокла? Это легко сказать: «стреляйся». Но я в это не верю. Человеку надо помочь. Да и ребята у нас неплохие. Только заняты все по горло, некогда, спешат. А потом человек и вправду стреляется. Это, Ирина, не дело!..»

Ирина спокойно его выслушала. Ее лицо стало сразу строже и взрослей. Она сказала: «Вот всегда так — в жизни вы умные, а как дело доходит до чувств, девчонка и та скорей поймет. Ты что думаешь, если я тебе сказала, это значит, мне сейчас в голову пришло? Я и сказала потому, что — кончено. Не о чем больше толковать! Может быть, останься я с ним, он был бы на столько-то счастливей. Но ты с твоим Морозовым поговорил по душам, и все. А здесь надо не по плечу хлопать, но жизнь

отдать. На это я не согласна! Не могу. Просто я не такая. У меня это выйдет, как в театре. В этом все дело. Для него наша жизнь — пошлость. А для меня он ненастоящий. На сцене — можно, а здесь, в Кузнецке, — нельзя. Ты подумай, как это звучит просто: краны, школа, выходные дни, столовки. Если так перечислить, получится ерунда. Да и у нас с тобой: ну, встретились, ну, любят. Даже романа об этом не напишешь. Вот Варя все время жалуется: «В романах хорошо, а у меня ничего не выходит». Я слушаю и смеюсь — может быть, у нее с Готовым куда лучше, чем в романе. Только нет таких фраз. Времени не хватает. А может быть, и охота у людей прошла. Я думаю, что и жизнь у нас замечательная, и любим мы друг друга по-настоящему. Но трагедии, конечно, не поставишь — «Ирина и Колька». Для трагедии я курносыя...

Она вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Колька, улыбнулся нерешительно, как будто стыдясь своей улыбки. Потом он встал, обнял Ирину и сказал: «Я тоже так думаю». Это показалось ему глупым. Он пробормотал: «Ну и положил резолюцию!» Обоим теперь было весело и легко.

Они подошли к окну. Из окна была видна вся стройка. Трубы и огни говорили остальное: Ирина и Колька были на своем месте. Они твердо знали, что им делать.

Колька посмотрел на часы и заторопился: у него была ночная работа. Ирина сказала: «Да ты застегнись — простудишься». Он весело ответил: «Никогда!»

19

Кладбище находилось по соседству с исправительной тюрьмой. Новых покойников хоронили возле главных ворот, и редко кто из посетителей забирался в глубь кладбища. Там было дико и неприятно. На земле валялись деревья, вырванные бурей, и сбитые с могил кресты.

Пятнадцать лет революции изменили население города. Мало в нем осталось старых томичан. У покойников больше не было ни родственников, ни друзей, ни врагов. Это было кладбище древнего племени, заселявшего некогда город. Могильные epitафии казались сделанными на чужом языке. Только Володе и могло прийти в голову расшифровывать эти имена и даты.

Могила купца первой гильдии Феофана Санникова была пе-

когда пышной. Часовню окружала чугунная решетка екатеринбургской работы, с ангелочками и вензелями. Решетка была поломана, а в часовой вазе валялись осколки бутылок. На двери было написано: «Блаженны плачущие!»

Рядом с Санниковым был похоронен классный надзиратель Виссарион Крачевский. Его могила была украшена эмальированной фотографией. Володя увидел густые усы, выпуклые рачьи глаза и высокий воротничок с углами. Над фотографией значилось: «До свиданья там! Твоя безутешная супруга».

Среди кустарников торчал старый восьмиконечный крест. Имя на нем стерлось, сохранились только стихи: «Прохожий, не гордись, мой попирая прах. Я дома, ты в гостях». Володя долго простоял возле этого креста. Он как будто обрадовался; среди скучных имен и лицемерных клятв разыскав эту грустную сентенцию. На минуту ему показалось, что он сидит в библиотеке. С недоумением он поглядел вокруг: солнце, снег, кресты. Он еще, кажется, в гостях. Да и нет у него никакого дома!..

Потом он задумался: что они делали, эти вздорные мертвецы? Супруга педеля, наверно, вскоре утешилась. Она носила большие корсеты. Может быть, купцу первой гильдии и довелось расстегнуть ее корсет? У купца была бакалейная лавка, где-нибудь на Воскресенской горке, и доходный дом. Он драл семь шкур. Никогда в жизни он не плакал. После обеда он храпел на весь Томск. Когда наконец-то он умер, его сыновья на радостях напились до положения риз: сколько лет они молились, чтобы господь прибрал этого скупердягу! Потом они заказали памятник: «Блаженны плачущие!»

А этот философ? Что он поделывал в гостях у жизни? Чем торговал — воском или белорыбицей? А может быть, он просто валялся на оттоманке и бил по щекам краснорожую Груньку? Ведь глубина мысли определяется степенью безделья. Тогда не было темпов. Тогда ставили самовары... Володя поморщился и повернул к выходу.

Кругом высились столбики, украшенные пятиконечными звездами: это были могилы коммунистов. Кой-где лежали рыжие замерзшие цветы. Рабочий поплевал на ладонь: земля не поддавалась. Кладбище сразу ожило: здесь оно сливалось с городом.

Накренился последний крест: «Здесь упокоился раб божий, красный партизан Иван Медведев». Вокруг креста было много звезд: «Здесь покоится Василий Перлов. Член ВКП (б) с 1918 г.», «Здесь похоронен Марк Гольвиц. Ударник».

Володя усмехнулся: что же переменялось? Они говорят: «энтузиазм». Прежде это называлось верой. Она родилась в тот самый год, когда палили иконы и потрошили мощи. «Член ВКП». «Марк ударник». Так хоронили бессребреников. Но эти не были в гостях. Они были у себя дома. Наверно, они строили кауперы или крольчатники. Вроде Кольки. Потом они надорвались. Как это величественно и как глупо! Володя пожал плечами: суета стройки продолжалась. Он еще раз пробормотал: «Величественно и глупо».

Он собирался было уйти, когда его остановил старичок в плшивой шапчонке. «На могилку пришли?» Володя ответил нехотя: «Гуляю». — «Ну, это и лучше. А я вот пришел посмотреть, не стащили ли чего. Сын у меня здесь. Комсомолец. Хотел я его похоронить по-православному, товарищи не дали. Вот и звезду поставили. Я политики не касаюсь, но крест, по-моему, куда чувствительнее. Вот вы — человек молодой, интересно, как вы на этот счет думаете?» Словоохотливый старичок раздражал Володю. Он ответил сухо: «По-моему, все равно. Умер и умер». Старичок не унимался: «Ну а все-таки, что, по-вашему, больше соответствует человеческому чину?» Тогда Володя повернулся к нему и крикнул: «Ни креста, ни звезды! Поняли? Просто кол. Синовей». Он быстро убежал прочь.

Он больше не давал себе отчета в своих поступках. Зачем он пришел на это кладбище? Зачем полдня просидел на вокзале, среди чайников и узлов? Зачем, наконец, приехал в Томск?..

Всю дорогу он пролежал, прикидываясь спящим. Он не пошел в общежитье. Увидев издали Петьку Рожкова, он бросился прочь. Потом подошел вечер. Надо было где-нибудь приютиться. Володя растерянно оглянулся и побрел к Фадею Ильичу.

Фадей Ильич когда-то был конским барышником. Он любил с гиканьем носиться на резвых. После революции он присмирел, но не увял. Он заведовал конюшнями горсовета. Когда на него находила тоска, не задумываясь, он шел в «Коммерческую столовую». Водку он пил из чайных стаканов и называл ее «водицей». Выпив бутылку, он багровел и начинал говорить о тщете жизни. Он говорил о том, что зря обидел покойницу Машу, что прежде были кони, а теперь пошли коняги, что все мы окочуримся и что не стоит человеку парить в небесах, если все равно из него вырастет лопух.

Фадею Ильичу оставили его маленький домишко возле самой Томи. Володя робко сказал: «Я теперь в командировке. На

несколько дней. Вы меня пустите, Фадей Ильич. Я вам заплачу». Фадей Ильич посмотрел на Володю и буркнул: «Ладно! Только баб ко мне не води. Я человек нравственный. Не могу я бабья видеть — кровь во мне играет. Мигом отобью!» Он заготовал. Володя напряженно подумал: кажется, надо улыбнуться... Ему все казалось, что он в клубе «Красный металлист» и что Толя говорит: «Дух — это Сафонов».

Ночью он плохо спал. Лезли в голову глупые мысли. Может быть, уехать в Китай и поступить там в какую-нибудь армию? Все равно в какую, лишь бы не знали, кто он. Потом он решил отправиться утром в милицию. Он скажет: «Меня следует задержать — это я подбил Толю Кузьмина». Он вспомнил сугробы и Достоевского. Прежде легко было каяться: выслушивали, жалели, романы об этом писали. А теперь? Поплюют к черту: «Не мешайте, гражданин, работать». Или скажут: «Ладно! Виноват так виноват». Отправят на рудники. Снова уголь. Потом чугун. Потом сталь. Потом прокат. Блюминг еще не пустили... Зачем же книги? Зачем Достоевский? Одно из двух. Приходится отметить: духа в окрестностях не замечено. Вот только Толя узидел... Дух — это Сафонов. Злой дух. Нет, слишком громко сказано. Просто чертик. Такого можно носить в кармане, никто не заметит. Можно с ним пойти на собрание. Даже выступить: «Товарищи, жизнь только здесь!» Смолин одобрит. Кстати, как звали этого Смолина? Кажется, Васька... А Толя? На каком основании он — Толя? Самозванство. Он попросту Толька. Достоевский — и рычаг ломать — какая гадость!..

Он вышел из дому рано утром. Фадей Ильич шутил и смеялся. Володя молча прошел мимо. Ржали лошади. Он пошел, не думая ни о чем, к библиотеке. Но у ворот он остановился. Наталья Петровна еще тогда крикнула: «Уйдите! Вы хуже всех!» Она первая догадалась, что он преступник...

Володя не пошел в библиотеку. Он долго бродил по молчаливым улицам. Он старался не замечать ни домов, ни людей: он боялся воспоминаний. Он купил газету и прочел ее от начала до конца. Он даже подумал: здорово! На мартенах Кузнецк обгонит Магнитку...

Под вечер он очутился на улице Фрунзе. Там жила Ирина. Он вспомнил, как он тогда ломался: закурил папиросу, медленно дошел до угла. Он своего добился: Ирина его ненавидит. Что же, так лучше! Если есть кто близкий, страшно умереть. А у Володи никого нет. Почему же все-таки страшно?.. Страшно

от одиночества. Хоть бы попался кто-нибудь знакомый! Все новые лица. Общежитье переехало. «Товарищ, вы не знаете Рожкова? Петьку? Или Шварца? Ну, кого-нибудь с математического?» Вузовец, которого Володя остановил, ответил: «Я в педтехникуме». Володя тоскливо подумал: как Ирина. Ирины теперь нет. Ирина в Кузнецке. Он один. Совсем один.

Он увидел огни и людей. Он кинулся туда — это был цирк. Он старался улыбаться и аплодировать. Когда эквилибрист прыгнул с трапеции, он смутно подумал: вот так бы!.. Он больше не глядел на арену. Он погрузился в мысли, вязкие и жадные. «Поставить точку» — это Маяковский когда-то написал. Что же, он поставил. Отец лежал в покойнице. У него лицо было твердое и суровое. Значит, он успел обо всем подумать. Какие сугробы были в Кузнецке! Никогда он не видал таких сугробов. Скоро стают. Это ужасно: тогда начнется самое глупое. Например, черемуха. Ирина любила... Нельзя нюхать цветы! Почему никто не понимает, что это провокация? Впрочем, никого и нет... «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал...» Вокруг Володи шумела толпа. Но ему казалось, что он один, с тишиной. Он старался понять: о чем это он думает? Потом он догадался. Он кинулся к выходу, расталкивая людей. Он повторял про себя: об этом нельзя думать, нельзя, нельзя!..

В тумане мелькнули борода Фадея Ильича, противные разводы на обоях, шнурки ботинок. Почему-то Володя долго не мог развязать шнурки. Он лег и с отвращением подумал: нет, я на это не гожусь. Когда застрелился Чернов, говорили — трусость. А сколько для этого нужно сил! В голове все путалось. Он вдруг рассердился на себя: даже шнурки развязать не умею! Потом на него нашло оцепенение. Он робко подумал: может быть, это и не так страшно? Одуреть и — раз-два. Он машинально добавил: «три, четыре»... Он уснул, считая.

Утром он очутился на кладбище, а после кладбища — перед домом профессора Грима. Он сам удивился: почему он пришел сюда? Растерянный, он сел на лавочку и все старался понять, что его привело к этому дому с резными воротами? Прошлой весной Грим сказал ему: «Как-нибудь зайдите, потолкуем». Это было давно. В другой жизни. Если позвонить, Грим спросит: «Что вам угодно?» Как ему объяснить? Да и нужно ли еще объяснять? Кажется, все досказано, исписана тетрадка, пережит позор суда, Ирина сдана по назначению, остается тот конец, который почудился ему вчера за ловким прыжком эквилибриста.



Володя знал труды Грима. Он знал, что Грим не педагог средней руки, застрявший в провинции, но крупный ученый. Грим не ходил на собрания, не подписывал деклараций, не говорил о диамате, и в своем дневнике Володя называл его «непримиримым». Прежде, когда Володя еще мечтал о научной работе, он думал: буду как Грим! Один раз ему довелось поговорить с профессором. Он проводил Грима до дому. Он говорил о релятивизме. Грим улыбался, и Володя никак не мог понять, что означала эта улыбка. Потом он жадно всех расспрашивал: «Вы его знаете?» Но Грима мало кто знал: он жил замкнуто. В Томске о нем говорили, что это замечательный математик, однако большой дурак. Верней всего, его не замечали, как не замечали старых домов. Ему было шестьдесят два года.

Грим не любил говорить о том, что он называл «посторонними вещами». Эти «посторонние вещи» были всей жизнью. Охотно Грим разговаривал только о математике. Он думал, что он ничего не понимает ни в политике, ни в любви, ни в людях. Жена сказала ему: «Вот Муся хочет выйти замуж за Кольчугина, а по-моему, этот Кольчугин негодяй». Грим, смущенно поморгав, ответил: «Я его мало знаю. Мусе видней — раз хочет, значит, он ей нравится». Жена хлопнула дверью и, не вытерпев, сказала заплаканной Мусе: «Твой отец не человек!» Это было давно, еще до войны. Муся вскоре развелась с Кольчугиным и вышла за Каплана. У нее было трое детей. Когда она спросила отца, куда лучше отдать Гришу — в девятилетку или в ФЗУ, Грим все с той же виноватой улыбкой ответил: «Я вот не знаю. Да это все равно. Он потом сам разберется...»

Вокруг Грима шла твердо налаженная жизнь. Жена требовала в распределителе, чтобы «ученому с мировым именем» выдавали балык. Муся собирала у себя всех дам Томска. Они танцевали фокстрот или играли в преферанс. Каплан носился с проектом новой стройки. Гриша играл с товарищами в мировую войну. Они вырезывали из газеты противогазы и били японцев. Орала ребята, гнусаво скулил патефон, Каплан размахивал руками, Муся разгуливала в заграничной пижаме, жизнь в доме кипела. Вся эта жизнь держалась на одном: в маленькой комнате сидел Грим и работал.

Он работал с утра до ночи, и жена, вздыхая, приговаривала: «Как машина!» Грим скрывал от близких, что он очень болен. Доктор, измерив давление крови, покачал головой, и Грим понял, что ему осталось немного. Он торопился: он хотел закон-

чить свою основную работу. Об этой работе знали в Москве. Два года тому назад Грим выступил с докладом в Московском математическом обществе. После этого в Томск было послано специальное распоряжение: обеспечить Гриму сносные условия для работы. Домашние тотчас же ожили. Жена кинулась в распределитель: «Вы обязаны выдавать три кило масла!» Каплан стал приговаривать шепотом: «Я, знаете, зять Грима — того самого». Даже Гриша в школе заявил: «Я задачи не сделал — со мной дед разговаривал». Грим не думал ни о бумаге из Москвы, ни о распределителе, ни о проделках Каплана. Он продолжал работать.

Когда в его комнату провели Володю, он печально вздохнул — сколько раз он просил никого не пускать!.. Наверно, насчет зачетов... Мог бы в университете спросить!.. Он тихо сказал: «Что вам?» Володя приготовился к этому вопросу. Он быстро заговорил: «Вы как-то позволили зайти к вам. Помните, я говорил тогда о релятивизме. Я вас не хотел отрывать от работы. Но сегодня у меня действительно важное дело. Я вас называл про себя «непримиримым». Это, конечно, наивно, но это выражает мое отношение. Я теперь совсем запутался. Не знаю, как из этого выйти. Да и стоит ли? Я пришел, чтобы задать вам дурацкий вопрос: как по-вашему, я могу еще жить или нет?»

Грим сказал: «Прежде всего, сядьте. Давайте поговорим спокойно. Почему вы не можете жить? Что вы такое наделали?» — «Собственно говоря, ничего. Можно, конечно, придаться. Я, например, говорил перед одним сумасшедшим о Достоевском. Он ничего не понял и пошел ломать машину. Это похоже на бред, но это так. Впрочем, об этом и говорить не стоит. Это деталь! Еще с Ириной... но это тоже деталь. Главное вот что — я не могу так жить! Вы не подумайте, что я какой-нибудь контр. Я прекрасно понимаю, что они правы. Но мне-то от этого не легче. Вы, наверно, и не знаете, что такое Домна Ивановна! Зато моих сверстников вы знаете — это ваши ученики. Я их зову «Петьками». Они учатся культурно сморкаться. От этого можно сойти с ума! Я все перепробовал. Я бросил математику — кому это теперь нужно? Конечно, вас признают, но вы мировая слава. Я уехал на стройку. Не помогло. Что же мне теперь делать?»

Грим сердито барабанил мундштуком по столу: «Должно быть, я и вправду выжил из ума. Я вот ничего не понимаю. Моим дамам теперь тоже не нравится: «На базаре грубияны»

или: «Таким мылом нельзя мыться». Но ведь вы говорите о другом. У вас, например, Достоевский. Почему вы так озлоблены? Я, правда, вижу только кусочек жизни. Но студентов я знаю. Чем они вам не нравятся? Подготовка, конечно, слабая. Зато какая энергия! Я помню старых студентов. Были и среди них идеалисты, но много было дельцов. Вроде моего зятя. Я лично предпочитаю теперешних. Они с таким жаром кидаются, что даже страшно. Вот вы говорите насчет стройки. По-моему, если строят, значит, так нужно — вопрос статистики. Теперь все говорят об этом чугуне. Вероятно, потому, что ничего нет. Построят, будет вдоволь гвоздиков или еще чего, тогда заговорят о другом. О поэзии, что ли. Я во время войны читал, что немцы все сады превратили в огороды. Роза от этого не стала картошкой. У них в это время такой Эйнштейн работал. Наверно, и поэты были. А о чем, собственно говоря, жалеть? О томских купцах? Для науки это не подходит. Теперь в ОНО сидит... Забыл фамилию — рабочий, слесарь. А в каком-то плане я или слесарь — это одно и то же. Я и не хочу, чтобы на меня смотрели иначе. Все эти приказы из Москвы — меня лично это стесняет. Не будь семьи, я бы от всего отказался. В чем дело? Грим такой же рабочий. Просто область более отвлеченная. Главное, что они теперь работают и не только для себя. Был бы я помоложе, обязательно пошел бы с ними работать».

Володя слушал его, спокойный, но очень бледный. Он сказал: «Хорошо. Что же мне делать? Мне — вот такому, как я есть? Это глупо, что я вас спрашиваю. Я ведь сам знаю... С моей стороны это трусость. Но вы куда меня старше. Вы это верней чувствуете. Скажите мне прямо, как, по-вашему, — это очень страшно?»

Грим не понял, придвинув к Володе большое волосатое ухо, он переспросил: «Что?» Володя ответил: «Умереть».

«Я об этом никогда не думал. То есть о смерти я часто думаю. Но в связи с работой: страшно, что кончить не успею... А потом? Кажется, это просто. Как и все в жизни. Можно, конечно, накрутить: так и этак. А можно без фокусов. Но почему вы об этом говорите? Вы мне во внуки годитесь. Вам о зачетах надо думать, а не о смерти».

Грим внимательно поглядел на Володю. Володя попробовал улыбнуться. Тогда Гриму стало его жалко. Он вытер платком очки, пожевал воздух и забормотал: «Ну, ну! Хватит! Я вот старик. Нагляделся. Жить приходится, как говорят, сжав зубы».

У меня-то зубов нет. Все равно, сжимаю. Со стороны, кажется, все замечательно. Бумага из Москвы. Внуки. А поговорить не с кем. Спросите их — они скажут: «Из ума выжил». В карты играют. Патефон. Такая тоска берет! Вот и умру за этим столом. Да и с работой бывает трудно. Вот-вот, а не дается. Ничего, держусь. Даже доволен. А вам совсем грех. Я вам завидую. Вы-то увидите, как это кончится. Нехорошо, когда каждый только о себе думает. Вот и наука — тоже самопожертвование. Такой слесарь — он в математике ничего не понимает, а подход у него правильный. Я как-то спросил его: «Трудно?» Он засмеялся: «Мы не увидим, дети увидят». Вот и выходит, что это для вас мы работаем».

Володя встал и глухо проговорил: «Нет, Иван Эдуардович. Для них, но не для меня. Их детей вы вывели в жизнь, а своих собственных вы выдали с головой». Грим вспыхнул. На крик прибежала Муся, но он замахал руками: «Уйди!» Он кричал: «Кто это вас выдал? Предатели за границу убежали. Я вот ни одной лекции не пропустил! Стыдно вам, молодой человек! Старика обижаете. А только потому, что я в этих вещах ничего не понимаю...»

Когда Грим умолк, Володя тихо сказал ему: «Вы меня не поняли. Я вас не хотел огорчить. Конечно, вы никого не предали. Хорошо, что я к вам пришел. Я в жизни видел много чудовищного. Дядю. «Классовая эпизоотия». Наверно, он был охранником. Потом другой дядя — Мартын. Потом — Толя. Вы — настоящий человек. Хотя бы напоследок... Но почему вы сравниваете меня с собой? У вас был фундамент. Наука. Вы можете их учить. Они вас слушают. А я? Я должен с ними жить. Вы даже не понимаете, что это такое! У меня тетрадка в сундуке, а у них хоровое пение. Они отобрали Ирину, и это вполне естественно. С кем я оказался в итоге? С юродивым. Он помадится. Повернул рычаг. А потом — суд в клубе. Я себя чувствую сообщником. Это уже безумие. Знаю, знаю: история, неизбежность, смена культур. Это — в библиотеке. Вы знаете, я так напугал эту несчастную женщину. С моей стороны свинство! Но вы все же поймите, что мы остались ни к чему. Почему вы не запретили выдавать нам книги? Того же Сенеку. Надо было сразу сказать: «Готовьтесь к чугуну!» Не теперь — десять лет тому назад. Я прочел и свихнулся. С одной стороны — князь Мышкин, с другой — агрегаты. В мыслях я жил с какими-то «персонажами», а рядом храпел Петька. Он очень

славный, добряк, он меня утешать пробовал. Вообще по отношению к ним я негодяй. Но что же мне делать? Для меня они не люди. Все, как один. Называется «коллектив». Проще говоря — стенка. Вот я и расшиб себе голову. На них я не могу сердиться. Они из другого теста. Например, Колька. У него вот такие плечи... А вы — как отец. Он Чехова читал. У него была гипертрофированная совесть. Отец умер. Я, должно быть, о нем вспомнил — оттого и пришел. Все на вас выместил. Как ребенок. Ужасно глупо! Но я больше не буду. Я вас очень прошу: не сердитесь! Я теперь постараюсь все уладить. Тихо, без шума. Больше я не хочу никого обижать. Хватит! Надо вот, как они говорят, смыться...»

Голос Володи задрожал. Он быстро выбежал из комнаты. Грим крикнул: «Погодите! Муся, да не пускай его! Нельзя его так отпустить!.. Пусть он с нами чаю попьет. У тебя валерьянка есть?» Муся презрительно ответила: «Вот ты всегда с такими психопатами нянчишься!..» Грим сам побежал вниз, но у него дрожали ноги, и когда он добежал, Володи не было. Грим увидел в конце улицы согнутую спину. Тогда он поднялся к себе и снова сел за работу.

Вечером пришли гости. Муся хвасталась: «У меня зубровка — замечательная!» Патефон визжал: «Пей, моя девочка!» Капкан рассказывал еврейские анекдоты и, захлебываясь от смеха, повторял: «Понимаете — Мойша!..» Грим сидел у себя, закутав ноги в одеяло, и все еще работал. Потом, прислушавшись к голосам, он зевнул и впервые подумал: «Хоть бы скорее все это кончилось!..»

В тот вечер в «Коммерческой столовой» было как всегда шумно и чадно. Фадей Ильич пришел около одиннадцати. Официант сразу подлетел к нему и, фамильярно улыбаясь, спросил: «Водочки?» Фадей Ильич мрачно кивнул головой. Официант шепнул кассирше: «С гнедым-то сорвалось — не в духе». Фадей Ильич молча опорожнил бутылку. Потом он подозвал гитариста Сашку: «Пей!» Сашка попробовал рассказать, какой вчера приключился скандал: «Он, значит, сказал: «Это моя деваха» — и как заедет Боткину! Васька за милицией побежал...» Фадей Ильич прикрикнул: «Помолчи!» Он налил Сашке еще стакан. Он сердито подсапывал. Присела Маруся Чикова, но Фадей Ильич отмахнулся: «Иди! Не до тебя!»

К полночи посетители начали расходиться. Официанты уже сдвигали столы. Фадей Ильич крикнул: «Ну-ка, еще водицы!»

Он залпом выпил стакан. Наконец-то он заговорил. Он сказал Сашке: «Подлец, как он меня обидел! Ну пустил — живи. Не надо мне твоих червонцев! А он такое со мной выкинул! К вечеру приходит и спрашивает: «Что, Фадей Ильич, коня покупаете?» Я даже удивился: с чего он такой разговорчивый? Два дня прожил — слова не сказал, а тут о коняге. Я ему отвечаю: «Это милый мой, не конь, а коняга». Ты-то знаешь — гнедой. Мы у депо купили. Для водокачки. На осмотр мне его привели. Он меня выслушал и улыбается. К себе пошел — наверх. Я повозился внизу и подымаюсь — у него в шкафу книги лежат. Надо, думаю, записать конягу. А он висит на веревке и язык высунул. На меня смотрит. Да будь он живой, я бы его на месте раздавил! Подлец этакий! Мне, Сашка, что обидно? Почему он меня о коняге спросил? Если у него такое в голове было, какого черта ему о коняге спрашивать? Пятьдесят шесть лет живу, а никто меня еще так не обидел!»

Фадей Ильич вытащил большущий старый кошелек. Там лежали медяки, гвоздики, квитанции и всякая дребедень. Он порылся в кошельке и вынул кусочек веревки. «Вот смотри! Отрезал. Ты думаешь — на счастье? Не верю я в счастье! Нет, это чтобы себя помучить...» Сашка весь побледнел. Он жалобно пролепетал: «Фадей Ильич, закрывают, а вы вот такое на ночь».

20

Шли дни и дни. Гудели грейферы. Молча работали люди. В коксовом цехе монтеры проложили электрическую линию слишком близко к дереву. Тепляк сгорел. Он горел быстро, и люди не успели остановить огонь. Тогда они начали строить новый тепляк. В шамотном цехе сорвалась вагонетка и придавила шесть строителей. В Прокопьевске засыпало шахту, и четыре дня не было угля. Потом на лесозаготовках рвач Огранов подбил рабочих: они потребовали сапог и сахара. У крепильщиков не было леса, и Шор кричал в телефонную трубку: «У нас нет угля! Понимаете уг-ля?» Доменная печь № 1 простояла двадцать девять часов. В шахте «Коксовая № 1» шахтеры работали стоя в воде. Когда они шли домой, одежда на них замерзала. Шахтер Семенов сказал: «В Кузнецке стоит домна. Надо, ребята, налечь!» Шахтеры проработали две смены подряд. Дом-

на № 1 снова пошла полным ходом. Газета печатала сводки: 806 тонн чугуна.

На пуск третьей домны приехали делегаты из Америки. Для них был устроен торжественный обед. Повара Купрясова в давние времена приглашали на купеческие свадьбы. Он решил показать американцам, что и мы не лаптем щи хлебаем. Он приготовил мороженое в виде домны, бисквиты были облиты пылающим ромом, а из окошечек вытекал малиновый сироп.

На обеде Шор сидел рядом с американским журналистом, который громко жевал, а между двумя блюдами, тупо глядя на Шора, спрашивал: «Все это хорошо, но где же у вас квалифицированные рабочие?..» Шор кротко отвечал: «Наши рабочие учатся». Американец снова принимался за еду.

Шор с трудом разговаривал. Еще утром он почувствовал недомогание: колело в груди, а ноги отмирали. Он даже подумал: может быть, взять отпуск? Но сейчас же он вспомнил о блюминге — надо раньше закончить блюминг. У нас сталь отстаёт... Пока американец жевал, он думал о газопроводе: налечь бы на газопровод!

Американец удивленно посмотрел на Шора: «Аппетит у вас плохой». Шор застеснялся: неудобно, еще подумают, что мы не умеем принимать. Он заставил себя проглотить кусок мяса. Когда принесли мороженое, американец улыбнулся. Он сказал Шору: «У русского народа артистическая душа. Такие штуки вы делаете куда лучше, чем настоящие домны». Шор рассердился. Он ответил: «Плохо или хорошо, но мы теперь что-то строим, а не только разрушаем...» Американец не понял иронии и примирительно сказал: «Мороженое замечательное!»

В это время к Шору подошел Соловьев: «Григорий Маркович, на домне что-то неладно. Будто пожар». Шор хотел вскопичить, но сейчас же подумал, что надо скрыть переполюх от американцев. Он шепнул Соловьеву: «Никакой паники! Через пять минут я буду там». Потом, беспечно улыбаясь, он повернулся к американцу и захохотал: «Вот у вас мороженое едят вместе с содовой. Я пробовал — интересно». Он высидел несколько минут, а потом сказал соседям по столу, что должен отлучиться на четверть часа — необходимо проверить работу домны. Он обещал вернуться к кофе.

На домне люди потеряли голову. Иванников кинулся к телефону, но станция не отвечала. Тогда он крикнул Кольке Ржанову: «Беги скорей!» Колька бежал так быстро, что в ушах гу-

дел ветер. На станции он увидел сразу Бачинского. Бачинский был весь белый. Он едва пролепетал: «Здесь тоже горит... кто-то поджигает...» Колька услышал запах гари. Вспыхивали сигнальные лампочки. Дежурные метались из угла в угол — никто не работал. Какая-то рыжая женщина валялась на полу без чувств. Колька закричал: «Что же вы, сволочи, не соединяете?» Никто на него не поглядел. Тогда он кинулся к Бачинскому: «Давай револьвер!» Он отобрал у Бачинского револьвер и крикнул: «Все по местам! Стрелять буду». Телефонистки побежали к аппаратам. Только рыжая женщина по-прежнему валялась на земле. Звонили отовсюду: стройка волновалась — пожар? где пожар? Бачинский, немного успокоившись, начал осмотр здания. Огонь оказался вздорным: загорелся ящик с бланками. Пожар погасили до того, как приехали пожарные. Колька вытер рукавом лоб и сказал: «Рыжую облейте!»

Когда Шор подбежал к домне № 3, он на мгновение закрыл глаза. Он успел отчетливо подумать: тогда все к черту!.. Потом он закричал на Баренберга: «Где пожарные?» Баренберг улыбнулся: «Ничего нет. Ложная тревога. Это Иванникову показало. А на телефонной — чепуха. Уже погасили». Тогда Шор начал бессмысленно приговаривать: «Здорово! вот так здорово! вот так штука...» Он стоял, неуклюже расставив ноги, и улыбался.

Потом он собрался с мыслями. Он стал ругаться. Он ругал всех: Иванникова, Соловьева, Баренберга, даже американцев, ругал крепко, настойчиво, как будто он делал серьезное дело. Колька прибежал со станции. Он рассказал, как Бачинский струсил. Шор даже не поглядел на Кольку, он принялся ругать Бачинского: «Сукины дети! На минуту нельзя оставить! А еще ударники! Черт бы вас всех побрал!» Потом Шор замолк: он вдруг почувствовал, как утром, дурноту. Захотелось прилечь и вытянуться.

Подопшел Соловьев — он прежде не решался показаться. Заикаясь, Соловьев спросил: «Григорий Маркович, вы к американцам поедете?» Шор сердито отмахнулся: «А ну их!.. Там и без меня обойдутся. Не могу я сейчас с ними разговаривать. Не до этого...» Соловьев поглядел на него виновато и недоуменно: «Может, поедете?» Тогда Шор тихо сказал: «Мне что-то нездоровится. Я к себе пойду». Соловьев предложил, что он ответит Шора домой. Но Шор снова рассердился: «Вы вот идите скорей к американцам! А меня оставьте. Сам дойду. Я, кажется, еще не умираю!»



Соловьев знал, что Шор упрям, и не стал настаивать.

Шор стоял, как прежде, расставив ноги. Под ногами скрипел уголь. Мимо него прошел Колька. Шор его остановил: «Ну, как твой кран?» Колька успел позабыть о своем изобретении. Он ответил: «Хорошо». Шор усмехнулся: «Что же, скоро будем клепать кауперы для четвертой?» Колька сказал: «Скоро». Тогда Шор схватился рукой за грудь. Колька перепугался: «Позвать кого?..» Шор слабо проговорил: «Не нужно. Со мной это часто бывает. Ты меня доведи до дому. Да не так — ходить я и сам могу. Просто вместе пойдём — веселей...» Шор ни за что не хотел сдаться. Он не оперся на руку Кольки. Он старался бодро шагать. Он даже улыбался. Только глаза у него были мутные и больные.

Шор жил неподалеку от доменного цеха. Они быстро дошли до дому. По дороге Шор иногда спрашивал: «Как с рудным краном?.. Я вот не знаю бетонщиков на четвертой. Там теперь Ногайцев, он что же — толковый?» Колька подробно отвечал. Потом Колька сказал: «Теперь вы отдыхайте!» Он хотел уйти, но Шор его удержал. Это было неожиданной для самого Шора слабостью: он боялся остаться один. Он сказал Кольке: «Ты подымись. Я тебе книжку покажу о подъемных кранах». Они вошли в комнату Шора, но Шор забыл о книжке. Он сразу скинул и меховую куртку и пиджак. Он расстегнул ворот рубашки. Колька, не вытерпев, сказал: «Я лучше доктору позвоню». Шор прикрикнул: «Никаких докторов! Я сам знаю, что со мной. Я вот лягу, а ты посиди. Поговорим. Ты, значит, в Томск едешь?..»

Шор лег. На минуту ему стало легче. Он сказал: «Паникер я. Вроде Иванникова. Еще четвертую пуцу — вот что...» Он поправил подушку. «Кто мне американец приставал: где у нас квалифицированные рабочие? Ему бы тебя показать. У них на заводах — «бюро изобретений». Долларами соблазняют. Нет того, что у нас... А теперь ты мне расскажи про этого Ногайцева. Как они — управятся с фундаментом?» Колька ответил: «Я вам уже говорил». — «Ну, еще раз скажи, я прослушал». Колька начал рассказывать о бригаде Ногайцева. Вдруг он заметил, что Шор его не слушает. Глаза Шора стали еще мутней. Он с трудом дышал. Колька подошел к кровати и сказал: «Может, воды дать?» Шор ответил не сразу. Кольке показалось, что из груди Шора идет свист. Наконец он прошептал: «Дай лекарство... вот там, в шкафу... отсчитай — двадцать капель...»

Шор теперь лежал тихо и глядел на стену. Перед ним была все та же старая акварель: крыши и бледное небо. Когда Колька поднес ему чашку, он сказал: «Не нужно». Потом он напрыгся и внимательно посмотрел на Кольку. Он спросил: «Как тебя зовут?.. вот по имени не помню... Колька? Ну, прощай, Колька! Ты не волнуйся. Это дело конченное. Чувствую — крышка... А ты того... Ну как это?.. Бетонщиков подгони! Дышать не могу... Ты иди! Зачем тебе это?..»

Колька побежал к телефону. Он кричал: «Скорей доктора!» Когда он вернулся к кровати, Шор лежал не двигаясь. Колька нагнулся, но сердце Шора теперь молчало. Тогда Колька сел на пол возле кровати и закрыл голову руками. Он вспомнил, как умирала его мать. Поп что-то бормотал... Она крестилась... А «старик» про бетонщиков спрашивал!.. Колька не выдержал и заплакал.

На следующее утро газета сообщила о скоропостижной кончине товарища Шора. Рядом с черной каемкой стояли цифры: домна № 3. — 382 тонны.

21

Весна в тот год была необычно ранняя: с середины марта зима стала поддаваться. Стояли теплые пасмурные дни. Снег набухал водой и темнел. Шорцы, которые работали на рудниках в Тельбессе, нюхали воздух и пели свои непонятные песни. Руда шла в Кузнецк через Монды-Баш. В Монды-Баше строили обогатительную фабрику. Поликарпов злобно глядел на серый болезненный снег. Жена ему сказала: «Вот, Федя, и весна! Дождались!..» Она стосковалась по теплу: это была молодая смуглая армянка. Поликарпов раздраженно ей ответил: «Ты лучше подумай о котлованах. Как хлынет эта водица, все пойдет к черту». Он еще почертыхался, а потом побежал на стройку: надо было обнести котлованы земляной насыпью.

Торопились люди, торопилась и весна. Снег не выдержал. Все покрыла вода. Она бежала, шумела и кружилась.

Старый шорец сказал Маслову: «Мы из толокна абырху варим. Выпьешь — и веселей». Маслов замахал руками: «Вот черт, надоумил!» Маслов сразу понял, что тоска у него от весны, что он не может забыть Сокольники и Наташу, что надо поскорей достать водки, тогда-то он развеселится. Он побежал

345

к Чюмину, но Чюмин сказал, что с плотиной плохо, надо сейчас же ехать. Маслов забыл и про весну, и про печаль. «Ты набери ребят, мы это мигом уладим!»

Ариша Колобова писала мужу в Кузнецк: «Дорогой Ваня! Я хочу тебе сказать, что мы с Глашкой не управимся, и ты приезжай скорей, а то у нас весна, и я не знаю, кто будет работать». Колобов прочел письмо, задумчиво свистнул и пошел на работу. По дороге он вспомнил, как пахнет вспаханная земля, как хорошо весной в Ивановке, какая Ариша теплая и ласковая. Он еще раз свистнул и повернул назад. Вечером он уехал к себе, в деревню.

Ройзман морщил лоб. Он спросил Соловьева: «Ну как их удержишь?» Соловьев ответил: «Говорят, на Березняках — ударникам в качестве премиальных давали дубовые стулья. Думали — пожалеют бросить. А они, черти, все равно смылись». Тогда Ройзман махнул рукой: «Аграрная страна! Шут с ними! Вылезем и так...»

Дрыгин погиб во время несчастного случая на электрической станции: он зазевался, и через него прошел ток. Дрыгина хоронили с музыкой. Четыре комсомольца несли раскрытый гроб. Дрыгин лежал, покрытый красным кумачом. На его лице осталась гримаса, но в светлый весенний день эта гримаса казалась улыбкой. Семка Хомутов изо всех сил дул в трубу. Маня ему сказала: «Здорово вы заяриваете!» Семка весело посмотрел на Маню и, оторвавшись от трубы, сказал: «Потому боевой гимн». Им было весело, и они не думали о Дрыгине.

Немец Шрейдер обсуждал с Броницким проект моста. Броницкий говорил, что мост надо сделать из бетона. Шрейдер спорил: «Бетонный мост — это на пять лет...» Броницкий усмехнулся: «Зато его можно сделать сразу. А металлический останется на бумаге. Пять лет для нас большой срок. Через пять лет мы построим другой, настоящий...» Тогда Шрейдер, отложив чертежи, сказал: «Я здесь ровно ничего не понимаю. Я привык рассуждать логически. Когда я приехал в Москву, мне показалось, что я сошел с ума. Штейнберг повел меня в ресторан. Я спрашиваю, что это такое? Официант отвечает: «Петушинные гребешки». У нас даже Крупн этого себе не позволит. Потом прихожу к тому же Штейнбергу. Жена его месит глину. Она очень культурная женщина, она меня спрашивала о театре Рейнгардта. Я заинтересовался, что она делает — мне показалось, что она занимается скульптурой. Оказалось,

что она prepares мыло из мыльного порошка для бритья. Вы это, например, понимаете? Возле моего отеля был почтовый ящик. Я поглядел, когда вынимают письма. Написано: «12 часов 29 минут». А когда я ехал сюда, наш поезд запоздал чуть ли не на сутки. Проводник говорил: «Может, завтра к вечеру и доедем». Но ведь это абсурд! Почему не привести все к одному знаменателю?» Броницкий, смеясь, сказал: «Петушинные гребешки, должно быть, из распределителей — срезают, это результат коллективизма. А проводник — это результат отсталости. Но вы не отчаивайтесь! Это не так трудно понять. Просто у нас другой подход: мы должны торопиться». Немец вспомнил, как утром он чуть было не потонул в весенних лужах. Со страхом поглядел он в окно: ручьи неслись отовсюду, бесстыдные и крикливые. Он сказал: «У вас и природа какая-то нетерпеливая. Ну, давайте посмотрим проект...»

В одну из землянок возле Верхней колонии, кряхтя, вошел землекоп Алтынов. Он принес с собой все пожитки. Девочка лет четырех, увидав его, заплакала. Алтынов сказал: «Не плачь, девочка! Скажи, как тебя звать? Я тебе конфету дам». Девочка продолжала всхлипывать. Алтынов, осмотрев по-хозяйски землянку, начал расставлять козлы. Он постелил одеяло. Потом он сказал девочке: «Я теперь здесь жить буду. С мамкой. Вот мамка скоро придет, спечет оладьи. У меня масло в бутылке. Ну что же ты разрюмилась? Девочка? А девочка?»

Люба говорила Егоровой: «Боря, значит, и сказал: «Буржуазка ты, а не комсомолка. Понятья у тебя отсталые». А я скажу прямо: страшно! Он со сколькими гулял! Как с гуся вода. А мне потом расхлебывать. Я не об алиментах говорю. Но что же это, если ребенок без отца! Сразу вроде сироты. Ты мне скажи, Маша, что мне теперь делать?» Егорова ответила решительно: «Отшей!» Вечером Боря поджидал Любу возле столовки. Ухмыльнувшись, он сказал: «Айда!» Люба грустно вздохнула, но тотчас же пошла за ним.

Болтис допрашивал Степку Жукова: «Вы признаете, что вы с ней сожительствовали?» Степка насмешливо улыбался: «Сожительствовать не сожительствовал, а за речку, конечно, ходили». Болтис рассердился: «Шутки вы оставьте! Дело касается алиментов». Степка фыркнул и, выпятив свою широкую грудь, сказал: «Десяток у меня — наработал. Откуда же я столько денег выгоню? Они гуляют, значит, это ихнее дело — должны за собой следить».

В больницу прибежал кочегар Харламов. Он был весь черный от сажи. Поглядев на сиделку в белом халате, он застеснялся и тихо проговорил: «Харламова Аксинья». Сиделка ушла куда-то, а потом вернулась довольная. «Сегодня утречком, и мальчика». Харламов на радостях хотел схватить ее руку, но вовремя вспомнил, что пришел невымытый, и сказал: «Вот баба — молодец!.. Это у меня пятый — все мальчонки. А теперь побегу — работать. Вы уж ей скажите, что муж приходил...»

В яслях при мартеновском цехе пол блестел от весеннего солнца. Ребятишки ползали по полу, кувыркались и визжали. Заведующая яслями, нацепив на нос пенсне, писала: «Если не будет налажена регулярная доставка молока, я снимаю с себя...» Вдруг она услышала крик. Она побежала к ребятам. Кричал Мишка: он ударился о косяк двери. Она взяла Мишку на руки и быстро затараторила: «Сорока-ворона...» Мишка схватил пенсне и засмеялся.

У Вари Тимашовой был выходной день. Она не пошла ни в клуб, ни к Ирине. Она сидела у себя и писала письмо Глотову. Ее губы при этом смешно двигались, а не находя нужного слова, она то и дело морщила лоб. Она писала: «Дорогой мой Петька! Бегемот ты несчастный! Что же ты мне не отвечаешь? Я совсем замучилась. Рассказываю ребятам про разных перепончатокрылых (понял? ну чем это не твои деррики?), а сама все думаю: будет сегодня письмо или нет? По-моему, с твоей стороны это даже некрасиво! Ты можешь понять, как я к тебе привязалась. У нас в Кузнецке совсем весна. Грязь непролазная — тонем, но зато весело. Началось сразу, 12-го у меня был выходной и был такой холод, что я чуть нос не отморозила. Мы ходили с Ириной на лыжах. А три дня спустя все потекло.

Ты, наверно, читал в «Известиях» про смерть Шора? Я была на похоронах. Сначала говорил Маркутов, он говорил очень хорошо: о том, что Шор старый большевик. Он был в Сибири в ссылке, много перенес, а потом приехал сюда строить, и он так описал его жизнь, что я подумала: какие это были люди! После должен был говорить Ржанов — помнишь, тот, что к Ирине ходил. Он выступил от комсомола. Но он был очень расстроен и только сказал что-то о старике и о том, что надо торопиться с фундаментом. Я стояла далеко, так что, может быть, и не все расслышала. Но говорил он с таким чувством, что у меня слезы подступили к горлу — чуть-чуть не разревелась. Было очень, очень красиво! Цветов не достали, но Ирина

пошла с ребятами в лес, и они сделали красивые гирлянды из елки. В школе мы посвятили два часа рассказу о жизни Шора. Ребята слушали хорошо, а один мне даже сказал: «Таким бы быть!» Вот тебе и все кузнецкие новости. Хотят к Первому мая пустить блюминг. Тогда, наверно, приедут разные делегации, и мы заживем совсем как в Москве.

Представляю себе, как ты там наслаждаешься. Уж одно то, что можешь увидеть настоящие театры! Мы как-то с Ириной просидели до трех ночи и все переживали по газетным объявлениям, какие в Москве постановки. Я не могу себе даже представить, как это у Станиславского? Егорова говорила, что в театре многие плачут, так это жизненно, например «Дни Турбиных» или «Страх». А Ирина все мечтает о Мейерхольде. Я ей давно сказала, что она «футуристка». Она вот из поэтов признает только Маяковского и Пастернака. Вообще у нее странные вкусы, но она очень хорошая, и без нее я совсем бы раскисла. Вот когда мы говорили о театрах, она сказала: «Тебе, наверно, Глотов все опишет». А я ей сказала: «Он пять недель как уехал, а прислал только одну открытку, что очень занят и что скоро выступит с докладом». Она перепугалась, что меня обидела, и начала доказывать, что все это — правда, теперь столько работы — не до театров, вот даже на письмо не хватает времени. Я ей, конечно, ничего не ответила. Но я-то знаю, что просто ты меня не любишь.

Вот написала, и сразу клякса. Черт знает что! На себя поглядеть противно — разве можно так привязаться к одному человеку? В особенности если это не человек, а Бегемот! Кому ты теперь говоришь «лисонька» или что-нибудь в этом роде? Скажи прямо! Ты не сердись — я это невсерьез. Я недавно всю ночь продумала и твердо решила никогда больше не ревновать. Это унизительное чувство, и оно никак не подходит к нашим понятиям.

Словом, все написанное можешь не читать. Главное, не огорчайся! У тебя, должно быть, и без этого много неприятностей. Я все ждала сообщения, как прошел твой доклад, а ты мне так и не написал. Попросила у Грольмана «Экономическую жизнь», но там ничего не было. Я даже не знаю, как ты устроился? Когда ты уехал, ты был совсем простужен, я боюсь за тебя — теперь и в Москве, наверно, оттепель, это самое опасное время. Если ты не купил себе новых ботинок, то очень прошу, отдай эти в починку, день или два можешь проходить и в сапогах.

Что они некрасивые, это не важно, ты и в сапогах сможешь обольстить какую-нибудь московскую красавицу, честное слово!

Я тебе сейчас пишу, Петька, о пустяках, потому что не знаю, как написать самое главное. Я даже не знаю, — радоваться мне или плакать? Логически выходит, что надо радоваться, а я вот реву, как белуга. Дело в том, что вышла неприятность. Помнишь, в тот вечер, когда ты пришел после разговора с Броничим о командировке и мы сначала ссорились?.. Я, кажется, никогда не была так счастлива, как в тот вечер! Я давно почувствовала, что со мной неладно. Вскоре после твоего отъезда. Но не хотела поднимать панику. Очень меня тошнило, но это, понятно, ерунда. Пошла наконец к врачу, тот сейчас же все установил. Сказал: «Все вполне нормально». Я скажу тебе откровенно, что совсем потеряла голову. Тебя нет и не с кем даже посоветоваться. Первое, что пришло в голову — это: немедленно аборт. Я спросила врача. Он объяснил, что необходимо пройти через комиссию. Вряд ли утвердят. Тогда придется сделать платный в Новосибирске. Это, конечно, трудно, но я все-таки сумею наскрести восемь червонцев. Я хотела купить себе пальто, не куплю, это не важно.

Но когда я совсем было решила, я вдруг начала сомневаться. Зачем я это делаю? Ведь это не случайно! Понимаешь меня? С моей стороны это настоящая любовь. Может быть, я никогда в жизни не переживу таких минут! Конечно, я еще молодая, но когда становятся старше, больше рассуждают, а любят не то чтобы меньше, но как-то тише. Я это вижу на других. Я подумала о мальчике. Мне почему-то кажется, что обязательно будет мальчик. Тогда я увидела, как он похож на тебя. Пожалуйста, не смейся! Но я увидела: маленький, а морщит лоб, как ты, когда ты говоришь о разных твоих дерриках. Вот я сижу и мучаюсь: не могу ни на что решиться!

Я тебе об этом не писала, не хотела волновать. Все-таки это наше бабье дело, а у тебя и так много забот — вот даже мне не можешь написать двух слов. Как же я полезу к тебе с моими глупостями? Но сегодня вдруг стало невтерпех. Кто-то прошел по коридору, и мне показалось, что это твои шаги. Я сразу вспомнила, как ты приходил, и тот вечер вспомнила. Ты не думай, что я закрываю глаза на все трудности. От тебя я не хочу ничего брать, тебе самому нужно. А я теперь получаю 112 рублей, причем вычти займы и пр. Маме посылаю 10 рублей в месяц. Картина, как говорят, яркая. Даже принимая во внимание

ясли и т. п., с деньгами плохо. Потом — работа. Но все это на втором плане. Главное, меня пугает, что тебе это совсем ни к чему и что ты возмущешься. Тогда я, конечно, сейчас же сделаю аборт. Напиши мне немедленно, что ты обо всем этом думаешь. Не расстраивайся: я здорова и весела. Но только напиши! Без твоих писем я схожу с ума. Мне кажется, что ты болен или попал под автомобиль. Егорова говорила, что в Москве очень много автомобилей, они несутся не глядя и столько несчастных случаев. Я гляжу на твою карточку, знаешь, та, с трубкой, и плачу. А здесь еще это ужасное состояние: тошнит, спать не могу, все в голове путается. Надо держать себя в руках: вчера было тринадцать уроков, пришлось заменить Сахарову, у нее ангина, словом, нелегко! Но ты не думай, что я ною. Я вполне спокойна. Завтра иду с Ириной в кино — прислали новый фильм «Путевка в жизнь». Все говорят, что замечательно. Видишь — живу, хоть куда! Смотри, береги здоровье! Не забудь про ботинки, хуже всего это промочить ноги. Крепко, крепко целую пасть дорожного моего Бегемота! Как поживает марксистская бородака — подстриг? Не обращай внимания на кляксы и прочее — лень переписывать. Я тебя очень люблю, мой родной! А ты? Забыл, вот наверно знаю, что забыл! Ну, не сердись, лучше обними меня, как раньше. Я лягу и засну у тебя на руке. Знаешь, стоит только вспомнить... Нет, не буду больше! Прощай, мой любимый! Твоя Варя».

Три дня спустя Варя объясняла ребятам, что такое полынь: «Это многолетнее растение, сорняк, на вкус она очень горькая...» У Вари вдруг закружилась голова, и она села на скамейку. Костя поднял руку: «Про полынь я знаю. У нас в деревне такую песню пели: «Я полынь не сеяла, сама уродилась...» Варя сказала: «Вот, вот... В окрестностях Кузнецка много полыни, будем гулять, я вам покажу...» Раздался звонок. Ребята понеслись к двери. Варя по-прежнему сидела: она боялась шелохнуться. Но пришел Сидоров и сказал: «Для вас письмо». Тогда Варя сразу вскочила и, обгоняя ребят, понеслась вниз. Письмо было, конечно, от Глотова. Варя вдруг поняла, что не может его прочитать на людях. Она решила, что помучает себя и не будет читать письма до самого вечера. Если написал, значит, все благополучно: здоров и не забыл. Начался новый урок. Варя весело рассказывала ребятам про белок и бурундуков. Она забыла о своих хворостях. Время от времени она заглядывала в портфель: там, среди тетрадок, лежал тонкий конверт.



Из школы Варя вышла, окруженная ребятами. Мишка Калинин начал ей рассказывать, как он словил бурундука: «Он, Варвара Васильевна, ручной был, орехи у меня грыз». Варя машинально повторяла: «Да, да». Она все ждала, что Мишка сейчас повернет в сторону, тогда-то она распечатает конверт. Возле фонаря можно прочесть... Но Мишка, увлеченный своим рассказом, проводил ее до дому.

Она быстро пробежала к себе и начала читать. «Дорогая Варя! Прости, что не ответил тебе на твои ласковые письма. Я был очень занят в связи с докладом. Доклад прошел хорошо, после этого мне предложили остаться в Москве в тяжпромe. Конечно, обидно, что не увижу теперь, как все у нас достроят. За два года я сжился с нашей стройкой. Но, с другой стороны, работа здесь тоже увлекательная: планируем, а масштаб грандиозный! Отсюда видно, что таких Кузнецков много и что не стоит придавать столько значения нашим будничным неудачам. Теперь — о тебе. Я не думаю, чтобы тебе стоило сейчас перекочевывать в Москву. Прежде всего, здесь беда с квартирами. Я приютился временно у Гавриловых. Все-таки неудобно: они молодожены и я их очень стесняю. Ищу хотя бы угол. Потом работы по специальности ты здесь не найдешь. В Кузнецке тобой дорожат, а здесь нужна совсем другая квалификация. Ты сама понимаешь, как мне больно расставаться с тобой! Но я не думаю, что мы должны связать нашу жизнь. То, что было, — для меня священо! Но мы оба молоды. У нас все еще впереди. В одном из писем ты говоришь, что любовь в жизни одна. Это очень трогательно, но прости меня, Варя, до чего это звучит по-детски! Как мужчина, я привык все анализировать. Что такое вот эта «любовь»? Для меня существует или увлечение, или привычка. Увлечения проходят... А привычка?.. Какое счастье, что мы свободны от такого тупого, мещанского чувства! Я помню все хорошее, Варя, и только хорошее! Верю, что судьба когда-нибудь сведет нас и мы встретимся как настоящие друзья.

Я буду рад, если ты будешь время от времени мне писать. Не хочу порывать связи ни с тобой лично, ни с Кузнецком. Не переутомляйся и будь здорова! Крепко тебя обнимаю. Твой П. Готов».

Варя легла на кровать, повернулась к стенке и закрыла глаза. Она не плакала. Она не пробовала разобраться в том, что случилось. Тихо и медленно она переживала свое горе. Так она пролежала всю ночь. Утром она пошла в школу. Она улыба-

лась, как будто ничего и не произошло. Увидев Сахарову, она спросила: «Поправились?» Сахарова поглядела на Варю и вздохнула: «Что это с тобой? Хворала-то, кажется, я». Варя ответила шуткой. Она спокойно рассказывала ребятам о ластоногих. Мимоходом она спросила заведующую, сможет ли она получить отпуск на десять дней: «Мне надо обязательно съездить в Новосибирск». Заведующая ответила: «Что же, Сахарова вас теперь заменит».

Когда Варя пришла домой, она раскрыла чемоданчик и стала зашивать рубашку. Постучала Ирина. Варя не ответила: она побоялась, что Ирина начнет расспрашивать, куда Варя едет, зачем. Тогда Варя не выдержит и расплачется.

Потом ей стало так тоскливо, что она сама пошла к Ирине. Она сразу сказала: «Я завтра в Новосибирск еду», — и отвернулась, чтобы глаза ее не выдали. Но Ирина не стала ее допрашивать. Она рассказывала о детской площадке при коксовом цехе: «Знаешь, эта Куликова — молодец! Я думала, что она не справится. Ты ее видала? Такая морда, что поглядеть страшно. Вроде носорога. А сама добрющая. Сначала ребятки ее пугались, а теперь души не чают. Я сегодня смотрела, как она играет с ними, и знаешь, один малыш начал ее передразнивать, наморщил лоб — вот так...» Тогда Варя неожиданно заплакала.

Ирина села рядом с ней, обняла ее и тихо шепнула: «Ну, не горюй! Напишет. Вот увидишь, что напишет». Варя заплакала еще сильнее. Все ее тело вздрагивало, а слезы лились и лились. Наконец она сказала: «Написал... Кончено это! Оказывается — увлечение. Он-то в Москве остается. В гору пошел... А я, наверно, для Москвы не гожусь... У них там ногти полированные... Словом, о чем тут толковать? Главное, что не любит...»

Она говорила глухо и несвязно. Ирина дала ей выплакаться. Только когда Варя притихла, она спросила: «Куда же ты едешь?» Тогда Варя снова заплакала. Она постыдилась рассказать обо всем Ирине. Она ответила: «Не скажу!» Они молча заплакали.

Потом Варя все же не вытерпела. Она шепнула: «Не хочу я ехать! Сама знаю — нужно, а не хочу. Знаешь, Ирина, наверно, мальчик, я это чувствую...»

Ирине стало страшно. Она еще никогда об этом не думала. Вот, значит, что!.. Может быть, завтра это случится и с ней? Конечно, Колька не Глотов. Он не станет говорить об «увлечении». Он ее любит. Она улыбнулась про себя, вспомнив смущен-

ный голос Кольки: «Я тоже так думаю». Но в этих делах и Колька не советчик. Если его спросить, растеряется. Одно дело рассуждать. А здесь — ложись и кричи. Что же Варя делать? Трудно как!.. Ирина сконфуженно вытерла глаза и сказала: «Я-то, дура, разревелась...» Но Варя ее не слушала. Она говорила, как будто сама с собой: «Это ведь не случайно, не на пьянке. У него, может быть, сто раз было. А я так все пережила, до глубины... Почему эта операция?.. Я не хочу! Это все равно что себя резать. Мама говорила: если сильно тошнит, значит, мальчик... Я с ума сойду!..»

Тогда Ирина стала сразу спокойной. Она еще крепче обняла Варю и начала ей тихо рассказывать: «Я недавно зашла к Рыбиной. Мальчик ее у меня. Смотрю — живот. Оказывается — четвертый. А муж уехал в Иркутск, с кем-то спутался и не шлет ни копейки. Я ее спрашиваю: «Почему вы, в таком случае, аборта не сделали?» Она как рассвирепела: «Вот еще что придумали! Бабы-то на что-нибудь годятся». Я ей ответила, что теперь женщины работают, как все, одним словом — равноправие. Она на меня закричала: «Я сама работаю в шамотном цехе. Ты что мне о правах рассказываешь? Я свои права знаю. Делегаткой была на конференции. А рожаю, значит — правится. Ты вот учительница. Сама должна понимать — с ребятами веселее». Вот такая не боится... Варя! А Варя! Ведь не так это страшно... Как-нибудь да вылезем... Я сейчас подумала, что и не нужно тебе ехать. Если над какой-нибудь домной столько людей мучаются, надо, чтобы было для кого. А то, что же это получается? Строим, строим — и потом?.. А с деньгами выкрутимся. У меня каждый месяц остается — не знаю на что тратить, времени нет. Сложимся. Чем я хуже Глотова? Я с Куликовой поговорю. Знаешь, она прямо мировой педагог. И чисто у них. Зато как это весело, Варя! Ты представь себе — расти начнет. А потом вдруг возьмет и заговорит. Вот как ты — девчонка.

Варя сидела согнувшись. Ирина в страхе думала: да она и не слушает!.. Но когда Ирина сказала «девчонка», Варя упрямо наморщила лоб. «Почему ты говоришь — девчонка? Я ведь тебе сказала, что мальчик». Ирина рассмеялась: «Да, да, мальчик. Обязательно мальчик». Тогда улыбнулась и Варя.

Ирина подошла к окну — вот и ночь прошла! Апрельское утро озорничало, и хоть не было на стройке ни березок, ни грачей, ни всего, что полагалось ему по чину, оно все же веселилось. Так хлюпали лужи под сапогами рабочих, так усмехались

эти неуклюжие бородатые рабочие, столько кругом было сиего неба и нежной, взволнованной воды.

Ирина сказала: «В школу пора!» Она начала натягивать на ноги большие рыжие сапоги — это был подарок Кольки. Она не посмела улыбнуться своему счастью и только тихо-тихо пробормотала: «В сапогах теперь хорошо!» Потом они пришли в комнату Вари — Ирина хотела вскипятить чай. Там все еще говорило о вчерашнем вечере. Посередине комнаты лежал раскрытый чемодан. Ирина заметила возле подушки конверт, — наверно, письмо Глотова... С тревогой поглядела она на Варю. Но Варя отпихнула ногой чемодан и стала мыться: надо было отмыть следы ночных слез. Она намылила лицо и вдруг сказала: «Все-таки в романах это куда красивей! А впрочем, ерунда! Как-нибудь да вылезу. У меня сегодня в пятой группе минералогия. Надо их заинтересовать...» Она посмотрела в окошко на огромные лужи и засмеялась: «Ирина, иди сюда, скорей! Посмотри — Соловьев-то... Он калоши в руке несет, честное слово!»

22

В два часа ночи Маркутова разбудил телефонный звонок. Говорил Скворцов из Монды-Бапа: «Очень много воды. Боимся за дамбу...» Маркутов потер сонные глаза и крикнул: «Сейчас мобилизуем!»

Два часа спустя комсомольцы заполнили смехом и песнями станционный барак. Поезд их довез до широкой долины, затопленной водой. Здесь кончалась железнодорожная ветка, дальше надо было ехать верхом. Лошади недочерчиво ступали в воду. Дул резкий ветер. Колька Ржанов показал Антипову на огромное дерево, вырванное с корнем: «Здорово!» Антипов зевнул. «Я здесь с августа. Ста шагов нельзя пройти. Грязь, бурелом, тоска».

Тайга была упряма: она не подпускала людей. Она смыкалась глухой стеной. Навстречу пришельцам она швыряла гигантские стволы. Она вцеплялась в них едким кустарником. Она слала в разведку быстрые потоки, и эти потоки сносили все. Зимой тайгу сторожил снег, летом — свирепая мошкара. Тайга чувствовала, что люди хотят ее уничтожить, и она не сдавалась.

Тайга была упряма, но упрямей тайги были люди. Приехал геофизик Щукин. Он привез с собой восемь вузовцев. Они

разбили палатку и по ночам пели частушки. Они ели рыбные консервы без хлеба и пили морковный чай, который пах дымом. Пришел шорец Ато. Он спросил Щукина: «Медведя не боишься?» Щукин засмеялся: «Только нам этого не хватало. Я с кулаками ночевал, когда раскулачивали, а ты меня медведем пугаешь!» Потом Щукин вспомнил, что шорцы отсталый народ, и он стал рассказывать о руде, которая скрыта в этих горах. Ато его молча выслушал, и он снова сказал: «Медведь здесь сердитый — неужто не боишься?»

Разведчики уехали назад в Кузнецк. Щукин с утра до ночи составлял отчеты. Потом он шел к Леле Ластовой и жаловался: «Я ведь говорил, что на юг от Темира, а Мацкевич не верил. Анализ сделали — не руда — прямо золото! Надоели мне эти комиссии! Скоро снова поедем. Там, Лелька, лафа! Живем как Робинзоны. Я теперь ружье возьму. Жрать, конечно, нечего. Зато смешно! Ну, чего ты расстроилась? Боишься, что меня медведь съест? Эх ты, дурашка! Давай лучше целоваться!»

В тайгу повезли рабочих. Падали старые деревья. Пищали пилы. Люди сколачивали бараки. Копылин написал стишки и, послушавив листок, прилепил его к стенке: «Вот тебе и стенгазета!» Приехал Маркутов и прочел доклад о международном положении. Соколова закричала мужу: «Гляди — тараканы!» Она не то сердилась, не то радовалась: без тараканов жилье ей казалось нежилым. Жизнь в тайге становилась крепкой и ясной. У людей были синие карты с белыми прожилками. Они не глядели ни на верхушки деревьев, ни на белок, которые проворно лазили по стволам, ни на бледно-голубое небо. Они глядели только на землю, они рвались в глубь земли: под их ногами было железо.

Далеко окрест были слышны громкие взрывы. Бригадир подрывной бригады Костя Андрианов упал с горы и сломал себе ногу. Шухаев сказал: «Ну, Костя, поедешь теперь в Кузнецк. Там спокойно». Костя стал спорить: «Это, товарищ Шухаев, совершенно неосновательно. Я себя знаю — через три дня поскачу. Зачем я поеду на эксплуатацию? Мое дело другое». Он поморщился, чтобы не закричать от боли. Раздался взрыв — это работали товарищи Кости. Костя отвернулся к стенке и в тоске забормотал: «Как это я оступился?..»

Стройка ширилась, как весенняя вода. Из Кузнецка люди прошли в Монды-Баш. Из Монды-Баша одни двинулись к Темир-Тау, другие повернули на Тельбесс. Людей в стране было

много, и тайга что ни день уступала несколько саженей. Это был поход на тайгу. Снова шли строители: колхозники, казаки, бабы, комсомольцы, летуны и раскулаченные. Снова женщины вязали узлы, на кошевках брякали ржавые чайники, и вопили разбуженные ребята.

Торжественно открыли новую ветку на Темир-Тау. Шухаев произнес речь: «Большевики переменили лицо Сибири!» Он проработал на стройке два года. Прошлой осенью его жена умерла от брюшного тифа. Ее похоронили в лесу. На похоронах Шухаев сморкался и, стыдясь своей слабости, говорил Крицбергу: «Идите домой! Здесь здорово сыро». Шухаев много раз ездил по этой ветке на дрезине. Он увидел наконец паровоз. Паровоз был украшен красными ленточками, как игрушка. Он выразительно свистнул. Затрубили музыканты. Пронесся Ванька Клюев: ему сказали, будто всем строителям дают ситец и сало. Когда празднество кончилось, Шухаев пошел в лес. Он виновато оглядывался: он боялся, что кто-нибудь его увидит. Он дошел до могилы жены, постоял, сердито посопел, а потом сказал: «Вот и достроили!..»

Кассирша, широко улыбаясь, выдала первый билет до Темир-Тау. Билет купила Маша Крашениникова. Она села в вагон и замерла. Вокруг нее люди говорили о пятилетке, о бригадах, о руде. Они говорили о том, как трудно было проложить эту дорогу и как страшно менять спокойный Кузнецк на новую стройку, среди гор, рек и тайги. Они говорили о том, что в Темир-Тау плохо с хлебом, на колхозном базаре пусто, придется, видимо, подтянуть животы. Маша не принимала участия в этих разговорах. Сапожкова спросила Машу: «Ты что, на работу или к кому?» Маша сказала: «Я-то? Я к Вяткину. Может, вы слышали — Гришка Вяткин? Он прежде в Кузнецке работал. На мартене». Сапожкова ответила: «Нет, не знаю. Много их на мартене. А он что, муж тебе?» Тогда Маша заплакала: «Я и сама не знаю. Говорил: «Давай поженимся». А потом в Темир-Тау уехал. Я ему писала. Не отвечает. А мне скоро рожать. Одной страшно. Верхом-то я не могла. А теперь поезд пустили — вот и поехала...» Сапожкова рассердилась: «Что ты — несознательная? В Кузнецке больница, а ты рожать в лес едешь». Потом она посмотрела на Машу, вспомнила свою молодость и ласково сказала: «А плакать нечего! Там тоже доктор есть. Найдешь твоего Гришку. А не найдешь, так и не надо. Ты баба хорошая — не пропадешь».

В долинах текли бурные реки, они текли испокон веков: Томь, Кондома, Тельбесс. Весной они росли, а в долгую зиму тяжело дышали под толстым льдом. У каждой реки было свое русло. Реки текли среди леса. Они знали перелетных птиц, выдр и белок. Они знали токование глухарей, течку медведицы, звериную страсть и гогот диких гусынь, которые выводили свои крикливые выводки. Людей реки не знали. Люди пришли в спокойные долины. Они угрюмо глядели на светлую воду. Они мерили, чертили, высчитывали. Потом инженер Лиговский посоветовал погасшую трубку и сказал: «Придется отвести».

Люди отодвинули от себя тайгу. Они захотели также переменить ход рек. Кондома текла не на месте. Надо было построить два моста. Люди решили убрать Кондому в сторону. Лиговский поехал в Кузнецк. Его план был одобрен. Строители начали насыпать дамбу. Эта дамба была длиной в километр.

В весеннюю ночь зазвенел лед, а час спустя зазвенел телефон над ухом Маркутова. На дамбе гудел колокол. Бежали отовсюду люди, и, как вспугнутые светляки, метались среди гор сотни фонарей.

Утром рабочие стояли на берегу. Они угрюмо переминались. Федоров сказал: «Полезь-то просто, а ты попробуй — лед! Умирать никому не хочется...» Тогда подошел Колька с товарищами.

Кондома рвалась в свое старое русло. Весна принесла ей силы. Она отыскала лазейку и начала промывать себе путь.

Колька первый полез в воду. За ним пошли и другие. Петка Ножнев не выдержал и закричал: «Ой и холодная!» Колька сказал: «А ты не стой на месте! Подавай мешки!» Они выстроились цепью и стали передавать мешки с землей.

С комсомольцами работал партизан Самушкин. Он сидел в конторе, когда пришел Шухаев и сказал, что с дамбой неладно. Самушкин сейчас же побежал к реке. Всю ночь он, угрюмо поругиваясь, таскал мешки с землей. Увидев комсомольцев, он просиял. Он стоял в ледяной воде и мурлыкал под нос старые партизанские песни. Колька сказал ему: «Ты это, Самушкин, зря! Нам ничего — мы молодые...» Самушкин усмехнулся. Ему было за пятьдесят, но он никогда не думал о своих годах. Он ответил Кольке: «Старые на печи лежат. А если я здесь, значит, и я молодой».

К вечеру люди победили реку. Река смирилась, она пошла туда, куда ее пускали люди.

Колька позвонил Маркутову: он обещал ему дать подробный отчет. От холода Колька охрип и с трудом говорил. Он сказал Маркутову: «Сделано. Ты меня хорошо слышишь? Ну вот, значит — сделано. Шухаев мне сказал, что надо остаться здесь. Черт их знает! Здесь оползни. Ребята не управляют. Понимаешь, для зарядки. Народу здесь много, а с комсомольцами ерунда. По-моему, Ванюшин совершенно разложился. Я-то хорошо слышу. А ты? Это я осип — говорить трудно. Ну, ладно, завтра еще позвоню. Слушай, Маркутов, к тебе дело. Личное. Ты Ирину знаешь? Нет, нет, мою. Коренева. В ФЗУ. Так ты ей скажи, что все благополучно. А то я уехал ночью — не успел проститься. Значит, завтра еду в Темир. Пришли газеты. Да смотри, не говори Ирине, что я без голоса, она, чего доброго, испугается. Ну пока!»

Шухаев, ухмыляясь, сказал Крицбергу: «Я этого Ржанова отвоевал. Пусть он теперь у нас поработает. У них в Кузнецке благодать. Прямо тебе Москва. Концерты устраивают. Честное слово! А здесь настоящего народу мало. Чуть что — сразу паника. Пусть он наших ребят поджучит».

К Первому мая начали готовиться задолго. Колесникова обещала выступить с революционной декламацией. Она становилась в коридоре и неожиданно начинала повизгивать: «Мировой Октябрь, ты раздул огни!..» Сема Плихов набрал бригаду гармонистов. Они репетировали по вечерам возле бараков, и Шухаев мучительно морщился: «Ну и уши у них!..» Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я кулич испеку». Овсянников рассердился: «Что это тебе, пасха? Это день пролетариата! Здесь надо речи говорить, а ты с куличами...» Овсянникова ответила: «Речь речью, а кулича поесть каждому приятно. Раз теперь нет пасхи, значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «А изюма-то нет...»

Строители собрались на опушке леса. Рядом была тайга, огромная и непроходимая — такой она слыла прежде. Строители знали, что они пройдут и через эту тайгу.

Колька посмотрел вокруг себя: на деревья, на первую траву, на кустарник, покрытый пухом. «Черт возьми, вот и весна!..» Все эти недели он работал, не покладая рук: он боролся с весной. Теперь впервые он ей улыбнулся. Он сказал Лешке: «Здесь, наверно, птиц много. Вот бы послушать!..»

Тогда вышел Сема Плихов с гармонистами. Они поклонились и сыграли «Интернационал». Пришла Овсянникова со всеми



своими детишками. У ребят на груди были большие красные банты, и Николаева в зависти зашептала: «Это она флаг стигрила в красном уголке, честное мое слово!» Чернобаев пришел в новеньких калошах, хотя на дворе было сухо. Сема спросил: «Ты что это, одурел? Или ревматизм у тебя?» Чернобаев презрительно сплюнул: «Это для самого шика, потому — праздник. В Москве все так ходят».

С докладом выступил Шухаев. Он сказал: «Мы должны помнить слова Ленина: Ленин говорил, что железо — главный фундамент нашей цивилизации. Необходимо обеспечить Кузнецкий гигант нашей сибирской рудой!»

После Шухаева на трибуну поднялся Самушкин. Он не умел произносить речей, он путался, заикался и вытирал рукавом потный лоб, но говорил он с чувством, и строители его слушали: «Я, как красный партизан, когда-то ходил с ребятами по этой самой тайге. Здесь мы прятались от белых. Здесь вот погиб товарищ Сергеенко. Это был железный боец. Он ходил с раной, а потом его схватила лихорадка. Он пролежал весь день, а вечером подозвал меня, отдал мне свой маузер и сказал: «Прощай, Самушкин». Мы его здесь и похоронили. Тогда здесь живой души не было. А теперь, товарищи, мы здесь празднуем наше Первое мая. Я, как старый партизан, скажу вам, что смертельный бой еще продолжается, потому что надо построить социализм. Вы все помните, как мы боролись с этой проклятой Кондомой, чтобы отстоять дамбу. Товарищ Шухаев правильно сказал, что по Ленину выходит: это и есть главный фундамент. Это святые слова. Поглядите на Кольку Ржанова или на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я с ними боролся за эту дамбу. Я вам скажу, что это и есть наш главный фундамент. С такими людьми мы добудем и железо, потому что они крепче железа. Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди».

*Декабрь 1932 — февраль 1933*

*Париж*

# Стихотворения





● 1915—1923

## В августе 1914 года

Издыхая и ноя,  
Пролетал за поездом поезд,  
И вдоль рельс на сбегающих склонах  
Подвывали заклянные жены.  
А в вагоне каждый зуав  
Пел высокие гимны.  
(И нимфы  
Стенали среди дубрав.)  
«Ах, люблю я Мариетту, Мариетту,  
Эту.  
Все за ней хожу.  
Где мы? Где мы? Где мы?  
Я на штык мой десять немцев  
Насажу!»  
Дамы на штыки надели  
Чужеземные цветы — хризантемы.  
А рельсы все пели и пели:  
— Где же мы? где мы? —  
И кто-то, тая печаль свою,  
Им ответил — в раю.

*1915*

## В пивной

Приходили четыре безногих солдата.  
Пили горькое пиво.  
О лихих, о далеких атаках  
Говорили лениво.  
Говорили, смотрели  
На женские прелести.

«Пушка ты, пушечка,  
Как тебя не назвать?  
Душечка!  
Семьдесят пять!  
Рушь ты немчиков,  
Розовых младенчиков!  
Все разрушишь —  
Тихо будет к вечеру.  
Дай, моя пушечка,  
Я поцелую твое плечико!..»  
Девки целовали солдат,  
Какая кого, наугад.  
«Пригожие мои, видные,  
Румяные.  
Ножки у вас не какие-нибудь —  
Деревянные!»  
Целуйте, какая кого! Не спорьте!  
Горько! горько!

Солдат вынул образок,  
Лег на скамью, как в гроб.  
Плакал Никола-чудотворец,  
Застилал одинокую душу.  
А золотое, прошлое горе  
Все еще пенилось в кружках.

1915

## После смерти Шарля Пеги

В дни Марны на горячей пашне  
Лежал ты, семени подобен,  
Следя светил, спокойно протекавших,  
Далекие дороги.  
А жирные пласты земли  
Свои упрашивали, угощали снедью жаркой,  
Свои упрашивали и враги.  
В дни сентября мы все прочли:  
На Марне  
Убит Пеги.

О господи, все виноградники Шампани,  
Все отягченные сердца  
Налились темным соком брани  
И гнут бойца.  
А там, при медленном разливе Рейна,  
Ты, лоза злобы, зацвела.  
Вы, собутыльники, скорее пейте  
У одного стола!  
Над этой бедной бездыханной плотью  
О чокнитесь!

*1915*

## На закате

На закате  
Было особенно душно.  
Приходили оловянные солдатики  
И стреляли из маленьких пушек.  
Старший цедил какую-то шутку.  
Дымила трубка.  
Дрогнули тела, повалились рядами,  
Сокрушенные зорким огнем.  
И видел и плакал Каменщик  
Над гиблым трудом.  
К ночи пришли влюбленные девы,  
Грудью прильнули к вспаханному полю,  
К полю сытому от цельного хлеба.  
И от соли.  
(О, как нежные губы жжет  
Смертный пот!)  
А в деревне была собака,  
Вспоминая жильё,  
Выла, что что-то было,  
И что иссякло  
Все.

1915

## В детской

Рано утром мальчик просыпался,  
Слушал, как вода в умывальнике капала.  
Встала — упала, упала — и жалко...  
Ах, как скулила старая собака,  
Одна, с подшибленной лапой.  
Над подушкой картинку повесили,  
Повесили лихого солдата,  
Повесили, чтобы мальчику было весело,  
Чтоб рано утром мальчик не плакал,  
Когда вода в умывальнике капает.  
Казак улыбается лихо,  
На казаке папаха.  
Казак наскочил своей пикой  
На другого чужого солдата.  
И красная краска капает на пол.

*1915*



## Где-то в Польше

Приходили, уходили сердитые...  
Иудеи, снова приходила наша судьба!  
Убегали, прятали старые свитки  
В погреба...  
Бедный Иоська, раскачайся, покачайся и завой!  
— Я есмь господь бог твой!

Наше племя  
Очень дрессированное.  
Мы видали девятьсот пленений.  
Снова, снова и снова...

Мама Иосеньке поет,  
Соской затыкает рот:  
«Ночью приходили  
И опять придут.  
Дедушку убили  
И тебя убьют!»

Дымятся снега, но цела твоя Тора!  
Видишь, господь?  
Шли же скорей своих тихих воронов  
Разрывать нашу древнюю плоть.

«Ой! Ой!  
Бсже мой!  
Дышат тише.  
Ходят ближе.  
Спи, мой милый,  
Сли же, жди же!..»

1915



\* \* \*

*Модильяни*

Ты сидел на низенькой лестнице,  
Модильяни.  
Крики твои буревестника,  
Улыбки обезьяньи.  
А масляный свет приспущенной лампы,  
А жарких волос синева!..  
И вдруг я услышал страшного Данта —  
Загудели, расплескались темные слова.  
Ты бросил книгу,  
Ты падал и прыгал,  
Ты прыгал по зале,  
И летящие свечи тебя пеленали.  
О, безумец без имени!  
Ты кричал: «Я могу! Я могу!»  
И четкие черные пинии  
Вырастали в горящем мозгу.  
Великая тварь —  
Ты вышел, заплакал и лег под фонарь.

1915

## В вагоне

В купе господин качался, дремал, качаясь  
Направо, налево, еще немножко.  
Качался один, неприкаянный,  
От жизни качался, от прожитой.  
Милый, и ты в пути,  
Куда же нам завтра идти?  
Но верю — ватные лица,  
Темнота, чемоданы, тюки,  
И рассвет, что тихо дымится  
Среди обгорелых изб,  
Под белым небом, в бесцельном беге,  
Отряхая и снова вбирая  
Сон, полусон —  
Все томится, никнет и бредит  
Одним концом.

*1915*

## Натюрморт

От этой законченной осени  
Душа наконец ослабла.  
На ярком подносе  
Спелые, красные яблоки.  
Тяготейте вы над душой ослабшей,  
Круглые боги, веские духи,  
Чую средь ровного лака  
Вашу унылую сущность.  
Все равно, обрастая плотью,  
Душа моя вам не изменит.  
Зреет она на тяжелом подносе  
В эти тихие дни завершений.

*1915*

## Летним вечером

Я приду к родимой, кинусь в ноги,  
Заору:  
Бабы плачут в огороде  
Не к добру.  
Ты мне волосы обрезала,  
В соли омывала,  
Нежная! Любезная!  
Ты меня поймала!  
Пред тобой, перед барыней,  
Я дорожки мету,  
Как комарик я  
Все звеню на лету --  
Я влюблен! Влюблен!  
Тлею! Млею!  
Повздыхаю! Полетаю!  
Околею!

**1915**

# Гоголь

Неуклюжий иностранец —  
Он сидел в кофейне «Греко».  
Были ранние сумерки  
Римского лета,  
Ласточки реяли над серыми церквами.  
Завлекла его у ног Мадонны  
Ангельская тягота и меч,  
А потом на Пьяцца Спанья запах розы...  
(Медные тритоны  
Не устанут извиваться и звенеть.)

Вспомнил он поля и ночи,  
Колокольцев причитанье  
И туман Невы.

Странный иностранец —  
Он просил кого-то:  
(Вечер к тонкому стеклу привик.)  
«От летучих, от ползучих и от прочих  
Охрани!»  
Сумрак, крылья распуская,  
Ласточек вспугнул.  
В маленькой кофейне двое  
Опечалились далекой синевой.  
...И тогда припал к его губам Сладчайший,  
Самый хитрый, самый свой.

1915



Ни к богатым, ни к косматым,  
Ни к мохнатым медвежатам,  
Ни к арапам косолапым,  
Ни к собакам, ни к чертякам,—  
Шла смерть в мою клетушку,  
За мой стол, до моих детушек.  
Я просил — не тронь детенышей!  
А она взяла и тронула.  
Ты не гладь — она погладила,  
Всем дала по виноградине,  
Увела и след заметила,  
Замела хвостами песьими,  
А к себе пришла, проклятая,  
Завизжала и заплакала,  
Плача, пеленала трупики,  
Пестовала и баюкала:  
— Я-га-га! У-лю-лю!  
На-по-ю! на-кор-млю!

1915



## Как умру

Комната в том же отеле —  
Обвиты углы паутиной.  
Я лежу на высокой постели,  
Придавленный тяжкой периной.  
Обои с цветами.  
Книг нелепая груда.  
Зеркало в пышной раме.  
И табак, и табак повсюду...  
Сосед по лестнице всходит,  
Ключом гремит неуклюже...  
Мне сегодня ни лучше, ни хуже,  
И нет никаких откровений,  
О которых вы столько писали,  
Только больше обычной лени  
И немного меньше печали.

*1915*

## Пугачья кровь

На Болоте стоит Москва, терпит;  
Приобщиться хочет лютой смерти.  
Надо, как в чистый четверг, выстоять.  
Уж кричат петухи голосистые.  
Желтый снег от мочи лошадиной.  
Вкруг костров тяжело и дымно.  
От церковей идет темный гуд.  
Бабы все ждут и ждут.  
Крестился палач, пил водку,  
Управился, кончил работу,  
Да за волосы как схватит Пугача.  
Но Пугачья кровь горяча.  
Задымился снег под тяжелой кровью.  
Начал парень чихать, сквернословить:  
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..  
По Пугачьей крови плясать!»  
Посадили голову на кол высокий,  
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.  
И стоит, стоит Москва.  
Над Москвой Пугачья голова.  
Разделась баба, кинулась голая  
Через площадь к высокому колу:  
«Ты, Пугач, на колу не плачь!  
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!  
...Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,  
И покроется земля злаками горячими,  
И начнет народ трясти и слабить,  
И потонут детушки в темной хляби,  
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,  
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,  
И кого за шею, а кого за ноги,  
И разверзнется Москва смрадными ямами,  
И начнут лечить народ скверной мазью,  
И будут бабушки на колокольни лазить,  
И мужья пойдут в церковь брюхатые  
И родят и помрут от пакости,

И от мира божьего останется икра рачья,  
Да на высоком колу голова Пугачья!»  
И стоит, и стоит Москва.  
Над Москвой Пугачья голова.  
Желтый снег от мочи лошадиной.  
Вкруг костров тяжело и дымно.

*1916*

Наши внуки будут удивляться,  
 Перелистывая страницы учебника:  
 «Четырнадцатый... семнадцатый... девятнадцатый...  
 Как они жили?.. бедные!.. бедные!..»  
 Дети нового века прочтут про битвы,  
 Заучат имена вождей и ораторов,  
 Цифры убитых  
 И даты,  
 Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,  
 Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,  
 Как была прекрасна в те годы  
 Жизнь,  
 Никогда, никогда солнце так радостно не смеялось,  
 Как над городом разгромленным,  
 Когда люди, выползая из подвалов,  
 Дивились: есть еще солнце!..  
 Гремели речи мятежные,  
 Умирили ярые рати,  
 Но солдаты узнали, как могут пахнуть подспежники,  
 За час до атаки.  
 Вели поутру, расстреливали,  
 Но только они узнали, что значит апрельское утро.  
 В косых лучах купола горели,  
 А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту!..  
 Целуя, не могли оторваться от грустных губ,  
 Не разжимали крепко сцепленных рук,  
 Любили — умру! умру!  
 Любили — гори, огонек, на ветру!  
 Любили — о, где же ты? где?  
 Любили — как могут любить только здесь, на мятежной  
 и нежной звезде.  
 В те годы не было садов с золотыми плодами,  
 Но только мгновенный цвет, один обреченный май!  
 В те годы не было «до свиданья»,  
 Но только звонкое, короткое «прощай»,

Читайте о нас — дивитесь!  
Вы не жили с нами — грустите!  
Гости земли, мы пришли на один только вечер.  
Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час,  
Но над нами стояли звезды вечные,  
И под ними зачали мы вас.  
В ваших очах горит еще наша тоска.  
В ваших речах звенят еще наши мятежи.  
Мы далеко расплескали в ночь и в века, в века,  
Нашу угасшую жизнь.

*1919*



Я не знаю грядущего мира,  
На моих очах пелена.  
Цветок, я на поле брани вырос,  
Под железной стопой отзвенела моя весна.  
Смерть земли? Или трудные роды?  
Я летел, и горел, и сгорел.  
Но я счастлив, что жил в эти годы —  
Какой высокий удел!  
Другие слагали книги пророчеств,  
Пламена небес стерегли.  
Мы же горим, затопив полярные ночи  
Костром невозможной любви.  
Небожители! духи! святые!  
Вот я, слепой человек,  
На полях мятежной России,  
Прославляю восставший век!  
Мы ничего не создали,  
Захлебнулись в тоске, растворились в любви,  
Но звездное небо нами разодрано,  
Зори в нашей крови.  
Гнев и смерть в наших сердцах,  
На лицах отсвет кровавый —  
Это мы из груди окаменевшего Творца  
Мечом высекали новую правду.

1919

# России

Смердишь, распухла с голоду, сочатся кровь  
и гной из ран отверстых.  
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.  
Россия, твой родильный бред они сочли за смертный,  
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.  
Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.  
Кто древнее наследие возьмет?  
Кто разожжет и дальше понесет  
Полупогасший факел Прометея?  
Суровы роды, час высок и страшен.  
Не в пене моря, не в небесной синеве,  
На темном гноище, омытой кровью нашей,  
Рождается иной, великий век.  
Уверуйте! Его из наших рук примите!  
Он наш и ваш — сотрет он все межи.  
Забывая, в полунощной столице,  
Под саваном снегов таилась жизнь.  
На краткий срок народ бывает призван  
Своею кровью напоить земные борозды —  
Гонители к тебе придут, Отчизна,  
Целуя на снегу кровавые следы.

1920



Мои стихи не исповедь певца,  
Не повесть о любви высокого поэта —  
Так звучат тяжелые сердца,  
Тронутые ветром.  
Я не резвился с музами в апреля навечерия,  
Не срывал Геликона доцветающих роз,  
Лиру разбил о камень севера,  
Косматым руном оброс.  
На развалинах мира молчи,  
Пушкина полдневная цевница!  
Варвар смеется, забытый младенец кричит,  
Бьет крылами вспугнутая птица.  
Не о себе говорю, — о многих и многих,  
Ибо нем человек, и громка гроза.  
Одни приходят — другие уходят,  
Потушляют, встретившись, глаза.  
Все одной непогодой покрыты,  
И протяжная поет труба,  
Медная, оплакивает павшего владыку  
И приветствует раба.  
Имя мое забудут, стихи прочитав, усмехнутся:  
Умирающая мать, грустя,  
Грусть свою тая, в последний раз баюкала  
Новое безлюбое дитя.

1920



Я не трубач — труба. Дуй Время!  
Дано им верить, мне звенеть.  
Услышат все, но кто оценит,  
Что плакать может даже медь?  
Он в серый день припал и дунул,  
И я безудержно завыл,  
Простой закат назвал кануном,  
И скуку мукой подменил.  
Старались все себя превысить —  
О ком звенела медь? о чем?  
Так припадали губы тысяч,  
Но Время было трубачом.  
Не я рукой сухой и твердой,  
Перевернув тяжелый лист,  
На смотр веков построил орды  
Слепых тесальщиков земли.  
Я не сказал, но лишь ответил,  
Затем, что он уста рассек,  
Затем, что я не властный ветер,  
Но только бедный человек.  
И кто поймет, что в сплаве медном,  
Трепещет вкрапленная плоть,  
Что прославляю я победы  
Меня сумевших побороть?

1921

\* \* \*

Что седина? Я знаю полдень смерти —  
Звонарь блаженный звоном изойдет,  
Не раскачнув земли глухого сердца,  
И виночерпий чаши не дольет.

Молю, — о Ненависть, пребудь на страже!  
Среди камней и рубенсовских тел,  
Пошли и мне неслыханную тяжесть,  
Чтоб я второй земли не захотел.

*1922*



Остановка. Несколько примет.  
Расписание некоторых линий.  
Так одно из этих легких лет  
Будет слишком легким на помине.

Где же сказано — в какой графе,  
На каком из верстовых зарубка,  
Что такой-то сиживал в кафе  
И дымил недодымившей грубкой?

Ты ж не станешь клевера сушить,  
Чиркать ногтем по полям романа.  
Это — две минуты, и в глуши  
Никому не нужный полустанок.

Даже грохот катастроф забудь:  
Это — задыханья, и бураны,  
И открытый стрелочником путь  
Слишком поздно или слишком рано.

Вот мое звериное тепло,  
Я почти что от него свободен.  
Ты мне руку положи на лоб,  
Чтоб проверить, как оно уходит.

Есть в тебе льняная чистота,  
И тому, кому не нужно хлеба, —  
Три аршина грубого холста  
На его последнюю потребу.

1923

Так умирать, чтоб бил озноб огни,  
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский —  
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни» —  
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,  
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать  
Ремень окна, чтоб не было «останься»,  
Чтоб, умирая, о тебе гадать  
По сыпи звезд, по лихорадке станций,  
Так умирать, понять, что гам и чай,  
Буфетчик, вечный розан на котлете,  
Что это — смерть, что на твое «прощай!»  
Уж мне никак не суждено ответить.

*1923*

## ● 1938—1940

\* \* \*

Сердце, это ли твой разгон?  
Рыжий, выжженный Арагон.  
Нет ни дерева, ни куста,  
Только камень и духота.  
Все отдать за один глоток!  
Пуля — крохотный мотылек.  
Надо выползти, добежать.  
Как звала тебя в детстве мать?  
Красный камень. Дым голубой.  
Орудийный короткий бой.  
Пулеметы. Потом тишина.  
Здесь я встретил тебя, война.  
Одурь полдня. Глубокий сон.  
Край отчаянья, Арагон.

*1938*



Парча румяных жадных богородиц,  
Эскуриала грузные гроба.  
Века по каменной пустыне бродит  
Суровая испанская судьба.  
На голове кувшин. Не догадаться,  
Как ноша тяжела. Не скажет цеп  
О горе и о гордости батрацкой,  
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.  
И если смерть теперь за облаками,  
Безносая, она земле не вновь,  
Она своя, и знает каждый камень  
Осколки глины, человека кровь.  
Ослы кричат. Поет труба пастушья.  
В разгаре боя, в середине дня,  
Вдруг смутная улыбка равнодушья,  
Присущая оливам и камням.

1938

## Бой быков

Зевак восторженные крики  
Встречали грузного быка.  
В его глазах, больших и диких,  
Была глубокая тоска.  
Дрожали дротники обиды.  
Он долго поджидал врага,  
Бежал на яркие хламиды  
И в пустоту вонзал рога.  
Не понимал — кто окровавил  
Пустынь горячие пески,  
Не знал игры высоких правил  
И для чего растут быки.  
Но ни налево, ни направо, —  
Его дорога коротка.  
Зеваки повторяли «браво»  
И ждали нового быка.  
Я не забуду поступь бычьью,  
Бег напрямик томит меня,  
Свирепость, солнце и величье  
Сухого, каменного дня.

*1938*



Тогда восстал горная порода,  
Камней нагроможденье и сердец,  
Медь Рио-Тинто бредила свободой,  
И смертью стал Линареса свинец.  
Рычали горы, щерились долины,  
Моря оскалили свои клыки,  
Прогнали горлиц гневные маслины,  
Седой листвой прикрыв броневики,  
Кусались травы, ветер жег и резал,  
На приступ шли лопаты и скирды,  
Узнали губы девушек железо,  
В колодцах мертвых не было воды,  
И вся земля пошла на чужеземца:  
Коренья, камни, статуи, пески,  
Тянулись к танкам нежные младенцы,  
С гранатами дружили старики,  
Покрылся кровью будочника фартук,  
Огонь пропал, и вскинулось огнем  
Все, что зовут Испанией на картах,  
Что мы стыдливо воздухом зовем.

1938



## В Барселоне

На Рамбле возле птичьих лавок  
Глухой солдат — он ранен был —  
С дроздов, малиновок и славок  
Глаз восхищенных не сводил.  
В ушах его навек засели  
Ночные голоса гранат.  
А птиц с ума сводили трели,  
И был щеглу щегленок рад.  
Солдат, увидев в клюве звуки,  
Припомнил звонкие поля,  
Он протянул к пичуге руки,  
Губами смутно шевеля.  
Чем не торгуют на базаре?  
Какой не мучают тоской?  
Но вот, забыв о певчей твари,  
Солдат в сердцах махнул рукой.  
Не изменить своей отчизне,  
Не вспомнить, как цветут цветы,  
И не отдать за щебет жизни  
Благословенной глухоты.

*1938*



Горят померанцы, и горы горят.  
Под ярким закатом забытый солдат.  
Раскрыты глаза, и глаза широки,  
Садятся на эти глаза мотыльки.  
Натертые ноги в горячей пыли,  
Они еще помнят, куда они шли.  
В кармане письмо — он его не послал.  
Остались патроны, не все расстрелял.  
Он в городе строил большие дома,  
Один не достроил. Настала зима.  
Кого он лелеял, кого он берег,  
Когда петухи закричали не в срок,  
Когда закричала ночная беда  
И в темные горы ушли города?  
Дымились оливы. Он шел под огонь.  
Горела на солнце сухая ладонь.  
На Сьерра-Морена горела гроза.  
Победа ему застилала глаза.  
Раскрыты глаза, и глаза широки,  
Садятся на эти глаза мотыльки.

1938

«Разведка боем» — два коротких слова.  
Роптали орудейные басы,  
И командир поглядывал сурово  
На крохотные дамские часы.  
Сквозь заградительный огонь прорвались,  
Кричали и кололи на лету.  
А в полдень подчеркнул штабного палец  
Захваченную утром высоту.  
Штыком вскрывали пресные консервы.  
Убитых хоронили, как во сне.  
Молчали.

Командир очнулся первый:  
В холодной предрассветной тишине,  
Когда дышали мертвые покоем,  
Очистить высоту пришел приказ.  
И, повторив слова: «Разведка боем»,  
Угрюмый командир не поднял глаз.  
А час спустя заря позолотила  
Чужой горы чернильные края.  
Дай оглянуться — там мои могилы,  
Разведка боем, молодость моя!

1938

Батарею скрывали оливы.  
День был серый, ползли облака.  
Мы глядели в окно на разрывы,  
Говорили, что нет табака.  
Говорили орудья сердито,  
И про горе был этот рассказ.  
В доме прыгали чашки и сита,  
Штукатурка валилась на нас.  
Что здесь делают шкаф и скамейка,  
Эти кресла в чехлах и комод?  
Даже клетка, а в ней канарейка,  
И, проклятая, громко поет.  
Не смолкают дурацкие трели,  
Стоит пушкам притихнуть — поет.  
Отряхнувшись, мы снова глядели:  
Перелет, недолет, перелет.  
Но не скрою — волнение пичуги  
До меня на минуту дошло,  
И тогда я припомнил в испуге  
Бредовое мое ремесло:  
Эта спазма, что схватит за горло,  
Не отпустит она до утра, —  
Сколько чувств dokonала, затерла  
Слов и звуков пустая игра!  
Канарейке ответила ругань,  
Полоумный буфет завизжал,  
Показался мне голосом друга  
Батареи запальчивый залп.

**1938**

\* \* \*

В кастильском нищенском селенье,  
Где только камень и война,  
Была та ночь до одуренья  
Криклива и раскалена.  
Артиллерийской подготовки  
Гроза гремела вдалеке.  
Глаза хватались за винтовки,  
И пулемет стучал в виске.  
А в церкви — экая морока! —  
Показывали нам кино.  
Среди святителей барокко  
Дрожало яркое пятно.  
Как камень, сумрачны и стойки,  
Молчали смутные бойцы.  
Вдруг я услышал — русской тройки  
Звенели дихо бубенцы,  
И, памятью меня измаяв,  
Расталкивая всех святых,  
На стенке бушевал Чапаев,  
Сзывал живых и неживых.  
Как много силы у потери!  
Как в годы переходит день!  
И мечется по рыжей сьерре  
Чапаева большая тень.  
Земля моя, земли ты шире,  
Страна, ты вышла из страны,  
Ты стала воздухом, и в мире  
Им дышат мужества сыны.  
Но для меня ты с колыбели —  
Моя земля, родимый край,  
И знаю я, как пахнут ели,  
С которыми дружил Чапай.

1938



Нет, не забыть тебя, Мадрид,  
Твоей крови, твоих обид.  
Холодный ветер кружит пыль.  
Зачем у девочки костыль?  
Зачем на свете фонари?  
И кто дотянет до зари?  
Зачем живет Карабанчель?  
Зачем пустая колыбель?  
И сколько будет эта мать  
Не понимать и обнимать?  
Раскрыта прямо в небо дверь,  
И если хочешь, в небо верь,  
А на земле клочок белья,  
И кровью смочена земля.  
И пушки говорят всю ночь,  
Что не уйти и не помочь,  
Что зря придумана заря,  
Что не придут сюда моря,  
Ни корабли, ни поезда,  
Ни эта праздная звезда.

*1938*



В городе брошенных душ и обид  
Горе не спросит и ночь промолчит.  
Ночь молчалива, и город уснул.  
Смутный доходит до города гул:  
Это под темной больной синевой  
Мертвому городу снится живой,  
Это проходит по голой земле  
Сон о веселом большом корабле,  
Ветер попутен, и гавань тесна,  
В дальнее плаванье вышла весна.  
Люди считают на мачтах огни;  
Где он причалит, гадают они.  
В городе горе, и ночь напролет  
Люди гадают, когда он придет.  
Ветер вздувает в ночи паруса.  
Мертвые слышат живых голоса.

*1938*

## У Брунете

В полдень было — шли солдат ряды.  
В ржавой фляжке ни глотка воды.  
На припеке, — а уйти нельзя, —  
Обгорали мертвые друзья.  
Я запомнил несколько примет:  
У победы крыльев нет как нет,  
У нее тяжелая ступня,  
Пот и кровь от грубого ремня,  
И она бредет, едва дыша,  
У нее тяжелая душа,  
Человека топчет, как хлеба,  
У нее тяжелая судьба.  
Но крылатой краше этот пот,  
Чтоб под землю заползти, как крот,  
Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень  
Наломать, как первую сирень,  
Чтобы в яму, к черту, под откос,  
Только б целовать ее всос!

1938.



## У Эбро

На ночь глядя выслали дозоры.  
Горя повидали понтонеры.  
До утра стучали пулеметы,  
Над рекой сновали самолеты,  
С гор, раздроблены, сползали глыбы,  
Засыпали, проплывая, рыбы,  
Умирая, подымались люди,  
Не оставили они орудий,  
И зенитки, заливаясь лаем,  
Били по тому, что было раем.

Другом никогда не станет недруг,  
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,  
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,  
Чтобы не было над ними неба,  
Чтоб не ластились к ним дома звери,  
Чтоб не знать, не говорить, не верить,  
Чтобы мудрость нас не обманула,  
Чтобы дулу отвечало дуло,  
Чтоб прорваться с боем через реку  
К утреннему, розовому веку.

1938

## Русский в Андалузии

Гроб несли по розовому щебню,  
И труба унылая трубила.  
Выбегали на шоссе деревни,  
Подымали грабли или вилы.  
Музыкой встревоженные птицы,  
Те свою высвистывали зорю.  
А бойцы, не смея торопиться,  
Задыхались от жары и горя.  
Прикурить он больше не попросит,  
Не вздохнет о той, что обманула.  
Опускали голову колосья,  
И на привязи кричали мулы.  
А потом оливы задрожали,  
Заступ землю жесткую ударил.  
Имени погибшего не знали,  
Говорили коротко «товарищ».  
Под оливами могилу вырыв,  
Положили на могиле камень.  
На какой земле товарищ вырос?  
Под какими плакал облаками?  
И бойцы сутулились тоскливо,  
Отвернувшись, сглатывали слезы.  
Может быть, ему милей оливы  
Простодушная печаль березы?  
В темноте все листья пахнут летом,  
Все могилы сиротливы ночью.  
Что придумаешь просторней света,  
Человеческой судьбы короче?

1938

## Гончар в Хаэне

Где люди ужинали — мусор, щебень,  
Кастрюли, битое стекло, постель,  
Горшок с сиренью, а высоко в небе  
Качается пустая колыбель.  
Железо, кирпичи, квадраты, диски,  
Разрозненные, смутные куски.  
Идешь — и под ногой кричат огрызки  
Чужого счастья и чужой тоски.  
Каким мы прежде обольщались вздором!  
Что делала, что холила рука?  
Так жизнь, ободранная живодером,  
Вдвойне необычайна и дика.  
Портрет семейный — думали про сходство.  
Загадывали, чем обить диван.  
Всей оболочки грубое уродство  
Навязчиво, как муха, как дурман.  
А за углом уж суета дневная,  
От мусора очищен тротуар.  
И в глубине прохладного сарая  
Над глиной трудится старик гончар.  
Я много жил, я ничего не понял  
И в изумлении гляжу один,  
Как, повинувась старческой ладони,  
Из темноты рождается кувшин.

*1938*

## В январе 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.  
Испания, доспехи волоча,  
На север шла. И до утра кричала  
Труба помешанного трубача.  
Бойцы из боя выводили пушки.  
Крестьяне гнали одуревший скот.  
А детвора несла свои игрушки,  
И был у куклы перекошен рот.  
Рожали в поле, пеленали мукой  
И дальше шли, чтоб стоя умереть.  
Костры еще горели — пред разлукой,  
Трубы еще не замирала медь.  
Что может быть печальней и чудесней —  
Рука еще сжимала горсть земли,  
В ту ночь от слов освобождались песни,  
И шли деревни, будто корабли.

*1939*

## После...

Проснусь и сразу: не увижу я  
Ее, горячую и рыжую,  
Ее, сухую, молчаливую,  
Одну под низкою оливою,  
Не улыбнется мне приветливо  
Дорога розовыми петлями,  
Я не увижу горю почести,  
Заботливость и одиночество,  
Куэнку с красными обвалами  
И белую до рези Малагу,  
Ее тоску великодушную,  
Июль с игрушечными пушками,  
Мадрид, что прикрывал ладонями  
Детей последнюю бессонницу.

*1939*



Бои забудутся, и вечер щедрый  
Земные обласкает борозды,  
И будет человек справлять у Эбро  
Обыкновенные свои труды.  
Все зарастет — развалины и память,  
Зола олив не скажет об огне,  
И не обмолвится могильный камень  
О розовом потерянном зерне.  
Совьют себе другие гнезда птицы,  
Другой словарь придумает весна.  
Но вдруг в разгул полуденной столицы  
Вмешается такая тишина,  
Что почтальон, дрожа, уронит письма,  
Шоферы отвернутся от руля,  
И над губами высоко повиснет  
Вина оледеневшая струя,  
Певцы гитару от груди отнимут,  
Замрет среди пустыни паровоз,  
И молча женщина протянет сыну  
Патронов соты и надежды воск.

*1939*



Есть перед боем час — все выжидает:  
Винтовки, кочки, мокрая трава.  
И человек невольно вспоминает  
Разрозненные, темные слова.  
Хозяин жизни, он обводит взором  
Свой трижды восхитительный надел,  
Все, что вчера еще казалось вздором,  
Что второпях он будто проглядел.  
Как жизнь не дожита! Добро какое!  
Пора идти. А может, не пора?..  
Еще цветут горячие левкой.  
Они цвели... Вчера... Позавчера...

*1939*

\* \* \*

Не торопясь, внимательный биолог  
Законы изучает естества.  
То был снаряда крохотный осколок,  
И кажется, не дрогнула листва.  
Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,  
Страницу трудную перевернут  
И не поймут, как умирала озимь,  
Как больно было каждому зерну.  
Забуть чужого века созерцанье,  
Искусства равнодушную игру,  
Но только чье-то слабое дыханье  
Собой прикрыть, как спичку на ветру.

*1939*



\* \* \*

О той надежде, что зову я вещей,  
О вспугнутой, заплаканной весне,  
О том, как зайчик солнечный трепещет  
На исцарапанной ногтем стене.  
(В Испании я видел, средь развалин  
Рожала женщина, в тоске крича,  
И только бабочки ночные знали,  
Зачем горит оплывшая свеча.)  
О горе и о молодости мира,  
О том, как просто вытекает кровь,  
Как новый город в Заполярье вырос  
И в нем стихи писали про любовь,  
О трудном мужестве, о грубой стуже,  
Как отбивает четверти беда,  
Как сердцу отвечают крики ружей  
И как молчат пустые города,  
Как оживают мертвые маслины,  
Как мечутся и гибнут облака  
И как сжимает ком покорной глины  
Неопытная детская рука.

*1939*



На ладони — карта, с малолетства  
Каждая проставлена река,  
Сколько звезд ты получил в наследство,  
Где ты пас ночные облака.  
Был вначале ветер смертоносен,  
Жизнь казалась горше и милей.  
Принимал ты тишину за осень  
И пугался тени тополей.  
Отзвенели светлые притоки,  
Стала глубже и темней вода.  
Камень ты дробил на солнцепеке,  
Завоевывал пустые города.  
Заросли тропинки, где ты бегал,  
Ночь сиреневая подошла.  
Видишь — овцы будто хлопья снега,  
А доска сосновая тепла.

*1939*

## На митинге

Судеб раздельных немота и сирость,  
Скопление разрозненных обид,  
Не человек, но отрочество мира  
Руками и сердцами говорит.  
Надежду видел я, и, розы тоньше,  
Как мягкий воск, послушная руке,  
Она рождалась в кулаке поденщиц  
И сгустком крови билась на дрове.

*1939*



Ты тронул ветку, ветка зашумела.  
Зеленый сон, как молодость, наивен.  
Утешить человека может мелочь:  
Шум листьев или летом светлый ливень,  
Когда, омыт, оплакан и закапан,  
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,  
Когда доносится горячий запах  
Цветов, что прежде никогда не пахли.  
...Я знаю все — годов проломы, бреши,  
Крутых дорог бесчисленные петли.  
Нет, человека нелегко утешить!  
И все же я скажу про дождь, про ветви.  
Мы победим. За нас вся свежесть мира,  
Все жилы, все побеги, все подростки,  
Все это небо синее — на вырост,  
Как мальчика веселая матроска,  
За нас все звуки, все цвета, все формы,  
И дети, что, смеясь, кидают мячик,  
И птицы изумительное горло,  
И слезы простодушные рыбачек.

1939

## У приемника

Был скверный день, ни отдыха, ни мира,  
Угроз томительная хрипота,  
Все бешенство огромного эфира,  
Не тот обет, и жалоба не та.  
А во дворе, средь кошек и пеленок,  
Приемника перебивая вой,  
Кричал уродливый, больной ребенок,  
О стену бился рыжей головой,  
Потом ребенка женщина чесала,  
И, материнской гордостью полна,  
Она его красавцем называла,  
И вправду любовалась им она.  
Не зря я слепоту зову находкой.  
Тоску зажать, как мертвого птенца,  
Пройти своей привычною походкой  
От детских клятв до точки — до свинца.

*1939*

## Монруж

Был нищий пригород, и день был сер,  
Весна нас выгнала в убогий сквер,  
Где небо призрачно, а воздух густ,  
Где чудом кажется сирени куст,  
Где не расскажет про тупую боль,  
Вся в саже, бредовая лакфиоль,  
Где малышей сажают на песок  
И где тоска вгрызается в висок.  
Перекликались слава и беда,  
Росли и рассыпались города,  
И умирал обманутый солдат  
Средь лихорадки пафоса и дат.  
Я знаю, век, не изменить тебе,  
Твоей суровой и большой судьбе,  
Но на одну минуту мне позволь  
Увидеть не тебя, а лакфиоль,  
Увидеть не в бреде, а наяву  
Больную, золотушную траву.

1939



Жилье в горах, как всякое жильё:  
До ночи пересуды, суп и скука,  
А на веревке сушится белье,  
И чешется, повизгивая, сука.  
Но подымись — и сразу мир другой,  
От тысячи подробностей очищен,  
Дорога кажется большой рекой  
И кораблем убогое жилище.  
О, если б этот день перерости  
И с высоты, средь тишины и снега,  
Взглянуть на розовую пыль пути,  
На синий дым последнего ночлега!

*1939*

\* \* \*

Не здесь, на обломках, в походе, в окопе,  
Не мертвых опрос и не доблести опись.  
Как дерево, рубят товарища, друга.  
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!  
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток  
И ночи крестить именами убитых.  
Победа погибших, и тысяч, и тысяч —  
Отлить из железа, из верности высечь, —  
Обрублены руки, и, настезь отверсто,  
Не бьется, врагами расклевано, сердце.

1939



Сочится зной сквозь крохотные ставни.  
В белой комнате темно и душно.  
В ослушников кидали прежде камни,  
Теперь и камни стали равнодушны.  
Теперь и камни ничего не помнят,  
Как их ломали, били и тесали,  
Как на заброшенной каменоломне  
Проклятый полдень жаден и печален.  
Страшнее смерти это равнодушье.  
Умрет один — идут, назад не взглянут.  
Их одиночество глушит и душит,  
И каждый той же суетой обманут.  
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,  
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,  
И на минуту ягода лесная  
Тебя обрадует. Так встанет детство:  
Обломки мира, облаков обрывки,  
Кукушка с глупыми ее годами,  
И мокрый мох, и земляники привкус,  
Знакомый, но нечаянный, как память.

*1939*

По тихим плитам крепостного плаца  
Разводят незнакомых часовых.  
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,  
А книжка — с адресами неживых.  
Стоят, не шелохнутся часовые.  
Друзья редеют, и молчит беда.  
Из слов остались самые простые:  
Забота, воздух, дерево, вода.  
На мир гляжу еще благоговейней —  
Уж нет меня. Покоя тоже нет —  
Чужое горе липнет, как репейник,  
И я не в силах дать ему ответ.  
Хожу, твержу, ищу такое слово,  
Чтоб выразить всю тишину, всю боль —  
Чужого мне, родного часового  
С младенчества затверженный пароль.

1939

\* \* \*

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,  
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,  
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,  
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,  
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,  
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,  
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то.  
Какая-то видимость точной, срочной работы,  
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,  
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.  
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,  
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

*1938—1939*

# Верность

Верность — прямо дорога без петель,  
Верность — зрелой души добродетель,  
Верность — августа слава и дым,  
Зной, его не понять молодым,  
Верность — вместе под пули ходили,  
Вместе верных друзей хоронили.  
Грусть и мужество — не расскажу.  
Верность хлебу и верность ножу,  
Верность смерти и верность обидам,  
Бреда сердца не вспомню, не выдам.  
В сердце целься! Пройдут по тебе.  
Верность сердцу и верность судьбе.

*1939*

## Дыхание

Мальчика игрушечный кораблик  
Уплывает в розовую ночь,  
Если паруса его ослабли,  
Может им дыхание помочь,  
То, что домогается и клянчит,  
На морозе обретает цвет,  
Одолеть не может одуванчик  
И в минуту облетает свет,  
То, что крепче мрамора победы,  
Хрупкое, не хочет уступать,  
О котором бредит напоследок  
Зеркала негронуемая гладь.

*1939*



Самоубийцею в ущелье  
С горы кидается поток,  
Ломает вековые ели  
И сносит камни, как песок.  
Скорей бы вниз! И дни и ночи,  
Не зная мира языка,  
Грозит, упорствует, грохочет.

Так начинается река,  
Чтоб после плавно и лениво  
Качать рыбацкие челны  
И отражать то трепет ивы,  
То башен вековые сны.

Закончится и наше время  
Среди лазоревых земель,  
Где садовод лелеет семя  
И мать качает колыбель,  
Где летний день глубок и долог,  
Где сердце тишиной полно  
И где с руки усталый голубь  
Клюет пшеничное зерно.

*1939*

\* \* \*

Как восковые, отекли камельи.  
Расина декламируют дрозды.  
А ночью невеселое веселье  
И ядовитый изумруд звезды.  
В туманной суете угрюмых улиц  
Еще у стоек поят голытьбу,  
А мудрые старухи уж разулись,  
Чтоб легче спать в игрушечном гробу.  
Вот рыболов с улыбкою беззлобной  
Подводит жизни прожитой итог,  
И кажется мне лилией надгробной  
В летейских водах праздный поплавок.  
Домов не тронут поздние укоры,  
Не дрогнут до рассвета фонари.  
Смотри — Парижа путевые сборы.  
Опреди его, уйди, умри!

*1939*



Все простота: стекольные осколки,  
Жар августа и духота карболки,  
Как очищают от врага дорогу,  
Как отнимают руку или ногу.  
Умом мы жили и пустой усмешкой,  
Не знали, что закончим перебежкой,  
Что хрупки руки и гора поката,  
Что договаривает все граната.  
Редет жизнь, и утром на постое  
Припоминаешь самое простое,  
Не ревность, не заносчивую славу —  
Песочницу, младенчества забаву.  
Распались формы, а песок горячий  
Ни горести не знает, ни удачи.  
Осталась жизни только сердцевина:  
Тепло руки и синий дым овина,  
Луга туманные и зелень бука,  
Высокая военная порука —  
Не выдать друга, не отдать без боя  
Ни детства, ни последнего покоя.

*1939*



Я должен вспомнить — это было:  
Играли в прятки облака,  
Лениво теплая кобыла  
Выхаживала сосунка,  
Кричали вечером мальчишки,  
Дожди поили резеду,  
И мы влюблялись понаслышке  
В чужую трудную беду.  
Как годы обернулись в даты?  
И почему в горячий день  
Пошли небритые солдаты  
Из опалевших деревень?  
Живи хоть час на полустанке,  
Хоть от свистка и до свистка.  
Оливой прикрывали танки  
В Испании.

Опять тоска.

Опять несносная тревога  
Кричит над городом ночным.  
Друзья, перед такой дорогой  
Присядем малость, помолчим,  
Припомним все, как домочадцы,—  
Ту резеду и те дожди,  
Чтоб не понять, не догадаться,  
Какое горе впереди.

1939

## Воздушная тревога

Что было городом — дремучий лес,  
И человек, услышав крик зловещий,  
Зарылся в ночь от ярости небес,  
Как червь слепой, томится и трепещет.  
Ему теперь и звезды невдомек,  
Глаза закрыты, и забиты ставни.  
Но вдруг какой-то беглый огонек —  
Напоминание о жизни давней.  
Кто тот прохожий? И куда спешит?  
В кого влюблен?

Скажи ты мне на милость!  
Ведь огонька столь необычен вид,  
Что кажется — вся жизнь переменялась.

Откинуть мишуру минувших лет,  
Принять всю грусть, всю наготу природы,  
Но только пронести короткий свет  
Сквозь черные, томительные годы!

1940



Не раз в те грозные, больные годы,  
Под шум войны, средь нищенства природы,  
Я перечитывал стихи Ронсара,  
И волшебство полуденного дара,  
Игра любви, печали легкой гайна,  
Слова, рожденные как бы случайно,  
Законы строгие спокойной речи  
Пугали мир ущерба и увечий.  
Как это просто все! Как недоступно!  
Любимая, дышать и то преступно...

*1940*

# Париж, 1940

1

Умереть и то казалось легче.  
Был здесь каждый камень мил и дорог.  
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.  
Падал черный дождь на черный город.  
Женщина сказала пехотинцу  
(Слезы черные из глаз катились):  
«Погоди, любимый, мы простимся», —  
И глаза его остановились.  
Я увидел этот взгляд унылый.  
Было в городе черно и пусто.  
Вместе с пехотинцем уходило  
Темное, как человек, искусство.

2

Не для того писал Бальзак.  
Чужих солдат чугунный шаг.  
Ночь навалилась, горяча.  
Бензин и конская моча.  
Не для того — камням молюсь —  
Упал на камни Делеклюз.  
Не для того тот город рос,  
Не для того те годы гроз,  
Цветов и звуков естество,  
Не для того, не для того!  
Лежит расстрелянный без пуль.  
На голой улице патруль.  
Так люди предали слова,  
Траву так предала трава,  
Предать себя, предать других.

А город пуст и город тих,  
И тяжелее чугуна  
Угодливая тишина.  
По городу они идут,  
И в городе они живут,  
Они про город говорят,  
Они над городом летят,  
Чтоб ночью город не уснул,  
Моторов точен грозный гул.  
На них глядят исподтишка,  
И задыхается тоска.  
Глаза закрой и промолчи —  
Идут чужие трубачи,  
Чужая медь, чужая спесь.  
Не для того я вырос здесь!

3

Глаза погасли, и холод губ,  
Огромный город, не город — труп,  
Где люди жили, растет трава,  
Она приснилась и не жива.  
Был этот город густым, как лес,  
Простым, как горе, и он исчез.  
Дома остались. Но никого.  
Не дрогнут ставни. Забудь его!  
Ты не забудешь, но ты забудь,  
Как руки улиц легли на грудь,  
Как стала Сена, пожрав мосты,  
Рекой забвенья и немоты.

4

Упали окон вековые веки.  
От суеты земной отрешены,  
Гуляли церемонные калекки,  
И на луну глядели горбуны.

Старухи, вытянув паучьи спицы,  
Прохладный саван бережно плели.  
Коты кричали. Умирали птицы.  
И памятники по дорогам шли.  
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.  
Был сер и нежен города скелет.  
Мы узнавали все суставы улиц,  
Все перекрестки юношеских лет.  
Часы не били. Стали звезды ближе.  
Пустынен, дик, уму непостижим,  
В забытом всеми, брошенном Париже  
Уж цепенел необозримый Рим.

5

Номера домов, имена улиц,  
Город мертвых пчел, брошенный улей.  
Старухи молчат, в мусоре роясь.  
Не придут сюда ни сон, ни поезд,  
Не придут сюда от живых письма,  
Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.  
Люди не придут. Умереть поздно.  
В городе живут мрамор и бронза.  
Нимфа слез и рек — тишина, сжался! —  
Ломает в тоске мертвые пальцы,  
Маршалы, кляня века победу,  
На мертвых конях едут и едут,  
Мертвый голубок — что ему снится? —  
Как зерно, клюет глаза провидца.  
А город погиб. Он жил когда-то,  
Он бьется в груди забытых статуй.

6

Уходят улицы, узлы, базары,  
Танцоры, костыли и сталевары,  
Уходят канарейки и матрацы,

Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,  
А на соборе корчатся уродцы,  
Уходит жизнь, она не обернется.  
Они идут под бомбы и под пули,  
Лунатики, они давно уснули,  
Они идут, они еще живые,  
Но перед ними те же часовые,  
И тот же сон, и та же несвобода,  
И в беге нет ни цели, ни исхода:  
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,  
И все ж они идут, не камни — люди.

7

Над Парижем грусть. Вечер долгий.  
Улицу зовут «Ищу полдень».  
Кругом никого. Свет не светит.  
Полдень далеко, теперь вечер.  
На гербе корабль. Черна гавань.  
Его трюм — гроба, парус — саван.  
Не сказать «прости», не заплакать.  
Капитан свистит. Поднят якорь.  
Девушка идет, она ищет,  
Где ее любовь, где кладбище.  
Не кричат дрозды. Молчит память.  
Идут, как слепцы, ищут камень.  
Каменщик молчит, не ответит,  
Он один в ночи ищет ветер.  
Иди, не говори, путь тот долгий,—  
Это весь Париж ищет полдень.

8

Как дерево в большие холода,  
Ольха иль вяз, когда реки вода,  
Оцепенев, молчит и ходит вьюга,  
Как дерево обманутого юга,  
Что, к майскому готовясь торжеству,  
Придумывает сквозь снега листву,

Зовет малиновок и в смертной муке  
Иззябшие заламывает руки, —  
Ты в эту зиму с ночью говоришь,  
Расщепленный, как старый вяз, Париж.

*1940*



## Возле Фонтенбло

Обрывки проводов. Не позвонит никто.  
Как человек, подмигивает мне пальто.  
Хозяева ушли. Еще стоит еда.  
Еще в саду раздавленная резеда.  
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.  
Убитый будто спит. Смеется клоч белья.  
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.  
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.  
А в мастерской, средь красок, кружев и колец,  
Гранатой замахнулся на луну мертвец,  
И синевой припудрено его лицо.  
Как трудно вырастить простое деревцо!  
Опять развалины — до одури, до сна.  
Невыносимая чужая тишина.  
Скажи, неужто был обыкновенный день,  
Когда над детворой еще цвела сирень?

*1940*



Где играли тихие дельфины,  
Далеко от зелени земли,  
Нарываясь по ночам на мины,  
Молча умирают корабли.  
Суматошливый, большой и хрупкий,  
Человек не предаёт мечты,  
Погибая, он спускает шлюпки,  
Сбрасывает сонные плоты,  
Сипевой охваченный, он верит,  
Что земля любимая близка,  
Что ударится о светлый берег  
Легкая, как жалоба, доска,  
Видя моря яростную смуту,  
Средь ночи, измученный волной,  
Он еще в последнюю минуту  
Бредит берегом и тишиной.

*1940*

## Лондон

Не туманами, что ткали Парки,  
И не парами в зеленом парке,  
Не длиной, а он длиннее сплина,  
Не трезубцем моря властелина,  
Город тот мне горьким горем дорог,  
По ночам я вижу черный город,  
Горе там сосчитано на тонны,  
В нежной сырости сирены стонут,  
Падают дома, и день печален  
Средь чужих уродливых развалин.  
Но живые из щелей выходят,  
Говорят, встречаясь, о погоде,  
Убирают с тротуаров мусор,  
Покупают зеркальце и бусы.  
Ткут и ткут свои туманы Парки.  
Зелены загадочные парки.  
И еще длинней печали версты,  
И людей еще темней упорство.

*1940*

\* \* \*

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,  
Как прокаженные, полуживые,  
Камни их травят, слепы и глухи,  
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,  
Бродят младенцы, разбужены ночью,  
Гонит их сон, земля их не хочет.  
Горе, открылась старая рана,  
Мать мою звали по имени — Хана.

*1940*

\* \* \*

В лесу деревьев корни сплетены,  
Им снятся те же медленные сны,  
Они поют в одном согласном хоре,  
Зеленый сон, земли живое море.  
Но и в лесу забыть я не могу:  
Чужой реки на мутном берегу,  
Один как перст, непримирим и страстен,  
С ветрами говорит высокий ясень.  
На небе четок каждый редкий лист.  
Как, одиночество, твой голос чист!

*1940*

\* \* \*

Белесая, как марля, мгла  
Скрывает мира очертанье,  
И не растрогает стекла  
Мое убогое дыханье.  
Изобразил на нем мороз,  
Чтоб сердцу биться не хотелось,  
Корзины вымышленных роз  
И пальм былых окаменелость,  
Язык безжизненный зимы  
И тайны памяти лоскутной.  
Так перед смертью видим мы  
Знакомый мир, большой и смутный.

*1940*

\* \* \*

Как эти сосны и строенья  
Прекрасны в зеркале пруда,  
И сколько скрытого волненья  
В тебе, стоячая вода!  
Кипят на дне глухие чувства,  
Недвижен темных вод покров,  
И кажется, само искусство  
Освобождается от слов.

*1940*

Города горят. У тех обид  
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.  
По дорогам, по мостам, в крови,  
Проползают ночью муравьи,  
И летит, летит, летит щепа —  
Липы, ружья, руки, черепа.  
От полей исходит трупный дух.  
Псы не лают, и молчит петух,  
Только говорит про мертвый кров  
Рев больных, недоеных коров.  
Умирает голубая ель  
И олива розовых земель,  
И родства не помнящий лишай  
Научился говорить «прощай»,  
И на ста языках человек,  
Умирая, проклинает век.  
...Будет день, и прорастет она —  
Из костей, как всходят семена,—  
От сетей, где севера треска,  
До Сахары праздного песка,  
Всколосятся руки и штыки,  
Зашагают мертвые полки,  
Зашагают ноги без сапог,  
Зашагают сапоги без ног,  
Зашагают горя города.  
Выплывут утопшие суда,  
И на вахту встанет без часов  
Тень товарища и облаков.  
Вспомнит старое крапивы злость,  
Соком ярости нальется гроздь,  
Кровь проступит сквозь земли тоску,  
Кинется к разбитому древку,  
И труба поведает, крича,  
Сны затравленного трубача.



# ● 1941—1945

1941

Мяли танки теплые хлеба,  
И горела, как свеча, изба.  
Шли деревни. Не забыть вовек  
Визга умирающих телег,  
Как лежала девочка без ног,  
Как не стало на земле дорог.  
Но тогда на жадного врага  
Ополчились нивы и луга,  
Разъярился даже горчицвет,  
Дерево и то стреляло вслед,  
Ночью партизанили кусты  
И взлетали, как щепы, мосты,  
Шли с погоста деда и отцы,  
Пули подавали мертвецы,  
И, косматые, как облака,  
Врукопашную пошли века.  
Шли солдаты бить и перебить,  
Как ходили прежде молотить,  
Смерть предстала им не в высоте,  
А в крестьянской древней простоте,  
Та, что пригорюнилась, как мать,  
Та, которой нам не миновать.  
Затвердело сердце у земли,  
А солдаты шли, и шли, и шли,  
Шла Урала темная руда,  
Шли, гремя, железные стада,  
Шел Смоленщины дремучий бор,  
Шел худой, зазубренный топор,  
Шли пустые, тусклые поля,  
Шла большая русская земля.

1941

\* \* \*

Привели и застрелили у Днепра.  
Брат был далеко. Не слышала сестра.  
А в Сибири, где уж выпал первый снег,  
На заре проснулся бледный человек  
И сказал: «Железо у меня в груди.  
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»  
«Киев, Киев! — повторяли провода, —  
Вызывает горе, говорит беда».  
«Киев, Киев!» — надрывались журавли.  
И на запад эшелоны молча шли.  
И от лютой человеческой тоски  
Задыхались крепкие сибиряки...

1941

\* \* \*

Они накиннулись, неистовы,  
Могильным холодом грозя,  
Но есть такое слово «выстоять»,  
Когда и выстоять нельзя,  
И есть душа — она все вытерпит,  
И есть земля — она одна,  
Большая, добрая, сердитая,  
Как кровь, тепла и солона.

*1942*

Я помню — был Париж. Краснели розы  
Под газом в затуманенном окне,  
Как рана. Нимфа мраморная мерзла.  
Я шел и смутно думал о войне.  
Мой век был шумным, люди быстро гасли.  
А выпадала тихая весна —  
Она пугала видимостью счастья,  
Как на войне пугает тишина.  
И снова бой. И снова пулеметчик  
Лежит у погоревшего жилья.  
Быть может, это все еще хлопочет  
Ограбленная молодость моя?  
Я верен темной и сухой обиде,  
Ее не позабыть мне никогда,  
Но я хочу, чтоб юноша увидел  
Простые и счастливые года.  
Победа — не гранит, не мрамор светлый,—  
В грязи, в крови, озябшая сестра,  
Она придет и сядет незаметно  
У бледного погасшего костра.

1942



Бывала в доме, где лежал усопший,  
Такая тишина, что выли псы,  
Испуганная, в мыле билась лошадь,  
И слышно было, как идут часы.  
Там на кровати, чересчур громоздкой,  
Торжественно покойник почивал,  
И горе молча отмечалось воском  
Да слепотой завешенных зеркал.

В пригожий день, среди кустов душистых,  
Когда бы человеку жить и жить,  
Я увидал убитого связиста,  
Он все еще сжимал стальную нить,  
В глазах была привычная забота,  
Как будто, мертвый, опоздать боясь,  
Он торопливо спрашивал кого-то,  
Налажена ли прерванная связь.  
Не знали мы, откуда друг наш смелый,  
Кто ждет его в далеком городке,  
Но жизнь его дышала и гудела,  
Как провод в холодеющей руке.  
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,  
В солдатской незагаданной судьбе,  
Таится то высокое бессмертье,  
Которое мерещилось тебе?

1942

Так ждать, чтоб даже память вымерла,  
Чтоб стал непроходимым день,  
Чтоб умирать при милом имени  
И догонять чужую тень,  
Чтоб не довериться и зеркалу,  
Чтоб от подушки утаить,  
Чтоб свет своей любви и верности  
Зарыть, запрятать, затемнить,  
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,  
Чтоб вздох и тот зажать в руке,  
Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал  
Горячий ветер на щеке,

*1942*

\* \* \*

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,  
Но не успели. Вечер. Дети. Смех.  
Был бой за хутор, и один разведчик  
Остался на снегу. Вдали от всех  
Он как бы спит. Не бьется больше сердце.  
Он долго шел — он к тем огням спешил.  
И если не дано уйти от смерти,  
Он, умирая, смерть опередил.

*1943*

\* \* \*

Был час один — душа ослабла.  
Я видел Глухова сады  
И срубленных врагами яблонь  
Еще незрелые плоды.  
Дрожали листья. Было пусто.  
Мы постояли и ушли.  
Прости, великое искусство,  
Мы и тебя не сберегли.

*1943*



## В Белоруссии

Мы молчали. Путь на запад шел,  
Мимо мертвых догоравших сел,  
И лежала голая земля,  
Головнями тихо шевеля.  
Я запомню, как последний дар;  
Этот сердце ледящий жар,  
Эту ночь, похожую на день,  
И средь пепла брошенную тень.  
Запах гари едок, как беда,  
Не отвяжется он никогда,  
Он со мной, как пепел деревень,  
Как белесая, больная тень,  
Как огрызок вымершей луны  
Средь чужой и новой тишины.

*1943*

\* \* \*

Было в жизни мало резеды,  
Много крови, пепла и беды.  
Я не жалею на свой удел,  
Я бы только увидеть хотел  
День один, обыкновенный день,  
Чтобы дерева густая тень  
Ничего не значила, темна,  
Кроме лета, тишины и сна.

*1943*

\* \* \*

Есть время камни собирать,  
И время есть, чтоб их кидать.  
Я изучил все времена,  
Я говорил «на то война»,  
Я камни на себе таскал,  
Я их от сердца отрывал,  
И стали дни еще темней  
От всех раскиданных камней.  
Зачем же ты киваешь мне  
Над той воронкой в стороне,  
Не резонер и не пророк,  
Простой дурашливый цветок?

*1943*



Гляжу на снег, а в голове одно:  
Ведь это — день, а до чего темно!  
И солнце зимнее, оно на час —  
Торопится, глядишь, и день погас..  
Под деревом солдат. Он шел с утра.  
Зачем он здесь? Ему идти пора.  
Он не уйдет. Прошли давно войска.  
И день прошел. Но не пройдет тоска.

*1943*

## Европа

Летучая звезда и моря ропот,  
Вся в пене, розовая, как заря,  
Горячая, как сгусток янтаря,  
Среди олив и дикого укропа,  
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,  
Моя любовь, моя Европа!  
Я исходил петлистые дороги  
С той пылью, что старше серебра,  
Я знаю теплые твои берлоги,  
Твои сиреневые вечера  
И глину под ладонью гончара,  
Надышанная светлая обитель,  
Больших веков душистый сеновал,  
Горшечник твой, как некогда Пракситель,  
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.  
Был в Лувре небольшой, невзрачный зал.  
Безрукая доверчиво, по-женски  
Напоминала нам о красоте.  
И плакал перед нею Глеб Успенский,  
А Гейне знал, что все слова не те.  
В Париже, среди машин, по-деревенски  
Шли козы. И свирель впивалась в день.  
Был воздух зацелованной святыней,  
И мастерицы простодушной тень  
По скверу проходила, как богиня.  
Твои черты я узнаю в пустыне,  
Горячий камень дивного гнезда,  
Средь серы, среди огня, в ночи потопа,  
Летучая зеленая звезда,  
Моя звезда, моя Европа!

1943



Были липы, люди, купола.  
Мусор. Битое стекло. Зола.  
Но смотри — среди разбитых плит  
Уж младенец выполз и сидит,  
И сжимает слабая рука  
Горсть сырого теплого песка.  
Что он вылепит? Какие сны?  
А года чернеют, сожжены...  
Вот и вечер. Нам идти пора.  
Грустная и страстная игра.

*1943*

\* \* \*

Мир велик, а перед самой смертью  
Остается только эта горстка,  
Теплая и темная, как сердце,  
Хоть ее и называли черствой,  
Горсть земли, похожей на другую,—  
Сколько в ней любви и суевья!  
О такой и на небе тоскуют,  
И в такую до могилы верят,  
За такую, что дороже рая,  
За лужайку, дерево, болотце,  
Ничего не видя, умирают  
В час, когда и птица не проснется.

1944

## Бабий Яр

К чему слова и что перо,  
Когда на сердце этот камень,  
Когда, как каторжник ядро,  
Я волочу чужую память?  
Я жил когда-то в городах,  
И были мне живые милы,  
Теперь на тусклых пустырях  
Я должен разрывать могилы,  
Теперь мне каждый яр знаком,  
И каждый яр теперь мне дом,  
Я этой женщины любимой  
Когда-то руки целовал,  
Хотя, когда я был с живыми,  
Я этой женщины не знал.  
Мое дитя! Мои румяна!  
Моя несметная родня!  
Я слышу, как из каждой ямы  
Вы окликаете меня.  
Мы понатужимся и встанем,  
Костями застучим — туда,  
Где дышат хлебом и духами  
Еще живые города.  
Задуйте свет. Спустите флаги.  
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944



\* \* \*

В это гетто люди не придут.  
Люди были где-то. Ямы тут.  
Где-то и теперь несутся дни.  
Ты не жди ответа — мы одни,  
Потому что у тебя беда,  
Потому что на тебе звезда,  
Потому что твой отец другой,  
Потому что у других покой.

*1944*

\* \* \*

Слов мы боимся, и все же прощай.  
Если судьба нас сведет невзначай,  
Может, не сразу узнаю я, кто  
Серый прохожий в дорожном пальто,  
Сердце подскажет, что ты — это тот,  
Сорок второй и единственный год.  
Ржев догорал. Мы стояли с тобой,  
Смерть примеряли. И начался бой...  
Странно устроен любой человек:  
Страстно клянется, что любит навек,  
И забывает, когда и кому...  
Но не изменит и он одному:  
Слову скупому, горячей руке,  
Ржевскому лесу и ржевской тоске.

1944

\* \* \*

Ракеты салютов. Чем небо черней,  
Тем больше в них страсти растерзанных дней.  
Летят и сгорают. А небо черно.  
И если себя пережить не дано,  
То ты на минуту чужие пути,  
Как эта ракета, собой освети.

*1944*

\* \* \*

Все за беспмятство отдать готов,  
Но не забыть ни звуков, ни цветов,  
Ни сверстников, ни смутного ребячества  
(Его другие перепишут начисто).  
Вкруг сердцевины кольца narосли.  
Друзей все меньше: вымерли, прошли,  
Сгребают сено девушки веселые,  
И запах сена веселит, как молодость,  
Все те же лица, клятвы и слова:  
Так пахнет только мертвая трава.

1945



За что он погиб? Он тебе не ответит.  
А если услышишь, подумаешь — ветер.  
За то, что здесь ярче густая трава,  
За то, что ты плачешь и, значит, жива,  
За то, что есть дерева грустного шелест,  
За то, что есть смутная русская прелесть,  
За то, что четыре угла у земли,  
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,  
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,  
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.

1945

\* \* \*

Была трава, как раб, распластана,  
Сияла кроткая роса,  
И кровлю променяла ласточка  
На ласковые небеса,  
И только ты, большое дерево,  
Осталось на своем посту —  
Солдат, которому доверили  
Прикрыть собою высоту,  
И были ветки в муке скрещены,  
Когда огонь тебя подсек,  
И умирало ты торжественно,  
Как умирает человек.

*1945*

\* \* \*

Когда я был молод, была уж война,  
Я жизнь свою прожил — и снова война.  
Я все же запомнил из жизни той громкой  
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,  
А где-то в рыбацком селенье глухом  
К скале прилепившийся маленький дом.  
В том доме матрос расставался с хозяйкой,  
И грустные руки метались, как чайки.  
И годы, и годы мерещатся мне  
Все те же две тени на белой стене.

1945



Мне было многое знакомо  
И стало сердцу дорогим,  
Но не было на свете дома,  
Который бы назвал своим.  
И только в час глухой и злобный,  
Когда горела вся земля,  
Я дверь одну ревниво обнял,  
Как будто эта дверь — моя.  
И дым глаза мне ночью выел,  
Но я не опустил руки,  
Чтоб дети, не мои — чужие,  
Играли утром у реки.

1945



## В феврале 1945

1

День придет, и славок громкий хор  
Хорошо прославит птичий вздор,  
И, смеясь, наденет стрекоза  
Выходные яркие глаза.  
Будут снова небеса для птиц,  
А Медынь для звонких медуниц,  
Будут только те затемнены,  
У кого луна и без луны,  
Будут руки, чтобы обнимать,  
Будут губы, чтобы целовать,  
Даже ветер, почитав стихи,  
Заночует у своей ольхи.

2

Мне снился мир, и я не мог понять —  
Он и во сне казался мне ошибкой:  
Был серый день, и на ребенка мать  
Глядела с неуверенной улыбкой,  
А дождь не знал, идти ему иль нет,  
Выглядывало солнце на минуту,  
И ветки плакали — за много лет,  
И было в этом счастье столько смуты,  
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,  
Застывшие не улетали птицы,  
Притихло все. А сердце билось так,  
Что и во сне могло остановиться.

1945

9 мая 1945

1

О них когда-то горевал поэт:  
Они друг друга долго ожидали,  
А встретившись, друг друга не узнали  
На небесах, где горя больше нет.  
Но не в раю, на том земном просторе,  
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,  
Я ждал ее, как можно ждать любя,  
Я знал ее, как можно знать себя,  
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.  
И час настал — закончилась война.  
Я шел домой. Навстречу шла она.  
И мы друг друга не узнали.

2

Она была в линиялой гимнастерке,  
И ноги были до крови натерты.  
Она пришла и постучалась в дом.  
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.  
«Твой сын служил со мной в полку одном,  
И я пришла. Меня зовут Победа».  
Был черный хлеб белее белых дней,  
И слезы были соли солоней.  
Все сто столиц кричали вдалеке,  
В ладоши хлопали и танцевали.  
И только в тихом русском городке  
Две женщины как мертвые молчали.

Прошу не для себя, для тех,  
Кто жил в крови, кто дольше всех  
Не слышал ни любви, ни скрипок,  
Ни роз не видел, ни зеркал,  
Под кем и пол в сених не скрипнул,  
Кого и сон не окликал,  
Прошу для тех — и цвет, и щебет,  
Чтоб было звонко и пестро,  
Чтоб, умирая, день, как лебедь,  
Ронял из горла серебро,  
Прошу до слез, до безрассудства,  
Дойдя, войдя и перейдя,  
Немного смутного искусства  
За легким пологом дождя.

1945



Я смутно жил и неуверенно,  
И говорил я о другом,  
Но помню я большое дерево,  
Чернильное на голубом,  
И помню милую мне женщину,  
Не знаю, мало ль было сил,  
Но суеверно и застенчиво  
Я руку взял и отпустил.  
И все давным-давно потеряно,  
И даже нет следа обид,  
И только где-то то же дерево  
Еще по-прежнему стоит.

*1945*

## Статуя Афродиты

Он много знал, во имя бога  
Он суетных богов ломал,  
И все же он душою дрогнул,  
Когда тот мрамор увидал.  
Не знаю, девкой деревенской  
Иль домyslom она была  
И чья догадка совершенство  
Из глыбы камня родила,  
Но плакал, как дитя, апостол,  
Что слишком поздно увидал,  
Зачем он был на землю послан  
И по какой земле ступал.  
Давно тот след на камне стерся,  
И падал снег, и таял снег.  
Но вижу я — к тому же торсу  
В тоске подходит человек,  
И та же красота земная  
Вдруг открывается ему,  
И смутно слезы он роняет,  
Не понимая почему.

1945



Ты говоришь, что я замолк,  
И с ревностью и с укоризной.  
Париж не лес, и я не волк,  
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.  
А жил я там, где, сер и сед,  
Подобен каменному бору,  
И голубой и в пепле лет,  
Стоит, шумит великий город.  
Там даже счастье нипочем,  
От слова там легко и больно,  
И там с шарманкой под окном  
И плачет и смеется вольность.  
Прости, что жил я в том лесу,  
Что все я пережил и выжил,  
Что до могилы донесу  
Большие сумерки Парижа.

1945

\* \* \*

Чужое горе — оно как овод,  
Ты отмахнешься, и сядет снова,  
Захочешь выйти, а выйти поздно,  
Оно — горячий и мокрый воздух,  
И как ни дышишь, все так же душно,  
Оно не слышит, оно — кликуша,  
Оно приходит и ночью поет,  
А что с ним делать — оно чужое.

*1945*



Умру — вы вспомните газеты шорох,  
Ужасный год, который всем нам дорог.  
А я хочу, чтоб голос мой замолкший  
Напомнил вам не только гром у Волги,  
Но и деревьев еле слышный шелест,  
Зеленую таинственную прелесть.  
Я с ними жил, я слышал их рассказы,  
Каштаны милые, оливы, вязы.  
То не ландшафт, не фон и не убранство,  
Есть в дереве судьба и постоянство,  
Уйду — они останутся на страже,  
Я начал говорить, они доскажут.

1945



# ● 1947—1958

\* \* \*

«Во Францию два гренадера...»  
Я их, если встречу, верну.  
Зачем только черт меня дернул  
Влюбиться в чужую страну?  
Уж нет гренадеров в помине,  
И песни другие в ходу,  
И я не француз на чужбине,  
От этой земли не уйду,  
Мне все здесь знакомо до дрожи,  
Я к каждой тропинке привык,  
И всех языков мне дороже  
С младенчества внятный язык.  
Но вдруг замолкают все споры,  
И я — это только в бреду, —  
Как два усача гренадера,  
На запад далекий бреду,  
И все, что знавал я когда-то,  
Встает, будто было вчера,  
И красное солнце заката  
Не хочет уйти до утра.

1947



К вечеру улегся ветер резкий,  
Он залег в тенистом перелеске,  
Уверяли галки очень колко,  
Что растет там молодая елка.  
Он играл с ее колючей хвоей,  
Говорил: «На свете есть другое,  
А не только эти елки-палки,  
А не только глупенькие галки»,  
Говорил, что он бывал на Тибре,  
Танцевал с нарядными колибри,  
Обнимал высокую агаву,  
Но нашлась и на него управа.  
Отвечала молодая елка:  
«Я в таких речах не вижу толка,  
С вами я почти что незнакома,  
Нет у вас ни адреса, ни дома,  
Может, по миру гулять просторней,  
Но стыдитесь — у меня есть корни,  
Я стою здесь с самого начала,  
Как моя прабабушка стояла.  
Я не мельница. Зачем мне ветер?  
У меня, наверно, будут дети.  
На мои портреты ротозей  
Смотрят в краеведческом музее».  
Вздروгнули деревья на рассвете —  
Это поднялся внезапно ветер,  
И завыла на цепи собака  
Оттого, что ветер выл и плакал,  
Оттого, что без цепи привольно,  
Оттого, что даже ветру больно.

1948

\* \* \*

Был тихий день обычной осени.  
Я мог писать или не писать:  
Никто уж в сердце не запросится,  
И тише тишь, и глаже гладь,  
Деревья голые и черные —  
На то глаза, на то окно, —  
Как не моих догадок формулы,  
А все разгадано давно.  
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,  
Взлетели мертвые листья,  
Давно истоптаны, поруганы,  
И все же, как любовь, чисты,  
Большие, желтые и рыжие  
И даже с зеленью смешной,  
Они не дожили, но выжили  
И мечутся передо мной.  
Но можно ль быть такими чистыми?  
А что ни слово — невпопад.  
Они живут, но не написаны,  
Они взлетели, но молчат,

1957

Ошибся — нужно повторить:  
Ребенка учат говорить.  
К чему леса? К чему трава?  
Пред ним дремучие слова,  
И он в руке зажаты готов  
Добычу дня — охапку слов.  
До смерти их не перечеть.  
А попугай — тот любит есть,  
А водолей — тот воду льет,  
И человек средь слов живет.  
Кто открывал, и кто крестил,  
И кто кого когда любил?  
Ведь он не нов, ведь он готов,  
Уютный мир заемных слов.  
Лишь через много-много лет,  
Когда пора давать ответ,  
Мы разгребаем груды слов —  
Ведь мир другой, он не таков.  
Слова швыряем мы в окно  
И с ними славу заодно.  
Как ни хвали, как ни пугай,  
Молчит облезший попугай, —  
Слова ушли, как сор, как дым,  
Он хочет умереть немым.

1957



Есть надоедливая вдоволь повесть,  
Как плачет человеческая совесть.  
Она особенно скулит средь ночи,  
Когда никто с ней говорить не хочет,  
Когда подсчитаны давно балансы  
И оттанцованы и сны и танцы,  
Когда глаза, в которых жизнь поблекла,  
Похожи на замызганные стекла  
Большого недостроенного дома,  
Где все необжито и все знакомо.  
Она скулит, что день напрасно прожит  
И что никто не лезет вон из кожи,  
Что убивают лихо изуверы  
И что вздыхают тихо малoverы.  
Она скулит, никто ее не слышит —  
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.  
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.  
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.  
Да что тут слушать? Это ведь не дело.  
И это всем смертельно надоело.

1957

Я смутно помню шумный перекресток,  
Как змей клубок, петлистые пути.  
Я выбрал свой, и все казалось просто:  
Коль цель видна, не сбиться и дойти.  
Одна судьба — не две — у человека,  
И как дорогу ту ни назови,  
Я верен тем, с которыми полвека  
Шагал я по грязи и по крови.  
Один косился на другого, мучил  
Молчанием, томила сердце тень,  
Что рядом шла — не друг и не попутчик,  
А только тень.

    Ни зелень деревень,  
Ни птицы крик нам не несли отрады.  
Страшнее переходов был привал.  
Порой один, чуть покачнувшись, падал,  
Все дальше шли, он молча умирал.  
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,  
Когда пойму — мне больше не идти,  
Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас  
При памяти о пройденном пути.

1957

## Дождь в Нагасаки

Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.  
Куклу слепую девочка в ужасе держит.  
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,  
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.  
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,  
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,  
Будет отравой доска для детского гроба,  
Будет приправой тоска и долгая злоба,  
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,  
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.  
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,  
Будут кусаться и выть молчальники карпы,  
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,  
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест.  
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.  
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!  
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах,—  
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,  
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.  
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.

1957

## Товарищам

В любой трущобе, где и камню больно,  
В Калькутте душевной, среди ветров Стокгольма,  
В японском домике, пустом до страха,  
Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,  
У Миссисипи, где и снам не выжить,  
В заласканном, заплаканном Париже,  
И в брюхе птицы, прорезавшей небо,  
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —  
Я вижу их, я узнаю их сразу,  
Не по затверженным знакомым фразам,  
По множеству примет, едва заметных,  
По хмурости и по усмешке светлой,  
По мужеству, по гордости, по горю,  
Которых не унять, не переспорить,  
И по тому, как промолчат о главном,  
Как через силу выговорят «ладно»,  
Как не расскажут про беду и смуту  
И как доверчиво пожмут мне руку.  
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,  
В одно мы верили, одно любили,  
И пуд мы съели — не по нашей воле —  
Такой соленой, что не скажешь, соли.  
Суровый, деловой и все же нежный  
Огромный заговор одной надежды.

1957



## Спутник

Есть нечто милое в самом том слове  
С далеких, незапамятных времен,  
Хоть многим кажется, что это — внове,  
Хоть ошарашен мир и окрылен.  
Не знаю, догадаются, поймут ли,  
Увидев искру в голубой дали,  
Какой невидимый и близкий спутник  
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.  
В глухую осень из российской пущи,  
Средь холода и грусти волостей,  
Он был в пустые небеса запущен  
Надеждой исстрадавшихся людей.  
Ему орбиты были незнакомы,  
Он оживал в часы сухой тоски,  
О нем не говорили астрономы,  
За ним следили только бедняки.  
Что испытал он, в спехе пролетая,  
Запущен рано, нестерпимо нов,  
Над горем стародавнего Китая,  
Над голодом бразильских пастухов?  
Его боялись на допросе выдать,  
Он был судим, и был он осужден.  
Я помню — пролетал он над Мадридом,  
И люди улыбались: это — он!  
Он осветил последние минуты  
Заложников, он мчался вкруг Земли,  
Его видали тени Равенсбрука,  
Индийцы разговоры с ним вели.  
Он вспыхивал и пропадал надолго,  
Никто его путей не объявлял,  
Но в смертный час над потрясенной Волгой  
Он будущее мира отстоял.  
Его не признавали: «Это — опыт»,  
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,  
Пока не увидали в телескопы  
Его кружение средь звездных бурь.

Не знаю, догадаются, поймут ли...  
Он сорок лет бушует надо мной,  
Моих надежд, моей тревоги спутник,  
Немыслимый, далекий и родной.

*1957*

Был пятый час среди январских сумерек.  
На улице большой и незнакомой  
Она бумажку вынула из сумочки,—  
Быть может, позабыла номер дома,  
А может быть, работой озабочена,  
Проверила все цифры на расписке,  
А может, просто улыбнулась почерку  
Измятой, зацелованной записки.  
Где друг ее, в какой далекой области?  
Иль, может быть, спешила на свиданье?  
Но губы дрогнули, и, будто облако,  
Взлетело к небу легкое дыханье.  
Когда мы говорим на громких сборищах  
Про ненависть, про бомбы и про стронций,  
Когда слова, в которых столько горечи,  
Горячим пеплом заслоняют солнце,  
Я вспоминаю улицу морозную  
И облако у каменного зданья,  
Огромный мир с бесчисленными звездами  
И крохотное, слабое дыханье.

## Верность

Жизнь широка и пестра.  
Вера — очки и шоры.  
Вера двигает горы,  
Я — человек, не гора.  
Вера мне не сестра.  
Видел я камень серый,  
Стертый трепетом губ,  
Мертвого будит вера.  
Я — человек, не труп.  
Видел, как люди слепли,  
Видел, как жили в пекле,  
Видел — билась земля,  
Видел я небо в пепле,  
Вере не верю я.  
Скверно? Скажи, что скверно.  
Верно? Скажи, что верно.  
Не похвальбе, не мольбе,  
Верю тебе лишь, Верность,  
Веку, людям, судьбе.  
Если терпеть, без сказки,  
Спросят — прямо ответь,  
Если к столбу, без повязки, —  
Верность умеет смотреть.

1958

## Самый верный

Я не знал, что дважды два — четыре,  
И учитель двойку мне поставил.  
А потом я оказался в мире  
Всевозможных непреложных правил.  
Правила менялись, только бойко,  
С той же снисходительной улыбкой,  
Неизменно ставили мне двойку  
За допущенную вновь ошибку.  
Не был я учеником примерным  
И не стал с годами безупречным,  
Из апостолов Фома Неверный  
Кажется мне самым человечным.  
Услыхав, он не поверил просто —  
Мало ли рассказывают басен?  
И, наверно, не один апостол  
Говорил, что он весьма опасен.  
Может, был Фома тяжелодумом,  
Но, подумав, он за дело брался,  
Говорил он только то, что думал,  
И от слов своих не отступался.  
Жизнь он мерил собственной меркой,  
Были у него свои скрижали.  
Уж не потому ль, что он «неверный»,  
Он молчал, когда его пытали?

1958



Вчера казалась высохшей река,  
В ней женщины лениво полоскали  
Белье. Вода не двигалась. И облака,  
Как простыни распластаны, лежали  
На самой глади. Посреди реки  
Дремали одуревшие коровы.  
Баржа спала. Рыжели островки,  
Как поплавки лентяя рыболова.  
Вдруг началось. Сошла ль река с ума?  
Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась?  
Но рвется прочь. Земля, поля, дома —  
Все отдано теперь воде на милость.  
Бывает — жизнь мельчает. О судьбе  
Не говори — ты в выборе свободен.  
И если есть судьба, она в тебе —  
И эти отмели и полноводье.

1958

\* \* \*

Есть в севере чрезмерность, человеку  
Она невыносима, но сродни —  
И торопливость летнего рассвета,  
И декабря огрызки, а не дни,  
И сада вид, когда приходит осень:  
Едва цветы успели расцвести,  
Их заморозки скручивают, косят,  
А ветер ухмыляется, свистит,  
И только в пестроте листвы кричащей,  
Календарю и кумушкам назло,  
Горит последнее большое счастье,  
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

1958



Да разве могут дети юга,  
Где розы плещут в декабре,  
Где не разыщешь слова «вьюга»  
Ни в памяти, ни в словаре,  
Да разве там, где небо сине  
И не слиняет ни на час,  
Где испокон веков поныне  
Все то же лето тешит глаз,  
Да разве им хоть так, хоть вкратце,  
Хоть на минуту, хоть во сне,  
Хоть ненароком догадаться,  
Что значит думать о весне,  
Что значит в мартовские стужи,  
Когда отчаянье берет,  
Все ждать и ждать, как неуклюже  
Зашевелится грузный лед.  
А мы такие зимы знали,  
Вжились в такие холода,  
Что даже не было печали,  
Но только гордость и беда.  
И в крепкой, ледяной обиде,  
Сухой пургой ослеплены,  
Мы видели, уже не видя,  
Глаза зеленые весны.

1958



## В Греции

Не помню я про ход резца —  
Какой руки, какого века,—  
Мне не забыть того лица,  
Любви и муки человека.  
А кто он? Возмущенный раб?  
Иль неуступчивый философ,  
Которого травил сатрап  
За прямоту его вопросов?  
А может, он бесславно жил,  
Но мастер не глядел, не слушал  
И в глыбу мрамора вложил  
Свою бушующую душу?  
Наверно, мастеру тому  
За мастерство, за святотатство  
Пришлось узнать тюрьму, суму  
И у царей в ногах валяться.  
Забыты тяжбы горожан,  
И войны громкие династий,  
И слов возвышенных туман,  
И дел палаческие страсти.  
Никто не свистнет, не вздохнет —  
Отыграна пустая драма,—  
И только все еще живет  
Обломок жизни, светлый мрамор.

1958

## Сердце солдата

Бухгалтер он, счетов охалка,  
Семерки, тройки и нули.  
И кажется, он спит, как папка  
В тяжелой голубой пыли.  
Но вот он с другом повстречался.  
Ни цифр, ни сплетен, ни котлет.  
Уж нет его, пропал бухгалтер,  
Он весь в огне прошедших лет.  
Как дробь, стучит солдата сердце:  
«До Петушков рукой подать!»  
Беги! Рукой подать до смерти,  
А жизнь в одном — перебежать.  
Ты скажешь — это от контузий,  
Пройдет, найдет он жизни нить,  
Но нити спутались, и узел  
Уж не распутать — разрубить.

Друзья и сверстники развалил  
И строек сверстники, мой край,  
Мы сорок лет не разувались,  
И если нам приснится рай,  
Мы не поверим.

Стой, не мешкай,  
Не для того мы здесь, чтоб спать!  
Какой там рай? Есть перебежка —  
До Петушков рукой подать!

1958

## Сосед

Он идет, седой и сутулый.  
Почему судьба не рубнула?  
Он остался живой, и вот он,  
Как другие, идет на работу,  
В перерыв глотает котлету,  
В сотый раз заполняет анкету,  
Как родился он в прошлом веке,  
Как мечтал о большом человеке,  
Как он ел паечную воблу  
И в какую он ездил область,  
Про ранения и про медали,  
Про сражения и про печали,  
Как узнал он народ и дружбу,  
Как ходил на войну и на службу,  
Как ходила судьба и рубала,  
Как друзей у него отымала.  
Про него говорят «старейший»,  
И ведь правда — морщины на шее,  
И ведь правда — волос не осталось.  
Засиделся он в жизни малость.  
Погодите, прошу, погодите!  
Поглядите, прошу, поглядите!  
Под поношенной, стертой кожей  
Бьется сердце других моложе.  
Он такой же, как был, он прежний,  
Для него расцветает подснежник.  
Все не просто, совсем не просто,  
Он идет, как влюбленный подросток,  
Он не спит голубыми ночами,  
И стихи он читает на память,  
И обходит он в вечер морозный  
Заснеженные сонные звезды,  
И сражается он без ракеты  
В черном небе за толику света.

1958

\* \* \*

Я слышу все — и горестные шепоты,  
И деловитый перечень обид.  
Но длится бой, и часовой, как вкопанный,  
До позднего рассвета простоит.  
Быть может, и его сомненья мучают,  
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,  
Но знает он — ему хранить поручено  
И жизнь товарищей, и собственную честь.  
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,  
Как будто он и не жил никогда,  
Подобно коже прокаженных, струпами  
С него сползают лучшие года,  
Ему и зверь и птица не доверятся,  
Он будет жить, но будет неживой,  
Луна уйдет, и отвернется дерево,  
Что у двери стоит, как часовой.

1958



Мы говорим, когда нам плохо,  
Что, видно, такова эпоха,  
Но говорим словами теми,  
Что нам продиктовало время.  
И мы привязаны навеки  
К его взыскательной опеке,  
К тому, что есть большие планы,  
К тому, что есть большие раны  
Что изменяем мы природу,  
Что умираем в непогоду  
И что привыкли наши ноги  
К воздушной и земной тревоге,  
Что мы считаем дни вприкидку,  
Что шиты на живую нитку,  
Что никакая в мире нежить  
Той тонкой нитки не разрежет.  
В удаче ль дело, в неудаче,  
Но мы не можем жить иначе,  
Не променяем — мы упрямы —  
Ни этих лет, ни этой драмы,  
Не променяем нашей доли,  
Не променяем нашей роли —  
Играй ты молча иль речисто,  
Играй героя иль статиста,  
Но ты ответишь перед всеми  
Не только за себя — за Время.

# Комментарии



В третий том Собрания сочинений Ильи Эренбурга входят повести «Заговор равных» (1928), «День второй» (1932—1933) и стихотворения 1915—1958 годов.

Тридцатые годы были периодом интенсивной общественной и литературной деятельности И. Г. Эренбурга. В конце 20-х и в начале 30-х годов он побывал во многих странах мира. Его поразила «короткая память» французов, для которых Верден стал далекой историей. Он увидел фанатизм немецких нацистов, рост голода и безработицы, грязные фашистские листовки. Он изучал статистику и экономику, читал финансовые обзоры и отчеты акционерных обществ, встречался с «деловыми людьми» капиталистического мира.

В Испании, куда в 1931 году Эренбург впервые поехал, он попал в самую гущу революционных выступлений крестьян,— он рассказал об этом советским читателям в очерках «Испания» (1932).

«Я встретил людей,— писал он позднее,— которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря слово «товарищ», они храбро шли на смерть ради права жить»<sup>1</sup>.

Летом и осенью 1932 года Эренбург много ездил по Советской стране. Он побывал на строительстве магистрали Москва—Донбасс, в Кузнецке, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Он увидел героический энтузиазм и упорство людей, строивших социализм в тяжелых условиях.

Действительность предстала перед Эренбургом как два разных полюса, два резко противоположных мира, столкновение которых было неизбежно.

Эренбург не мог оставаться в стороне, он понял, что «судьба солдата — не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке»<sup>2</sup>.

Следствием этой по-новому понятой гражданской активности и явилось творчество Эренбурга 30-х годов.

---

<sup>1</sup> И. Эренбург, Книга для взрослых, 1936, стр. 189.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1961, № 11, стр. 147.



## Заговор равных

Повесть «Заговор равных» написана в Париже в феврале — марте 1928 года, в том же году (с небольшими сокращениями) была опубликована в журнале «Красная новь» (№№ 11 и 12) и вышла отдельной книгой в издательстве «Петрополис» (Берлин — Рига).

В конце 20-х — начале 30-х годов многие советские писатели обратились к таким темам, как народные движения Болотникова (Г. Шторм), Степана Разина (А. Чапыгин, В. Каменский), восстание декабристов (Ю. Тынянов), борьба революционного народничества (О. Форш). В их произведениях исторические деятели не противопоставлялись обществу и эпохе, а вписывались в общий контекст исторических событий.

Книга И. Эренбурга, воссоздающая один из самых драматических эпизодов французской буржуазной революции XVIII века, написана в духе советской школы исторического романа.

«Заговор равных» — повесть о Франсуа Ноэле Бабефе (1760—1797) и его единомышленниках, которые пытались поднять в Париже массовое вооруженное восстание против контрреволюционной Директории, захватившей власть после государственного переворота 9 термидора (27 июля 1795 г.).

В основу сюжета повести положены события, относящиеся к последнему периоду жизни и политической деятельности Бабефа: его арест в феврале 1795 года, встреча в Аррасской тюрьме с итальянским политическим эмигрантом Ф. Буонарроти, Дарте и другими будущими единомышленниками, организация в начале 1796 года «Тайной директории общественного спасения», издание газет «Трибун народа» и «Просветитель», прокламаций и брошюр, провал восстания; суд в Вандоме и казнь Бабефа и Дарте 27 мая 1797 года.

Друг и соратник Бабефа Буонарроти позднее писал: «Ничем не ограниченное равенство, максимальное счастье для всех, уверенность в его прочности — таковы были блага, которые Тайная директория общественного спасения хотела обеспечить французскому народу»<sup>1</sup>.

В работе над повестью И. Эренбург опирался на двухтомное сочинение Ф. Буонарроти «Заговор во имя равенства», обширный свод документов времен термидорианской реакции и Директории, опубликованный известным французским историком А. Оларом, и многие другие книги и документы. Сопоставляя «Заговор равных» с книгой Буонарроти

---

<sup>1</sup> Ф. Буонарроти, Заговор во имя равенства, т. I, изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 191.

и другими источниками, нетрудно убедиться, что писатель сдерживает творческую фантазию, стараясь оставить в неприкосновенности «материю» фактов,— и в то же время дает им подчас более глубокую идейно-художественную интерпретацию. Так, например, чтобы подчеркнуть любовь своего героя к народу, он одну фразу Буонарроти — «перед принятием рокового удара Бабеф заговорил о своей любви к народу»<sup>1</sup> — заменяет развернутой картиной. На основании свидетельства Буонарроти, что изуродованные тела казненных патриотов были погребены окрестными крестьянами, Эренбург пишет яркую и впечатляющую сцену, свидетельствующую о популярности Бабефа в народе: крестьяне деревни Монтрье «благочестиво похоронили» Бабефа и Дарте, зная, что Бабеф был Трибун народа («...за это его убили... его и другого»).

Основная проблема повести «Заговор равных» — проблема социальной революции. В отличие от более ранних произведений, писатель не противопоставляет здесь революции «неизменную» человеческую природу, как две чуждые и исключают друг друга стихии. Всем ходом событий, отношениями, в какие поставлены противоборствующие классовые силы, трагической судьбой героев писатель утверждает идею единства революционного и подлинно человеческого, гуманного.

Если в таких произведениях, как «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Любовь Жанны Ней», «Рвач», чувство любви изображалось как бессознательное, непреодолимое влечение, не поддающееся ни объяснению, ни контролю, то в «Заговоре равных» писатель не противопоставляет личное общественному, любовь — революционному долгу. Любовь Бабефа к Марии и Буонарроти к Терезе не мешает их активной революционной деятельности. И хотя женские образы и в этой повести написаны довольно схематично, в Марии и Терезе писатель видит не только извечную «женскую» слабость — они наделены и мужеством и гордостью. Когда народ провозгласил «равных» из Парижа в Вандом, «сзади шли женщины и дети: Тереза Буонарроти — аристократка и Мария Бабеф — прислуга, взявшись за руки, сближенные одним огромным горем. Они шли три дня. Когда падала ночь, они плакали: они были женщинами. Днем они улыбались: ведь на них глядели те, из клеток. Они были не только женщинами».

Критика того времени отмечала некоторые сдвиги в идейно-философских позициях писателя. Так, обозреватель журнала «На литературном посту» указывал, что «Заговор равных» написан «с меньшей дозой скепсиса, чем можно было ожидать от этого писателя. Ирония Эренбурга направлена почти исключительно против Директории, против

---

<sup>1</sup> Ф. Буонарроти, Заговор во имя равенства, т. II, изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 72.

термидорианцев»<sup>1</sup>. Критик журнала «Печать и революция» тоже говорил о том, что повесть о Бабефе в творчестве писателя последних лет «представляет несомненный шаг вперед»<sup>2</sup>.

В соответствии с исторической правдой И. Эренбург рисует эпоху Директории как время, когда «стремительно вырывается наружу и закипает ключом настоящая жизнь буржуазного общества. Горячка коммерческих предприятий, страсть к обогащению, опьянение новой буржуазной жизнью, где на первых шагах наслаждение принимает дерзкий, легкомысленный, фривольный и одурманивающий облик»<sup>3</sup>. Вместе с тем годы Директории — это годы ужасающей нищеты широких народных масс Франции, выступлений рабочих и городского плебса, на усмирение которых Директория не раз бросала полицейские и военные силы. Этот разрыв между захватившей власть буржуазией и народными массами И. Эренбург воплотил в образах Наполеона Бонапарта и Граха Бабефа. В повести они не сталкиваются, но автор показывает, как Директория поощряет генерала и преследует народного трибуна. Не случайно вскоре после казни Бабефа, когда члены правительства Директории стали искать, на кого бы опереться в борьбе с народом, их выбор пал на Наполеона, который однажды уже заявил: «Настало время объявить, что революция больше нет, она закончилась».

Теория утопического коммунизма Бабефа, как показано в повести, результат не столько влияния его прямых предшественников Мабли и Моррели, сколько настойчивых поисков — как разрешить социальные противоречия эпохи, когда буржуазия вступила на путь своего господства.

В сцене встречи Бабефа с Фуше писатель говорит о политике Барраса: «...система подкупов была системой Барраса, его политической мудростью, его мировоззрением» — и противопоставляет ей политику Бабефа, который «требует уничтожения богатства, обязательности труда, государственного контроля над всеми работами. К голосу Бабефа прислушивается народ, измученный голодом, безработицей, дороговизной». Эренбург рисует одну за другой короткие сцены из жизни рабочих на фабриках Бутеля, Делетра, работниц в мастерской мешков Деле, стихийно вспыхивающие забастовки грузчиков, литейщиков и других («все предпочитали тюрьму или смерть голодной каторге»), облавы и аресты («на одном из смутьянов нашли старый нож и газету Бабефа»). Бабефа ненавидит Париж Директории и разжиревших буржуа, но Париж рабочих окраин верит «своему Бабефу», любит его. «Так,— заключает писа-

---

<sup>1</sup> Н. Н. По журналам, «На литературном посту», 1929, № 1, стр. 72.

<sup>2</sup> А. Лежнев, Заметки о журналах, «Печать и революция», 1929, № 1, стр. 11.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 2, стр. 136.

тель, — в двух лагерях имя Бабефа становится собирательным, оно растет, оно обозначает уже не только одаренного журналиста или смелого философа, нет, теперь Бабеф — это революция».

Однако на всем, что делают Бабеф и его единомышленники, показывает писатель, лежит печать обреченности. Чем более они активны, тем ближе к поражению, чем они героичнее, тем теснее круг врагов. В действительности так оно и было и иначе быть не могло: «Бабеф пришел слишком поздно», когда буржуазный правопорядок уже укрепился во Франции, когда «началась буржуазная оргия»<sup>1</sup>. Бабеф не мог одержать победу и потому, что был идеологом, отражавшим «революционные попытки еще не сложившегося класса» (пролетариата. — С. Л.).

«Коммунистический заговор не удался потому, что коммунизм того времени был весьма примитивным и поверхностным и, с другой стороны, общественное мнение не было еще достаточно развито»<sup>2</sup>.

К историческому жанру И. Эренбург больше не обращался. Но опыт художественно-исторического исследования благотворно сказался на всем последующем творчестве писателя, в особенности на работе над историко-политическим романом «Падение Парижа».

«Заговор равных» переведен на иностранные языки: дважды на немецкий (1929 и 1959 гг.), французский (1929 г.), чешский (1931 г.), фламандский (Бельгия, 1936 г.), испанский (Аргентина, 1945 г.), древнееврейский (Палестина, 1946 г.), румынский (1963 г.).

С. Лу б э

## День второй

Повесть «День второй» написана в 1932—1933 годах в Париже и там впервые опубликована; в 1934 году вышла в Государственном издательстве «Художественная литература».

«День второй» — первая книга Эренбурга, вобравшая в себя новые материалы, наблюдения, факты, связанные с поездкой по Советской стране. В январе 1933 года в журнальных книжках «Ла нувэль ревью франсез» под заголовком «Русская молодежь» начали появляться записи бесед, письма и дневники, собранные Эренбургом для книги «о созданных революцией новых людях»<sup>3</sup>, работа над которой уже заканчивалась.

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, Огиз — ГИПЛ, 1948, стр. 409.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 1, стр. 527.

<sup>3</sup> «Интернациональная литература», 1933, № 3, стр. 148.

«Мне впервые,— рассказывал Эренбург спустя несколько месяцев молодым литераторам,— пришлось писать о нашей советской молодежи. Поэтому были трудности и чисто психологического порядка. Кроме того, большое количество лиц и характеров, простой (без сложной интриги) сюжет вещи, необычный для моих прежних романов. Здесь я шел по линии наибольшего сопротивления»<sup>1</sup>.

«Линия наибольшего сопротивления» проходила тем не менее не только и не столько в сфере чистой психологии, сколько в области эстетического, философского освоения новой действительности. Читателя начала 30-х годов многое удивляло в книге Эренбурга — заглавие романа, за которым угадывалась библейская легенда о сотворении мира («почему день второй?» — часто спрашивали писателя), и эпическая ритмика фраз, также невольно вызывавшая в памяти неторопливую речь библейских сказаний, и множество персонажей, сменявших друг друга с непривычной быстротой, эта пестрая смесь человеческих характеров — ударники, увлеченные комсомольцы рядом с равнодушными эгоистами, циниками и хапугами. В критических статьях, появившихся вскоре после выхода книги, Эренбурга объявили «жертвой хаоса», воспевающей «разнузданную стихию», на фоне которой «живут, любят и страдают маленькие человечки»<sup>2</sup>.

Главный упрек критики заключался в том, что писатель преувеличил трудности строительства, сгустил краски. Выступая в июне 1934 года на обсуждении своей книги, организованном редакцией журнала «Литературный критик» и Домом советского писателя, Эренбург говорил: «Гражданская совесть, может быть, не позволила бы нам описывать эти трудности в тот момент, когда Кузнецк был планом, но когда Кузнецк был создан, когда создан не только Кузнецк, но созданы новые люди, его построившие, мы имеем полное право говорить об этих трудностях. И после этого утверждать, что в романе «День второй» я сгустил трудности, это либо не знать об этих трудностях, что вполне допустимо, либо прибегать к определенной деформации материала»<sup>3</sup>.

Название книги глубоко символично: по Библии, разгяснял Эренбург на одной из первых читательских конференций, день второй «это день отделения тверди от воды, день, следующий за первым, но еще не третий, день, когда не было еще на земле ни пальм, ни слонов, но была уже та твердь, та прочная земля, на которой могут расти пальмы...»<sup>4</sup>

<sup>1</sup> «Литературная газета», 2 августа 1934 г.

<sup>2</sup> Гарри, Жертвы хаоса, «Литературная газета», 18 мая 1934 г.

<sup>3</sup> «Литературный критик», 1934, № 7—8, стр. 289.

<sup>4</sup> «Пятьдесят записок Эренбургу», «Литературная газета», 28 июня 1934 г.

Духовный мир строителей нового общества, молодость и ее проблемы, «любовь, страсть, искусство в мире, который остается миром труда и борьбы»<sup>1</sup> — вот о чем хотел рассказать Эренбург в своей новой повести. Раскрытию этой темы и служит основная коллизия книги, в центре которой стоит полемизирующий, мыслящий и раздавленный грузом сомнений Володя Сафонов.

Володе Сафонову кажется, что «чугун» и «любовь» — несовместимы, что свежесть чувств пробудившегося к жизни народа — не повод для умиления, ибо это духовный примитив, что окружающие его люди — иного душевного возраста, «они младенцы», «им от трех до семи лет, и они учатся грамоте». Ему кажется, что люди тонкие, сложные должны почувствовать себя одиночками в новом обществе.

Критика 30-х годов обвиняла Эренбурга в том, что он не противопоставил Володе интеллектуально равного человека. Действительно, на первый взгляд с Володей полемизирует одна Ирина — и в устных спорах, и в неотправленном письме, и в дневнике она защищает мысль о возможности сильных чувств в новом мире («Сильней любви разве что жизнь...»). По признанию самого Володи Сафонова, Ирина «куда тоньше других девушек», и ее литературные вкусы (Блок, например) близки и Володе, и самому автору. Но, несмотря на это, она оказывается ближе к Кольке Ржанову и его товарищам, чем к Сафонову. И это не случайно. Ирина — не единственный и даже не главный антагонист Володи Сафонова. У нее есть сильный союзник, и этот союзник — автор повести Илья Эренбург.

В начале 30-х годов казалась бесспорной близость автора и Володи Сафонова<sup>2</sup>. В этом герое, — писали критики, — автор «прощается со своим прошлым», разоблачает свою «прежнюю философскую концепцию»<sup>3</sup>. Через двадцать лет критики сетовали, что Эренбург «мог бы точнее сформулировать приговор своему герою»;<sup>4</sup> самоубийство Володи расценивалось как беспощадность авторского приговора<sup>5</sup>.

Между тем отношение автора к Володе Сафонову значительно сложнее. Несомненно, Володя Сафонов с его смятением близок и понятен был Эренбургу начала 30-х годов — автора и героя роднили и восприятие искусства, и напряженный интеллектуализм. Однако интеллектуализм Володи был замкнутым и самодовлеющим, в нем не хватало

---

<sup>1</sup> «Литературный Ленинград», 1936, № 5, стр. 1.

<sup>2</sup> Л. Левин, На знакомые темы, Л. 1937, стр. 231.

<sup>3</sup> И. Гринберг, Уважение к герою, «Звезда», 1936, № 6, стр. 225.

<sup>4</sup> Б. Емельянов, Собр. соч. И. Эренбурга, т. 4, Гослитиздат, М. 1951, стр. 43 (Примечания).

<sup>5</sup> Т. Трифонова, Илья Эренбург, М. 1951, стр. 81.

главного звена, того, что, на взгляд Эренбурга, является основным ферментом культуры — эмоционального богатства и широты. Для Володи Сафонова, и автор часто подчеркивает это, культура — понятие книжное и отвлеченное («культура — ... рента»); для Эренбурга это — нечто живое и подвижное, связанное со свежестью, чистотой и силой чувств (не случайно так часто в 30-е годы повторяет Эренбург мысль о том, что искусство — это завоевание чувств и способов эти чувства выражать).

В Кольке Ржанове, Ирине и их товарищах Эренбург увидел скрытую силу чувств, любознательность, способность быть растревоженными красотой и ненасытную жажду знаний. «Володя Сафонов,— говорил писатель в 1934 году,— побежден не потому, что он был гадок, жалок и мелок; он побежден потому, что рядом с ним имеются люди, которые любят то же, что и он, и которые умеют претворить это в жизнь»<sup>1</sup>.

Наблюдая трудности строительства, видя, как героизм соседствует с будничными и подчас мелкими людскими страстями и поступками, Володя Сафонов не может найти выход из этих противоречий, трезвость восприятия делает его бессильным (он «был обречен на бездействие»,— говорит автор); любой поступок кажется ему двурушничеством; собственное смирение пугает. Так родилось предшествовавшее самоубийству выступление на собрании, где вместо заранее подготовленной обличительной речи Володя произнес исповедь, полную горечи и зависти к душевному здоровью своих товарищей. Как некогда у Эренбурга, у Володи было «тридцать три правды», и не было одной — своей, кровной и крепкой, которую можно было бы зажать в кулак и жить. Но в отличие от автора, став перед необходимостью выбора между судьбой мечтателя и судьбой солдата, он не захотел выбирать.

«День второй» написан в годы, когда Эренбург настойчиво и увлеченно проповедовал неоспоримую ценность фактов, репортажных зарисовок, документов. «Не случайно,— говорил Эренбург в выступлении на I съезде писателей,— мой роман напоминает критикам очерк. Я сам не провожу резкой грани между очерком и художественной прозой»<sup>2</sup>. Действительно, «День второй» рисует жизнь масс в движении, огромное количество людей, втянутых в строительство — горнило, в котором рождаются новые люди. В книге ощутимы поиски, идущие от увлечения автора искусством кино (монтажная композиция, резкая смена кадров); отказ от занимательной интриги компенсируется в ней единой логикой авторской мысли и чувства.

«В «Дне втором»,— писал критик А. Селивановский,— Эренбург хо-

---

<sup>1</sup> «Литературный критик», 1934, № 7—8, стр. 289.

<sup>2</sup> Стенографический отчет I съезда ССП, ГИХЛ, М. 1934, стр. 186.

тел дать широкую панораму страны в первой пятилетке»<sup>1</sup>. Былое противопоставление личности и общества сменяется, как и в «Заговоре равных», утверждением их неразрывной связи. Все более, по мнению Эренбурга, стирается грань между частной и «официальной» жизнью человека. «Мне кажется,— писал Эренбург несколько позднее,— что тема — моя и эпохи — требует сочетания различных жизней. Жизнь каждого из героев я показываю в ее соотношении с другими жизнями»<sup>2</sup>.

В повести «День второй» отчетливо проявились стиливые особенности, ставшие затем характерными для Эренбурга — мастера больших, многоплановых полотен.

Повесть «День второй» была переведена в 1933 году на французский и немецкий языки, в 1934 — на английский, голландский и чешский, в 1946 — на испанский и на португальский, в 1955 году — на японский, в 1956 — на индийский и индонезийский, в 1957 — на румынский, в 1958 — на немецкий. Повесть дважды переведена на итальянский язык (1934, 1945) и трижды на польский (1935, 1954, 1956).

## Стихотворения

Литературную деятельность Эренбург начал как поэт. В конце 1909 года в петербургском журнале «Северные зори» было опубликовано его первое стихотворение. Стихи ранних сборников, изданных главным образом в Париже («Стихи», 1910; «Я живу», 1911; «Одуванчики», 1912; «Будни», 1913; «Детское», 1914), кажутся теперь самому Эренбургу «ученическими» и «стилизированными». Романтические и во многом подражательные, они были отмечены печатью различных, порой причудливо переплетающихся влияний — К. Бальмонта, Г. Аполлинера, П. Верлена.

В. Я. Брюсов, внимательно следивший за развитием поэтического дарования молодого писателя, отмечал: «Эренбург постоянно возвращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров; охотнее говорит не о тех чувствах, которые действительно пережил, но о тех, которые ему хотелось бы пережить»<sup>3</sup>.

Освобождение от литературных условностей шло мучительно и долго. С признательностью вспоминает Эренбург Франсуа Вийона, одного из крупнейших лириков французского средневековья, которого перево-

<sup>1</sup> А. Селивановский, День третий?, «Знамя», 1935, № 9, стр. 216.

<sup>2</sup> И. Эренбург, Ответ читателям, «Знамя», 1936, № 2, стр. 240.

<sup>3</sup> В. Брюсов, Новые сборники стихов, журн. «Русская мысль», М. 1911, № 2, стр. 233.



дил в те годы для русского читателя, и французского поэта начала XX века Фр. Жамма, в котором ценил простоту и отказ от изысканной манерности, умение «близко и непосредственно подойти к природе, в родимых полях и реках найти не фон для своих «сложных переживаний», а свое, особой жизнью сильное»<sup>1</sup>.

Однако преодоление подражательности, в которой так слышны были ноты смиренной религиозности и идилличности, произошло не в результате смены литературных вкусов и школ.

Первая мировая война лицом к лицу столкнула писателя с «язвами общества» и оставила неизгладимый след в его сознании. В эти годы вышли «Стихи о канунах» (1916) — первая книга, в которой писатель, по его признанию, «говорил своим собственным голосом». В сборник вошли стихотворения 1914—1915 годов. Они привлекли внимание читателя резкостью и остротой неприятия старого мира. Война, на взгляд Эренбурга, травмировала людей, исказила их чувства, вселила в их души отчаяние. Соответственно этому болезненно трансформированы поэтические образы книги. Надрывные и болезненно исковерканные, со смещенными пропорциями, они воплощали скорее мировосприятие самого автора, нежели события и реальные картины действительности.

«Паралитики» и «шалые девки», «пустые кобели» и «души хвояе» — эти образы, кочующие по страницам «Стихов о канунах», господствующая в них интонация болезненного надлома выражали предощущение надвигающихся перемен («все томится, никнет и бредит одним концом»). Будущее казалось Эренбургу неразрывно связанным с народом, с его бунтом, с пролитой «пугачьей кровью». 1916 год он называл «буйным кануном». Но в нарисованных картинах реальна была только уверенность в неизбежности краха старого мира и ожидание народного восстания — остальное было зыбко и лишено реальных очертаний. Поэтому и объединяющий стихотворения сборника мотив «канунов» выступает в книге не столько провидением грядущих социальных потрясений, сколько ощущением надвигающейся катастрофы.

С 1918 по 1923 год написаны стихи, вошедшие в сборники «Огонь» (1919), «Кануны» (1921), «Раздумья» (1921), «Зарубежные раздумья» (1922), «Опустошающая любовь» (1922), «Звериное тепло» (1923) и другие. Центральная тема послеоктябрьских стихов Эренбурга — Россия и революция. Однако восприятие поэтом революционной действительности сложно и противоречиво — он испытывает одновременно «восторг и

---

<sup>1</sup> Поэты Франции (1870—1913), изд. «Гелиос», Париж, 1914, стр. 85 (Предисловие И. Эренбурга).

ужас перед современностью»<sup>1</sup>. Писатель приветствует рождение «иногo, великого века», но многое из того, что несет революция, непонятно ему, вызывает у него сомнения, настороженность, даже протест. Так возникает уподобление революции кровавому смерчу, сравнение ее с «нерадостной, суровой весной», с «очистительным костром», с «опустошающей любовью». Любовь призвана, на взгляд поэта, спасти Россию, ибо любовь — это жизнь; но любовь в понимании Эренбурга была и тем жизненным началом, которое сближало друга и недруга, правого и виноватого («Не знаю, кто прав иль виновен, они разные носят знамена, но той же кровью полны сердца иступленные»). И поэт не в силах делить на правых и виноватых — «такая во мне ко всем жалость».

Общий смысл книги, — писал В. Брюсов в рецензии на сборник «Опустошающая любовь», — дан в ее заглавии. Октябрьская революция была для России «опустошающей любовью»; эта любовь спасает и спасет Россию, тогда как для «испепеленной» Европы спасения нет»<sup>2</sup>.

Мироощущение личности продолжает оставаться для Эренбурга основным критерием приятия или неприятия социальных преобразований, но в сложной тональности «восторга и ужаса» перед современностью все сильнее звучали ноты сомнения в справедливости своих оценок и суждений. Самым главным казалось Эренбургу «понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее — не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей»<sup>3</sup>. Перешагнуть из XIX века, в котором, как вспоминает Эренбург, «сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи»<sup>4</sup>, оказалось очень трудно.

Победить эти колебания и раздумья помогла Эренбургу вера в грядущее «воскрешение» России.

В 1938 году, после пятнадцатилетнего перерыва, Эренбург вновь возвращается к поэзии.

Конец 30-х годов писатель, как корреспондент «Известий», провел в революционной Испании и Франции. Участник героических боев Испании, помнивший «чудо Мадрида» и сопротивление испанцев во второй половине 1938 года, когда исход боев уже был предрешен, Эренбург

---

<sup>1</sup> Сб. «Кануны», изд. «Мысль», Берлин, 1921, стр. 3 (Предисловие И. Эренбурга).

<sup>2</sup> В. Брюсов, Среди стихов, «Печать и революция», 1923, № 1, стр. 73.

<sup>3</sup> И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, книга вторая, «Советский писатель», М. 1961, стр. 492.

<sup>4</sup> Там же.

стал во Франции свидетелем ее «страшной войны» 1939—1940 годов, ее морального надлома, отчаяния народа, лишённого возможности сражаться с фашизмом. В 1939 году в журнале «Знамя» (№ 7—8) появляется большой цикл стихов И. Эренбурга — «Испанские стихи». В следующем году советские журналы публикуют новые стихотворные циклы И. Эренбурга: «Парижские стихи» («30 дней», № 9—10; «Звезда», № 10), «Война в Европе» («Знамя», № 11—12), стихи из книги «Верность» («Знамя», № 9). В начале 1941 года выходит книга «Верность (Испания. Париж)». Стихи этого сборника, примкнувшие к другим произведениям писателя конца 30-х годов, — к двухтомному фотоальбому «No pasaran!» (1937), книгам «Что человеку надо» (1937) и «Испанский закал» (1937), статьям об Испании, систематически публикуемым газетой «Известия», к рассказам «Вне перемирия», очеркам «Падение Парижа» («Огонек», 1940) и «Разгром Франции» («Труд», 1940, август — сентябрь), — поэтически воссоздавали атмосферу предвоенной Европы конца 30-х годов.

«Историческая реальность», отраженная в стихах об Испании, — реальность «кровавая и трагическая»<sup>1</sup>, — писала критика о сборнике «Верность», однако стихи эти лишены скорбного звучания, в них нет безысходности и отчаяния. Глубоко веря в спасительную силу человечности, Эренбург призывал писателей рассказать о мужестве сражающихся людей. «Война — веселое дело», — говорят фашисты. Наши люди отвечают им волей к жизни... В этом мире смерти мы учимся жизни — громкой, радостной, праздничной»<sup>2</sup>, — писал Эренбург в книге «Испанский закал». Поэтому так внимателен писатель ко всему, что говорит о силе жизни; поэтому так настойчиво ищет он в природе и обществе самые простые, самые близкие и осязаемые приметы устойчивости, победы — человеческое братство, верность, мужество (когда «друзья редеют и молчит беда», из слов остаются «самые простые: забота, воздух, дерево, вода»).

Однако за прошедшие пятнадцать лет изменилось зрение писателя, и в 30-е годы ему уже безразлично, «кто прав иль виновен», — отрицание и ненависть направлены против фашизма. «Верность, которую Эренбург воспевает, — отмечала критика, — это верность всему подлинно человеческому»<sup>3</sup>.

С начала Великой Отечественной войны, наряду с публицистическими статьями и политическими памфлетами писателя, в газетах «Правда», «Красная звезда», «Литература и искусство» публикуются

<sup>1</sup> И. Аксенов, Верность человечеству, «Звезда», 1941, № 9, стр. 90.

<sup>2</sup> И. Эренбург, Испанский закал (февраль — июль 1937), М. 1938, стр. 114.

<sup>3</sup> Н. Венгров, Испания. Париж, «Знамя», 1942, № 1—2, стр. 360. (О стихах Эренбурга).

стихи И. Эренбурга, уже в годы войны изданные маленькой книжечкой «Стихи о войне» (1943). Чем разрушительней и трагичней оборачивалась к человеку действительность, тем острее становилось в сознании писателя ощущение несовместимости обрушившихся на человека бедствий и его стремления к счастью и миру, тем активней и решительней звучал в стихах Эренбурга призыв к стойкой и непримиримой борьбе с фашизмом. Так рождается в стихах Эренбурга основа их художественной выразительности — эмоциональный контраст между жизнью и смертью. Лучшие стихи предвоенных и военных лет вошли в книгу «Дерево» (1946).

В 1959 году вышел новый сборник Эренбурга «Стихи. 1938—1958». В некоторых из них отражены раздумья писателя над сложными и трагическими противоречиями периода культа личности. Но основное место в сборнике занимают стихи испано-французского цикла и стихи об Отечественной войне, завоевавшие признание широких кругов советских и зарубежных читателей.

Своеобразие творческого склада Эренбурга-поэта сказывается в зрелых стихах в умении найти сплав широкого, «вселенского» разворота жизни с предметным, конкретным его отражением. Обобщенные и порой отвлеченные картины жизни и состояния человеческого духа созданы из мозаики скупых, очень конкретных и предельно точных душевных примет, связанных воедино цельностью поэтического видения.

Публикуемые в томе стихи взяты из сборников: «Стихи о канунах», М. 1916; «Огонь», изд. «Века и дни», Гомель, 1919; «Кануны», изд. «Мысль», Берлин, 1921; «Раздумья», П.-д. 1922; «Зарубежные раздумья», изд. «Костры», М. 1922; «Опустошающая любовь», изд. «Огоньки», 1922; «Звериное тепло», изд. «Геликон», М.—Берлин, 1923; «Верность (Испания. Париж)», Огиз, М. 1941; «Дерево», «Советский писатель», М. 1946; «Стихи. 1938—1958», «Советский писатель», М. 1959.

*Г. Б е л а я*

# Содержание

ЗАГОВОР РАВНЫХ . . . . .	7
ДЕНЬ ВТОРОЙ . . . . .	151
СТИХОТВОРЕНИЯ	
1915—1923	
В августе 1914 года . . . . .	363
В пивной . . . . .	364
После смерти Шарля Пеги . . . . .	365
На закате . . . . .	366
В детской . . . . .	367
Где-то в Польше . . . . .	368
Прогулка . . . . .	369
«Ты сидел на низенькой лестнице...» . . . . .	370
В вагоне . . . . .	371
Натюрморт . . . . .	372
Летним вечером . . . . .	373
Гоголь . . . . .	374
«Ни к богатым, ни к косматым...» . . . . .	375
Как умру . . . . .	376
Пугачья кровь . . . . .	377
«Наши внуки будут удивляться...» . . . . .	379
«Я не знаю грядущего мира...» . . . . .	381
России . . . . .	382
«Мои стихи не исповедь певца...» . . . . .	383
«Я не трубочка—труба. Дуй Время!..» . . . . .	384
«Что седина? Я знаю полдень смерти...» . . . . .	385
«Остановка. Несколько примет...» . . . . .	386
«Так умирать, чтоб бил озноб огни...» . . . . .	387
1938—1940	
«Сердце, это ли твой разгон?..» . . . . .	388
«Парча румяных жадных богородиц...» . . . . .	389
Бой быков . . . . .	390
«Тогда восстала горная порода...» . . . . .	391

В Барселоне . . . . .	392
«Горят померанцы, и горы горят...» . . . . .	393
«Разведка боем» — два коротких слова...» . . . . .	394
«Батарейю скрывали оливы...» . . . . .	395
«В кастильском нищенском селенье...» . . . . .	396
«Нет, не забыть тебя, Мадрид...» . . . . .	397
«В городе брошенных душ и обид...» . . . . .	398
У Брунге . . . . .	399
У Эбро . . . . .	400
Русский в Андалузии . . . . .	401
Гончар в Хаэне . . . . .	402
В январе 1939 . . . . .	403
После... . . . .	404
«Бои забудутся, и вечер щедрый...» . . . . .	405
«Есть перед боем час — все выжидает...» . . . . .	406
«Не торопясь, внимательный биолог...» . . . . .	407
«О той надежде, что зову я вещей...» . . . . .	408
«На ладони — карта, с малолетства...» . . . . .	409
На митинге . . . . .	410
«Ты тронул ветку, ветка зашумела..» . . . . .	411
У приемника . . . . .	412
Монруж . . . . .	413
«Жилье в горах, как всякое жилье...» . . . . .	414
«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...» . . . . .	415
«Сочится зной сквозь крохотные ставни...» . . . . .	416
«По тихим плитам крепостного плаца...» . . . . .	417
«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...» . . . . .	418
Верность . . . . .	419
Дыхание . . . . .	420
«Самоубийцею в ущелье...» . . . . .	421
«Как восковые, отекли камельи...» . . . . .	422
«Все простота: стекольные осколки...» . . . . .	423
«Я должен вспомнить — это было...» . . . . .	424
Воздушная тревога . . . . .	425
«Не раз в те грозные, больные годы...» . . . . .	426
Париж, 1940	
1. «Умереть и то казалось легче...» . . . . .	427
2. «Не для того писал Бальзак...» . . . . .	427
3. «Глаза погасли и холод губ...» . . . . .	428
4. «Упали окон вековые веки...» . . . . .	428
5. «Номера домов, имена улиц...» . . . . .	429

6. «Уходят улицы, узлы, базары...» . . . . .	429
7. «Над Парижем грусть. Вечер долгий...» . . . . .	430
8. «Как дерево в большие холода...» . . . . .	430
Возле Фонтенбло . . . . .	432
«Где играли тихие дельфины...» . . . . .	433
Лондон . . . . .	434
«Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» . . . . .	435
«В лесу деревьев корни сплетены...» . . . . .	436
«Белесая, как марля, мгла...» . . . . .	437
«Как эти сосны и строенья...» . . . . .	438
«Города горят. У тех обид...» . . . . .	439

1941—1945

1941 . . . . .	440
«Привели и застрелили у Днепра...» . . . . .	441
«Они накинулись, неистовы...» . . . . .	442
«Я помню—был Париж. Краснели розы...» . . . . .	443
«Бывала в доме, где лежал усопший...» . . . . .	444
«Так ждать, чтоб даже память вымерла...» . . . . .	445
«Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» . . . . .	446
«Был час один—душа ослабла...» . . . . .	447
В Белоруссии . . . . .	448
«Было в жизни мало резеды...» . . . . .	449
«Есть время камни собирать...» . . . . .	450
«Гляжу, на снег, а в голове одно...» . . . . .	451
Европа . . . . .	452
«Были липы, люди, купола...» . . . . .	453
«Мир велик, а перед самой смертью...» . . . . .	454
Бабий Яр . . . . .	455
«В это гетто люди не придут...» . . . . .	456
«Слов мы боимся, и все же прощай...» . . . . .	457
«Ракеты салютов. Чем небо черней...» . . . . .	458
«Все за беспамяństwo отдать готов...» . . . . .	459
«За что он погиб? Он тебе не ответит...» . . . . .	460
«Была трава, как раб, распластана...» . . . . .	461
«Когда я был молод, была уж война...» . . . . .	462
«Мне было многое знакомо...» . . . . .	463
В феврале 1945	

1. «День придет, и славок громкий хор...» . . . . . 464
2. «Мне снился мир, и я не мог понять...» . . . . . 464

9 мая 1945

1. «О них когда-то горевал поэт...» . . . . .	465
2. «Она была в липялой гимнастерке...» . . . . .	465
3. «Прошу не для себя, для тех...» . . . . .	466
«Я смутно жил и неуверенно...» . . . . .	467
Статуя Афродиты . . . . .	468
«Ты говоришь, что я замолк...» . . . . .	469
«Чужое горе—оно как овод...» . . . . .	470
«Умру.—вы вспомните газеты шорох...» . . . . .	471

1947—1953

«Во Францию два гренадера...» . . . . .	472
«К вечеру улегся ветер резкий...» . . . . .	473
«Был тихий день обычной осени...» . . . . .	474
«Ошибся—нужно повторить...» . . . . .	475
«Есть надоедливая вдоволь повесть...» . . . . .	476
«Я смутно помню шумный перекресток...» . . . . .	477
Дождь в Нагасаки . . . . .	478
Товарищам . . . . .	479
Спутник . . . . .	480
«Был пятый час среди январских сумерек...» . . . . .	482
Верность («Жизнь широка и пестра...») . . . . .	483
Самый верный . . . . .	484
«Вчера казалась высохшей река...» . . . . .	485
«Есть в севере чрезмерность, человеку...» . . . . .	486
«Да разве могут дети юга...» . . . . .	487
В Греции . . . . .	488
Сердце солдата . . . . .	489
Сосед . . . . .	490
«Я слышу все—и горестные шепоты...» . . . . .	491
«Мы говорим, когда нам плохо...» . . . . .	492
Комментарии . . . . .	495



*Илья Григорьевич*

**Э Р Е Н Б У Р Г**

**Т о м 3**

Редактор

*И. Чеховская*

Художественный редактор

*Ю. Васильев*

Технический редактор

*Ж. Примак*

Корректор

*М. Доценко*

Сдано в набор 1/X 1963 г.

Подписано в печать 25/IV 1964 г. А02066.

Бум. 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 32 печ. л.=29,12 усл. печ. л.

24,51 уч. изд. л. Тираж 200 000. Зак. 915

Цена 1 р. 25 к.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома

Государственного комитета

Совета Министров СССР по печати

Москва, Ж-54, Валовая, 23

